

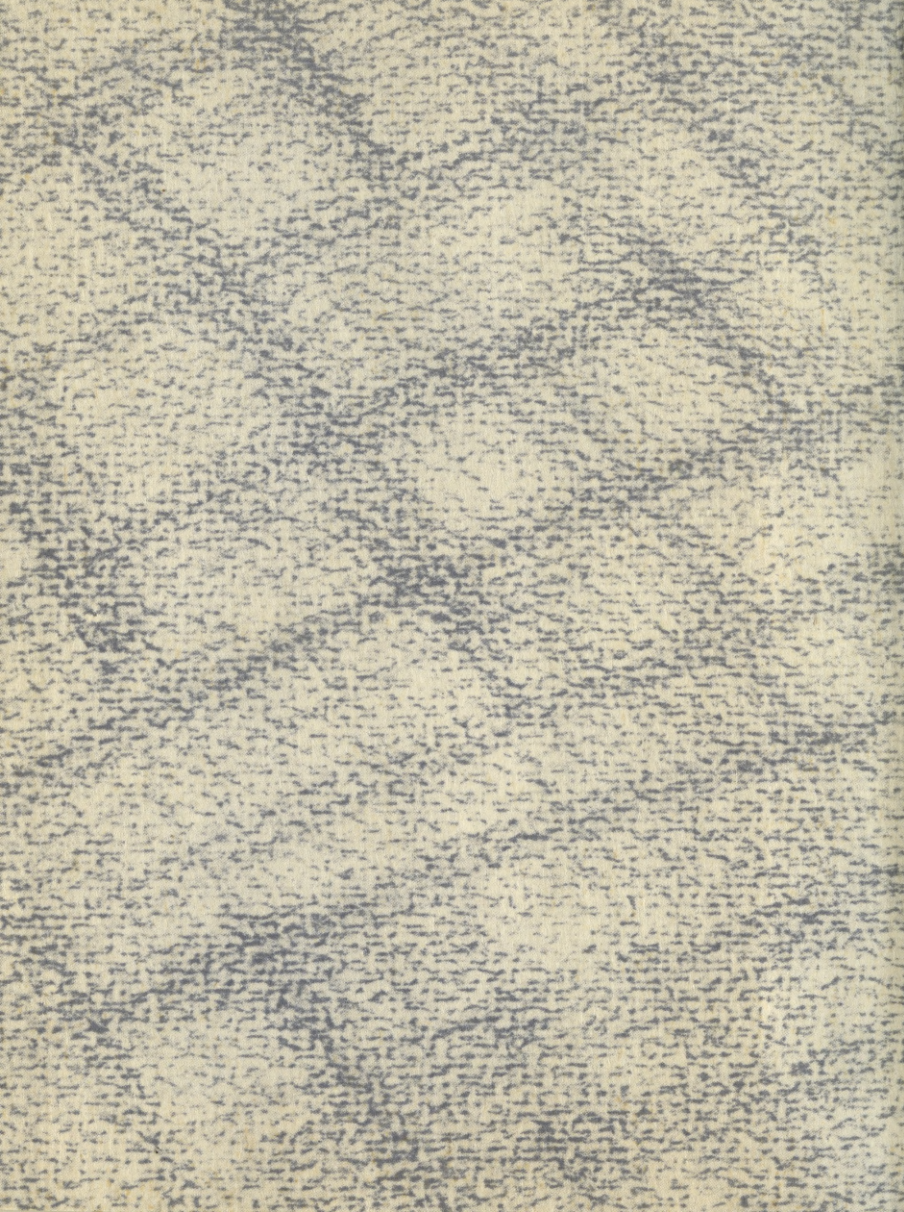


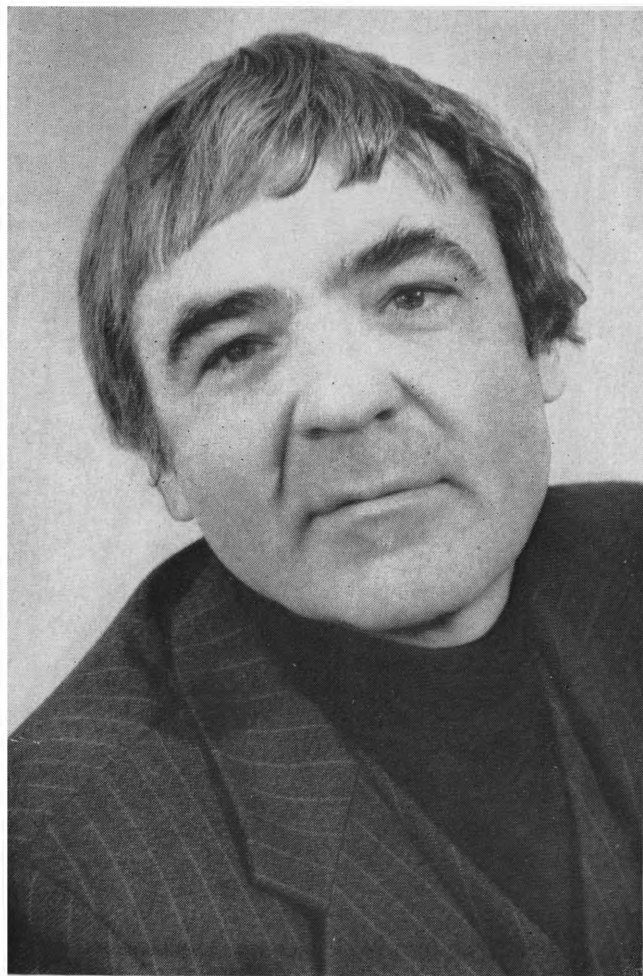
ЕВГЕНИЙ КУТУЗОВ



ПОВЕСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Е. Кутузов





ЕВГЕНИЙ КУТУЗОВ



НЕ СТОЙ НА ПОРОГЕ

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

ЛЕНИЗДАТ

1982

Редакционная коллегия:

*Ф. А. Абрамов, Ю. А. Андреев, И. И. Виноградов,
Г. А. Горышин, Д. А. Гранин, Л. И. Емельянов,
В. А. Лебедев, А. М. Минчковский, Б. Н. Никольский,
Д. Т. Хренков, В. С. Шефнер*

НЕ СТОЙ НА ПОРОГЕ



II

Что-то нарушилось, сломалось в их отношениях, хотя знакомые и дальние родственники — близких никого не осталось—по-прежнему завидовали Татьяне Николаевне, говорили при случае, что у нее вырос замечательный сын, каких не часто встретишь теперь. Она молча принимала похвалы, не смея признаться, что люди ошибаются. Не смела, потому что и сама не была ни в чем уверена. Просто вдруг поняла, что совсем не знает Сергея.

Открытие было неожиданным и оттого особенно болезненным.

Как-то она поделилась с Сергеем своей радостью, как делилась всегда:

— Знаешь, Сережа, мне все-таки удалось добиться, чтобы эту девочку перевели в другую школу.

— Какую девочку? — спросил Сергей.—Ты о чем?

— Ну как же, Сережа!— сказала Татьяна Николаевна.— Неужели забыл? Леночка Сизова, помнишь?

— А почему я должен помнить?

— Я думала... Она тебе так понравилась, когда приходила к нам... Ты же сам говорил, что очень хорошая и сообразительная девочка...

— И что дальше?

— Мне казалось, что тебя обрадует это...

— Охотно радуюсь и за тебя, и за Леночку Сизову,— усмехнувшись сказал Сергей.— Ты довольна? Прости, маман, но я не совсем понимаю тебя. Ты низводишь свою жизнь до какого-то патологического уровня, делаешься похожей на обывателя, для которого рождение щенка у соседской суки либо великое счастье, либо трагедия, стоящая трех «Гамлетов».

— Вот как?..— тревожно вглядываясь в лицо сына, тихо вымолвила Татьяна Николаевна.

— На кой черт, извини, ты так разбрасываешься? У тебя что, две жизни?

— Раньше, Сережа, я не замечала в тебе этого.

— Чего ты не замечала?

— Ну... Мне трудно объяснить. Ты всегда казался мне простым, доступным...

— Значит, ошибалась. Кстати, тебе очень хочется, чтобы я был простым и... доступным? — Он терпеть не мог этого слова — «доступность», от него дурно пахло уличной девкой, какие по вечерам болтаются у ресторанов.

— Да, Сережа. Потому что я хотела бы видеть тебя счастливым, а настоящее счастье в простоте.

— Занимательно! Заурядное и простое, как понедельник, счастье. Огромные же у нас с тобой требования к жизни.

У него был свой взгляд на простоту.

Просто — это когда человек сыт, когда в субботу, после баньки, может позволить себе выпить «маленькую» и пару кружек пива, читает репортажи о футболе и хоккее, а также заметки «Из зала суда», слушает радиопередачи «С добрым утром!», откликается на просьбы присылать письма в редакцию какого-нибудь вещания и мечтает выиграть в лотерее «Москвича». Впрочем, лучше «Волгу», но «Москвич» тоже совсем неплохо. Этакая малиновая радость на четырех колесах, которую, если соблаговолит начальник ЖЭКа, можно поста-

вить под окнами на зависть соседям. Ах, как это чертовски приятно — чувствовать спиной взгляды соседей, когда открываешь дверцу собственного автомобиля! Какое человеческое чувство может сравниться с этим?!

Прежде обывателю в его простоте жилось куда труднее. Прежде зависть в соседях было вызвать не так-то легко. Долго и терпеливо нужно было сколачивать деньгу, отказывая себе в воскресном пироге. Теперь за три гривенника можно стать самым уважаемым человеком в доме. Только никому не надо говорить, что выиграл машину. Пусть люди думают, что ты ее купил.

Некоторые не проверяют сразу билеты, растягивая щекотливое удовольствие, а кто-то рассказывал, как некий гражданин, имеющий честь проживать в Тамбове, присылал билеты в Ярославль, чтобы родичи перепроверили их в другой газете. Впрочем, посылал он, разумеется, не билеты, а только их номера. Родичи — хорошо, долгого им здравия, но машина все-таки лучше.

И это тоже счастье, великое счастье ожидания — а вдруг? — простое и неприхотливое, как привычка чистить по утрам зубы.

— Ты путаешь простенькое с простотой, — сказала Татьяна Николаевна. — Найденное у порога не бывает настоящим. Нагнулся и взял. Нет, нет, Сережа, это было бы очень легко. К подлинной простоте люди идут трудными дорогами поисков и ошибок. Ты помнишь, кто-то сказал, что все познается в сравнении? Счастье тоже.

— Искать и ошибаться, чтобы на закате не нужной никому жизни найти холодильник последней модификации?

— Не надо утрировать. Не надо перелицовывать чужие мысли и делать из них удобную для себя мишень. Это нечестно и безнравственно, Сережа. — Татьяна Николаевна никогда не выходила из себя, не показывала своего негодования или недовольства окружающим и не

повышала голоса. Она была убеждена, что в разумной сдержанности и терпимости заключается сила человека. И его ум.— А холодильник тоже необходим, ты ломишься в открытую дверь.

— И в нем жирный кусок говядины!

Сергей посмеивался в душе. Он снисходительно относился к словам и поступкам матери, ему казалось, что она стала чудаковатой и, пожалуй, занудной, как почти все пенсионеры. Работала в какой-то комиссии, проводила в красном уголке жилконторы беседы о воспитании и дополнительные занятия с подростками, ездила с ними на экскурсии, бегала с чужими хлопотами по исполкомам, мирила воюющих супругов и радовалась, если ей удавалось кого-то куда-то устроить или раздобыть для соседнего двора куст акации.

В своем дворе негде было сажать кусты.

— С тобой сегодня невозможно разговаривать, Сережа. Ты крайне резок. Может, у тебя неприятности?

— У меня нет неприятностей,— сказал он.— Но я ненавижу мещанство, каким бы оно ни было. Это низко — жить для желудка, огорчаться, если мясник, сукин сын, подсунул лишнюю кость, и радоваться, если за тридцать копеек удалось выиграть спиннинг. Ну повесь, повесь его над кроватью, любуйся им, черт с тобой! Нет же, он берет за спиннинг деньги, чтобы тут же купить второе, вдесятеро больше билетов в надежде, что в следующий раз выиграет швейную машину, а потом...

Сергей видел однажды.

У газетного киоска на Невском стояла длинная очередь. Покупали газету, где была опубликована таблица. Интеллигентного вида мужчина, который одинаково успешно мог бы сойти за начальника РЖУ, за доцента кафедры иностранных языков, за председателя завкома или министра культуры, с желтым портфелем и в модных цейссовских очках, купив газеты, отошел за угол, достал записную книжку и стал проверять лотерейные

билеты. Мужчина, которого безбоязненно можно сажать в любое руководящее кресло, вдруг потерял все: и важность, и вид наследственного интеллигента, и номенклатурность. Он был охвачен великой страстью — выиграть, во что бы то ни стало выиграть... Кажется, ему повезло. Он замер вдруг, торопливо засунул записную книжку в задний карман брюк, пихнул газету в портфель и, оглядевшись, засеменил к троллейбусной остановке.

— Мне нравится твой пафос, Сережа,— сказала, вздохнув, Татьяна Николаевна.— Во многом ты прав. Но ошибаешься в главном: люди гораздо лучше, чем ты о них думаешь. Надо уметь прощать чужие слабости, но никогда не прощай себе... В этом величие человека. А мещанство... Оно в человеке, в его отношениях с окружающими и к вещам, но не в самих вещах. Кому-то нужен и спиннинг. Все хотят жить по возможности красиво и удобно. Разве это унижает человека? Ничуть.

Сергей молчал. Не было у него охоты продолжать пустой спор, и он к тому же жалел мать. Он понимал, что ей нелегко далась жизнь и это ее спокойствие. У нее не было времени подумать о смысле жизни. Она думала о других, в том числе и о нем, а ее любовь кончилась слишком рано — война.

Это была их первая ссора, и каждый по-своему переживал столкновение. Татьяна Николаевна не спала ночь, пыталась найти ошибку, которую когда-то допустила в воспитании собственного сына; и было ей горько сознавать, что ошибка эта в ее неумеренной любви. Работая всю жизнь в школе, она научилась понимать ребят, а понять сына не сумела. И опыт хладнокровно подсказывал ей: поздно, слишком поздно, уже ничего нельзя поправить, человек состоялся, и каким ему быть — зависит только от него.

Она осторожно приоткрыла дверь. В прихожую из

комнаты Сергея сочился свет. Значит, не спит тоже. Думает?..

Сергей думал. Но, в отличие от матери, не искал ошибки в себе. Он просто мысленно продолжал диалог, потому что не любил неясностей: все должно быть на своих местах. Две противоположные точки зрения на один предмет не могут существовать. Это нонсенс. Разумеется, прав он. Но все-таки лучше доказать, хотя бы и очевидное, чем оставить недомолвки.

Итак, если счастье в простоте, то почему мать не смогла обрести его? Красивая, умная, образованная женщина, она в тридцать лет осталась вдовой с грудным еще Сергеем, и он знал, что ее любили вполне порядочные мужчины. Почему же, зачем она отказалась от своего счастья, которое теперь проповедует? Ради чего?.. Нет, это уже не так-то просто, когда женщина приносит в жертву, пусть даже своему ребенку, собственное счастье. Это уже характер, а разве характер может быть простым?

А вот здесь был тупик. И сколько бы Сергей ни раскладывал, ни расставлял по местам поступки и слова матери, ответ на вопрос получался одинаков: все-таки могут уживаться, соседствовать в мире разные точки зрения на один предмет. Выходит, люди бывают правы каждый по-своему?.. Да, да, подсказывал кто-то, если эта личная правота не приносит неудобств и страданий другим.

Татьяна Николаевна закрыла дверь на ключ и закурила. Она курила давно, но тайком от Сергея. Думала, что он не знает этого. А он знал и, понимая, что мать хочет сохранить в тайне от него свою слабость, молчал.

«Может быть, я все преувеличиваю? — с надеждой думала Татьяна Николаевна.— Ведь Сережа несколько не хуже своих сверстников. А во многом и лучше, пожалуй... Разность свойственна сильным натурам. И потом такое время, такое время... Столько событий за каких-

нибудь десять — двенадцать лет! Такое переварит далеко не каждый умудренный опытом человек. Ведь это все равно что на глазах верующих сбросить на землю их идола — бога...»

И понимала, что за этим слишком уж много внешне-го, легко объяснимого, а у Сергея нездоровая душа.

* * *

Сергей любил мать, как любят единственного близкого человека, но он совершенно не понимал ее. Временами его раздражали разговоры Татьяны Николаевны на всякие отвлеченные темы, ее стремление найти для себя какой-то смысл в жизни, когда это уже никому не нужно, а более всего — ей самой, потому что жизнь-то прошла, нету ее, кончилась.

Каждому свое — вот в чем смысл человеческого существования, на этом держится мир, и надо спокойно смотреть в глаза правде. Не каждому дано быть создателем, творцом, и нечего лезть вон из кожи, чтобы свершить невозможное. Зачем, к примеру, кондуктору трамвая напрягать в непосильной работе свои мозговые извилины, пытаться расшифровать тайну мироздания? Пусть, если есть охота, читает популярные брошюры. В мире достаточно профессионалов-ученых, чтобы охватить знаниями все сложности и загадки бытия. Крылов, несмотря на свою полудетскую наивность и слабость к еде, в этом был абсолютно прав. Ну а если в кондукторе трамвая дремлет до поры потенциальный Спиноза, Гегель или Плеханов?.. Сказки для детей дошкольного возраста. Сергей-то перерос их, он не верит в подспудность таланта. Зато он верит в человеческий интеллект.

Как-то он высказал эти мысли матери. Вовсе не для того, чтобы проверить свои убеждения, нет. Он высказал их с единственной целью — доказать, что мать, занимаясь одновременно десятком разных дел, несвойст-

венных ни ее характеру, ни ее профессии, впустую расходует энергию, льет воду на колесо, которое вращается только для того, чтобы... вращаться.

— Нельзя,— сказал Сергей,— делать одинаково хорошо все. А потому лучше не делать вообще.— Сказано это было таким тоном, который заведомо не допускал ни сомнений, ни возражений. Истина в последней инстанции.

— А Леонардо да Винчи, а Ломоносов...

— Ты сравниваешь несравнимое,— поморщившись, возразил Сергей.— К тому же забываешь об уровне знаний тогда и теперь. О среднем, так сказать, уровне. В сущности, твой Леонардо знал не больше сегодняшнего первокурсника. Но даже и они далеко не всегда и далеко не во всем преуспевали.

— Не знаю, не знаю. Наверно, ты в чем-то прав.— Ей очень хотелось бы, чтобы Сергей был прав. Она с радостной готовностью призналась бы в собственных ошибках и заблуждениях, но мешало какое-то сомнение.— Вот объясни мне, Сережа: должен ли человек заниматься тем, что ему нравится, что ему по душе?

— Все зависит от того, каков КПД его деятельности.

— Ты считаешь возможным оценивать жизнь человека коэффициентом полезного действия?! Но это же кошунство, Сережа! А чувства где же? А мечты?.. Ты подумай, подумай, что случилось бы с человечеством, если бы вдруг исчезли все мечтатели, от которых вроде бы и нет никакой реальной пользы.

— Необходимость, полезность наших поступков — единственно правильная оценка. Все остальное пустота.

— Но как же быть, если человек просто несет другим радость? Если при этом и сам испытывает удовлетворение? Это разве...

— Пусть с богом несет и испытывает,— грубовато сказал Сергей.— Человечеству-то какое до всего этого дело! И оставим решение этой проблемы потомкам.

Его злила так называемая общественная работа матери. Он был уверен, что это занятие не может принести удовлетворения никому, что просто у матери появилось свободное время и она, не зная, куда его деть, пустилась в погоню за тем, что навсегда ушло.

Первые недели после ухода на пенсию Татьяна Николаевна как бы по инерции продолжала жить работой. Почти каждый день ездила в бывшую свою школу, к ним в дом приходили ее ученики, она поила их чаем, ревниво расспрашивала об успехах, а Сергей никак не мог этого понять, и его бесили чудачества матери, он пытался спровадить ее на лето к морю, но она отказалась и вместо отдыха у моря заведовала городским пионерским лагерем. В беседах о жизни, которые Татьяна Николаевна обычно заводила первой, он не видел смысла. Вот и другие пенсионеры тоже любят посудачить о «мировых» проблемах, о войне и погоде, а больше — о молодежи, которая «пошла никудышная, неуважительная и бесстыдная».

Известно, что излишек времени располагает к пустой болтовне и беспочвенным обобщениям.

— Извини, что я отрываю тебя от дела...— Татьяна Николаевна боком протискивалась в комнату, она словно бы старалась занимать как можно меньше места, чтобы не стеснить Сергея.— Мне кажется, что ты отдаляешься от меня...

— Тебе именно кажется.

— Если бы это было так, Сережа! — Она вздыхала и садилась на краешек оттоманки.— Я вижу, я чувствую, что мы делаемся чужими.

— Ты очень мнительная.

— Да, да, конечно...

Ей хотелось встать, подойти к нему, погладить его волосы, приласкать. Она так давно не обнимала сына. Но оставалась на месте, боясь, что он не примет ласки, оттолкнет ее.

— Тебе скучно со мной. Молодым всегда скучно со стариками.

— Ты далеко не старуха.

— Я думала, что мы останемся друзьями на всю жизнь. Знала, что это невозможно, а все-таки надеялась... Родительский эгоизм, тут уж ничего не поделаешь. Вот интересно, Сережа, эгоизм может быть разумным?

— Наверное, может.— Он отвечал односложно, чтобы не вызывать новых вопросов.

— Но тогда это не порок!

— Значит, не порок.

— Взять хотя бы родительский эгоизм...

Сергей сочувственно смотрел на мать. Он начинал всерьез подумывать о том, что ей следует показаться психиатру. Однажды он даже заикнулся об этом.

— Ты напрасно думаешь, Сережа, что у меня от старости... Просто человек хотя бы иногда обязан задуматься о своей жизни, проверить свои поступки. Обычно в молодости об этом не думают. Ладно, я пойду. А ты работай, работай. Труд, приносящий удовлетворение и радость,— это самое прекрасное в жизни.

Она уходила, осторожно прикрывая за собой дверь, и он видел, что ей не хочется уходить, понимал даже, что жесток к матери, к ее в общем-то объяснимым человеческим слабостям, но никогда не задержал ее, не остановил. А работать после ее ухода тоже не мог. Брал первую попавшуюся под руку книгу и ложился на оттоманку. Оттоманка натруженно взвизгивала, гудела выпирающими пружинами, но Сергею было удобно: за многие годы, пока он спал на ней, она обмялась по форме его тела, она как бы росла вместе с ним, и ему всегда было хорошо спать на этой старой-престарой оттоманке. И тогда, когда он был еще ребенком, и теперь, когда стал взрослым, стал человеком, с мнением которого считаются, к словам которого прислушиваются...

II

Говорят, что все начинается с вывески. В этом смысле газете «Красный пролетарий» повезло: у входа в серое четырехэтажное здание, где помещается редакция газеты, много разных вывесок, но самая богатая, самая большая и самая яркая принадлежит именно «Красному пролетарию». Ее видно издали, с противоположного берега реки.

Зато газете не везет с редакторами. Они меняются так часто, что даже Василий Иванович Добрых, которого называют ходячим справочным бюро, не помнит всех редакторов, хотя работает в газете, по его словам, с незапамятных времен. Одно время он был заместителем редактора, но вспоминать об этой своей деятельности не любит, а если очень уж настойчиво его донимают распросами коллеги помоложе, отшучивается:

— Зам не сам, был и нету.

Человек он покладистый, незлобивый, и, пользуясь этим, его часто разыгрывают. Особенно усердствует заведующий промышленным отделом, его непосредственный начальник, Виктор Новиков.

— Где тебе удалось достать такую сладкозвучную фамилию, Василий Иванович.

— По наследству досталась.

— Везет же людям. Прямо не фамилия, а орех в шоколаде. Эх, кабы мне твою фамилию, я бы и горюшка не знал.

— Купите, уступлю дешево, как хорошему человеку,— откликается Василий Иванович.

— Купить не проблема, хотя бы и задорого,— денег не жалко. Но уж больно потрепанная у тебя фамилия. Хотелось бы чистенькую, с иголки.

— Поживете с мое, и ваша изрядно потреплется.

Рабочий день в редакции начинается в девять. Последним, как закон, появляется редактор. Он именно по-

является на собственном «Москвиче» и, бодро насвистывая, легко избегает на третий этаж.

К нему не заходят без вызова, разве что в случае совсем уж крайней нужды. Кажется, такой порядок устраивает всех.

Раз в неделю, по вторникам, ровно в двенадцать начинается «летучка», и ровно в двенадцать — ни минутой раньше, ни минутой позже — в самую большую комнату, где как раз и помещается промышленный отдел, входит редактор. Он оставляет дверь открытой (знает, что кто-нибудь поднимется и закроет) и, приостановившись, цепко и проворно оглядывает подчиненных. Потом садится, широко расставив ноги и высоко вздернув штанины. У него всегда красивые носки, и все в редакции считают, что он нарочно так высоко поднимает штанины.

В тот вторник, откуда, в сущности, начинается вся история, ничего не изменилось: в двенадцать редактор вошел в комнату, мгновение постоял, огляделся и сел на свое обычное место, поближе к двери.

— Кто у нас сегодня дежурный критик? — играя ключами на каком-то экзотическом брелке, спросил он. Хотя конечно же прекрасно знал. А в слово «критик» он вкладывал какой-то особенный, может быть иронический, смысл, и на его лице, с трудом просачиваясь сквозь изгородь мелких морщин, являлась улыбка. Он миловал этой улыбкой и казнил.

— Можно начинать? — поднимаясь, спросил Новиков. Он и был очередным докладчиком.

— Валяйте, Виктор Павлович. — Редактор кивнул и закрыл глаза. Он как бы показывал своим видом, что происходящее имеет к нему лишь косвенное отношение. Он присутствует при сем, как старший и более опытный товарищ по работе, терпеливо слушает других, а вообще-то его коллеги могут располагать полной свободой действий. Он безгранично доверяет им и, пожалуй, во-

все не приходил бы на «летучки», если бы не обязывало положение и если бы он не ощущал ответственности за все, что делается в редакции.

Сергей сидел у окна. А окно выходит на набережную. Летом, когда на реке появляются всякие там каное и байдарки, бывает приятно смотреть на мускулистые, загорелые тела спортсменов, а больше — спортсменов в купальных костюмах. Издали все они кажутся красивыми, фигуры их — идеальными, а улыбки зовущими и многообещающими. Расстояние скрадывает детали, частности, сохраняя только общие формы. В этом все дело, и Сергей понимает, что поддается элементарному обману, но все-таки ему нравится смотреть на спортсменов.

Легкие, изящные лодки торопливо снуют по реке, как по проспекту снуют машины, и весла — раз-два, раз-два — то взлетают кверху, роняя с разноцветных лопаток радужные брызги, то опускаются в голубоватую воду. Сергей подолгу смотрит в окно, и в голове рождаются какие-то образы, сравнения, далекие от лодок, от реки и спортсменов, смутные и потому непонятные, но все-таки вызванные к жизни стремительным, почти воздушным движением.

Необъяснимую радость испытывает Сергей, когда появляются «восьмерки»: в рабочем ритме гребцов, дружном и слитном, как цельный организм, он угадывает большой смысл, и ему наплевать, какая из лодок придет первой к финишу, его радует красота и целесообразность этой захватывающей борьбы. Именно — суть в красоте самой борьбы, в изяществе движения.

Но все это бывает летом, а сейчас за окном скука. Серая, промозглая скука, однако Сергей все равно любит смотреть в окно, потому что в нем продолжает жить летнее — лодки, солнце, голубая вода, спортсмены и спортсменки, и это движение...

Он плохо слушал, и голос Новикова был далеким и как бы даже незнакомым, воспринимался как нечто постороннее, а слова повисали в пустоте. Для Сергея это были просто слова, каждое само по себе, не обремененные смыслом, и они так же незатруднительно и бесследно исчезали из памяти, как и входили в сознание.

Он умел слушать, но в то же время и не слушать, думая о своем, фиксируя чужие мысли лишь для того, чтобы вовремя поддакнуть. Ненужное не оседало в памяти, не загромождало ее, выветриваясь, как выветривается на морозе запах мыла из белья. Он гордился этим своим умением, а «летучки» не любил.

Надо работать. Труд создал человека, и каждый должен заниматься своим делом.

Сергей обдумывал статью, которую собирался написать этой ночью. Ему нравится работать именно ночью. Тихо в комнате, тихо и темно на улице, только на кухне — кап-кап, кап-кап — падает из крана вода, да выше этажом изредка кто-то пройдет в уборную, потом долго грохочет в трубах. И снова тишина. Перо легко, вольно бежит по бумаге, и мысли спешат выплеснуться из головы. Рука не поспевает за мыслями, и все это: тишина, капающая вода из крана и даже грохот в канализационных трубах — все это рождает приятную одержимость, уверенность в себе, и Сергей, отгоняя усталость и набегающий сон крепким кофе или чаем, может просидеть за работой до рассвета. Ему дороги ночные часы полного уединения, отрешенности от суеты и непремной спешки, на которую обречен житель большого города. Днем пишется гораздо хуже. Днем одолевают необязательные мысли и законная, дворовая жизнь. В последнее время к привычным уже помехам прибавилась еще одна: ремонтируют крышу и кровельщики устроили во дворе мастерскую.

Тишина — великое благо, она союзница мысли, а способность думать и рассуждать, способность анализировать и сравнивать — разве не это самое главное в жизни? От кого-то Сергей слышал: «Ночь дана для отдыха и наслаждений». Ну что ж, если так, значит, думающий человек должен отнимать у отдыха и наслаждений часть принадлежащего им времени.

Из-под моста выполз карапузый буксир с опущенной трубой. Он густо коптит и крошит форштевнем тонкий, неустоявшийся лед. Обломки плавно вздымаются на волнах, и река оживает, словно бы пробуждаясь от кратковременной спячки — мороз взялся неожиданно три дня назад.

— Что еще? — говорил Новиков, как бы спрашивая себя. — Вот статья Болдырева. О ней мне хочется поговорить особо.

Сергей насторожился. Ему было приятно, когда говорили о нем или о его работе, он привык к похвалам, однако сейчас он почувствовал, что Новиков вовсе не собирается его хвалить.

— Тема заслуживает внимания. Клубная работа в том виде, в каком она существует, на мой взгляд, изжила себя, — продолжал Новиков. — Всякие там нравоучительные беседы и лекции, регламентированные диспуты по проблемам поцелуев, проводимые к тому же под бдительным оком ответственного за мероприятие, абсолютно никому не нужны. Это ясно. Лично я не вижу ничего худого в танцах. Почему бы вообще клубам не стать своеобразными барами, что ли, где можно бы танцевать, слушать эстрадную музыку?.. Но это к слову. А я вот прочитал статью Болдырева и задумался: о чем она? С кем или с чем автор борется, за что, как говорится, воюет?.. О том о сем, а в общем-то ни о чем. Немножко пригладил чуб председателя завкома, чуть-чуть взъерошил голову завклубом, но никому не принес пользы, никого, прошу прощения, не разозлил...

— Понял? — наклоняясь к Сергею, шепнула Зиночка Сторожевская, которая считалась литсотрудником, но фактически была секретарем у редактора.

Сергей промолчал.

— Между прочим, я выступал против публикации этой статьи,— сказал Новиков.— Но... у меня складывается впечатление, что Болдырев потихоньку скатывается на путь дешевенького успеха. Он словно задался целью быть одинаково хорошим для всех. Возможно, это хорошо, когда речь идет об отношениях в семье, но работа в газете требует иного подхода. Мне совершенно безразлично, какая была погода, когда автор статьи ехал в этот клуб. Я бы хотел знать, что все-таки делается в клубе и какова точка зрения Болдырева...

Его перебил редактор:

— У вас все, Виктор Павлович?

— Да, у меня все,— резко ответил Новиков.

* * *

Река успокоилась, и раскрошенный буксиром лед затягивал черную воду. От противоположного берега медленно шел мальчишка с ученическим ранцем за плечами.

«Куда лезет, сопля гороховая? — рассеянно подумал Сергей.— Провалится ведь!..»

А на берегу собиралась уже толпа зевак. Мальчишке что-то кричали, а он то ли не слышал, то ли не хотел слышать и спокойно шел вперед, размахивая мешочком.

— Кто хотел бы поспорить с докладчиком? — спросил редактор, и Сергей понял, что все ждут его ответа на критику. А у него не было никакого желания отвечать.

Мальчишка был совсем близко от полыньи.

Сергей вдруг рванулся с места, уронил стул, на котором сидел, и выбежал из комнаты. В коридоре он едва

не сбил с ног девушку, шедшую ему навстречу, крикнул «Простите!», она послала вдогонку «Сумасшедший!», но он не услышал, он был уже на лестнице. На улице его задержал поток машин, а когда поток схлынул, освободив набережную, Сергей увидел мальчишку: он стоял на другом берегу, и его отчитывал мужчина в каракулевой серой папахе, в длинном старомодном пальто.

Отчего-то Сергею сделалось стыдно. Казалось, что прохожие оборачиваются и смотрят на него с насмешкой. «Тоже герой! — подумал Сергей о себе. — Захотелось прочесть заметку в собственной газете, как спас ребенка? Дурак».

Нужно было возвращаться в редакцию, а там придется объяснять идиотский свой поступок. Не может же он сказать, что побегал спасать ребенка, который и не собирался тонуть. Вот он, шагает себе по мосту, улыбается. Отодрать бы его за уши...

Сергей не спеша поднялся на третий этаж, надеясь, что «летучка» кончилась. Он хотел незаметно проскользнуть в свой отдел, но в коридоре столкнулся с Зиной.

— А ты герой, Болдырев! — восторженно сказала она. — Никогда бы не подумала, что в нашей редакции есть такие смелые мужчины. Неужели полез бы в воду, если бы мальчик провалился?..

— Какой мальчик? — Сергей сделал вид, что не понимает Зиночку. — Я увидел одного знакомого, который мне очень нужен...

— Не скромничай, Болдырев. Все сразу догадались, куда ты побегал.

Сергей что-то буркнул и пошел к себе.

Новиков поднял голову и улыбнулся.

— А, старик. Ты мне нужен. Сейчас кончу абзац, ты покури пока. — Он положил на стол яркую пачку: — Американские, ничего.

Сергей взял сигарету и отошел к окну. По набереж-

ной деловито катились машины. Полынья совсем затянулась. Мальчишки не было, ушел. Все было как обычно.

— Не обиделся? — сказал за спиной Новиков.

— За что? — Сергей пожал плечами.

— За критику.

— Слава богу, вкусам пока не грозит стандартизация.

— А все-таки злишься.

— С чего ты взял?

— Это слишком видно, чтобы не увидеть. Я тебе хорошего желаю, старик. У тебя же отличное перо, ты мог бы выдавать блестящие вещи, а пишешь иногда какую-то чепуху на уровне Василия Ивановича.

— Благодарю за откровенность, — сказал Сергей. — Я тебе был нужен именно для этого?

— Нет, для другого. Никак не пойму, зачем тебе-то размениваться? Ведь читателям наплевать, какой ногой ты пишешь. Читатель ищет мыслей, проблем...

— Оставь патетику. Терпеть не могу сентиментальной моралистики. Это по департаменту Зиночки.

— Кстати, ее ты окончательно поверг. Почему бы не воспользоваться, а?.. Мужчина должен всегда быть готовым пойти навстречу пожеланиям женщины. Будь гуманистом, старик! Ладно. Я ведь не собираюсь учить тебя. Но право говорить то, что думаю, позволь оставить за собой.

— Позволяю, — усмехнулся Сергей.

— Ну и лады. А к тебе я с просьбой. У тебя ведь две комнаты?

— Две, а что?

— Приятель, понимаешь, женился, а жить им негде. Вечная история с этими влюбленными. Говорил, что сначала нужно построить шалаш, а потом тащить туда женщину. Где там!.. — Новиков махнул рукой. — Приспичило. Не пустишь их на время, а?..

«Что он за человек? — думал Сергей, — Наговорил черт знает что, а теперь лезет с просьбой!..»

— Ну как, старик?

— Где он работает? — спросил Сергей, как будто это имело какое-то значение.

— Археолог. А жена еще студентка. Они хорошие парни, старик. С ними не будет никаких хлопот, им бы только переночевать. — Новиков засмеялся и подмигнул Сергею.

— Пусть живут, места хватит. — У него была небольшая двухкомнатная квартира: тринадцать и десять метров. Тринадцатиметровая комната, которую раньше занимала мать, после ее смерти стояла пустая. Сергей очень редко заходил туда. Ему хватало десятиметровой.

— Ну, спасибо, старик! Удружил, — сказал Новиков. — А на меня все-таки не дуйся. Пошли пожужим чего-нибудь, коньячку тяпнем.

— Не хочется.

Новиков ушел в буфет. Сергей вдруг почувствовал себя одиноко. Впрочем, не совсем вдруг. Чувство одиночества, тоски в последнее время приходило часто, слишком даже часто. И было обидно. Обидно, что люди вспоминают о тебе, только когда ты им нужен. Вот понадобилась Виктору комната для приятеля, и он вспомнил. И слова хорошие нашел, а совсем недавно говорил другое... А что другое он говорил? Да ведь и комната, наверное, понадобилась не сию минуту, не после «летучки», а он все же выступил, хотя знал уже, что будет просить за приятеля... Скорее всего, он специально не просил до «летучки»... Непонятный человек. Но в чем-то он прав. Может быть, прав в главном. Сергей понимает это, он же не дурак, чтобы не понять. Но мог бы Виктор и не вылезать с критикой перед разными идиотами. Мог бы сказать один на один, по-товарищески.

Но в том-то и дело, что они не товарищи. А почему?..

Вот этого Сергей не знает. Казалось бы, они просто обязаны быть товарищами. Нет же, коллеги, и только. Вообще, как это получилось, что после смерти матери он оказался совершенно одинок?.. Совершенно. Правда, в последнее время Сергей и с матерью не был особенно близок. Но все-таки — как могло случиться, что, когда наступает затяжной осенний вечер, Сергей не находит себе места и мечется, мечется по квартире, явственно ощущая разъедающую душу тоску, тревогу, как будто вот-вот должно что-то произойти...

III

Молодожены, за которых просил Новиков, явились в тот же вечер.

— Игорь, — представился он. — А это жена, Зоя. Вам говорили...

— Романовы, — уточнила Зоя. — Мы от Виктора Павловича Новикова.

«Ничего, симпатичная Зоя, — отметил между прочим Сергей. — У этого археолога неплохой вкус».

— У родителей одна комната, им и без нас тесно, — объяснил Игорь смущенно. — Мы вступили в кооператив, скоро должны получить.

Стояли в прихожей, и Зоя все заглядывала в кухню. Наконец она не выдержала:

— Можно туда пройти? — и покраснела.

— Будьте как дома, — сказал Сергей. Ему хотелось быть приветливым, ему опостылело одиночество и тоска. А Романовы производили хорошее впечатление. По крайней мере, приятное.

Зоя глазами гладила газовую плиту и еще матерью начищенные кастрюли. Она заглянула в стол, где лежали ножи и вилки, а набор жестяных банок для крупы и специй, подаренный матери сослуживцами, когда она выходила на пенсию, привел Зою в умиление. Вообще

в ее поведении было нечто такое, будто неожиданно исполнилась давняя ее, заветная мечта, будто она вошла не в кухню, где чистят картошку, моют грязную посуду и варят борщ, а в эту свою мечту, которая как храм.

— Игорь, Игорь, ты посмотри, какая прелестная стиральная машина! А ванна!.. Кругом кафель, прямо дворец, верно, Игорь? — И уже Сергею: — Мне можно будет пользоваться машиной? Правда, говорят, что в машине белье сильно рвется...

— Этого я не знаю,— сказал Сергей. Что-то ему стало не нравиться в Зое.

— Конечно, вы же сами не стираете.

— Зоя росла в детском доме,— как бы оправдываясь за нее, сказал Игорь. Он неуклюже переминался с ноги на ногу.— А сейчас в общежитии живет.

— И телефон есть. Все удобства, и в центре города.— Зоя вздохнула.— А сколько вы будете с нас брать?

— В самом деле,— сказал Игорь.— Мы не можем дорого платить. У Зои стипендия, и еще кооператив. Мы уже залезли в долги. Я понимаю, вас не интересуют наши долги...

— Знаете, ребята, я не торгую комнатами,— сказал Сергей.— Живите, и все. Вот ваша комната.— И открыл дверь: — Прощу!

Молодожены переглянулись и дружно, как по команде, пожали плечами.

— Так мы не согласны,— сказал Игорь.— Нам необходимо знать заранее, чтобы мы могли рассчитать наши возможности. А то уже был у нас случай...— Зоя толкнула его локтем, и он, смутившись, замолчал.

А случилось с ними вот что. Они почти месяц ходили на «толчок», где сдают и обменивают комнаты. Наконец им повезло: интеллигентная женщина согласилась сдать им комнату, а когда они зайкнулись насчет оплаты, она замахала руками. «Что вы, молодые люди, живите себе на здоровье! Там будет видно, как-нибудь сойдемся...»

Они прожили у этой милой, интеллигентной женщины две недели. Однажды утром она постучалась к ним и спросила, довольны ли они, все ли хорошо. Разумеется, они были довольны. Тогда хозяйка скромненько так, стыдливо сказала, что с них причитается сорок рублей — двадцать за прошедшие две недели и двадцать вперед. И вообще было бы лучше, если бы они платили всегда вперед, Это для всех удобнее. «Ради бога, не подумайте, молодые люди, что я вам не доверяю, я ведь прекрасно вижу, кого можно, а кого нельзя пускать, но... Вы поймете меня, я знаю. У меня сын в армии, хочу посылочку ему собрать, а теперь все так дорого!..»

Пришлось оставить интеллигентную хозяйку и снова искать. И вот тут им действительно повезло: Новиков тоже бывал на «толчке», менял квартиру (не ладилась у них жизнь с тещей), там они и познакомились.

Теперь же, когда Сергей отказался назвать стоимость комнаты, молодожены засомневались.

— Так мы не согласны,— повторил Игорь.— Лучше сразу назовите сумму.

— Но я ведь по-русски сказал, что ничего не собираюсь с вас брать. Меня попросил друг...— Он осекся. Все-таки Новиков не был его другом. Сослуживец, коллега, в лучшем случае — товарищ по работе. Не более того.

— Но такого не бывает, чтобы даром сдавали комнаты,— с сомнением проговорила Зоя.

— А я и не сдаю.

— Нам же вот сдаете.

— Тоже не сдаю. Просто пускаю временно пожить.

— Но с какой стати?

— Потому что вы друзья Виктора.

— Видите ли...— пробормотал Игорь.— Дело в том, что мы почти не знаем вашего товарища. Мы с ним знакомы всего три дня.

— Любопытно... Очень любопытно. А впрочем, какое это имеет значение? Вам негде жить, у меня есть сво-

бодная комната. Будем считать, что вам повезло. Мне тоже. Чертовски надоело одному.— Сергей улыбнулся.

— А вы знаете, сколько стоит на толкучке самая дешевая комната? — спросила Зоя.— Тридцать рублей!

— Да,— сказал со вздохом Игорь.— Три шкуры дерут.

— Вы хотите, чтобы и я драл вашу шкуру?

— Но хотя бы символическую плату вы все-таки должны брать...

— Как за породистого щенка? Хорошо. Платите мне по тринадцать и две десятых копейки за квадратный метр, устраивает?.. Давайте переезжайте, ребята. Хватит болтать.

Игорь покраснел, и в его глазах появилось что-то виновато-трогательное.

— Собственно, все наше имущество при нас... Не успели обрасти.

— Там есть все необходимое,— сказал Сергей.— Постель и прочее. Чистое белье в комод.

— В комодер! — воскликнула Зоя.— Слышишь, Игорек, какая прелесть — комод! А вы... серьезно? — спросила она, глядя на Сергея. Нет, она не могла поверить, что происходящее не сон.

— До сих пор считалось,— ответил Сергей,— что мне как раз не хватает чувства юмора.

IV

На туалетном столике в прихожей появились всякие женские безделушки, в ванной — коллекция зубных щеток и полотенце. А по субботам Зоя устраивала генеральные уборки. С необъяснимым удовольствием она орудовала пылесосом и тряпкой, она не работала — она играла, вполголоса напевая всегда одну и ту же песенку. Наблюдая за ней, Сергей думал: как это можно радоваться, делая грязную работу, от которой человек должен освобождаться? Но Зоя, в ярком целлофановом

переднике и в красном (почему именно в красном?) платке, нравилась ему, он любовался ею и, пожалуй, в глубине души завидовал Игорю, его влюбленности, его счастью, которое Игорь не умел или не хотел скрывать.

Зоя напоминала Сергею бойкую девочку-подростка из какого-то фильма, где все было пестрой, изошренной неправдой, глупейшей буффонадой, рассчитанной, очевидно, на дураков,— все, кроме этой девочки-подростка, которая много смеялась и плакала, снова смеялась и снова плакала, бродила — настоящая, живая — по ненастоящей Москве, мыла чьи-то окна и тоже, как Зоя, в переднике и красной косынке, напевала веселую песенку о красивом парне с голубыми глазами...

Иногда появлялись мысли, что рядом с ним могла бы жить такая же красивая женщина, которая зовуще улыбалась бы ему, Сергею, а не Игорю, и он спешил бы по субботам домой, чтобы не прозевать уборку.

А вообще-то Романовы первое время почти не бывали дома. Приходили очень поздно и скрывались в своей комнате. А Сергею было скучно. Он ждал их по вечерам, прислушиваясь к шагам на лестнице, и никогда не ложился спать раньше, чем они возвращались. Но это была не прежняя тревога и не страх, от которого как-то можно спастись, хотя бы бегством, что ли. Это было тоскливое, удручающее чувство отрешенности от жизни и собственной ненужности. В такие вечера Сергей с вожделением смотрел на телефон, в надежде, что кто-то позвонит. Не звонили. А если и раздавался телефонный звонок, наполняя квартиру неожиданным треском, Сергей заранее знал — не ему. Но к телефону подходил. Спрашивали «кого-нибудь из Романовых», и он отвечал, что их нет дома. А трубку клал на место не сразу. Слушал короткие, резкие гудки.

И он не выдержал. Однажды, когда молодожены вернулись особенно поздно, вышел в прихожую.

— Добрый вечер, господа присяжные заседатели.

Они были мокрые с головы до ног, Зоя вытирала лицо, а Игорь неестественно улыбался, как мальчишка, пойманный с поличным в чужом огороде.

— Ты еще не спишь?..

— Скажите, кому нужно ваше пижонство?

— Какое пижонство? — Игорь часто моргал, а Зоя делала вид, что ищет что-то в сумочке.

— Если бы вы мне мешали, — сказал Сергей, — я бы просто-напросто не пустил вас.

— Ты вот о чем! — облегченно вздохнув, проговорил Игорь. Он-то подумал, что они тревожат Сергея, возвращаясь так поздно. — Дела, понимаешь... — Он развел руками. — Устаем, как собаки.

— Когда устают нормальные люди, они сидят дома, отдыхают после трудов праведных, а не шляются по улицам в такую непогоду. — Он знал, что говорит, потому что видел этим вечером Романовых, когда бегал за сигаретами. Они мило прогуливались под проливным дождем.

Романовы стали приходиться раньше. Зоя вдруг увлеклась кулинарией и часами возилась на кухне с поваренной книгой. Она лепила какие-то пончики-бублики, варила фантастические супы преимущественно из восточной кухни, а иногда потчевала Сергея и Игоря то настоящим шашлыком, то пловом. Кажется, она была очень счастлива, а Сергей никак не мог определить своего к ней отношения. Это упоение хозяйственными заботами, в том числе стиркой, что особенно удивляло Сергея, какие-то малюсенькие бабьи радости... Но в то же время Зоя неплохо знала литературу, при случае высказывала оригинальные суждения, прилично рисовала, и в ее акварельных миниатюрах угадывалась острота зрения и, пожалуй, свое видение окружающего мира. Но как же это?.. Сергей не допускал совмещения столь разных, столь далеких друг от друга интересов, и он решил, что

Зоя просто не нашла главного, в ней живет стойкий инстинкт предков (женщина есть женщина), но и уже намечается победа интеллекта над меркантильной, обывательской жадной семейного уюта и благополучия. Именно так. А пока Зоя делает все на среднем уровне. Ни плохо ни хорошо. Переходной период. Все его переживают. Одни раньше, другие позже.

Вот с Игорем ясно. Это образованный человек, фанатично влюбленный в свою профессию. Выдержанный, уступчивый в быту. Пожалуй, чуточку больше, чем это нужно, скромный. Таких всегда отталкивают локтями, а они при этом извиняются. Впрочем, вряд ли Игорь даст себя оттолкнуть на работе. А это главное.

Иногда они сражались за шахматной доской. Но силы были слишком неравными: Сергей легко выигрывал даже без ладьи.

— Историк, а в шахматы играть не умеешь,— дразнил он Игоря.— Говорят, древние любили шахматилки?

— Все относительно.

— История тоже? Кстати, Игорь, не скучноватое это дело — археология? Там — пыль веков и все такое прочее, а здесь — жизнь, темпы...

— Кто-то должен отряхивать и пыль.

— А это нужно?

— Что? — не понял Игорь.

— Ну, пыль отряхивать.

— Ты хочешь сказать...

— Именно: кому нужна археология в принципе?

— Всем.— Игорь с недоумением смотрел на Сергея.

— Насчет всех положим,— усмехнулся Сергей.— Я, например, не испытываю никаких затруднений от того, что не общаюсь с твоей наукой. Есть она, нет ее...

— Ты, конечно, шутишь?

— Нет, вполне серьезно. Ведь я живу в сегодняшнем мире, меня волнуют сегодняшние проблемы.

— Но именно археология вернула людям...— Игорь нервничал и потому терялся, не находил слов.

— Знаю,— сказал Сергей, взмахнув рукой.— Бесценные памятники материальной и духовной культуры наших отдаленных предков. А что, увидав эти памятники, пощупав их, люди стали счастливее, у них прибавилось, прости, хлеба?.. Или, может быть, предкам стало легче?.. Когда-нибудь в далеком будущем твои коллеги найдут останки нашей цивилизации и среди всякой рухляди наши с тобой черепушки...

— Мне кажется, ты озабочен личным бессмертием? Не рановато ли?

Сергея обидели эти слова, однако он сдержался и попытался свести все к шутке.

— Сам не позаботишься,— сказал он,— кто же догадается!

На кухне Зоя гремела посудой и, как обычно, вполголоса напевала свою веселую песенку. Игорь бесцельно переставлял на доске фигуры. Он понимал, что Сергей пошутил, но все-таки, казалось ему, в этой шутке был и какой-то скрытый смысл.

— Бессмертие человека в его делах,— как бы размышляя вслух, обронил он.

— Ну! — насмешливо сказал Сергей.— Ты слишком всерьез принимаешь все. Я ведь не о себе, вообще. Допустим, по форме черепной коробки можно восстановить приблизительно облик человека, но что можно узнать о самом человеке, о личности?.. Это наука о прошлом человечества, а я бы предпочел науку о человеке.

— Минутку! Во-первых, не познав прошлого, нельзя понять настоящего — это же аксиома. Во-вторых... История народа — это, в конечном счете, и биография человека. Ведь человек, или, как ты говоришь, личность, не существует сам по себе, он часть целого. А целое — это тоже аксиома — может дать представление о части. Как и часть о целом.

— Занятно.— Сергей подпрыгнул на оттоманке, и пружины застонали.— Получается, что человек вроде как унифицированный узел, деталь крупнопанельного здания! Нашел кусок штукатурки, определил, к какой части здания этот кусок принадлежал, по этой части определил стандарт и серию, и — пожалте! — написана биография личности. Поточный метод.

— Ты воюешь с ветряной мельницей,— спокойно возразил Игорь.— В любой науке обязателен элемент относительности, даже в математике. Ты знаешь это не хуже меня. Абсолютная истина непознаваема.

— Вот, вот! — подхватил Сергей даже как бы с радостью.— Это обстоятельство и позволяет вам делать строго научные выводы на основании черепка от ночного горшка, найденного в мусорной яме. Смешно и грустно.

— Ничего смешного. Разумеется, одна случайная находка — это только случайная находка, и ничего более. Никакой ученый, если это действительно ученый, а не шарлатан, не станет на основании этого делать какие-то выводы. Но сумма находок — научный факт. Иногда открытие.

— Почти сдаюсь.— Сергей рассмеялся и поднял руки.— Убедил. Пожалуй, если бы мне снова пришлось выбирать, я бы пошел в археологи. Мне уже нравится оказывать человечеству помощь в осмыслении настоящего и грядущего с точки зрения динозавра.

— Не надо уподобляться Ивану, не помнящему родства,— сказал, поморщившись, Игорь.— Тебе это не к лицу.

— Извини. И все-таки я не могу понять: неужели интересно сидеть на корточках и сдувать пыль с черепков!

— Да разве дело в этом. Ты что-нибудь слышал о Шлимане, о Говарде Картере?..

— Шлиман, это который нашел Троию?

— Не только Трюю.

— А этот, Говард...

— Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона. Именно после его открытия ученые всерьез занялись изучением Древнего Египта. Согласись, что это немало важно. Но я хочу рассказать тебе о самом Говарде Картере. Если ты не против.

— Расскажи.

— Ты знаешь, что Тутанхамон был молод, когда умер. А после него осталась еще более юная вдова. В Египте существовал закон, запрещающий женщине входить в гробницу фараона. Считалось, что женщина, ступившая в усыпальницу, оскверняет святыню. Но о любви Тутанхамона и его красавицы-жены складывались легенды, и жрецы сделали для нее исключение. Она положила на саркофаг букет незабудок. Вскоре она тоже скончалась... В 1922 году экспедиция лорда Карнарвона и Говарда Картера нашла гробницу Тутанхамона, а затем и усыпальницу его жены. На ее саркофаге лежал точно такой же букет незабудок, какой она положила на саркофаг мужа. Солнечный свет, проникнув в подземелье, осветил необычайной красоты лицо, и оно вдруг ожило... Свидетели рассказывали, будто бы на лице даже появилась улыбка и вспыхнул румянец... Говард Картер наклонился и поцеловал мумию. А через несколько дней скончался.

— Ясно,— сказал Сергей.— Святая незапятнанная любовь отомстила коварному соблазнителю.

Игорь промолчал. Дождь колотил по карнизу. Ветер стучал антенным кабелем по стене. В комнате было сумрачно. Сергею вдруг сделалось страшно. Он поежился. В это время зазвонил телефон, и он поспешил в прихожую.

Женский голос попросил позвать Зою.

— А кто спрашивает?

— Игорь, это ты?

— Нет, это не Игорь.

— А-а, товарищ Болдырев! Передайте Зое трубку и скажите, если вам так хочется, что ее просит Наташа.

Ночью Сергею снилась мумия с прекрасным румяным лицом, которая жаловалась, что ей тесно и душно в саркофаге. Голосом незнакомой Наташи она просила, чтобы ей распеленали руки. Кто-то лохматый, похожий на обезьяну или, скорее, на снежного человека, освободил ее руки и стал ломать их, перегибая в локте через свое колено. Сергей явственно слышал, как хрустели, ломаясь, кости...

Наутро он пришел на работу с тяжелой головой. В редакции его ожидало приятное известие: очерк, который он посылал на конкурс, получил вторую премию.

Первым его поздравил Новиков.

— Рад за тебя, старик,— сказал он.

Потом поздравляли другие, в том числе и Зиночка, а редактор, чтобы подчеркнуть свое особенное к Сергею расположение, пригласил его в кабинет.

— Молодцом, Болдырев! — Он долго тряс Сергею руку.— Я всегда верил в тебя.

— Спасибо, Георгий Константинович.

— Давай, Болдырев. Я на тебя надеюсь.

V

Сергей открыл дверь и увидел девушку.

— Включите же свет,— сказала она.— Здесь темно, как в гробу.

Сергей отступил чуть назад, в глубину прихожей, и включил свет. Девушка вошла. Замок сухо щелкнул, и вот тут-то Сергей догадался, что это и есть Наташа, с которой он разговаривал по телефону. Правда, он представлял ее не такой. А скорее, вообще не думал о ней. Теперь же, когда она стояла перед ним, отчетливо

вспомнил и телефонный разговор, и голос ее — низкий, басовитый.

— У вас найдется вешалка, на которую можно повесить пальто? И заодно мужчина, который догадается поухаживать за дамой.

Сергей принял пальто и повесил на олений рог.

— Очень симпатичные рога,— сказала она, поправляя перед зеркалом прическу.— Вы, разумеется, сами убили оленя, который носил эти рога?

— Нет, не сам.— Его начинала раздражать манера Наташи задавать вопросы.

— А я-то подумала!.. Теперь модно ездить на охоту. Вы хозяин? — Она потрогала кончик носа, он был немного красный.— Фу, как у алкоголика. Стыд. А почему вы не отвечаете на мой вопрос?

— Не понял всей глубины вашего вопроса.

— Но разве я недостаточно ясно выразила свою мысль? — Она достала из сумочки пудреницу и припудрила нос.— Теперь нормально. Между прочим, меня зовут Наташа. Наталья Осиповна. А вы Сергей Болдырев, верно? Будущий знаменитый журналист, звезда публицистики и так далее. Я не ошиблась?

— Вы удивительно проницательны,— буркнул Сергей.— Вам бы в таборе родиться, цены бы вам не было.

— Табор — это замечательно. Обожаю кочевую жизнь: костры, песни, гитара, луна!.. А вот астрологию не люблю.

— Жаль.

— Чего вам жаль?

— Что вы не гадалка.

— Хотите узнать свою судьбу?

— Не горю желанием.

— А вот я горю,— сказала Наташа.— Хоть бы одним глазочком заглянуть в свое будущее!.. Нет, лучше не надо. Неинтересно будет жить. Романовых нет?

— Так точно, Романовых нет! — Сергей даже каблуками стукнул. — Какие еще будут приказания?

— Фу, какой вы противный, Болдырев. Или вы по совместительству в цирке служите? Блестящее и редкостное сочетание: журналист и паяц.

— Если вам нужны Романовы, — еле сдерживаясь, сказал Сергей, — можете их обождать. Дверь к ним в комнату направо. Включите телевизор и смотрите многосерийный фильм, сегодня девятнадцатая серия, в которой совершается восемнадцать убийств. А меня прошу извинить.

— Вы не слишком учтивы для мужчины, — проговорила Наташа, — но достаточно любезны для квартирохозяина. Примерно таким я вас и представляла. А по телевизору сегодня хоккей. Но вы, конечно, презираете спорт и считаете спортсменов дегенератами.

— Мое со мной. — Сергей повернулся и ушел к себе.

Ему нужно было работать, но работа не шла, и он понимал, что виновата эта... Наталья Осиповна. Черт ее принес! Какая-то полоумная девица. Он проклинал ее, придумывал обидные клички, а сам, между прочим, прислушивался: что происходит за дверью, в прихожей?..

Вот скрипнула половица. Значит, Наташа подошла к телефону. Так и есть, набирает номер. Первая буква К. Верно: «К-3...» и еще раз тройка. Нет, пожалуй четверка... Спрашивает Галю. Здоровается...

— Приехала к ним, а их нет дома. Что?.. А, заперся в своей комнате... Да так себе... Ну, Зойка наговорит, только уши развешивай!.. А и пусть себе слушает, если хочет...

Сергей закрыл уши. Ему вовсе не хотелось знать, что думает о нем эта девица. Чтоб она провалилась! Химера какая-то, дура набитая.

Вдруг дверь приоткрылась.

— К вам можно, товарищ Болдырев?

Он не ответил. Он подумал, что она оскорбится и уйдет.

Наташа не оскорбилась и не ушла.

— Все-таки я войду,— сказала она.— Если гора не идет к Магомету, то Магомету ничего не остается, как самому пойти к горе, верно? Мудрый народ эти азиаты. Вы бывали в Средней Азии?

— Не бывал.

— Жарко там. Но привыкнуть в общем-то можно. Зато фруктов! Я прямо объедалась дынями и арбузами. А вот жить там постоянно не согласилась бы ни за что на свете.

Сергей пытался не слушать ее болтовню, пытался думать о статье, которую завтра должен сдать. Однако Наташа вроде и не замечала этого. Она продолжала рассказывать о Средней Азии.

— В Ташкенте я видела, как продают кур. Со смеху можно помереть. Огромная такая клетка на машине стоит, в ней много-много кур. Девушка железным крючком, как кочергой, цепляет их за ноги и вытаскивает. А переполох стоит в клетке, с ума сойти! Знаете, какой в Ташкенте базар?.. Еще я в Термезе была. Говорят, что там от жары мозги разжижаются. О, да у вас тут целое книгохранилище!

— А почему не овощехранилище? — сказал Сергей.

— Не смешно.— Наташа передернула плечами.— Вы же сами пишете: «Публичная библиотека — величайшее книгохранилище...» Ну и так далее. К тому же я заметила, что вас плохо воспитывали. Просто удивительно, куда смотрели родители и пионерская организация.

Сергей повернулся к ней, чтобы сказать... чтобы пресечь, черт возьми, эту болтовню, и вдруг осознал, что Наташа красивая. Может быть, очень красивая. Пожалуй, Сергей никогда не встречал таких красивых женщин. Разве что в кино. Но там — другое. Там красота

как бы не настоящая. А здесь живая, до которой можно дотронуться...

На ней были яркий малиновый джемпер и клетчатая юбка. А на ногах, на ее ногах, были домашние туфли его матери. Коричневые туфли с серой кроличьей опушкой.

— Вам не кажется,— проговорила Наташа, улыбаясь,— что так откровенно рассматривать женщину не совсем прилично? — И наклонила голову.

— Извините...— Ему было неловко, стыдно.

— Обратите внимание: вам приходится слишком часто извиняться, а это нехороший признак. Ладно, работайте, а я полистаю — разумеется, с вашего позволения — книги. Что-то долго нет Романовых...— Она вздохнула. И вдруг спросила: — Вам нравится Зоя?

— А почему вы спрашиваете об этом?

— Вы что, не можете просто сказать: да или нет?

— Ну, нравится.

— Правильно, Зойка всем нравится.— Она опять вздохнула, и трудно было понять, завидует ли она подруге или, напротив, радуется за нее.

А Сергей подумал, что сама она куда интереснее Зои, хотя, конечно, Зоя тоже довольно красивая или, как говорят, симпатичная. Но если бы он должен был выбирать... Если бы ему представился случай выбрать...

— Почему же вы не работаете? — спросила Наташа с невинным видом.

— Я не Юлий Цезарь,— сказал он.

— Опять грубите.

Недолго она помолчала, и Сергей слышал за спиной шорох страниц и ее дыхание. Он боролся с желанием повернуться, посмотреть еще раз на Наташу повнимательнее — ему отчего-то хотелось убедить себя в том, что она не так уж и красива, как показалось. Вполне обычная и даже, может быть, заурядная...

— Как вам не стыдно! — вдруг воскликнула Наташа. — У вас на книгах слой пыли толщиной в три тысячи лет! Это же вандализм какой-то!.. Игорь мог бы заниматься раскопками, не вылезая из дому. Вот Зойка была бы рада. И она хороша, нечего сказать.

Вот тут бы Сергею остановить ее, тут бы напомнить, что она, между прочим, находится в чужом доме и что пыль на его книгах не имеет к ней никакого отношения...

— У вас есть пылесос? — спросила, нет, потребовала она.

— Где-то был...

— Тащите.

И он покорно встал, проклиная себя за слабость, отыскал в кладовке пылесос, и они стали вместе пылесосить книги.

— Не хватало еще развести в худлитературе клопов! — не унималась при этом Наташа. — Неужели нисколечко не стыдно?..

— Стыдно.

— Слава богу, хоть стыд еще остался. Но где же Романовы?

— Может быть, в кино? — высказал свое соображение Сергей. — Вообще-то они любители.

— А вы нет?

— Да как вам сказать... Как-то не везет, редко на хорошие фильмы попадаю. А дрянь всякую смотреть не хочется.

— Но ведь эту дрянь ваши коллеги выпускают.

— Совсем нет. Кино — дело коллективное, там конвейер.

— А у вас?

— А у нас огонь погас — это раз, грузовик привез дрова — это два.

— А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, — подхватила Наташа и громко рассмеялась. — Зна-

ете, когда я была поменьше, никак не могла понять, что это шутка. Мне читают, а я спорю, что в-третьих пропущено!.. А кино я тоже не очень люблю. Театр — да. Там живые люди.

— Пожалуй,— согласился Сергей, хотя, по правде говоря, никогда не задумывался об этом. Да и в театр ходил не чаще, чем в кино.

— Ну что ж,— выключая пылесос, с сожалением сказала Наташа.— Мне пора, ждать больше не могу.

— Они вот-вот придут! — воскликнул Сергей, и Наташа как-то странно быстро взглянула на него.

— Через два часа уходит мой автобус,— сказала она.— А мне надо еще забежать домой за вещами. Такие дела, Сергей Болдырев. У каждого свои.

— Вы уезжаете? Надолго?..

Она улыбнулась:

— В командировку. Вероятно, недели на две.

— И куда?

— Судя по вашему любопытству, вы действительно журналист. Недалеко, в Нижнереченск. Словом, Романовым привет, а вы следите за книгами и за... собой. Договорились?

— Хорошо, буду следить,— сказал он и тоже улыбнулся.

— Вот мы и подружился. Надеюсь, проводите меня до остановки? У вас такой мрачный двор, что даже страшно.

А Сергей никогда не замечал, что у них мрачный двор. Может быть, потому, что вырос в этом дворе. Это был его двор.

На улице было уже темно, накрапывал дождь, и в подворотне толпились подростки. Сергея с Натасей осветили карманным фонариком, и он почувствовал, как она прижалась к нему, и подумал, что много разного и чаще всего плохого говорят об этих ребятах, если верить разговорам — они настоящие бандиты, а на самом-

то деле это обыкновенные и совсем неплохие ребята. Они никого не обидят зря, а если и пристают к девчонкам, так их можно понять — им по шестнадцать-семнадцать, в них уже просыпаются мужчины, они тянутся к женщинам, но еще не научились владеть собой. Да и кто в их-то возрасте не приставал к девчонкам!

— О чем вы думаете, Сережа? — спросила Наташа, когда они вышли из-под арки на свет.

— Да так, ни о чем.

— Видали, какая у вас во дворе шпана?

— Это не шпана, — сказал Сергей. — Это нормальные парни.

Прошел троллейбус, отогнал от края тротуара нескольких прохожих и забрызгал Сергею пальто.

— Ах ты зимушка-зима, — проговорила Наташа. — Вы сразу не чистите, дайте подсохнуть.

— Я провожу вас на автобус, — неожиданно предложил Сергей. И почему-то испугался своих слов.

— Нет, нет, — возразила Наташа. Слишком уж поспешно возразила, как показалось ему.

— Почему?

— Ну мало ли!.. А если меня будет провожать муж? Или жених?

— Извините, я как-то не подумал об этом.

— Ничего, у вас еще есть время исправиться. — Она вошла в троллейбус и уже оттуда, попридержав дверь, крикнула: — Сережа, передайте Романовым, что они фирменные нильские крокодилы! И не скучайте, я скоро вернусь.

С треском сомкнулась дверная гармошка, отделив теплый четырехкопеечный уют от непогоды. Сергей постоял, пока троллейбус не свернул за угол, и побрел домой. Он с тоской, нехорошо думал о муже Наташи, который станет на автобусной станции целовать ее открыто, у всех на глазах...

Под аркой его опять осветили фонариком.

— Сплавил? — спросил кто-то из ребят. — А чувиха клевая, оставил бы ее нам.

— Не надо, — сказал Сергей.

— Ясно, шеф. Втрескался, что ли?

— Что? — переспросил Сергей.

— Влюбился?

Он пожал плечами и прошел мимо.

VI

В окне на кухне горел свет. Значит, вернулись Романовы. Наташа, выходит, чуть-чуть не дождалась. Так всегда. Недаром говорят, что самое паршивое занятие — ждать и догонять. Очень точно. Еще бы каких-то несколько минут... И вдруг подумал, что, в конце концов, вся человеческая жизнь сложена из минут. Сколько же их, этих минут?.. Сергей остановился и попытался сосчитать. «В месяце семьсот двадцать часов, — шевелил он губами. — На двенадцать... Семь тысяч четыреста да еще тысяча четыреста сорок...» Он спутался, плюнул и стал подниматься на свой третий этаж. Когда открывал дверь, из кухни выглянула Зоя.

— Приветик, есть будешь?

— Не хочется.

— А чай?

— Чайку можно.

— Сейчас вскипит. А ты где был?

— Провожал вашу знакомую.

— Кого?

— Наталью Осиповну, — сказал Сергей.

— Господи, Наташка была! Игорь, ты слышишь? Но почему она не подождала нас?

— Уезжает в командировку, торопилась на автобус.

— Опять! — Зоя всплеснула руками. — Носит же ее нелегкая. Не сказала, куда отправилась?

— В Нижнереченск, кажется.

— Обидно. Ладно, давайте пить чай.

Сергей разделся и пошел на кухню. Не столько затем, чтобы выпить чаю, сколько затем, чтобы вызнать что-нибудь о Наташе. Он не сомневался, что Зоя станет говорить про нее. И не ошибся.

— Наташка — моя лучшая подруга, — щебетала она, накрывая стол. — Мы вместе учились в школе. Игорь, тебе яйца всмятку или вкрутую?

— Вкрутую.

— Тогда жди. Баламутка она, Сережа, каких свет не видел. Ее наши мальчишки боялись как огня. Знаешь, она отлично играла в баскетбол, у нее был первый разряд, со временем могла бы попасть в сборную страны, честное слово! Но, когда тренер приказал ей постричь ногти — нельзя с длинными ногтями, можно поцарапать кого-нибудь случайно, — она наотрез отказалась! И перестала играть. Как тебе это нравится, а?.. Мой благоверный, между прочим, был в нее влюблен по уши. Сначала в нее, а потом уж в меня, когда Наташка ему от ворот поворот показала...

— Да перестань ты, Зоя! — сказал Игорь и поморщился.

— А что в этом плохого? В Наташку все влюбляются. Если бы ты не влюбился сначала в нее, я бы на тебя и не посмотрела бы.

Сергей слушал Зою, а сам никак не мог отрешиться от этих проклятых минут, из которых сложена жизнь.

— Так уж и не посмотрела бы, — проговорил Игорь с обидой.

— Точно! Что это за мужчина, который проходит мимо такой красоты?.. Тьфу. — И вдруг: — Могу поспорить, что Сергей тоже влюбился.

— Она замужем, — почему-то сказал Сергей.

— Наташка-то? — воскликнула Зоя. — Врет и не смеется. Она никогда не выйдет замуж со своим характером.

— Еще бы,— вставил Игорь.— С ней и сам сатана не-уживется.

— Помолчал бы. Это вы, мужики, противные. А Наташка — прелесть! За ней сейчас ухаживает ее начальник, может, за него она и пойдет.

— Это который Леонид Модестович? — спросил Игорь.

— Да.

— Если она выйдет за этого гиббона, я перестану ее уважать.

— Это почему же он гиббон?

— Роба у него обезьянья, и ужимки, вообще. Его только в зоопарке показывать, а на клетке табличку повесить: «Не проходите мимо!»

— Фу, пошлая! А ты зачем клеенку царапаешь? — набросилась Зоя на Сергея.— Делать нечего? Клеенка — дефицит страшный, а он ее вилкой.

— Да вот, считаю...

— Через сколько дней вернется Наташка? — усмехнулась Зоя.

— Сколько в жизни минут.

— Элементарно,— сказал Игорь.— Если брать шестьдесят лет, то тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч. А если семьдесят лет, тридцать шесть миллионов.— Он задумался.— Около тридцати семи.

— Много,— выдохнул Сергей.— Не сразу и представишь такое количество.

— Мало,— возразил Игорь.— Это огромное число существует какое-то мгновение, только в тот момент, когда человек появляется на свет. А потом быстро-быстро начинает убывать.... Мы не задумываемся об этом, потому лишь и живем более-менее спокойно. Хотя скорее менее, чем более. Ты попробуй-ка отмечать на видном месте по убывающей только дни. Через год сойдешь с ума, решишь, что жить не имеет смысла.

— Прямо так и с ума,— сказала Зоя.— Думают же люди о смерти, а с ума не сходят. А если сходят, совсем по другим причинам. От любви, например. Еще алкоголики.

— А-а,— проговорил Игорь.— Любовь, любовь! Теперь от любви не сходят с ума, слава богу. А алкоголизм, между прочим, болезнь, недуг. Спроси любого алкоголика, почему он им стал?

— Причины-то найдутся.

— Вот именно — причины! И в основе каждой лежит мысль, пусть даже неосознанная, что жизнь дается один раз, что умрут все — и трезвенники, и алкоголики...

— Тебе не кажется, мой милый, что эта твоя теория смердит?

— Она не моя. Но в ней есть что-то любопытное.

— Чушь,— сказал Сергей.— Таким образом можно оправдать все что угодно. Это оправдание для беспозвоночных, не для человека.

— Думаю, что все сложнее,— возразил Игорь. Впрочем, в его словах не было убежденности. Похоже, что этот вопрос вообще мало занимал его.— Зойка, давай яйца, жрать хочу.

— Потерпи, сосисочный барон.

За окном буйствовал ветер, обрушивая на город свои баллы. Казалось невозможным, что стены и, главное, стекла могут выдержать такой неистовый натиск стихии.

— По радио говорили,— сказала Зоя,— что на днях выпадет снег. Скорее бы уже, надоела эта слякоть.

— Это верно,— поддакнул Игорь, очищая яйцо от скорлупы.— Ни то ни се.

* * *

— Жильцы не мешают? — интересовался Новиков.

— Нисколько, с ними даже как-то веселее.— Сергей

вспомнил вчерашний вечер и улыбнулся. А вообще-то он все собирался спросить у Виктора, зачем тот обманул его, сказав, что Игорь и он — друзья. И не спрашивал, догадываясь, что Виктору это будет неприятно.

— Ужо как-нибудь забегу к вам,— пообещал Новиков.

И не забегал. А Сергей ждал его. Поговорить хотелось, посидеть в домашней, неказенной обстановке, может быть и выпить, сыграть в шахматишки. Почему бы и нет, ведь ходят же люди друг к другу в гости.

Сергея тянуло к Виктору, хотя именно Виктор, и только он, иногда поругивал его. Никому другому Сергей не простил бы этого. Никому.

Случай все-таки свел их: денежный перевод за премированный очерк пришел на редакцию и попал в руки Зиночки. Она поймала Сергея в коридоре и заявила, что с него причитается коробка «самых-самых дорогих конфет».

— В честь какого всенародного праздника? — съязвил он и попытался пройти мимо. Он не любил Зиночку, ему были противны ее откровенные намеки, хотя он и не мог бы объяснить, за что так невзлюбил ее.

— Догадайся! — сказала она, сияя, как весеннее первое солнышко.

— Я не факир.

— Кроме шуток, Болдырев, угадай, что у меня в руке?

— По-моему, пистолет,— сказал Сергей.— Из которого ты расстреляла бы всех мужчин, не обращающих на тебя внимания.

— Какой же ты грубиян, Болдырев! — Она сунула ему перевод и, закрыв руками лицо, убежала.

Сергей подумал, что надо бы пойти за ней, извиниться, потому что совсем незаслуженно обидел ее, но тут же решил, что лучше купит ей коробку конфет. Купит, принесет и тогда, пожалуй, извинится.

Когда он вошел к себе, навстречу поднялся Василий Иванович. У него был вид, как у Христа, когда тот являлся народу.

— От имени и по поручению...

— Да хватит вам! — зло сказал Сергей.

— Обмыг бы не мешало, Сергей Александрович, — невозмутимо сказал Василий Иванович. Его-то просто невозможно было обидеть, и он всех называл по имени-отчеству, всегда помня, что каждый завтра может стать начальником. Он-то уже нет, а другие могут.

— А что будем обмывать, — спросил Сергей, — ваши новые нарукавники?

— Премню, премню, Сергей Александрович! Ее, голубушку.

— В смысле пропивать, что ли?

— Ну зачем же так вульгарно! Пропить — дело нехитрое. Пропить и кальсоны можно, тут ума не требуется, было бы желание. А вот красиво и с толком истратить заслуженную награду... Здесь нужно помозговать. А как вы на это смотрите, Виктор Павлович? — обратился он к Новикову.

Новиков молчал. Он не одобрял затею Василия Ивановича, хотя в принципе любил выпить, любил хорошую компанию и в общем-то считал, что Сергей должен устроить маленький банкетик. Дело-то, в сущности, не в выпивке. Дело, пожалуй, в том, что и Новиков искал сближения с Сергеем. Не подозревая об этом, они оба искали сближения, но ни один, ни другой не решался протянуть руку — боялись, как бы протянутая рука не повисла в пустоте.

Новиков пришел в «Красный пролетарий» недавно, до этого он работал в заводской многотиражке. Сергей сразу привлек его внимание. Перелистав подшивки газеты за последние два года, Виктор понял, что он по-настоящему талантлив. Каждое слово было у него на месте, каждой краски было положено ровно столько,

сколько необходимо. И тем не менее Виктор чувствовал, что Сергею чего-то недостает... Написанное им было приятно и легко читать, но не возбуждало желания думать, спорить, радоваться или гневаться. Он как бы играл, жонглировал словами, и некоторые статьи Сергея отдавали изящным холодом, в них не было азарта бойца, человеческого тепла и, пожалуй, тепла к людям, любви. Создавалось впечатление, что написаны статьи вполне равнодушно.

Виктор пытался объяснить это излишним спокойствием Сергея, однако скоро понял, что Сергей не так спокоен, как ему показалось сначала. Тут было нечто другое...

Возможно, его перехваливали, и прежде всего сам редактор, который прямо-таки боготворил Сергея. А вот Новикова редактор не любил и даже не скрывал этого. Поговаривали, что он боится за свое место, но скорее всего, дело было в их личной взаимной антипатии. Как всякий случайный человек, редактор хотел покоя, и ему претил ершистый характер Виктора. К тому же Новиков говорил то, что думал, нисколько не заботясь о том, понравится это редактору или нет. Его материалы проходили, как правило, со скандалом, со скрипом, однако в скудной редакционной почте большинство писем было адресовано именно ему. Частенько на конвертах писали «лично В. Новикову», и тогда Зиночка Сторожевская вынужденно откладывала эти письма, не распечатывала их, хотя искушение было велико: вдруг от женщины?.. Обращались к Новикову по самым разным вопросам, и нередко вопросы эти и просьбы не имели прямого отношения ни к его статьям, ни к работе. Но он аккуратно отвечал на все письма, ходил по учреждениям, чего-то добивался и искренне переживал неудачи. Этим он напоминал Сергею мать с ее неумной жадой общественной деятельности, с неоправданным, по мнению Сергея, стремлением помогать людям, которые, осво-

бождаясь от собственных забот, спокойно переключивали их на плечи других, лишь бы эти другие были готовы принять чужую ношу.

А за Виктором, вернее за его работой, Сергей следил внимательно и, может быть, настороженно, понимая, что в нем есть что-то такое, чего не хватает ему самому. Статьи Новикова читал только дома, в уединении, находил много небрежностей, корявостей, которых никогда не допустил бы сам, пытался исправлять, редактировать, но из этого почему-то ничего не получалось. Написанное Виктором было неподвластно ему и его умению...

VII

Василий Иванович предложил ехать в «Чайку», проще говоря — в поплавок. Такие рестораны есть, наверно, в каждом городе, была бы только какая-нибудь вода. Их устраивают на пристанях, на дебаркадерах, а то и просто на старых, списанных баржах.

Когда вышли из редакции (выходили поодиночке, Василий Иванович боялся, чтобы их не увидели всех вместе), Добрых спохватился, что не позвонил жене, не предупредил.

— Что бы такое придумать, почему я сегодня задерживаюсь?..

— Скажи, что бюро райкома, — посоветовал Виктор. — Это производит на женщин впечатление.

— Бюро было позавчера, нельзя повторяться, — возразил Василий Иванович. — Ага, есть идея!.. Провожаем на пенсию ответственного секретаря. Если что, вы возьмете трубку и подтвердите, хорошо?

— Ладно, ладно, — сказал Новиков. — Беги звони. Вот старая bestия! Я уверен, что время от времени он хоронит кого-нибудь из нас. Встретишься когда-нибудь с его женой, а ее кондрашка от испуга хватит: подумает, что воскрес.

— Она все равно ему не верит,— сказал Сергей.

— Ты знаешь ее?

— Видел раза два. Не баба, а настоящая анаконда. Добрых в ее присутствии дрожит весь и занкается.

— Обычно такие мужики и врут своим бабам на каждом шагу.

Появился Василий Иванович.

— Шумит! — сообщил он. — Пришлось сделать вид, что не слышу ее. Доложился и повесил трубку. Двинулись?

В ресторане, едва они вошли в зал, к ним навстречу поспешил метрдотель, и Сергей догадался, что Добрых позвонил и сюда. У него повсюду были знакомые.

— Добрый вечер, товарищи,— приветствовал их метрдотель.— А где же ваши дамы?

— Мы сегодня без дам,— сказал Василий Иванович.— Места у тебя есть?

— Обижаете, Василий Иванович. Для вас всегда есть. А нет — найдем! Прошу сюда, здесь вам будет уютно и спокойненько...

Он провел их в дальний угол, к столику, который был загорожен развесистой пальмой. На столе лежала картонка с надписью:

СТОЛ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ

Метрдотель сунул картонку в карман, обмахнул салфеткой и без того девственно чистую скатерть и выдвинул стулья.

— Располагайтесь. Сию минутку подойдет официант.

— Видали, какой сервис? — сказал Василий Иванович, оглядываясь по сторонам.

— Жулик,— поморщившись, сказал Новиков, имея в виду метрдотеля.— И глаза словно гуталином намазанные.

— Уж это точно,— подтвердил Сергей.

— Напрасно вы так,— обиделся Добрых.— Борис Львович честнейший человек, кристальная душа.

Похоже, Новиков хотел что-то еще сказать, но тут как раз подоспел официант. Он снова смахнул со стола невидимые крошки и приготовился принимать заказ.

— Сергей Александрович...— Добрых с вождением смотрел на Сергея.

— Давайте уж вы командуйте,— сказал Сергей.

— В таком случае...— Василий Иванович потер руки.— Заливное из осетринки, пожалуйста. Затем икорки, лимончик, но без сахара.— Маленькие его глазки, спрятанные под припухшими веками, налились маслянистым блеском, он со вкусом произносил названия блюд.— Бутылочку коньячку для начала...

— Есть молдавский три звездочки и армянский пять,— сказал официант.

— Армянский, армянский, только армянский!

— Будет сделано. Горячее сразу подавать?

— Ни в коем случае! И передайте повару, чтобы не пережарил цыплят.

— Кофе?

— Разумеется, но это потом, потом.

Сергей наблюдал за ним, и было ему смешно и чутьточку, пожалуй, противно. Уж так откровенно радовался Василий Иванович, как будто никогда прежде не видел и не ел ничего подобного, словно первый раз в жизни попал в ресторан. Между тем все в редакции знали, что в ресторан он ходит с каждой получки. Пьет, правда, немного, быстро пьянеет и делается несносно болтливым, надоедливым. Однако наутро приходит на работу всегда свежий, так что нельзя понять, что он с похмелья.

На крохотную эстраду выползли музыканты, квартет — пианист, барабанщик, трубач и гитарист с электрогитарой. Следом за ними появилась певичка. Была

она безобразно толстая, несимпатичная, с висячим, многослойным подбородком. Но пела отлично, и голос был приятный, низкий, напоминающий голос Наташи. Сергей подумал, что было бы здорово сидеть здесь не в компании Василия Ивановича, а с Наташей. Он мысленно примеривал ее к залу, к публике, к чинным официантам с бабочками, которые плавали в узких проходах между столиками, и ничего не получалось: Наташа не хотела вписываться в эту обстановку. Он стал думать о Нижнереченске, где никогда не бывал, и о том, что вот Наташа сейчас, наверное, пропадает от скуки в какой-нибудь зашарканной гостинице, а может, вовсе и не скучает, мало ли там командировочных, готовых развлечь красивую молодую женщину?.. Мысль эта была неприятна ему, и он попытался слушать песню, чтобы отвлечься от Наташи и Нижнереченска, но тут Василий Иванович, поерзав от нетерпения на стуле, запустил очередную серию из собственных приключений далекой юности. Его рассказ, как вообще все рассказы, которых Сергей наслушался уже вдоволь, был связан с женщиной.

— Подкатываюсь я, значит, на полусогнутых: так, мол, и так, мадмазель, имею честь и прочее, а она, измерив меня своими глазищами, точно закройщик... Кстати, если бы вы видели ее глазищи!..

Сергей разглядывал сквозь листья пальмы публику в зале. Неподалеку от них сидела пара; лицом к ним мужчина лет сорока пяти, тучный, с гладкой, как глобус, головой, а спиной — женщина. У нее на платье был очень глубокий вырез, и Сергей между выпирающими лопатками разглядел родинку. Он усталился на эту родинку и глупо загадал, что если женщина повернется — значит, он еще увидит Наташу, а если нет... Она повернулась, почувствовав его настойчивый взгляд, и он от стыда откинулся к стенке, спрятался за широкие листья. Женщина — она была совсем молодая, лет двадцати,—

решила, что ее побеспокоил взглядом Виктор, и подмигнула ему.

— Так вот, смирила она меня своими глазищами,— продолжал Василий Иванович,— и заявляет, что танцевать ей не хочется, а вот выпила бы она с удовольствием шампанского...

— Ну ты и врать,— не выдержав, сказал Виктор.— Простый раз рассказывал, что вы пошли танцевать.

— Пардончик, пардончик, Виктор Павлович! — запротестовал Василий Иванович.— Простый раз был совершенно другой случай, который произошел...

— Все равно. Вообще я подозреваю, что единственная женщина, с которой ты был знаком, твоя жена.

— Как сказать! — обидчиво возразил Василий Иванович. Впрочем, обижаться по-настоящему он не умел и больше всего на свете боялся с кем-нибудь поссориться. Он одинаково успешно ладил со всеми, не ввязывался в редакционные конфликты и споры, никогда не высказывал вслух своего мнения. К нему относились так, как относятся к человеку, которого не принимают всерьез, но, поскольку он все-таки существует, поскольку он есть и никому в общем-то не мешает, лишь изредка докучая склеротической болтовней, его терпят, прощая и болтовню, и само существование. Он считал себя абригеном, потому что работал в «Красном пролетарии» чуть не со дня основания газеты и пережил, по его словам, все периоды полураспада.

Писал он плохо, разве что ему удавались десятистрочные заметки, однако был нужным человеком: никто в редакции, кроме него, не умел быстро организовать срочный материал или выступление передовика производства по тому или иному случаю, в его записных книжках, которые он обозначал «том 1», «том 2» и так далее, были сотни фамилий, адресов, телефонов, он знал половину жителей города и мог добыть любую информацию, не выходя из редакции.

Молчать больше пяти минут кряду Василий Иванович был не в состоянии, поэтому, недолго поерзав на стуле, он снова попытался рассказывать какую-то историю.

— Музыку послушай лучше,— сказал Виктор.

— А какая это музыка? Дребедень.— Василий Иванович махнул рукой и опрокинул рюмку.— Вот помню...

— Кофейку, может, выпьешь? — предложил Виктор.

— Не хотите слушать меня и не слушайте, ради бога! Я знаю, что вы меня презираете...— Он пьяно раскачивался на шатком стуле.— Меня многие в жизни презирали. Ну и что?.. Их нет, а Добрых есть. И вас шеф уничтожит, Виктор Павлович. Помяните мое слово...

— Ничего, я ведь не фарш, моими косточками и подавиться можно,— отшутился Виктор, но было слишком заметно, что слова Василия Ивановича произвели на него скверное впечатление. Он даже изменился в лице, побледнел, и Сергей подумал вдруг, что Василий Иванович в этом прав, редактор рано или поздно подберет к Виктору ключики.

А может, и нет. Может, споткнется, потому что Виктор себя в обиду не даст.

Музыканты заиграли бодрый фокстрот. Женщина, которая сидела за пальмой с лысым мужчиной, выразительно, призывно посмотрела на Виктора. Он встал и направился к ней. Мужчина покраснел, напыжился, и Сергей забеспокоился, как бы не получилось скандала, потому что Виктор, если мужчина скажет ему что-нибудь непотребное, вряд ли сдержится. Но все обошлось.

— А ты что же, старик? — вернувшись после танца на место, спросил Виктор.

— Я не танцую.

— Ну, старик!.. Как можно не танцевать, когда вокруг подрастают такие женщины? Ты оглянись — прямо оранжерея. Пропустим еще по единой?

— Можно,— согласился Сергей. И неожиданно, как бы продолжая прерванный разговор: — Не пойму я шефа...

Виктор улыбнулся и выпил.

— Мягко стелет. Да черт с ним, старик. Каждый живет как может и как умеет. Смотри, смотри, какая женщина! Ух ты! — Он покачал головой и почмокал губами.— Где мои семнадцать лет!..

Сергей вдруг снова вспомнил Наташу, и стало ему тоскливо и одиноко. Виктор прихлебывал остывший кофе, Василий Иванович клевал носом и пускал пузыри, певичка сиплым, уставшим голосом тянула «В жизни раз бывает...», барабанщик дергал головой, и глаза у него были застывшие, пустые, кажется, он ничего не видел вокруг себя: ни товарищей по квартету, ни своего барабана, ни тем более танцующих. Он не играл — работал, и работа сильно утомляла его.

Неожиданно о работе заговорил Виктор.

— Послушай, почему бы тебе не попробовать себя в фельетоне? По-моему, у тебя получится...

Услыхав слово «фельетон», Василий Иванович встрепенулся.

— Нынче никто не умеет писать фельетонов,— заявил он.— Детсадовская критика из-за угла, а надо разить, бить наповал, чтобы подняться не могли.

— Потом, Василий Иванович, потом.

— Нет, вы послушайте, вам полезно. Работал я в отделе культуры. Вызывает меня как-то Покровский, он был у нас редактором, и говорит: «Срочно нужен фельетон о режиссере театра... Пьеску он там закатил идейно порочную. Символика всякая, голый модернизм, словом, отрывается от народа. Давай, Добрых, сделай хорошее дело. Пора выводить из нашего искусства западную заразу». Я ему объясняю, что никогда фельетонов не писал, а он говорит: «Ничего, ты валяй с партийных позиций, с точки зрения рядового нашего зрителя, а мы

подборку писем организуем...» — Василий Иванович замолчал и потянулся за рюмкой.

— И ты написал? — спросил Виктор.

— Еще какой! Назывался фельетон «Таланты и... поклонницы». По ходу дела выяснилось, что режиссер этот слабоват насчет женского пола. Сняли его, в два счета сняли. А через неделю его уже и в городе не было, укатил. Вот это критика, я понимаю. А что сейчас? Ключете, как воробы. Вы пописываете, вас почитывают, а толк какой?

— Но это же свинство, — сказал Виктор. — Ты ведь ни черта не понимаешь в искусстве!

— Это еще надо посмотреть.

— Ты хоть сам-то понимаешь, что сделал подлость?

— На данном этапе, может, и подлость. Тогда было другое. — Василий Иванович покачал головой и усмехнулся. В этой его усмешке было собрано все: ирония взрослого, умудренного человека, сожаление об ушедшем времени, сострадание к самому себе, к своему шаткому теперешнему положению и еще что-то скрытое, недоступное пониманию других, что-то такое, о чем знал только он...

— Вы думаете, я ничего не понимаю? Думаете, Добрых слепой дурак? Вам легко, у вас чистенькие, не затасканные еще фамилии. Вы можете судить, рассуждать, а что вы видели? А Добрых всего насмотрелся, вот так!.. — Он сдавил горло и захрипел.

— Никто не говорит, что ты ничего не видел и не знаешь. Но человек всегда должен быть человеком, — сказал Сергей.

— И это мы слышали! — сказал Василий Иванович. Он тут же сник, обвис как-то и тяжело уронил голову на стол.

— Может, пойдем? — позвал Сергей.

— Домой, домой... — бормотал Василий Иванович, пытаясь подняться. Он с трудом оторвал от стола голо-

ву и вдруг почти трезвым голосом проговорил: — Если бы это были не вы, Виктор Павлович, я бы спросил: «А судьи кто?..»

— Мы вас не судим,— возразил Виктор.— Да и права такого не имеем.

— А у меня болит душа. Ноет, ноет... Дочка вот спрашивает: «Отец, как ты мог, где же твоя совесть, где принципиальность?» А шут ее знает, где она. В подшивках, наверное, вот где... Может быть, ребята, и вам когда-нибудь так же придется оправдываться перед своими детьми... Не дай вам этого бог! Но вы уверены, что всегда и все делаете правильно, по совести?.. Вы, например, Сергей Александрович, а?.. Вы же талантливый человек, я вижу... У вас никогда не зудит там, внутри?..

Сергей растерялся. Новиков обнял Василия Ивановича, усадил на место, налил минеральной воды и сказал Сергею, чтобы тот шел ловить такси. Василий Иванович порывался встать, мычал что-то, потом привалился к Виктору и стал объясняться ему в любви.

Они отвезли Василия Ивановича домой, после Сергей отвез Виктора. Вылезая из машины, Виктор как бы невзначай обронил:

— Такие дела, старик.

VIII

Романовы дождались своей однокомнатной квартиры.

Сергей на новоселье поехал неохотно, он вообще не любил незнакомых компаний, но надеялся, что там, может быть, будет Наташа. Спросить же прямо не решился. После того вечера, когда она приходила, у них не было о ней разговоров, хотя прошло почти два месяца.

Квартира была совсем пустая. На полу матрац, под него подложены книги, чтобы удобнее было сидеть гостям. Еще старенький письменный стол, который слу-

жил и обеденным, три табуретки, а на стене акварель, сделанная Зоей. Рыжее жнивье под радужно-голубым небом и такой же голубой — пронзительно-голубой, весь какой-то светящийся, радостный — василек в правом углу.

На окнах вместо занавесок — газеты.

— Узловая станция по пути из славян в греки, — пошутил Сергей.

— Обрастем, — в тон ему сказал Игорь. — Была бы шея, быт найдется.

— А тебе ничего не надо, — беззлобно проворчала Зоя. — Тебе бы только палатку и примус, да? — И стала рассказывать, где они поставят сервант, где тахту, где журнальный столик и тому подобное.

— Вот на окна прямо не знаю что повесить, — сокрушалась она. — В магазинах ничего приличного не найти.

— Видишь, — сказал Игорь, обращаясь к Сергею. — Недолго нам обитать на узловой станции, такое стойбище организуем!..

Гостей собралось человек десять, все молодежь. Пили мало, зато много танцевали, пели и даже, ради смеха, вертели по полу бутылку из-под вина, и Сергею досталось поцеловаться с некой Лидой, дальней родственницей Игоря, которая ему совсем не нравилась. Но в общем-то было довольно весело, вот только не было Наташи...

В половине одиннадцатого веселье нарушил жилец из нижней квартиры. Он вошел в комнату, презрительно осмотрелся и прочитал популярную лекцию о культуре поведения в быту. Кто-то из гостей пытался доказать ему, что еще рано, что он не вправе предъявлять претензии, на что он сказал:

— У моей супруги гипертоническая болезнь второй степени, от вашего шума у нее поднялось кровяное давление до двухсот на сто, и я надеюсь, что в дальнейшем у вас будет тихо.

Игорь пообещал, что все будет в порядке, и нижний жилец, заметив между прочим, чтобы хозяева квартиры аккуратно мылись в ванной, потому что может быть протечка, удалился. На этом вечеринка и закончилась. Гости начали расходиться, хозяева уговаривали побыть еще, но прежнего веселья уже быть не могло.

— Эх, была бы Наташка, она бы всех расшевелила! — с сожалением сказала Зоя. — Она мертвого поднимет и заставит плясать. — И шепотом спросила у Сергея: — Скучаешь?

— С чего бы это? — Он пожал плечами. На самом деле скучал и часто думал о ней. Пытался представить ее: какая она? И не мог. Она была в нем, была с ним, он слышал ее голос, видел ее улыбку, аккуратно уложенную на губах, но в то же время ее и не было, она оставалась для него неосвязаемой и чужой, обозначенной лишь не очень-то понятным символом, как символ всепобеждающей жизни в виде василька на акварели Зои. И недоступной, как чересчур смелая, а потому и абсурдная мечта.

— Рассказывай! — Зоя погрозила Сергею пальцем. — Задержалась она что-то на этот раз.

Зоя, разумеется, нисколько не сомневалась, что Сергей влюблен в Наташу. Она не допускала и мысли, что на свете может отыскаться мужчина, который, увидав Наташку, ее Наташку, не влюбился бы в нее. С точки зрения Зои, это было противоестественно.

— Она не выносит никакой лжи, никакой фальши. Она кому угодно скажет правду в глаза. Уж я-то знаю. В школе она даже с директором спорила, а наш директор был... Его все боялись как огня. Все, только не Наташка.

Что скрывать, Сергею было приятно это слушать. А Игорь молчал ухмыляясь. Когда же Зоя израсходовала запас прилагательных в превосходной степени, он сказал:

— Ты явно преувеличиваешь добродетели своей подруги. Кстати, и говоришь ее же словами. А все потому, что пристрастна.

— Ну и пусть!.. Лучше быть пристрастной, чем как ты: ни то ни се. Нейтралитет, политика невмешательства! Не слушай его, Сережа. Люби Наташку, никогда не пожалеешь об этом.

— Самая обыкновенная женщина,— не унимался Игорь.— Разве что излишне прямолинейная и впечатлительная. Но это не столь уж выдающиеся качества для человека, живущего в современном мире. В молодости все впечатлительно.

— Уж только не ты.

— Возможно.

— А разве плохо, если человек впечатлителен?

— Все хорошо в меру. Всякое излишество переходит либо в свою противоположность, либо в патологию. Нарушается гармония личности.

— Вот за эту твою гармонию Наташка и показала тебе от ворот поворот. А ты, Сережа, не слушай этого сухого рационалиста. Привык иметь дело с тысячелетиями и не видит живого человека. А Наташка вся... как струна! Она как на иголках живет.

Сергей стал одеваться.

— Да посидел бы ты,— предложил Игорь.— Поговорили бы еще, время детское.

— Пойду.

— У него ведь семеро по лавкам и трое на печке,— съехидничала Зоя.

— Далеко ехать,— сказал Сергей.— А мне надо еще поработать.

— Смотри,— проговорил Игорь.— Не пропадай.

На улице было тихо, безветренно. Густой снег падал спокойно, мягко, укрывая беспорядок, оставленный строителями. Даже красиво: не кучи мусора и битого кирпича, а пушистые белые сугробы.

На автобусной остановке стояла Лида.

— Это вы? — удивилась она. — Я думала, что вы остаетесь ночевать.

— Зачем же я буду стеснять людей.

— Да, конечно...

На улице Лида выглядела гораздо лучше, чем в квартире. Правда, она заметно кокетничала, но все-таки в ней что-то было... что-то было...

Или Сергей был пьян?

К ним подошла женщина, спросила, давно ли был автобус, и Лида сказала, что автобус прошел минут двадцать назад. («Почему же она не уехала, раз знает, когда прошел автобус?» — подумал Сергей.)

— Значит, — сказала женщина, — закрыт переезд, другого автобуса теперь не дожидаться.

— А стоянка такси поблизости есть? — спросил Сергей.

— Где-то есть. Во-он за тем девятиэтажным домом. Только машин там не бывает. Безобразия, понапихали людей, как селедок в бочку, а транспорта нормального нет. Начальство бы сюда поселить.

Сергей подхватил Лиду под руку.

— Куда мы? — Она удивленно смотрела на него.

— Искать машину. И подальше от этой тетки, она разошлась, ее не остановишь.

Они долго плутали среди одинаковых, как близнецы, домов, пока разыскали стоянку такси. На их счастье, там была машина. Шофер спал, уронив голову на баранку.

— Вы где живете? — спросил Сергей у Лиды.

— На Советской. А вы?

— На Троицкой. Но мы сначала к вам.

— Спасибо.

Сергей чувствовал ее гладкое колено, и у него появилось желание обнять Лиду. Он положил руку ей на плечо, и она тотчас прижалась к нему, прошептав:

- Я могу ехать с тобой.
- Ко мне нельзя,— почему-то солгал он.
- Можно ко мне, я одна.

Машина вынырнула на проспект.

- Куда? — не оборачиваясь, спросил водитель.

— На Советскую,— ответила Лида.— Правда, что вы журналист?

— Правда.

— Никогда не видела живого писателя.

— Я не писатель,— сказал Сергей.

— Какая разница. Раз пишете, значит, писатель.

Дадите что-нибудь из своего почитать? Вы о чем пишете?

— Обо всем, но читать у меня нечего.

— Вы очень серьезный. Я весь вечер следила за вами, нельзя быть таким. У вас, наверное, трудная жизнь?

Сергей не ответил. Впереди загорелась красная неоновая вывеска «Ресторан».

— Остановитесь на минутку, я мигом,— попросил Сергей.

Швейцар был неумолим и угрюм, как столб.

— Местов нету, гражданин. Сколько раз надо повторять.

— Ясно, ясно,— сказал Сергей.— Мне места не нужно, мне с собой.

— На вынос не торгуем, это ресторан.

— Я понимаю, но в виде исключения нельзя сделать? — Сергей клял себя за это унижение. Он понимал, что нужно уйти, отвезти Лиду домой и ехать самому...

— В машине-то девка или как? — кивнул швейцар, ухмыляясь.

— Женщина.

— Мблodeжь, мблodeжь! — проговорил швейцар. — Тебе что надо-то?

— Бутылочку шампанского.

— Давай деньги, что ли.

Вернулся он минут через пять и сказал, что шампанского нет и что вместо шампанского он принес коньяк.

— Ты ничего, ты не пугайся, нынче девки и коньяк за милую душу трескают, им бы вообще чего покрепче! — Он хохотнул и подмигнул.

Сергей расплатился.

— Спасибо.

— Что там, удачной тебе ночки, парень.

Дальше все было, как в забытьи. Сергей делал не то, что следовало делать, а то, чего от него хотела и требовала Лида. Она попросила остановить машину за квартал от дома, шепнув Сергею, что так будет лучше. Он понял, что она боится кого-то. Этот ее страх напомнил Сергею читанное где-то: двое пробираются по темному, длинному коридору в коммунальной квартире. Нельзя, чтобы их увидели соседи. Она замужем, муж в командировке... Он неосторожно задел головой корыто, висевшее на стене. Корыто железно грохнуло... Они притаились в каком-то закутке, присели даже. Никто не проснулся, никто не выглянул в коридор. Вздохнув, она прошептала: «Слава богу, пронесло...»

— Нет,— сказал Сергей,— поехали лучше ко мне.

— Но к тебе же нельзя.— В ее голосе было удивление, но вместе с тем и радость.

— Выйдем пораньше, я позвоню, чтобы приятель ушел,— опять соврал Сергей.

— Он там один?

— Один.

— А у тебя отдельная квартира? Игорь говорил... Сергей догадался, что она хочет сказать.

— Ну предупреджу, чтобы не высовывался из комнаты.

— Конечно,— сказала Лида.— Зачем же ночью гнать человека.

Сергей действительно позвонил из автомата и даже сделал вид, что разговаривает с кем-то. А хмель помаленьку проходил, и когда они шли по двору, Сергей почувствовал неловкость или страх. Он успокаивал себя, что ему нечего бояться, что ему не нужно, как Лиде, прятаться от соседей, он сам себе и обвинитель, и судья, и даже защитник, но этот непонятный страх жил в нем, и, чтобы заглушить его, Сергей говорил и говорил без конца. Он нес какую-то околесицу, зачем-то рассказывал Лиде про Василия Ивановича, про редактора и Виктора Новикова, понимая, что ей-то это совсем неинтересно и что она слушает только из вежливости.

Едва вошли в прихожую, Лида повисла на нем.

— Давай разденемся,— сказал он.— И я сварю кофе.

— Не хочу кофе, хочу шампанского! — капризно сказала она. Было в ней что-то неестественное, ненатуральное, возможно, она боролась с какими-то своими чувствами, скрывая за наигранной развязностью боль и стыд.

— Шампанского нет, коньяк.

— Еще лучше! — воскликнула она. И вдруг спросила: — А он спит?

— Кто? — не понял Сергей.

— Приятель.

— Это все равно.

Они выпили, покурили. Заметно было, что и коньяк и сигареты привычны Лиде. Сергей притянул ее к себе, обнял.

— Подожди,— прошептала она,— сомнется платье. А мне прямо от тебя придется ехать на работу.— И, поднявшись, стала раздеваться.

Они лежали рядом, и Сергей проклинал свою слабость, податливость, а Лида требовала от него ласки, она дрожала вся и почему-то всхлипывала. С трудом пересиливая отвращение, он обнимал ее.

— Ты устал, милый?

— Да.

— Отдохни...— Она гладила его волосы.

— Не надо.

— Тебе противно?

— Просто не надо, и все.

— У тебя есть девушка? — вдруг спросила она.

— Есть,— сказал он.

— Она... красивая?

— Красивая.

— Ты собираешься на ней жениться?

— Не знаю. Я вообще не собираюсь жениться.

И давай спать, поздно уже.— И думал: «Зачем все это?.. Недопитая бутылка коньяка, разбитая чашка, разбросанная по комнате одежда и ложка, ложка...»

А Лида была рядом, жадная в своих грубоватых ласках, охочая до его мужской ласки и силы. Она все-таки заставила его повернуться к ней лицом и целовала его до тех пор, пока в нем опять не пробудилось желание.

Утром страшно болела голова. Во рту было сухо и кисло. Ночное казалось ненастоящим, но Лида, растрепанная, в коротенькой кружевной рубашке, была тут. Она натягивала чулок и сокрушалась, что чулки маловаты ей.

Сергей долго полоскался в ванной.

— Приятель еще спит? — спросила Лида, когда он вернулся в комнату.

— Уже ушел на работу.

— Тогда я тоже пойду приму душ, можно?

Пока она мылась, Сергей оделся и привел себя в порядок. Лида вернулась из ванной веселая, свежая.

— Ты позвонишь? — спросила она, поворачиваясь к нему спиной, чтобы он застегнул бюстгальтер.

— Позвоню.

— Сереженька, милый, ты меня презираешь, да? — Она прильнула к нему.

— Почему я должен тебя презирать?

— Ты знаешь, я первый раз изменила мужу...

Муж?.. Откуда и какой муж?! Он не думал об этом, не предполагал. Если бы он знал вчера, что Лида замужем, ни за что не повез бы ее к себе. А еще чуть не пошел к ней... Как это мерзко, как это подло. Выходит, есть на свете человек, может быть, замечательный человек, которого он жестоко оскорбил, унизил...

— Это я только с тобой, не думай. Ты какой-то необыкновенный, а мужа я не люблю. Да и он меня не любит, сам изменяет мне направо и налево. Мы решили разводиться.— Лида вздохнула.— Не веришь, да?.. Можешь спросить у Зои, она в курсе.

— А сейчас где он?— зачем-то спросил Сергей.

— В плаванье, уже полгода. Он моряк.

Они молча спустились по лестнице, Сергей вывел Лиду на улицу, но дальше провожать не стал. Кажется, она обиделась, но промолчала, подняла воротник и побежала догонять троллейбус.

IX

В редакцию на имя Новикова пришло письмо от рабочих автохозяйства. Авторы письма жаловались на свое начальство, вернее, на произвол, якобы царящий в хозяйстве, рассказывали о приписках, об очковтирательстве, о зажиме критики — словом, о всяких неблагоприятных делишках.

«...Убедительно просим Вас разобраться во всем. Извините, что не ставим своих фамилий. Если Вы придете к нам, мы не будем скрываться, а если перешлете наше письмо куда-нибудь для проверки, тогда нам, если узнают, кто писал, несдобровать. Кое-кто уже пытался жаловаться, так с ними быстро разделались...»

Когда пришло это письмо, редактор был в отпуске. Виктор поехал в автохозяйство сам и написал резкую,

большую статью. Но опубликовать ее не успели, вернулся из отпуска редактор. Он тотчас вызвал Новикова к себе. Был он, как обычно, предельно вежлив, хотя и озабочен чем-то. Справился о делах, о планах на ближайшую неделю, охотно и многословно рассказывал о поездке в Швецию, посетовал на то, что «мало пришлось встречаться с простым шведским народом», и только после этого вступления, заверив Новикова в своей постоянной благожелательности, сказал, что хотел бы побеседовать насчет статьи.

— Будем откровенны, Виктор Павлович. Материал очень серьезный, а мы с вами не дети и должны предвидеть все возможные последствия такой публикации. Вы тщательно проверили факты? ...

— То, что есть в статье, малая толика того, что происходит в этой конторе. Эти деятели из государственного предприятия сделали собственную вотчину. Хочешь получить новую машину? Плати триста рублей. Машина требует ремонта? Опять плати. Между прочим, на ремонт даже установлена такса. Минутку, я сейчас...— Виктор достал записную книжку, полистал ее.

— Не нужно, Виктор Павлович,— остановил его редактор.— Дело не в частностях, этим пусть занимаются соответствующие органы. Мне бы хотелось знать: вы уверены, что все это не провокация, не клевета на чем-то неугодных людей? Письмо анонимное...

— Но я же был там.

Редактор усмехнулся.

— И видели, как дают взятки механику?

— Я разговаривал с рабочими,— сказал Виктор, догадываясь, куда редактор клонит.

— Разговоры, разговоры...— вздохнув, проговорил редактор.— Увы, их, как метко замечено, к делу не подшьешь. Мы публикуем статью, а те, с кем вы беседовали, отказываются от всего. Вы не допускаете такой вариант?

— Нет, не допускаю. Я привык верить людям.

— Вы узнали, кто именно писал письмо?

— Точно — нет. Народ там запуган. Вот когда статья появится, авторы найдутся.

— Видите! — мягко так, проникновенно улыбнувшись, сказал редактор. — Признаться, меня это сильно настораживает. Ну хорошо, испугались подписывать письмо. Но пришел корреспондент, чего же теперь-то бояться?..

— Оказывается, группа рабочих однажды уже писала в газету, только не в нашу. Тоже приходил корреспондент, а кончилось тем, что несколько человек вынуждены были уйти.

— Материал был опубликован?

— Нет.

— Вы не выяснили, почему?

— Материалы переслали в главк, а оттуда ответили, что факты не подтверждаются.

— Ну вот. — Редактор встал, прошелся по кабинету, как бы собираясь с мыслями. — Все не так просто, Виктор Павлович. Совсем не просто... Допустим, меня убеждает ваша уверенность, я верю вам. Да и как бы иначе мы работали вместе? Других все это не убеждает. Есть мнение пока воздержаться от публикации вашей статьи.

— Ничего не понимаю! — воскликнул Новиков. — Я никому не показывал статью и не говорил, что собираюсь писать...

— Достаточно того, что вы там побывали. Курите. — Редактор положил на стол сигареты. — И письмо, и вашу статью с вашими же комментариями мы перешлем по назначению, там разберутся. Виновных, если таковые имеются, накажут. Вы ведь в курсе, что четвертый автотрест переводят на новую систему экономического стимулирования?

— Да, мне говорили об этом. Но какое это имеет значение?

— Самое непосредственное. Публикация вашей статьи, Виктор Павлович, может сорвать важное мероприятие, подорвать в коллективе уверенность...

— Но коллектив тут ни при чем.

— Так не бывает,— сказал редактор.— Безобразия возникают на определенной почве. Не может руководитель быть сам по себе, а коллектив сам по себе. Для меня, например, ошибка любого сотрудника редакции — это и моя ошибка, и моя боль. Согласитесь, что при известной наблюдательности и желании на меня тоже можно написать жалобу, и если автор такой жалобы умело подберет факты, случаи; умело обобщит их, мне трудно будет опровергнуть что-либо.

— Да, конечно...— растерянно пробормотал Виктор, чувствуя, что редактор в чем-то прав.

— Я рад, очень рад, Виктор Павлович, что мы с вами нашли общий язык.

И тут Новиков догадался, что нет никакого мнения, что весь этот «задушевный» разговор не более, чем ловкая игра редактора, а на самом-то деле он просто не хочет, боится публиковать статью. Боится риска. Да, это выход: переслать письмо в райком или в прокуратуру, пусть там разберутся, рассудят, а потом, оградив материалами расследования себя от случайностей, можно будет выступить хотя бы и с фельетоном. В принципе такой вариант возможен, но станет ли прокуратура заниматься этим делом — письмо-то анонимное! А главное, станут ли говорить правду люди, когда их будут вызывать, допрашивать и требовать, чтобы они подписали протокол. В этом Виктор сомневался. А что касается документов, тут в автохозяйстве наверняка полный порядок, у них уже были проверки, в том числе и из КРУ. Когда берут взятки, расписок не дают. А когда вместо грузов перевозят, в сущности, «воздух», путевые листы

оформляются как положено, подкопаться трудно. Только люди, живые люди могут рассказать все, но этим людям, понял Виктор, нужна хорошая поддержка, какой и могла бы стать публикация статьи в газете...

— У вас есть что-нибудь готовое на замену? — спросил редактор, считая, что разговор исчерпан.

— Нет. Я настаиваю на публикации этой статьи.

— Но мне казалось, что вы меня поняли! Если вас беспокоит гонорар, вы проделали большую работу...

— Меня беспокоит совесть, — сказал Новиков. — И положение людей, которые доверились мне.

— Я вам уже объяснял, что есть мнение...

— Чье это мнение?

— Вы как ребенок, честное слово. Не первый же день вы живете на свете.

— Почему со мной не поговорили? Я бы сумел доказать.

— Вот мы и говорим. Или для вас этого недостаточно?

— Значит, это ваше мнение?

— Очень трудно с вами разговаривать, Виктор Павлович. Газета — не прокуратура и не какой-то там контрольный орган. Мы не вправе публиковать сомнительные критические материалы.

— Я понял, — сказал Новиков и встал. — Извините, но или статья будет опубликована, или я немедленно подаю заявление об уходе с указанием причины, разумеется. А статью отдам в другую газету.

— Ультиматум, так я вас понимаю?

— Как хотите понимайте. У меня есть принципы, и я не хочу ими поступаться. Или мне доверяют, или не доверяют.

— Сразу или — или!.. — Редактор укоризненно покачал головой. — Допустим, статья будет опубликована. Но вы должны ясно представлять себе, что вся ответственность ляжет на вас.

— Я никогда не боялся ответственности.

— Если факты не подтвердятся, вы подведете — сильно подведете, Виктор Павлович, — еще и моего заместителя: завтрашний номер подписывает он.

— Волков бояться — в лес не ходить, — усмехнулся Виктор.

— Насколько я понимаю, это вы меня имеете в виду?.. Ну что ж, вы сказали то, о чем до сегодняшнего дня молчали. Признателен вам хотя бы за откровенность. — Редактор чуть склонил набок голову. — От меня ничего подобного вы не услышите. Более того, я по-прежнему считаю вас способным журналистом. Если вы избавитесь от излишней горячности, от мальчишества, то будете работать. Боюсь только, что ваша неопытность и стремление опередить всех, показать свою принципиальность сослужат вам недобрую службу. Гибкость, Виктор Павлович, никому еще не помешала. А для журналиста это обязательное качество.

— Я могу идти?

— Разумеется. И, если вас не затруднит, попросите ко мне ответственного секретаря, вы все равно пойдете мимо.

* * *

Статья появилась в газете на следующий день. Номер, чего вовсе не ожидал Новиков, был подписан самим редактором. В тот же день в редакцию звонили из Управления автотреста, из райкома, из облсовпрофа, а к вечеру какой-то человек, которого Зиночка не запомнила в лицо, побывал у редактора. Он принес письменное опровержение, подписанное большой группой рабочих и служащих автохозяйства.

Василий Иванович оживился.

— Давненько в наших стенах не пахло жареным! Правда, трудно пока сказать, кто именно окажется на вертеле. Но дело будет, уж поверьте мне, Сергей Александрович!..

— Да не каркайте вы!

— Виктор Павлович расшевелил осиное гнездо, а осы, когда их беспокоят, больно кусаются. Это, знаете ли, не на любимую мозоль в трамвае наступить. Это уголовщина!..

Последующие два-три дня прошли спокойно. Редактор молчал. Виктор делал вид, что вообще не случилось ничего особенного. Был весел, разве что больше обычного разговорчив, но чувствовалось, что где-то, в каких-то инстанциях идет работа и что события не заставят себя ждать слишком долго...

Однажды утром, когда Сергей был в отделе один, туда заглянула Зиночка. Она давно уже забыла, что Сергей обидел ее, и по-прежнему одаривала его своими шикарными улыбками.

— Приветик. Новикова нет?

— Как видишь.

— Он погорел,— сообщила Зиночка.— Пришла длинная бумага с подписями и печатью. Его статья липа. Факты не подтвердились. Шеф рвет и мечет, непрерывно куда-то звонит. Дай сигарету.— Она неумело прикурила, задохнулась дымом и долго кашляла. А Сергей, глядя на нее, думал: как и почему она оказалась в газете? Ее место в Доме мод. Демонстрировала бы там купальные костюмы и ночные комплекты. А здесь так и останется на всю жизнь «госпожей почтмейстершей». Разве что удачно выпрыгнет замуж.

Она наконец прокашлялась.

— Управляющий трестом лежит в больнице в предынфарктном состоянии...

— Это тоже в бумаге с печатью написано?

— Это секрет фирмы. Нет, шеф не простит Виктору такого скандала. Он предупреждал его.

Сергей поморщился. Ему была противна Зиночка вместе со своими начесами и черно-синими ресницами, загнутыми кверху. Может, она накручивает их на ка-

рандаш? Сплошная бутафория. Кажется, ткни пальцем, и Зиночка развалится, а изнутри посыплется опилки. Как из плюшевого медведя. Сказать ей об этом?..

Промолчал. Снял трубку и машинально набрал номер редактора, и тот раздраженно спросил, кого надо. Сергей положил трубку на место.

— Занято? — сочувственно спросила Зиночка. — Ну я побегу. Как ты думаешь, Болдырев, чем все это кончится?.. Прямо кино.

Сергей рассвирепел, поднял голову, он хотел высказать Зиночке все, что думал о ней, но в это время открылась дверь и влетел редактор:

— Где Новиков?..

— На стройке.

— Как только появится, немедленно ко мне! Черт знает!.. А вы что здесь делаете? — Он уставился на Зиночку, и она, кажется, съежилась.

— Письма приносила...

— Ступайте на свое место.

Зиночка вышла.

— Что ты думаешь по этому поводу, Болдырев? — спросил редактор.

— О чем?

— О статье Новикова.

— Но я ведь не в курсе, Георгий Константинович. Только в общих чертах...

— Придется печатать опровержение, извиняться. Это впервые в моей практике. Предупреждал же, предупреждал... Мальчишка, принципы у него, видите ли! Как будто все остальные живут без принципов. — Он метался по комнате и размахивал руками. Таким Сергей еще никогда его не видел.

— Может быть, — заикнулся Сергей, — все обойдется.

— Ничего не может быть, Болдырев! Дай-ка закурить, Дрянь куришь. Надо будет угостить тебя хороши-

ми сигаретами, жена мне достает.—Он потушил сигарету.— Политический слепец, этот Новиков. Мальчишка. Вот и делай газету с такими помощниками. Я видел, что это демагог с левацкими замашками, он и тебя недолюбливает за то, что ты придерживаешься правильной линии. И завидует тебе. Ничего, ничего... Таким дай волю, они начнут крушить все подряд, направо и налево. Вокруг все идиоты, только они умные. Ко мне его. Как только появится, ко мне. А ты работай, Болдырев. У меня вся надежда на тебя. Этот Добрых тоже начинает характер показывать, придется его на пенсию отправить.

Новиков приехал со стройки после обеда. Был он возбужден.

— У-ух, старик, и материальчик для очерка я откопал! Там такой человечиче работает, готовый роман прямо. Восемь боевых орденов, две «Славы» и никто не знает об этом. Скромница...

— Тебя жаждет видеть шеф.

— Понятно,— потускнев, сказал Виктор.— Начинается второй акт комедии.— Он снял пальто и ушел.

Едва за ним закрылась дверь, опять появилась Зиночка. Ее, наверное, выставил редактор, чтобы не подслушивала. Она открыла форточку («Фу, начал дышать нечем»), постояла у окна, потом села напротив Сергея у его стола.

— Ты когда идешь в отпуск?

— Не знаю.

— А я в августе. Хороший месяц, верно? Поеду на юг. Как ты думаешь, куда лучше — в Крым или на Кавказ?

— Лучше всего на Камчатку,— сказал Сергей.— Гейзеры, вулканы, красная икра и медведи. Как раз для тебя.

— И что ты за мужик, Болдырев! Злой ходишь, на всех дуешься. Хоть бы рассказал что-нибудь веселое...

- Так я, может, и не мужик вовсе,— сказал Сергей.
- Тем более.
- Что тем более?
- Скучно, Болдырев. Господи, кто бы знал, какая скука вокруг! — Зиночка жеманно закатила глаза.
- Пальчик показать?
- Дурак, вот ты кто!
- Строго говоря, все мы дураки,— сказал Сергей.— Один в большей степени, другой в меньшей. Допустим, я дурак в квадрате, но тогда ты...
- К тому же хам! — выпалила Зиночка и вскочила. Впрочем, тотчас села опять.— С тебя, между прочим, причитается, Болдырев,— сказала спокойно, как будто ничего не произошло.
- Еще премию прислали? — спросил Сергей.
- Теперь тебя назначат завом, зарплату повысят...
- Да что вы человека заживо хороните!
- Совсем не заживо, если разобраться.— И повела плечиком, давая понять, что ей-то многое известно.— А на тебя шеф богу молится. Чуть что — Болдырев, Болдырев! Подумаешь, гений.
- Помолчи,— зло сказал Сергей.— Я работаю, а ты тут тарахтишь, как полотер.
- Ах, ах, товарищ Болдырев пишет роман!
- Топай отсюда.— Сергей встал.— И чем быстрее, тем лучше.
- Может, ударишь еще? Или пепельницей запустишь? С тебя станется.
- Я сказал: топай отсюда!
- Где тебя воспитывали такого.— Зиночка вышла, хлопнув дверью.
- А Сергей работать уже не мог. Его одолевали какие-то ненужные, посторонние мысли, а тут еще пришел Василий Иванович и начал названивать по телефону, добывая информацию.
- Сергей собрался и поехал домой.

Вечером к нему пришел Новиков.

— К тебе можно, старик? Не помешаю?..

— Заходи.

— Извини за неожиданное и непрошеное вторжение. Был поблизости, дай, думаю, забегу. Показывай, как живете-можете. Квартиранты дома? — Виктор был совершенно спокоен, и это удивляло Сергея больше, чем его визит.

— Они получили квартиру,— сказал он.

— И ты опять в гордом одиночестве?

— Выходит, так. Проходи, чего ты стоишь. У меня нет злой собаки.

— Я на минутку, старик.— Но в комнату все же прошел и сел, широко расставив ноги.

— Ну и лапища у тебя,—сказал Сергей.— Сорок третий?

— Сорок пять. И давно съехали квартиранты?

— Недавно.

— Да, строим много, жуть берет, а людям все равно жить негде. Раньше почти не строили, а жили как-то.

— В коммуналках.

— Это верно. Нынче все хотят в отдельных жить.

Не клеился что-то разговор, оба чувствовали натянутость и необязательность слов, которыми обменивались.

— В шахматешки? — предложил Сергей.

— Не увлекаюсь.

Сергей вспомнил, что у него есть бутылка коньяку. Купил просто так, понравилась этикетка. Дорогой марочный коньяк. Каждый раз не купишь, с большого гонора позволил.

— А как насчет коньячку? — Он достал бутылку и чуть торжественно водрузил на письменный стол.

— Красиво живешь, старик,—сказал Виктор. Он

взял бутылку, повертел в руках, разглядывая этикетку, и поставил на место.— Я уж и забыл, когда такой коньячок пробовал.

— От дня рождения завалилась, подарил кто-то, а случая выпить не было,— зачем-то соврал Сергей.

— У меня бы не завалился! — Виктор улыбнулся.— Жена тут решила запасец сделать, так на неделю хватило. Что ж, давай тяпнем, раз пошла такая пьянка! Коньяк, говорят, повышает тонус.

— Не читал, что американцы едят насчет алкоголя?

— А, не верю я медицине. Вон горцы бочками хлещут, а живут по сто лет, не спиваются почему-то. Не-ет, старик. Сливается не тот, кто много пьет, а тот, кому не за что пить. Мы ведь замечаем спившихся мужиков у пивных ларьков, а они идут туда именно потому, что на коньяк и водочку денег нет. Я знаю людей, которые без своей бутылки дня не проживут, но никому и в голову не приходит, что они алкоголики.

— Оригинальная теория,— сказал Сергей с сомнением.

— Доморошенная, увы. Служит оправданием слабостей человеческих. Слушай, а ты жениться не собираешься?

— Пока нет.

— И правильно. В этом деле нельзя ошибиться, а попробуй не ошибись, когда вокруг столько прекрасных женщин!..— Виктор прикрыл глаза и почмокал губами.— Одна другой прекраснее. А может, запретный плод в самом деле слаще? Иногда глядишь на женщину и кажется, что отдал бы все за ночьку с ней... А ведь где-то ее муж в это время тоже смотрит на женщин и тоже думает о чем-то. Вот тебе и вся диалектика. Своих-то жен мы видим уставшими, задерганными, вечно озабоченными домашними хлопотами, а чужая — совсем другая петрушка, Чужая, она всегда приодетая, всегда кра-

сивая. Обрати внимание: женщина приводит себя в порядок для мужчин, но только не для мужа...

— Тоже в оправдание слабостей человеческих? — улыбнулся Сергей.

— Отчасти тоже, — согласился Виктор. — А вообще-то в укор нам, мужикам. Один директор завода как-то сказал, что доплачивал бы мужчинам по тридцать целковых за каждого ребенка, лишь бы женщины сидели дома. Замужние, разумеется.

— Перегибает, по-моему, твой директор, — возразил Сергей. — Как же тогда быть с равноправием?

— Нет, старик, в этом что-то есть. Равноправие равноправием, а женщина — это прежде всего мать, жена, работа для нее лишняя нагрузка. Женишься, тогда поймешь. — Виктор вздохнул тяжело и залпом осушил стопку. — Они пили коньяк из стопок.

— Как у тебя дома? — спросил Сергей, чуть пригубив свой коньяк.

— По-разному. Пока вроде терпимо.

В редакции все знали, что в семье у Новикова не совсем благополучно. Его жена, красивая, даже импозантная женщина, однажды приходила к редактору, просила поговорить с Виктором. Разговора, естественно, не получилось, а Виктор после этого едва не разошелся с женой. Ходили слухи, что он равнодушен к женщинам, будто у него есть любовница. Василий Иванович и особенно Зиночка пытались втянуть Сергея в разговоры на эту тему, однако он уклонялся. Его эти дела не касаются. Может быть, они не касаются никого, кроме самого Виктора и его жены.

— Шеф икру мечет, — вдруг проговорил Виктор.

— А на кой черт ты связался с этим кляузным делом?

— Ну, старик... — Виктор опустил на стол кулак. Сильные набухшие вены резко, отчетливо проступали сквозь кожу. Потом встал, подошел к стеллажу, взял какую-то

книгу, полистал и поставил на место.— Драйзер,— сказал вслух.— Терпеть не могу. По-моему, скучный писатель. А библиотека у тебя приличная.

— Отец еще начал собирать.

— Он жив?

— Погиб, я его не помню.

— Мой тоже погиб, но я помню его. Строгий был мужик. Профессиональный солдат, ничего не попишешь.

— В войну погиб?

— Нет, после. Для нас после, а для него, выходит, война не кончалась. Подумаешь, жуть берет — все время где-то воюют, что-то делают. Собрались бы однажды в этой ООН и договорились бы раз и навсегда не воевать. Наивно, а что делать?.. Чем одна нация от другой отличается? Такие же люди...

— Ты как пацифист рассуждаешь.

— Все мы в душе пацифисты, исключая дегенератов навроде фюрера.

— А вот воюешь же,— сказал Сергей, наливая Виктору коньяк.

— Это другая война, старик. Тут я не сдамся, буду воевать до последнего.

— Уверен, что докажешь свою правоту?

— Трудно,— признался Виктор и насупился.— Очень трудно. Да если бы в моей правоте или неправоте было дело, плевать бы я хотел! Повнимаешь, у меня в статье цветочки, мелочи, издержки быстротекущей жизни. Эти деятели делишки куда похлеще обделывают. Кое-что у меня в блокноте есть, конечно, но главное осталось за кадром.

— Неужели без тебя не разобрались бы? В конце концов, ты не работник уголовного розыска или ОБХСС, а журналист. Твое дело информировать общественность о происходящем...

— Брось. Не умею я и не хочу сидеть, как Инсусик, сложа руки. А что, если мы все сложим руки?.. Если

станем строить все свои хаты с краю?.. Посередке, старик, образуется пустота. А природа, как известно, не терпит пустоты. Вот ты говоришь — журналист. Для меня это значит гораздо больше, чем человек, умеющий писать.

— Громкие слова,— поджав губы, сказал Сергей. Ему показалось, что Виктор на что-то намекает.

— Для кого как. Для меня — нет.— Он говорил резко, сердито, нисколько не беспокоясь, понравится ли это Сергею.— Конечно, можно жить спокойно, ни во что не вмешиваться. Я есть и меня нету. Кстати, ты этой болезнью страдаешь малость, извини за откровенность. И подумай, подумай, старик, за что тебя шеф так горячо любит... Это старый, прожженный волк, он все видит и все понимает. Себе на уме. Он отлично усвоил, что, если газета не вступится за правду, за справедливость, за это его не попрут из кресла. Тем более если он сигнализирует в инстанции. А вот если ошибется...— Виктор схватил стопку, поднес к губам, но тотчас вернул на место.— Это уже не просто доморошенная теория. Это, старик, философия, и философия опасная.

Странное дело: не было у Сергея желанья спорить с Виктором, хотя далеко не со всем, что говорил Виктор, он был согласен. Уж очень все это было похоже на то, что проповедовала мать. Умение жить для других, бороться за справедливость, помогать людям, разбираться в противоречиях... Неужели это действительно необходимо? А что же те, другие?.. Нет, нет. С него хватит собственных забот и противоречий. Живут же люди — и никто не скажет, что плохие люди,— не усложняя свою жизнь чужими заботами. Разве он не такой, как все? Вот, правда, есть еще Виктор Новиков... Ну что ж, если ему нравится жить именно так, пусть живет. В конце концов, это его личное дело.

Вздохнув, Сергей поинтересовался:

— О чем говорили с шефом?

— Да обо всем помаленьку,— ответил Виктор,— В основном толковали за жизнь.

* * *

В официальном ответе на статью было сказано, что «факты, приведенные в статье т. В. Новикова, не подтвердились», а в письме группы рабочих и служащих (именно так было подписано письмо) говорилось, что «автор предвзято подошел к разбирательству анонимного письма кучки разгильдяев и прогульщиков...».

— Я вас предупреждал,— сказал редактор, дав Виктору прочесть эти бумаги.

— Я не забыл.

— И что вы теперь прикажете делать?

— Насколько я понимаю, вы позвали меня не для того, чтобы спрашивать совета. А эти бумаги... Демагогия это, фальшивки.

— Работу автохозяйства, как видите, проверяла специальная комиссия, мы не можем не считаться с этим фактом.

— Не первая комиссия и, скорее всего, не последняя.

— Может быть, Виктор Павлович. Все может быть,— как бы в раздумье проговорил редактор.— И тем не менее на выступление газеты мы имеем официальный ответ, который обязывает меня принять соответствующие меры. Мы вынуждены будем опубликовать опровержение, но и это не самое главное...

— Но этого нельзя делать! — Новиков вскочил.— У меня еще куча материалов, я готов хоть завтра выступить повторно! Я докажу...

— Доказывайте, Виктор Павлович, ради бога, доказывайте.— Редактор приложил руки к груди.— Буду рад за вас. И за нашу газету, разумеется. Но выступать повторно мы не будем. У нас нет оснований не доверять выводам авторитетной комиссии,

— Получается, что комиссии, которая явно была заинтересована, чтобы выгородить это жулье, вы доверяете. А своему сотруднику в такой доверии отказываете.

— Этого я не имел в виду, Виктор Павлович. Ваше выступление я расцениваю как ошибку. Ошибку грубую, непозволительную, но все же ошибку, и не более того,— сказал редактор.— Вы, разумеется, понесете наказание в административном порядке, о чем мы сообщим нашим читателям.

— Я понял вас. Дайте мне отпуск на десять дней.

— Ну что ж, напишите заявление, рассмотрим. Только обещать не могу, сами знаете, народу не хватает, а тут еще этот грипп. У вас что-нибудь дома не в порядке?— участливо спросил редактор.

— Дома у меня все в порядке,— ответил Виктор.— Да, когда вы собираетесь опубликовать опровержение?

— В одном из ближайших номеров.

— Тогда я вынужден подать заявление об уходе.

— Дело, как говорится, ваше. Однако я бы не советовал вам спешить и горячиться. Обдумайте все как следует, взвесьте.

— Благодарю за совет,— сухо сказал Виктор.— Но оставаться не могу, если вы опубликуете опровержение.

— Помилуйте, Виктор Павлович! Есть же определенная этика, и я не имею права нарушать ее.

Виктор вышел из кабинета редактора, взял у Зиночки лист бумаги и тут же написал заявление...

— Ты действительно погорячился,— выслушав его рассказ, сказал Сергей.— Уйти никогда не поздно.

— Не знаю, не знаю, старик. Но нужно быть полным идиотом, чтобы оставаться в газете, где тебя обложили. Да ведь он и хотел этого, неужели тебе не понятно?

— И что ты решил делать?

— Поеду в Москву, на «Красном пролетарии» свет не сошелся клином.

— Сломаешь хребет.

— Лучше жить со сломанным, старик, чем с выгнутым. И кончим об этом, мне пора. Жена не знает, где я, будет беспокоиться.

— Позвони,

— Я же без телефона, сменялся в новый район.

— Хорошая квартира?

— Нормальная малогабаритка. Загнусь, гроб не сразу вытащат. Но главное, отделились от тещи. Ну, давай лапу.

Уже надев пальто, он пристально, внимательно посмотрел на Сергея, как бы собираясь доверить ему какую-то тайну.

— На меня не злись, старик. Писать ты умеешь дай бог каждому. Подумай, для кого и зачем пишешь. Теперь и в стихах-то не терпят пустословия, даже красивого. В газете тем паче. И прими один совет: шеф привез новые штаты, Зиночка, эта промокашка, надеется, что ты возьмешь ее в свой отдел.

— В какой отдел?

— Ладно тебе, мы же не дети,— сказал Виктор, поморщившись.— Не делай глупостей. Будь здоров и не кашляй. Как-нибудь забегу, не выступишь, надеюсь?

— А может...— заикнулся Сергей.

— Пауза, старик!

Громко щелкнул замок, какое-то время на лестнице были явственно слышны тяжелые шаги Виктора. Потом все стихло. Только звучно трудился недавно купленный будильник и в открытую форточку доносились голоса подростков. Сергей бродил по квартире как потерянный. Он словно что-то искал и никак не мог найти. Да и не знал, что именно ищет. Включил телевизор. Передавали городские новости, которые утром передавали по радио и о которых было уже напечатано в газетах. Он выключил телевизор, ушел к себе и завалился на оттоманку.

И вдруг из каких-то потаенных глубин сознания вы-

плыла мысль: «Выходит, матери бывают правы гораздо чаще, чем кажется нам?..»

XI

Сергей отлично учился, его ставили в пример другим, по случаю праздников и окончания учебного года он получал награды. Он привык быть лучшим, первым и, если иногда получал хотя бы четверку, считал себя обиженным, обойденным. Он пользовался особыми привилегиями в школе, какими не пользовались его сверстники, потому что был «гордостью и надеждой школы».

Аттестат зрелости он получил вместе с золотой медалью и вопреки желанию матери поступил на факультет журналистики.

Мать хотела, чтобы Сергей стал педагогом. Как сама, как погибший отец. И он как будто не был против того, чтобы поддержать семейную традицию, но все пошло прахом самым неожиданным образом.

Писали сочинение на вольную тему. Сергей свое сочинение назвал несколько необычно или, скорее, непривычно: «Читая Пушкина». Его работа была признана лучшей, сочинение читали вслух во всех старших классах, оно было отмечено специальной наградой — бюстом А. С. Пушкина. Учитель литературы, как раз сменивший прежнюю учительницу, заявил, что у Сергея «ярко выраженные способности». И посоветовал поступать на факультет журналистики. В крайнем случае, на филфак.

— Но я собирался в педагогический, — сказал Сергей.

— У тебя талант, Сережа! — убеждал учитель литературы. — А талант есть достояние общества. — Он любил говорить «высоким стилем», поэтому, наверно, ему поручали делать доклады на торжественных собраниях и вечерах. — Попробуй написать что-нибудь в газету. Например, об экскурсии по ленинским местам. Или вот

в молодежной газете развернулась дискуссия на тему «Школа и время». Приходи вечером ко мне, вместе обсудим, подумаем.

И Сергей написал заметку, в которой откровенно поделился с читателями мнением учителя литературы по вопросу своего личного отношения к жизни. Заметку напечатали, более того, она вызвала отклики. Сергею все это очень понравилось. Он стал писать в газету регулярно, в редакции его хорошо принимали, и Сергей скоро понял, что работа в газете открывает куда более широкие и заманчивые перспективы, чем многотрудная карьера учителя. Перед ним был живой пример матери. Чего она достигла в жизни? Рядовой учитель, каких легион. Кто знает мать? Соседи, поскольку здороваются и время от времени заходят, чтобы одолжить луковицу, морковку или пятерку до полочки. Коллеги, такие же безвестные труженики. Родители преимущественно так называемых трудных детей. Стоило ради этого прожить жизнь.

Правда, мать придерживалась другого мнения.

— Труд педагога,— говорила она,— сам по себе благороден и совершенно необходим людям. В сущности, Сережа, это столь же древняя профессия, как и врачевание. Люди лечили друг друга, когда не имели понятия о медицине и тем более гигиене. Также люди и учили друг друга, ничего еще не зная о педагогике.

Но это уже из области морально-этических воззрений матери. А Сергей хотел быть и был реалистом. Понятно: воспитывать и учить детей — это благородно, нужно, просто необходимо, наконец. Но почему этим заниматься должен именно он? И почему люди так привязаны к своим семейным традициям? А если каждая семья станет поставлять обществу специалистов какой-нибудь одной, пусть самой уважаемой профессии! Педагоги — педагогов, врачи — врачей, водопроводчики — водопроводчиков...

Ерунда получится.

...Разумеется, о своем решении изменить семейной традиции он поставил в известность мать. Она выслушала его внешне спокойно.

— Ты уверен, что это настоящее твое призвание?

— Да.

— А может быть, тебе вскружил голову маленький успех?

— Нет. Просто я так решил.

— Ну что ж, Сережа... Конечно, я хотела бы видеть тебя в будущем учителем. Думаю, если бы был жив твой отец, он сказал бы то же самое. Но ты достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельные решения. Лишь бы твой выбор не был случаен. Ты прости, но мне порой кажется, что в тебе есть излишняя самоуверенность, и ты ведь совсем не знаешь жизни.

— Разве плохо, когда человек уверен в себе?

— Уверенность и самоуверенность не одно и то же. Ты не подумай, я не настаиваю, поступай как знаешь. Это твое право — распоряжаться своей судьбой. Родители дают жизнь, а как прожить ее — дети должны решать сами. Ошибешься, не страшно. Человек должен ошибаться.

Нет, далеко не со всем, что говорила мать, соглашался Сергей. Старость есть старость, рассуждал он, забывая, что матери не было еще и пятидесяти.

Быть может, впервые он принял всерьез слова матери, когда ее не стало.

...Дорожки на кладбище были скользкие, липкие, грязь удручающе хлюпала под ногами, и тяжело гнулись набухшие влагой ветки деревьев, скорбно роняя последние листья. Сергей редко бывал на кладбище, раза три-четыре в жизни, не больше, поэтому, может быть, он особенно остро, болезненно переживал смерть матери. Только здесь, среди тысяч могил, он до конца понял, осознал, что матери нет...

Он хотел сделать на могильной плите какую-нибудь надпись. Высечь на сером жилистом граните хорошие, теплые слова, но что-то удержало его. Скорее всего, воспоминание об одном разговоре с матерью. Тогда они были на кладбище, ездили на могилу деда. Возле его могилы стоял прямо-таки шикарный памятник, поставленный «незабвенному мужу и отцу от жены и дочери».

— Не понимаю этого,— сказала мать.— Мне всегда кажется, что такие памятники ставят неискренние люди, потому что здесь все напоказ. А истинная любовь и уважение не терпят помпезности. Все должно быть предельно скромно и не должно бросаться в глаза. Смерть есть смерть, ей не нужны вывески в золотой оправе.

Вспомнив об этом, Сергей подумал, что мать была абсолютно права.

А сознание большой и невосполнимой утраты пришло к нему не сразу. Много позже он понял, что ему недостает именно матери, ее усталых глаз, ровного голоса и простых, часто наивных суждений о жизни.

Много позже.

— Самое важное, Сережа,— говорила мать,— всегда оставаться самим собой, оставаться человеком. Это трудно, очень трудно, не каждый это умеет. Но необходимо. Иначе жизнь может оказаться пустой и никчемной...

Пожалуй, и в этом она была права. Увы, люди почему-то стараются казаться лучше, чем они есть. Иногда из кожи вон лезут, чтобы кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление, у кого-то завоевать авторитет, чтобы быть на высоте положения. А это ли главное?..

Дождь шел четыре дня подряд.

Во дворе, там, где промялся асфальт, налилась мутная лужа. Сквозной ветер, врываясь под арку, ерошил воду, а ребятишки топали по луже, представляя ее морем. Солнце изредка, как давнее и приятное воспомина-

ние, навещало окно. Квартира сделалась холодной, гулкой, словно в ней поселилась пустота. Шаги отзывались в углах. Сергей останавливался, прислушиваясь. Ему казалось, что в квартире он не один, что кто-то невидимый ходит за ним по пятам, повторяет каждое его движение. Страх выгонял его на улицу. Он одевался и уходил из дому, а когда возвращался, успокаивая себя трезвыми, здоровыми мыслями насчет галлюцинаций и сложных психических процессов, его встречала чуткая пустота нежилого помещения, и здоровые мысли становились большими, и он, ложась спать, тщательно обследовал комнату и подпирал дверь столом.

Как-то Сергей шел по улице. Может, это была Садовая или какая-то другая улица, но такая же тесная, шумная и неприглядная, а день был отличный, какие редко случаются осенью. Сочно и легко голубело небо, солнце расточительно повторяло себя в окнах и витринах, весело, бойко трезвонили трамваи, требуя себе дороги, и вдруг внимание Сергея привлекла вывеска, которую он видел и раньше, видел много раз, но не обращал на нее внимания, проходил мимо:

ТРЕСТ НЕЖИЛОГО ФОНДА

Он остановился. Или, скорее, что-то остановило его, какая-то неведомая сила, заключенная в нелепом сочетании слов, и почувствовал, как уходит из него праздничное настроение, рожденное погожим, теплым днем, улыбками людей, бойким трамвайным перезвоном. Словно повеяло затхлым холодом подземелья, и он вспомнил себя в далеком уже детстве, когда с мальчишками лазал по заброшенным склепам на заброшенном кладбище. Тогда вот так же тянуло из-под земли сырым холодом, и было жутко смотреть на металлические гробы, в которых почему-то зияли рваные дыры, и казалось, что сейчас кто-то выйдет из гроба, а на улице, как

и теперь, светило солнце, и в густой зелени акаций и сирени пели птицы.

Сергея передернуло от этих воспоминаний, и он быстро пошел прочь от вывески, а она маячила перед глазами, отталкивая своей противоестественной аккуратностью и любовно начертанными буквами.

Зима стояла пасмурная, мокрая. Небо тяжело давило на крыши. Улицы по вечерам были пустынные. Радовались одни воробьи: им было легче добывать корм. Город как бы спрятался, ушел в себя, и только окна пустоглазо смотрели в холодный, неуютный мир.

* * *

И снова квартира наполнилась пустотой. Сергей слонялся по вечерам по квартире, пристрастился даже к телевизору, ему все казалось, что кто-то должен прийти и тогда что-то изменится в его жизни. Он жил в тревожном ожидании, в предчувствии каких-то событий, которые вот-вот произойдут, но ничего не происходило, никто не приходил, все оставалось по-прежнему, было привычным, знакомым, а дни друг от друга отличались лишь названиями: понедельник, вторник, среда...

Он старался меньше бывать дома. Допоздна засиживался в редакции, пока не являлся вахтер и не выпроваживал его. Переписывал по два-три раза крошечные заметки, но покоя не находил и в работе.

Наступило обещанное синоптиками потепление. Солнце припекало совсем уж по-весеннему, в два дня согнало снег в городе, а потом вдруг ударили сильные морозы, и старушки, перекочевав из ближайшего сквера к парадным, обсуждали проблемы жизненной неустойчивости. («Вот и погода не та, что раньше. Раньше-то если уж зима, так зима, а теперь что? Недоразумение, господи простй. В прежние-то времена не бывало, чтобы в зиму шел дождь, да и морозов таких тоже не было...»)

Что ж, каждому свое. По разуму и мысли. Сергей находил в этом еще одно подтверждение своим взглядам. А старушки, провожая его, гадали, какая девка станет хозяйкой отдельной квартиры с удобствами... Да и сам жених, по мнению старушек, куда как хорош. И зарабатывает, наверное, немало.

Сергей понимал, что в таком состоянии подавленности и безотчетного страха жить нельзя. Надо искать выход из тупика, надо что-то делать, чтобы вернуть прежнюю уверенность в себе и спокойствие. И все чаще мысленно он обращался к матери, искал у нее поддержки, спрашивал совета и, случалось, слышал ее голос: «Видишь, Сережа, тебе двадцать семь, а ты уже один. И сам, только сам виноват в этом. У тебя нет друзей, нет товарища, нет жены... Ты понял, как это страшно, остаться на свете одному?.. Ты слишком много думаешь о себе, слишком ревностно охраняешь свое «я», ты ждешь, чтобы люди шагнули тебе навстречу первыми. Помни, Сережа, что не ты нужен людям — они проживут без тебя, но люди нужны тебе. Помни...»

Впрочем, это мать говорила давно.

Слова, одни только слова. В них тоже заключен какой-то смысл, с этим не станешь спорить, однако в них нет действия. А нужно что-то делать. Уехать? Бросить все и уехать. Но куда?.. Безразлично, лишь бы подальше, лишь бы не чувствовать, не слышать этой одуряющей пустоты, этого изматывающего душу одиночества. Хотя бы на мир посмотреть. Каков он на самом-то деле. Жестокый и злой. Беспощадный к слабым. Именно: природа не терпит пустоты и слабости.

Мир для сильных людей.

Неожиданно начал писать роман. Не рассказ, не повесть даже — роман. Писал лихорадочно, не поспевал за мыслями, не спал кряду несколько ночей, ходил с припухшими, красными глазами, как после долгой пьянки, и казалось, что роман получается, в нем есть настоя-

щая жизнь, есть мысли и страсти, но так же неожиданно, как начал, бросил писать. Устал.

Неделю не трогал рукопись, она лежала на столе, покрываясь пылью. А когда набрался мужества и прочитал написанное, понял, что абсолютно беспомощен. Чуть какая-то несусветная, мелкие, чужие мыслишки, сентиментальщина, и главное, никакой жизни — все мертво.

И было стыдно. Было почти так же стыдно, как в утро после ночи, проведенной с Лидой. Но что же здесь общего, между женщиной и работой? Значит, что-то есть, если и то и другое рождает одинаковое чувство стыда. Там он обокрал незнакомого человека и заодно себя. Здесь, в романе, обокрал сразу многих.

Но почему, почему не рушатся дома! Взял бы и обрушил их старый-престарый дом, и похоронил бы под обломками человеческие страсти, надежды, ошибки...

Но откуда, откуда эти дурацкие мысли, эта неуверенность и тревога? Мать?.. Но умирают все, и, может быть, в этом, в неизбежности, в неотвратимости смерти, одно из условий счастья, которого так ищут, так жаждут все. Кто бы стал искать этот мираж, если бы поиск не был разумно ограничен во времени. Новиков?.. Но при чем тут он? Наташа?..

Возможно, и Наташа. Очень, очень возможно. Съездил к Романовым, между прочим поинтересовался и Наташей. Оказывается, она по-прежнему сидит в этом Нижнереченске, наверное, какие-то сложности с работой, у них бывает.

Рукопись романа полетела в ведро. Ни за что, в общем-то, накричал на нового литсотрудника (Сергея, разумеется, назначили заведующим), который пропустил ерундовую ошибку в не менее ерундовой заметке, и впервые в жизни напился в одиночку. Просто сидел и пил водку. Почти как в кино неустроенные герои,

Как ни странно, но все это — и злость, вымещенная на постороннем человеке, и пьянка в одиночестве, — все это встряхнуло Сергея, заставило взглянуть на себя со стороны.

Все, решил он. С него хватит. Он будет жить, как живут нормальные люди. Радоваться маленьким радостям, огорчаться по поводу маленьких неприятностей. Он хочет иметь друзей и заведет их. Пусть приходят к нему в гости, пусть рассказывают пошлые анекдоты, придуманные тут же всякие смачные истории о женщинах, пусть и для него занимают очередь в столовой, как занимают все друг для друга. И было легко Сергею, пьяно кружилась голова, а все прошлое казалось дурным сном, наваждением.

— Я понял, понял все... Ведь мы, в сущности, все дети одной матери, а потому все одинаковы, да. И все делаем одно дело. И неважно, черт возьми, что кто-то делает немного лучше, а кто-то немного хуже. Каждый работает в меру своих возможностей и сил. Не всем дано быть Шекспирами. Да, не всем, и в этом нет ничего плохого. Не в этом главное... Остаться человеком. А я вот. Конечно, все кончено... Вчера не повторяется, и только дуракам кажется, что бывают совершенно одинаковые дни... И вообще, если разобраться, дураков на свете нет. Просто... Просто... Хотите анекдот?.. Пожалуйста! Пляж в окрестностях Каира, жара... ах да, археолог Говард Картер, отличный был мужик, между прочим. Нашел гробницу Тутанхамона, но дело не в этом... На пляж из Нила выползает крокодил... Он поцеловал жену Тутанхамона и умер от трупной болезни. Это же яснее ясного, именно от трупной болезни... Но почему умирают люди, когда им надо жить и жить! Безобразие, несправедливость вопиющая. А Новикова все-таки жаль. Надо пойти к шефу и заявить протест, Или тоже подать заявление... Но куда делась Наташа?.. Неужели она никогда больше не придет, не улыбнется...

Шеф— крупная дрянь, а Зиночка сказала, что достала два билета на «Безумный мир». Верно, мир безумен, сошел с ума, и скоро все полетит к чертям собачьим...

Сергей произнес этот монолог, когда валился на свою старую оттоманку, и ему снилось, как Природа, почему-то лицом похожая на Наташу, распределяла ум. Огромный такой кусок ума, и она откалывала от этого куска кусочки поменьше, откалывала ломом и выдавала каждому, кто подходил. Однако кусочки были неравные, и одному доставалось много ума, а другому чуть-чуть. Какому-то мужчине достался огромный кусок, он даже не вмещался в голове, и мужчина, озираясь, спрятал остатки в желтый портфель с монограммой, и тогда Сергей увидел, что это Шекспир...

Наутро голова разламывалась от дикой боли. Сергей, борясь с отвращением, выпил полстопки водки, его едва не вырвало, но стало полегче. Он сварил крепкого кофе, побрился и поехал на работу.

А там его ждал сюрприз.

Прибежала Зиночка:

— Срочно к шефу.

Редактор встретил его стоя. Протянул через стол руку:

— Привет, Болдырев. Полоса готова?

— Готова, Георгий Константинович.

— Отлично. Тогда хватай в охапку чемодан и отправляйся в командировку.

— Так сразу? — удивился Сергей. Обычно командировки обговаривались заранее.

— Немедленно.

— А куда?

— В Нижнереченск, — сказал редактор. — Выезжай сегодня же, тут недалеко. Сторожевская подготовит документы, закажет билет на автобус. Деньги получишь после возвращения. Найдется на дороге или дать?

— Спасибо, у меня есть деньги.

А сам думал: «Там Наташа!..»

— Значит, таким образом. Да ты садись, садись.— Редактор тоже сел.— В третьем квартале должны пустить вторую очередь Нижнереченского комбината. Но график срывается. Этот вопрос будет обсуждаться на бюро обкома. Понял?

— Да, Георгий Константинович.

— Отлично. Разберись там на месте и давай материал. Все срочно, Болдырев. Справишься, надеюсь?

— Постараюсь.— Ему не терпелось, его подмывало вскочить и бежать. Скорее, скорее. Возможно, там он встретит Наташу. Почему бы и нет? Мало ли бывает неожиданных встреч, а Нижнереченск город небольшой, там наверняка одна гостиница.

— Запомни, Болдырев,— откуда-то издали приходил голос редактора,— местное руководство будет тебе жаловаться на поставщиков, на проектировщиков, на нехватку рабочих рук и прочее, и прочее. Но ты знай свое дело — материал нужен критический. И никаких объективных причин и отговорок. В планах все учтено, а когда принимали обязательства, должны были подумать. А то, понимаешь, обещать все умеют, а как доходит до дела — миллион объективных причин. Вот, пожалуй, и все. Думаю, трех-четыре дней тебе хватит. Да, гостиница заказана, я сам звонил в райком. Действуй, Болдырев.

Зиночка, когда отдавала командировочное удостоверение, пожелала ему счастливого пути. И кокетливо добавила:

— Взял бы меня с собой, Болдырев.

— В Тулу со своим самоваром не ездят,— ответил он.

— Почему в Тулу?

— Так, вообще.

— Ой,— воскликнула Зиночка.— А как же билеты на «Безумный мир»? Я же на завтра взяла.

— Обойдется безумный мир без нас с тобой. А мы уж сами по себе сойдем с ума.

Он помахал ей рукой и, даже не простившись с Василием Ивановичем, поехал домой за вещичками.

ХИ

В тот же день Сергей был в Нижнереченске. В гостинице, которая называлась «Дом для приезжающих», мест, разумеется, не было. Зато у окошка администратора была очередь. Когда Сергей подавал документы, кто-то обронил равнодушно:

— Зря стараешься, парень. Я вот вторые сутки дежурю, и без пользы.

Но администратор, на удивление очереди, не вернула Сергею документы, а даже извинилась, что нет отдельного номера, а есть двухместный.

— Вас устроит?

— Вполне,— сказал Сергей.

— Тогда погуляйте часок, в номере делают уборку.

— Я по делам, нельзя ли у вас оставить портфель?

— Конечно, конечно.

Вообще-то можно было и не спешить так, время послеобеденное, скоро конец рабочего дня, лучше бы побродить по городу, посмотреть на старину. Но Сергей решил тотчас ехать на комбинат.

В Нижнереченске он был впервые, но слышал о нем много. А после отъезда сюда Наташи даже прочел брошюрку под названием «Прошлое и настоящее древнего города». Некогда Нижнереченск был процветающим городом купечества и ремесленников. Здесь торговали пенькой, скобяными и гончарными изделиями, гнали деготь, занимались резьбой по дереву. Вообще здешние умельцы славились искусными поделками, но особенно

ценилась местная керамика. Это был действительно очень древний город, стоявший на перепутье. У него была своя нелегкая история, а в местный монастырь в былые времена стекались богомольцы со всего Северо-Запада. Теперь Нижнереченск представлял яркое смешение эпох и стилей: купола церквей вперемежку с телевизионными антеннами, подслеповатые старинные дома, украшенные резьбой, — и новенькие крупнопанельные пятиэтажки, старцы, как бы все еще продолжающие жить в далеком, ушедшем прошлом, — и модные парни, монашки — и офицеры-летчики. Правда, никто или почти никто уже не занимается гончарным промыслом и резьбой по дереву, зато на центральной улице есть модерный универмаг из стекла и алюминия, где можно купить ширпотребовские сувениры из пластмассы.

Обо всем этом Сергей знал из брошюры, а также из рецензии на нее, которая была напечатана в «Красном пролетарии». Но сейчас его мало занимала история.

Он остановил попутный самосвал и поехал на комбинат.

В заводууправлении никого из начальства не было, и Сергей, получив у секретаря директора пропуск, пошел на территорию. Там он побродил по строительной площадке (в действующие цехи заходить не стал), но ничего дельного, интересного не узнал. Пытался разговариваться со случайными рабочими, но всем было некогда, люди отмахивались от его вопросов, занятые своими делами. Он уже собрался уходить, когда его внимание привлекли два здоровенных парня. Они тащили на плечах доски. Со стороны было даже красиво посмотреть: идут парни шаг в шаг, и желтые смолистые доски в такт шагам прогибаются в середине, пружинят, и парни тоже приседают, чтобы не сбиться с ритма. Раз-два, раз-два. Было такое впечатление, что им совсем нетяжело нести эти доски.

И тут, размахивая руками, подбежал мужчина в телогрейке и в добротной пыжиковой шапке.

— Куда тянете материал, орлы-голуби?

— В котельную, как велено.

— Назад давайте, тащите на бытовку, там плотники простаивают,— распорядился мужчина.

— Нам татарам одна черт,— сказал один из парней беззлобно, равнодушно.

Они развернулись и тем же путем, в том же неторопливом ритме пошли в обратную сторону. Раз-два...

«Безалаберщина,— записал Сергей в свой блокнот.— Хождение взад-вперед с досками. Два парня, мужчина в телогрейке и пыжиковой шапке. Наверное, прораб или мастер».

У недостроенной будки, стоя по колена в грязи, ковырялся совковой лопатой молоденький паренек. Сергей подошел, поинтересовался:

— Что здесь строят?

— Памятник, що ж еще.

— Какой памятник? — не понял Сергей.

— Хиба ж я знаю? — Паренек пожал плечами.— Может, «Гипробумаге», может, «Гипрохиму», а может, нашему УКСу. Про то начальство ведае.— Он выпрямился и налег грудью на лопату.— Покурить е чи нэма?

Сергей угостил его сигаретой. Паренек снял рукавицы и закурил.

— Гарна штука,— сказал он.— Здесь таких нэма. А вы сразу видать, что нездешний. У нас в щиблетах по этой грязюке не ходют. Тут мокроступы трэба.

— Да, грязно.

— Это що! В осень побачили б. Один тут з самой Москвы аж приезжал, начальник большой, так провалился по саму шею, ей-бо, не вру. Хохоту было, а вин такой серьезный дядька, тож в очках, як и вы.

— А ты-то откуда сам? — спросил Сергей.

— Да вроде тутошний.

— По разговору, похоже, с Украины или из Белоруссии.

— Тож родители сюда приехали на стройку. Э-э, десятский никак сюда драпае, куда щось перебрасывать будет. Утром кажет: иди, Рыкун, очищай грязюку, що у памятнику. Може, спрашиваю, митинг придумали?.. Не, кажет, якої там митинг. Разбирать памятник будут.

Подошел уже знакомый Сергею мужчина в телогрейке и в пыжиковой шапке. Скользнув взглядом по ногам Сергея, велел пареньку:

— Рыкун, ступай помоги разгружать кирпич, запа-рились хлопцы.

— После обратно сюда?

— Не надо.

Паренек, закинув лопату на плечо, ушел.

— Что это за будка? — спросил Сергей.

— Трансформаторная должна была быть, сносить придется. Не на месте оказалась.— Он безнадежно махнул рукой.

— Как же это могло получиться?

— А вы, простите, кто будете?

— Я из газеты,— ответил Сергей.

— Понятно...— Мужчина растерянно посмотрел на Сергея.— Спрашивайте у начальства, что и почему. Наше дело маленькое. Прикажут — построим, прикажут — ломаем.

В блокноте у Сергея появилась еще запись: «Суматоха, никто ничего не знает или не хотят говорить. Формула: начальству виднее, а наше дело маленькое. Памятник. «Гипробумага», «Гипрохим», УКС. Прораб или мастер (все тот же, в пыжиковой шапке) говорит: прикажут — построим, прикажут — ломаем. Равнодушие, неуверенность».

Рабочий день подходил к концу, и Сергей решил ехать в гостиницу.

В номере, который был тщательно прибран, на столе лежала записка, придавленная графином:

«Уваж. тов. Болдырев! Представители местных партийных, советских и общественных организаций приветствуют Вас на древней земле славного в веках города Нижнереченска. К сожалению, мы слишком поздно узнали о Вашем прибытии и только поэтому не смогли подготовить достойную встречу, как-то: выслать на автостанцию оркестр народных инструментов или ансамбль балалаечников, который на областном смотре худ. самодеятельности занял почетное четвертое место, а также организовать приветствия пионеров и ветеранов первой мировой войны».

Сергей удивленно вертел записку, не зная еще, что подумать. В это время в дверь постучали.

— Войдите, открыто,—крикнул он.

И вошла Наташа.

— Здравствуйте,— сказала она.— Как видите, гора с горой не сходятся, а человек с человеком...

— Здравствуйте,— глубоко вздохнув, сказал Сергей.

— Могу спорить, что вы подумали, будто записку вам подсунули хулиганы.

— И поспорите. Я просто еще не успел ничего подумать.— Он комкал в кармане записку потной рукой. У него всегда потели руки, когда он нервничал.

— По глазам вижу,— весело сказала Наташа.

— Ошибаетесь.

— Никогда! Я и посложнее загадки разгадываю.

— Например? — Сергей понемногу приходил в себя, и теперь думал, что должен был сразу догадаться, что записка — Наташина работа.

— Например?..— Наташа прищурился, и у Сергея появилось острое, почти неодолимое желание обнять ее и целовать, целовать. Она была сейчас очень, очень красива.— Вот. Висит груша, нельзя скушать, в рот возьмишь, язык обожжешь. Вы, разумеется, думаете, что

это электрическая лампочка, вам смешно, потому что эту загадку вы знаете с детства. Ведь так?

Сергей молчал.

— Так или не так?

— Ну так...

— На самом же деле это стеклянная колба, откуда удален воздух с целью создания вакуума, вследствие чего тонкая вольфрамовая нить, называемая нитью накаливания, не перегорает мгновенно, как ей положено в кислородной среде. Как?..— Наташа громко рассмеялась.

— Откуда вы узнали, что я здесь?— спросил Сергей.

— Но это же совсем просто! Прихожу в гостиницу, а дежурная, отворотясь, заявляет, что нас, то есть меня и еще одну женщину, ревизора облпотребсоюза, между прочим, переводят в общий номер. Приехал, видите ли, корреспондент газеты «Красный пролетарий», потому приказано двухместный номер освободить для него. Проявив немножко любопытства, свойственного всем без исключения женщинам, я без труда узнала, что корреспондент — это вы. Вот и вся задачка. Моя метода решения подобных задач основана на том, что всякая сложность — суть элементарная простота. Как известно, наш безумно сложный мир тоже состоит всего лишь из элементарных частиц. Не исключая и нас с вами. Остальные детали. Чего это я разговорилась, а?..

— Выходит, вы жили в этом номере? — виновато проговорил Сергей.— Извините, я не знал...

— А к чему оправдания? Вам нужно, насколько я понимаю, работать. Но какая же работа в общем номере, где один пьет, другой поет, третий храпит, а четвертый... Я вот завидую вам, хотя знаю, что зависть — скверное чувство, унижающее человеческое достоинство.

— Мне или этому номеру?

— Какой вы.— Она поморщилась. Но даже это ничуть не портило ее красоты, которая, заметил Сергей, была какой-то изящной, утонченной.— Профессия у вас интересная, и только.

— Но если вам нравится эта профессия, почему бы не испробовать? По-моему, с вашим характером все можно, все доступно.

— А вы уже poznали мой характер? Смотрите, товарищ Болдырев, не ошибитесь! Ну а если серьезно, я вполне довольна своей работой.

— Значит, вы счастливый человек.

— Разумеется,— сказала Наташа.

— Это так говорят, что любимое дело — главное в жизни.

— Кто так говорит?

— Вообще,— сказал Сергей.— Моя мать часто говорила.

— У вас была очень умная мама. Она кто?

— Педагогом была, учительница.

— Вот прекрасная профессия! Если бы я не стала теплотехником, то наверняка пошла бы в учителя. А маму я свою не помню.— Наташа грустно вздохнула.— Как там Романовы?

— Они получили квартиру и переехали. Я был у них на новоселье, они очень сокрушались, что не было вас.

— А вы?..

Сергей опустил глаза и молчал.

— Ну да, вам-то что сокрушаться! — сказала Наташа, исподтишка наблюдая за ним.— Там, наверное, было множество красивых девиц...

— Нельзя сказать, что множество,— выдавил из себя Сергей,— но штук пять было.

— Понятно. А вы опять в единственном числе остались?

— Что поделаешь.

— И книги, разумеется, покрылись тысяче­летним слоем пыли?

— Вас так долго не было...

— Пойду к себе. Устала сегодня, как собака. Впрочем, и вчера тоже, и позавчера. Вы не представляете, сколько здесь у нас работы! Все спешат, все торопятся, как будто на пожар. А пустят эту вторую очередь, окажется, что не хватает сырья или еще чего-нибудь. А, ладно. Приеду домой, ох и высплюсь! Надеюсь, мы еще увидимся?

— Может...— занкнулся Сергей. Ему не хотелось, чтобы Наташа уходила, однако он не был готов к встрече с ней и потому не знал, что предложить, как задержать ее.

— Нет, Сережа, ничего не может.— Она, кажется, впервые назвала его по имени.— Я в самом деле сегодня страшно устала.

Она ушла, а Сергей долго сидел в сумеречной комнате, не зажигая света, и было у него такое ощущение, словно рядом с ним, совсем-совсем близко мелькнуло нечто неуловимое, праздничное, пахнув на него горячим ветром. Мелькнуло и исчезло. Вот и думай теперь — а было ли?..

Но, может, Сергей ничего не чувствовал. Просто сидел, погрузившись в отвлеченные, разрозненные мысли, которые неизвестно откуда и почему приходили в голову и уводили далеко-далеко, пробуждая в душе тихую, беспричинную грусть, похожую на еле слышную песню, с трудом пробивающуюся из-за бодрых слов спортивно-комментатора.

«...Итак, дорогие друзья, микрофон Всесоюзного радио и Центрального телевидения на большой спортивной арене в Лужниках... («Жил да был черный кот за...») Встречаются лидеры турнира московские команды. («Только песня совсем не о том...») На ледяное поле выезжают хоккеисты Центрального клуба... («...с

котом. Говорят, не повезет, если черный...» (Сегодняшний матч — один из центральных в нынешнем сезоне, от его результата... («...наоборот, только черному коту и не везет...»))

Сергей протянул руку и со злостью выдернул вилку из розетки.

XIII

Наутро Сергей пораньше поехал на комбинат и застал на месте главного инженера строительства, который уже натягивал поверх пальто брезентовый плащ.

— Из газеты? — переспросил он, высвобождаясь из рукавов плаща.— Что ж, рад познакомиться. Я сейчас на площадку. Может, вместе?

— С удовольствием. А то я вчера один бродил, бродил и все без пользы. Неразговорчивый у вас народ.

— Это ничего, что неразговорчивый, зато работают люди замечательно. Да, но в вашей обуви... Какой вы размер носите?

— Сорок два.

Главный инженер порылся в стенном шкафу, отыскал резиновые сапоги и бросил Сергею.

— Портянки должны быть внутри, обувайтесь.

Пока шли на площадку, где завершалось строительство фабрики, главный инженер рассказывал о делах. Рассказ его был далеко не веселым.

Проектную и техническую документацию выдают с большими опозданиями, с грубейшими ошибками. Потом многое приходится переделывать, а с проектировщиков какой спрос? У них свои планы, никак не увязанные с планами строительства,—объектов много, свой «вал» они всегда дают. Оборудование прибывает некомплектно. То, что нужно было по всем правилам смонтировать месяц назад, еще не получили, зато то, что понадобится через три месяца, перед самым пуском фабрики, давным-давно лежит под открытым небом, ржавеет, потому

что складские помещения проектом не предусмотрены, а у поставщиков опять свои планы, свои интересы. Кое-что уже и порастащили. Гайки там разные, болты. А вот механик с первой фабрики пытался даже утащить каландр, чтобы заменить на действующей машине. И его можно понять: тут каландр ржавеет, приходит в негодность, а первая фабрика никак не может получить на замену.

— Но ведь это безобразие! — возмутился Сергей.

— Безобразие? — приостановившись, сказал главный инженер.— Хуже, молодой человек, хуже. Преступление, если хотите.

— Надо добиваться, требовать...

Главный инженер чуть снисходительно улыбнулся. Его в общем-то не удивляла наивность корреспондента, тем более молод еще корреспондент, неопытен, а похожей наивностью страдают люди куда старше и опытнее, в том числе люди, обязанные не просто и не только знать истинное положение, но помогать стройке. Все проверяют, советуют, вдохновляют, а конкретной помощи что-то не видно. Это ведь со стороны кажется: раз явное безобразие — надо исправлять. А как? Вот на этот-то вопрос не ответил пока ни один вдохновитель и контролер...

Вслух, конечно, главный инженер не говорил этого. Оставил свои мысли при себе. Кто их знает, этих газетчиков. Понапишут такого, что не выхлебаешь и за три года.

— Это новая ТЭЦ,— сказал он, показывая на внушительное здание.— Старая, маломощная, не справляется. Хотя вообще-то нужно было предвидеть и это, нужно было сразу строить мощную ТЭЦ, на перспективу. Ладно, раз можно и ошибиться. Так ведь и с этой намучились! — Он безнадежно взмахнул рукой.— Дважды переделывали фундамент из-за ошибок проектировщиков. Надо монтировать котлы, а никто до сих пор

не знает, на каком топливе ТЭЦ будет работать. Думали, на жидком. Теперь вроде собираются тянуть нитку газопровода. Но есть и вариант с торфом, его в округе за сотню лет не сжечь...

Возле ТЭЦ их нагнал грузный мужчина. Отдышавшись, он скороговоркой выпалил:

— С бетоном опять полный зарез, только семь машин выделили на сегодня, это же капля в море, Иван Иваныч, мне надо по крайней мере пятнадцать...

— А, черт бы их всех побрал! — выругался главный инженер. Он вырвал листок из блокнота, написал несколько слов и отдал мужчине. — Лети к Райзману. Передай, что получит взыскание. Скажи, голову сниму к чертовой матери, если не будет двадцать самосвалов.

Мужчина, схватив записку, убежал.

— Бетон возим за восемнадцать верст, — рассказывал главный инженер. — На строительство собственного бетонного узла денег не отпускают. А перевозка по нашему бездорожью обойдется втрое дороже. Экономия, мать ее!.. У всех одно: давай, давай, давай. Даваем, а чего это стоит?

Сергей понял, что в горьких и резких словах главного инженера заключена правда. Он не жалуется, нет. Жаловаться отвык. Он просто выдирает из себя с болью то, что мешает ему нормально жить и работать. Что мешает нормальной работе. Но рядом с этими мыслями, параллельно им, бежали другие, внушенные Сергеем редактором перед отъездом сюда. Обязательные жалобы на проектировщиков, на поставщиков, недостатки в планировании... Редактор как в воду смотрел. Как же совместить все это?

И неожиданно он осознал, какое трудное задание поручил ему шеф.

— То, о чем вы рассказываете, очевидно, — заговорил Сергей. — Ну а на самой стройке, у вас, никаких недостатков и промахов нет?

Главный инженер остановился резко, удивленно посмотрел на Сергея:

— Нет, говорите?.. Да навалом, молодой человек. На-ва-лом! Я бы мог вам сказать, что наши недостатки суть следствие тех промахов и ошибок, которые сплошь и рядом допускают проектировщики, плановики и поставщики. И это была бы сушая правда, потому что невозможно организовать нормальную работу в ненормальных условиях. Понимаете меня?

— Думаю, что да.

— Но я этого говорить не стану. Не стану, ибо и у нас, как говорится, рыльце в пуху. Все плохо работаем. А мы, как конечное звено общей цепи, еще склонны свои недостатки списывать на других. Вот таким образом. Но главное, разумеется, неподготовленность фронта работ, спешка. И тут надо учесть, что мы ведем строительство в условиях работающего комбината. Понимаете, ра-бо-та-ю-ще-го! Это втрое сложнее.

Сергею был симпатичен главный инженер, нравилась его откровенность, искренность.

— У вас тут есть трансформаторная,— сказал он шутливым тоном,— ее вроде называют памятником «Гипробуму» или «Гипрохиму»...

— Поистине памятник! — рассмеялся главный инженер.— Памятник безобразиям и нашему неумению организовать работу. Ведь у нас больше десятка субподрядных организаций, и фактически ни одна из них нам не подчиняется. Хотят — делают, не хотят — не делают. Посылают своих людей туда, где выгоднее. А-а, что там. Вы видели наши дороги? Это же бич строительства. В идеале прежде всего нужно строить дороги, а мы делаем все наоборот. Вроде незадачливого портного, который сначала шьет костюм, а потом снимает мерку.

— Но неужели ничего нельзя изменить? — спросил Сергей.

— Трудно. Тут надо смотреть в корень проблемы. Мы пока еще живем и работаем в условиях жесткого дефицита. Дефицита во всем: в рабочей силе, в сырье, в материалах... Мы наращиваем темпы, и это правильный путь. Разумеется, много теряем при этом, много сил и средств расходуем напрасно, впустую, но иного выхода нет. В конечном счете сегодняшние потери окупятся завтра, а экономика наша станет на прочную основу. Хотите взглянуть на монтаж буммашины?

Сергея потрясли, ошарашили размеры машины. Он впервые видел бумагоделательную машину. Да это и не машина, а целое сооружение. Среди людей, копошавшихся вокруг машины и на ней, Сергей увидал Наташу. Она распекала чумазого здоровенного парня. Тот стоял виноватый, потупившийся и переминался с ноги на ногу.

— Ага, вот и директор комбината! — сказал главный инженер. И окликнул: — Борис Петрович, одну минутку. Вот товарищ Болдырев из газеты хочет побеседовать с вами. — И быстро Сергею: — Старейший специалист-бумажник, волк. А меня извините, если понадобится, отыщите на площадке или в конторе.

— А сапоги? — спросил Сергей.

— Переобуетесь у меня в кабинете, секретарь в курсе. — И он исчез.

— Значит, к нам в гости? Давайте знакомиться. — Директор протянул руку. — Выгодцев.

— Болдырев.

— Вы знакомы с бумажным производством?

— В самых общих чертах, — смутился Сергей.

— В общих — это значит никак. Пойдемте, познакомлю вас с технологией. Начнем с биржи. Как говорит — от и до.

Почти три часа Сергей вместе с директором лазал по лестницам и спускался в подвалы, они забрались даже на крышу, откуда открывалась панорама комбината и

города. Сергей удивлялся, как это они не заблудились в сложнейшем лабиринте траншей, переходов, подвалов и паропроводов, и еще тому, что директора знал каждый рабочий и он со всеми здоровался, называл людей по фамилиям и по именам, иногда задерживался с кем-нибудь, подолгу расспрашивал о делах, и люди охотно отвечали ему, шутили, и совсем не чувствовалось, что между ними — директором и рабочими — все-таки есть разница.

Когда пришли в заводоуправление, Выгодцев сказал:

— Вот вы и познакомились с производством вашего хлеба.

— Да, но хлеба-то маловато.

— Вы правы, проблема важная. Но об этом поговорим позже. Между прочим только замечу, что не так мало выпускается этого хлеба, как неэкономно его расходуют.

Кабинет Выгодцева после строительной площадки казался настоящим раем. Было тепло, сухо, в хрустальном кувшине с водой играл солнечный зайчик, и все это настраивало на благодушный, мирный лад, словно и не было за окном ни грязи, ни неразберихи, ни пронизывающего холода...

— Итак... Сергей Александрович?

— Да.

— Слушаю вас.

— Честно говоря, мне бы хотелось послушать вас.

— Но я не знаю, что именно вас интересует. Хотя догадываюсь, что вы приехали поругать нас.

— Уж если и ругать, то, скорее, строителей,—сказал Сергей.

— А у нас с ними нет конфликтов, мы понимаем друг друга и помогаем друг другу в меру сил и возможностей. Нам нечего делить. Кстати, вы не познакомились с бригадой Чуприна?

— А что? — Сергей вынул блокнот, приготовился записывать.

— Уберите блокнот, не люблю рассказывать под карандаш. Прекрасные хлопцы! Вот о ком надо бы написать.

— К сожалению, в этот раз у меня другое задание...

— Понимаю,— проговорил Выгодцев.— Ну что ж, критикуйте, есть за что. Лишь бы польза была общему делу. А то ведь подчас как ругают? Дубинку в руки, да чтобы посучковатее, и пошел размахивать туды-сюды, направо и налево, без разбору. Обидно?.. Да это-то черт бы с ним, извините, переживем. Но польза-то, польза какая от такой, с позволения сказать, критики! Ноль в пятой степени. А ведь у нас для думающего человека проблем вагон и маленькая тележка, писать есть о чем.— Выгодцев встал, прошелся раз-другой по кабинету от окна к двери, выпил стакан воды и, остановившись возле Сергея, продолжал: — Вторую очередь, конечно, пустим в срок, вопросов нет. Кровь из носу, а пустим. Но кто объяснит, к чему такая спешка? Комбинат наш мыслится как целлюлозно-бумажный. То есть мы должны в перспективе производить не только бумагу, но и целлюлозу. В том числе товарную. Точные цифры не помню, если нужно — найдем. Мы форсируем строительство бумажной фабрики, на ходу монтируем бумагоделательную машину, но до сих пор даже не приступали к строительству целлюлозного завода. Получаем целлюлозу с других комбинатов, везем за сотни километров. Такое решение обосновывается острой нехваткой бумаги. Но, дорогие товарищи, ведь бумаги-то не хватает именно потому, что не хватает... целлюлозы! По крайней мере, всю целлюлозу, которую сегодня производим, перерабатываем. Где же возьмут для новой фабрики, если с поставками и для первой-то очереди туго? Отвечаю: урвут у других. Таким образом, бумаги, в сущности, не

прибавится, а огромные средства и силы окажутся мертвым капиталом. Коротко я бы сформулировал проблеме следующим образом: что нам нужно — рапорт к празднику или бумага?

— Тут, я думаю, ответ только один,— сказал Сергей.

— Думать-то все так думают.— Выгодцев усмехнулся.— А на деле получается наоборот. Вот вам пример: в ноябре мы дали значительно больше бумаги, чем в октябре или в сентябре. Но именно в ноябре не выполнили план и оказались в отстающих со всеми, как говорится, вытекающими последствиями...

— План был сверстан неправильно? — догадался Сергей.

— А ничуть не бывало! Одну минутку.— Он подошел к телефону, набрал номер: — Федор Федорович, зайди ко мне. И захвати материалы, которые посылали в Госплан.

Скоро пришел маленький, сухонький старичок (он был начальником планового отдела), очень аккуратно, тщательно одетый. Он чем-то напоминал Василия Ивановича, но отдаленно. В нем угадывалась та интеллигентность, которую не вырастишь в себе и не воспитаешь, которая достается по наследству.

— Вот товарищ из газеты,— сказал Выгодцев.— Интересуется нашими проблемами.

— Рад,— проговорил плановик с легким поклоном.— Простите, не расслышал, из какой вы газеты?

— «Красный пролетарий».

— Ага. Приходилось встречаться с вашим редактором. Георгий Константинович, кажется?

— Да,— ответил Сергей.

— Вы здесь располагайтесь, беседуйте,— поднимаясь сказал Выгодцев,— а я на некоторое время вас покину.— Он вышел, предупредив секретаря, чтобы никого не впускали.

Плановик разложил на столе бумаги.

— Слушаю вас.

— Собственно... Директор сказал, что вы расскажете...

— Вам знакомо такое понятие «плотность бумаги»? Впрочем, неважно. В сущности, это вес. Вес одного квадратного метра бумаги. Так вот. Мы выпускаем в основном типографскую бумагу. Согласно ГОСТу плотность квадратного метра этой бумаги может быть и шестьдесят два грамма, и шестьдесят восемь. Иначе говоря, шестьдесят пять граммов плюс-минус три. Надеюсь, вам не надо объяснять, что, чем ниже плотность — меньше вес квадратного метра, — тем больше этих самых метров можно получить из определенного количества сырья?..

— Понятно, — сказал Сергей.

— Однако тут есть существенное «но»: коль скоро бумага легче, значит, она тоньше. А раз тоньше, ее выпуск сопряжен с некоторыми трудностями. Ну обрывность выше и так далее. Тем не менее государству вне всякого сомнения выгоднее получать бумагу пониженной плотности, в минусовых допусках.

— Естественно, — вставил Сергей. Он начинал кое-что понимать.

— А нам невыгодно! — сказал Федор Федорович. — Потому что выпуск бумаги планируется в тоннах. Директор говорил вам, что произошло в ноябре?

— В общих чертах. — Сергею хотелось набрать подробностей, он уже предвкушал, как положит на стол шефа проблемную статью под названием «Тяжелые ножицы».

— Мы на свой страх и риск, — продолжал Федор Федорович, — решили провести эксперимент. Объявили, что премии будем выплачивать не за тонны, а за гектары. Чтобы заинтересовать людей выпускать бумагу низкой плотности. И что же вы думаете?.. В ноябре мы дали бумаги — в гектарах — значительно больше, чем в

октябре, а вот план по тоннам недовыполнили на три процента. Директору объявили выговор, а на меня и на начальника отдела труда и заработной платы произвели начет за перерасход фонда зарплаты, хотя стоимость дополнительно полученной бумаги в четыре раза выше суммы перерасхода!

— И что же дальше?— удивился Сергей

— Дальше вернулись к прежней системе. Будем, как и прежде, выпускать бумагу в плюсовом допуске, будем выполнять план, экономить фонд зарплаты и получать премии... Вы собираетесь писать об этом? — вдруг спросил он.

— Обязательно!

— И надеетесь опубликовать свою статью?

— А вы, кажется, сомневаетесь в этом?

— Видимо, такой уж у меня характер. Скептик я от рождения.— Он тяжело вздохнул и стал собирать бумаги.— Да, вас, очевидно, интересуют детали, цифры для сравнения?

— Если можно...

— Конечно, конечно. Я, знаете ли, в былые времена, когда был помоложе, тоже немножко пописывал. Боловство, разумеется. Пойдемте, я отведу вас к нашим экономистам.

К концу дня блокнот Сергея заполнился записями. Он ликовал. Он чувствовал, понимал, что напал на отличную тему, и знал, что статья получится. Просто не может не получиться.

* * *

Вернувшись в гостиницу, Сергей сел поработать. Привел в порядок записи и уже хотел начинать статью — по горячим следам у него обычно получалось лучше, но пришла дежурная и позвала его к телефону.

А звонил редактор.

— Привет, Болдырев. Ну как у тебя там дела?

— Все нормально, Георгий Константинович,— ответил Сергей.— Собрал блестящий материал. Еще кое-что уточню...

— Молодец. Значит, статья будет?

— Будет.

— Тогда я доложу,— сказал редактор.— Ты долго еще будешь сидеть в Нижнереченске?

— День еще. Или два. Не больше.

— Не задерживайся, вопрос в общем ясен. То, о чем я тебе говорил, состоится на следующей неделе. Мы должны успеть выступить. Понял?

— Что состоится?— переспросил Сергей.

— Бюро.

— Георгий Константинович, тут такое дело...— Он хотел объяснить шефу, хотел сказать, что собирается писать не о том, о чем они договаривались перед отъездом, но разговор вдруг прервался.

— Вешайте трубку, абонент,— сказал близкий голос телефонистки.— Линия на повреждении.

— Постойте, постойте! Мне очень нужно, это важно!..

— Ничем не могу помочь, вешайте трубку.

Сергей вернулся в номер, но работа уже не клеилась. Не шла работа, и мысли путались в голове. Он убрал блокнот и бумагу в портфель. Взял книгу, захваченную в дорогу, и лег на диван. Но и читать не смог. Слова скользили мимо сознания, и он не понимал прочитанного. «Они остались вдвоем, каждый шорох, каждое дуновение ветра приводили Мери в тихий ужас. Она вздрагивала всем телом...»

Сергей отложил книгу.

В комнату быстро входил вечер. Темнота заполняла углы, в ней тонули очертания предметов, вещей. Было тихо, только с улицы доносился приглушенный треск и рокот моторов: неподалеку от гостиницы была автобусная станция.

А может, подумалось Сергею, взять и уехать теперь же, немедленно? Ведь, в сущности, делать здесь нечего...

Он вскочил с дивана, зажег свет. Начал было собирать портфель, но что-то остановило его. Какая-то смутная, неоформившаяся мысль. Побродил по комнате, выпил стакан теплой воды. Его томило безделье и мучила неясность положения. Дернул же черт шефа позвонить! Так все было хорошо, так все было понятно. А что теперь?..

Все равно, говорил он себе, все равно я напишу то, что думаю и что увидел здесь своими глазами. В конце концов, шеф ничего толком не знает, я объясню ему, и он поймет. Этого нельзя не понять, настолько все очевидно. Критиковать легче всего, плохое всегда бросается в глаза. Но есть же, есть проблемы, которые необходимо решать..

Он почувствовал облегчение. Это бывало с ним всегда, когда он принимал решение. Да, да, главное в жизни — принять решение. И, разумеется, не отступить от него. А уезжать сегодня не стоит. Надо кое-что уточнить. Экономисты обещали подбросить еще цифры и факты. Он должен быть во всеоружии.

И вдруг Сергей вспомнил, что договорился с Наташей встретиться в семь вечера в холле. Уже без четверти, а он не брит. И, как назло, белая рубашка помялась в портфеле. Сколько раз говорил себе, что в командировку, вообще в дорогу, удобнее брать чемодан, а как ехать — берет портфель. Ну что ж, придется идти в темной рубашке.

XIV

Наташа сидела на ободранном плюшевом диване и листала прошлогодний «Советский экран».

— Вы заставляете себя ждать, — сказала она, но при этом улыбнулась. — Это пахивает сомнением.

— Извините, мне звонил шеф...

— Однажды я говорила вам, что нужно следить за собой.

— Пойдемте куда-нибудь,—позвал Сергей.

— У вас наивные представления о куда-нибудь. Помните: «Ты не в Чикаго, моя дорогая»?.. Фильм идет старый, а в клубе танцы. Не люблю танцевать.

— Тогда в ресторан, поужинаем.— Ему и хотелось и, пожалуй, нужно было отвлечься. В голове была какая-то путаница. Доски, бетон, главный инженер, шеф и его новые носки, Зиночка с немыслимой прической, измятая в портфеле рубашка, Виктор Новиков («Как он там?») и снова: Выгодцев, плановик («Он тоже носит нарукавники, тем, должно быть, и напоминает Василия Ивановича...»), целлюлоза, гектары и тонны...

— В таком-то виде в ресторан? — Наташа критически оглядела себя, на ней было простенькое платье.— Вам будет стыдно со мной.

— Вам очень к лицу это платье,—искренне сказал Сергей.— К тому же, кто-то здесь говорил насчет Чикаго...

— Ну что ж, один-ноль в вашу пользу. Идемте в ресторан, ужинать все равно ведь надо, а больше нигде, Буфет до шести.

В узком, как коридор, зале было накурено до глухой синевы. Музыка представляла осипшая радиола «Урал», заезженные пластинки («Голубка», «Брызги шампанского», «Цветущий май» и т. д.) издавали скрежет, напоминающий бормашину. За столиками ели, пили, острили, тыкали окурки в тарелки с едой, а безучастные ко всему на свете официантки с обреченным видом повторяли:

— Судака по-польски нет, шашлык кончился, телятины сегодня не завезли, возьмите жареную треску с макаронами или бифштекс с яйцом...

Какой-то командированный требовал цыпленка-таба-

ка, а официантка никак не могла понять, чего именно он хочет.

— Что вы будете пить,— спросил Сергей у Наташи.— Вино, коньяк?

— Мне все равно. Лучше немного водки, если это вообще обязательно. Вино я не люблю, а коньяк...— Она заглянула в меню.— Очень дорого, Сережа. Мы же с вами в командировке. С ума сойти, рубль двадцать сто граммов.

Он заказал триста граммов коньяку.

— Это же суточные вместе с квартирными,— укоризненно прошептала Наташа.

Он промолчал.

Наташа заметно опьянела после первой же рюмки. Лицо ее покрылось ярким румянцем, как бы расцвело вдруг. Она смотрела вокруг удивленными глазами, словно бы открывала для себя новый, незнакомый ей мир.

Сергей налил еще.

— Я боюсь,— тихо сказала Наташа.

— Кого?

— Не кого, а чего! Я же совсем, совсем пьяна.

— Это вам кажется. За что мы выпьем?

— Давайте за удачу!

— За какую удачу?

— Вообще за удачу,— сказала она. И выпила.

— Мы как старатели,— тоже выпив, проговорил Сергей.— Они тоже всю жизнь пьют за удачу.

— Все люди чуть-чуть старатели, все что-то ищут. Только одни находят, а другие нет.

— Вы думаете, что все ищут? — с сомнением сказал Сергей.

— А разве нет? Вот вы, Сережа. Вы ищете?

— Наверно,— подумав, ответил он.

К их столику подошел хорошо подвыпивший мужчина с графинчиком.

— Можно присесть? — Он поставил графинчик на стол.— Вы не против?

— Садитесь, садитесь,—разрешила Наташа.

— Благодарю.—Он снова отошел к буфету и принес пустой стакан и бутерброд с колбасой. Усевшись, виновато сказал: — Вы извините, я не помешаю. Вот выпью и домой.— Он обнял узловатыми пальцами стакан и долго смотрел застывшими глазами в пустоту стакана. Потом налил, выпил залпом и неожиданно заговорил: — Вы приезжие, да?.. Это сразу видно. А я почти что местный житель, три года уже здесь. Приехал по договору, работаем. Только работа!..— Он пьяно взмахнул рукой и едва не уронил стакан.— Простите, у вас не найдется закурить? Плоховато у нас с куревом, ничего нет, кроме «Прибоя».

Сергей придвинул ему сигареты и отвернулся. Мужчина не стал закуривать и вполне трезвым голосом сказал:

— Я вижу, что вам неприятно. Еще раз извините.— Он поклонился Наташе.—Решили, что явился пьяница и лезет со своим рылом... Э-эх, парень! — Он поднялся, с сожалением посмотрел на графинчик, где еще оставалась водка, пробормотал что-то невнятное и, махнув рукой, пошел к выходу

— Типичный алкаш,— сказал Сергей, проводив его взглядом.

— По-моему, вы ошибаетесь,— возразила Наташа.—Мало ли почему человек выпил. Ведь мы с вами тоже пьем. Вы прямо как моя тетка, она составляет мнение о человеке, даже не зная его. «Ишь, глаза бегают! Прохвост, сразу видно».— Наташа усмехнулась и покачала головой.

— Не знаю вашу тетку, Наташа, но у этого же типа под глазами мешки.

— А если от бессонницы? Или он работает много?..

— Блажен, кто верует.— Теперь усмехнулся Сергей.

— Между прочим, это бригадир одной из лучших бригад на стройке,—сказала Наташа.— Михаил Тимофеевич Чуприн.

— Чуприн?..—Сергей вспомнил, что именно о нем говорил Выгодцев.

— Вы о нем слышали?

— Слышал.

— А вы сразу — алкаш...

— Интересно,— проговорил Сергей,— каковы же на стройке не лучшие.

— Оглянитесь, Сережа! Неужели, по-вашему, здесь собрались одни алкоголики?.. Вот не думала, что вы такой... жестокий.— Она встала.— Пойдемте отсюда, у меня голова раскалывается.

Они погуляли еще немного по улицам. Наташа показала Сергею местные достопримечательности. В начале десятого вернулись в гостиницу.

В холле во втором этаже было темно, и они, пристроившись на диване — не хотелось идти по своим комнатам,— не сразу увидели девочку, которая тихонько сидела в углу и, кажется, всхлипывала.

Наташа зажгла свет.

— Ты плачешь?

— Нет.

— А что здесь делаешь одна?

— Ничего.

— А почему такая сердитая? Тебя кто-нибудь обидел?

— Я не сердитая, и меня никто не обидел.

— Ну а как тебя звать?

— Никак.

Подошел Сергей, присел на корточки и сказал:

— Первый раз в жизни вижу человека, которого зовут Никак.

Наташа улыbnулась невольно, а девочка, внимательно оглядев Сергея, неожиданно высказалась:

— У моего папки такие же очки.

— А вот это не может быть,—возразил Сергей.— Таких очков ни у кого больше нет, потому что мне привезли их из Африки.

— Нет?! — Девочка привстала.— В нашей аптеке на углу сколько угодно таких очков и еще разные другие есть.

— В самом деле?..— Сергей изобразил разочарованные. — Выходит, меня надули. Вот безобразие! — И вдруг Наташе: — Знаете, а вам пошли бы очки. Попробуйте-ка.

Наташа приняла игру и надела очки. Девочка громко рассмеялась.

— Вы похожи на Веронику Андреевну! — кричала она и прыгала в кресле.

— Это кто же такая? — спросил Сергей.— Наверное, очень хорошая тетенька?

— Сами вы хороший! Вы еще не знаете ее. Это наша соседка. Она всегда мне говорит: «Ты, Катюша, милая и умная девочка, но у тебя непутевая мать...» — Девочка показала, как именно это говорит Вероника Андреевна.— А какое ей дело, верно? Пусть бы на себя посмотрела, ходит как лягушка.

— Почему как лягушка?

— Она подпрыгивает, а голос у нее такой: «Ква, ква...»

Сергей переглянулся с Наташей.

— Значит, тебя зовут Катя. Екатерина, стало быть.

— Ну и что?.. Раньше была такая царица Екатерина.

— О, да ты у нас грамотная! Сколько же тебе лет?

— Девять, но это не все. Был царь Петр Первый, это который теперь сидит на Медном всаднике в Ленинграде, и еще была революция и гражданская война против белых, которую сделал Ленин.

— Знания у тебя богатые,—проговорил Сергей чутьточку назидательно,— но ты что-то путаешь...

— Ничего я не путаю! Мне рассказывал папка, а он работает учителем по истории.

— Но не мог же папка тебе говорить, что Ленин сделал гражданскую войну...

— Ах, какой вы непонятливый, честное слово!— сказала Катя, всплескивая руками.— Ленин сделал революцию, царя прогнал и буржуев, для колхозников придумал колхозы, а войну сделали богатые, чтобы назад царя позвать.

— Вот теперь ясно. Хочешь конфетку?

— Я совсем не люблю конфеты.

— Не может быть,— сказал Сергей.— Все дети любят конфеты и мороженое.

— А я люблю жареную картошку и шкварки,— сказала Катя.— От конфет портятся зубы. Вы где взяли этот ромбик? — Она показала на лацкан, где у Сергея висел университетский значок.

— Получил.

— А за что?

— Учился, вот и дали.

— А долго надо учиться, чтобы такой дали?

— Как тебе сказать... В общем, долго. А разве у твоего папки нет?

— Нет.— Катя вздохнула.— У него только орден Красной Звезды, еще Отечественной войны и медали. Три... Нет, четыре штуки.

— А у мамы?

— Не знаю.— Она опять вздохнула.— Мама не любит, когда я сую нос, куда мне не положено.

— М-да. Но что же ты здесь делаешь, Катя?

— Сижу. Мы едем к бабушке, сегодня опоздали на автобус и будем ночевать в гостинице. Я раньше никогда не ночевала в гостинице.— Она неожиданно замол-

чала, насупилась и, буркнув «до свиданья», побежала по коридору.

— Совсем как взрослая...— сказала Наташа, провожая Катю глазами.— Похоже, не очень-то ей весело живется за папой и за мамой.

— Да,— согласился Сергей.— Как всегда: третий отвечает за двоих.

— А вы, Сережа, умеете обращаться с детишками. Вам бы в детский сад воспитателем. А правда, почему есть мужчины-учителя и нет воспитателей в детских садах? Ну, ну, Сережа, только не дуться. Это вам не идет, у вас некрасиво отвисает губа.

— Я не дуюсь.— Сергей попытался даже улыбнуться.

— Вот так, вы паинька. А теперь пойдем бай-бай.

А в номере Сергея появился сосед.

— Это вы! — отчего-то удивленно сказал он.— Поистине ваш брат журналисты находчивый народ. Где это вам удалось подцепить такую женщину?

— Какую женщину?

— Не надо скромничать,— покровительственно сказал он.— Я видел вас в ресторане с этой блондиночкой и, признаться, позавидовал.— Он хохотнул и лукаво погрозил Сергею пальцем.— Для командировочного приключения подлинный шедевр, уж поверьте мне! Она что же, местная или тоже в командировке здесь?..

У Сергея было желание ответить на это грубостью, в конце концов, какое он имеет право... Вместо этого буркнул:

— В командировке.— И, раздевшись, юркнул под одеяло.

— Хороша-а! — проговорил сосед и цокнул языком.

* * *

Они вместе возвращались в Ленинград. Правда, Наташе в скором времени предстояло еще приезжать в Нижнереченск. Такая у нее профессия — инженер-теп-

лотехник по наладке автоматики, и работает она в организации со смешным названием ПНУ, что означает Производственно-наладочное управление. Поначалу, когда она пришла в это ПНУ после института, на нее смотрели косо, с недоверием. Какой, дескать, инженер-наладчик из девчонки. Да и работа связана с частыми и длительными командировками. Теперь ничего. Теперь Наташу посылают туда, где труднее, где не могут справиться опытные наладчики.

Вдоль шоссе тянулся поникший, насупленный зимний лес. Дождь вперемешку со снегом размазывал по стеклам грязь, а в салоне «Икаруса» было тепло, домашнему уютно, и пассажиры дремали под негромкую музыку радиоприемника.

— Зима, а совсем как осень,—проговорила Наташа.—Вы любите осень, Сережа?

— В солнечный летний день и на картинах передвижников. Терпеть не могу дождь и слякоть.

— Вы чем-то недовольны?

— Да нет, все нормально,—сказал Сергей.

— Я все времена года люблю, но осень — особенно. По-моему, это лучшее время года.

— Ну да, по Пушкину.

— Почему по Пушкину?.. Он, между прочим, писал еще и так: «Поля, холмы, знакомые дубравы! Хранители священной тишины! Свидетели минувших дней забавы! Забыты вы... до сладостной весны!»

— А вы свободно цитируете классиков,—удивленно сказал Сергей.—Значит, зря говорят, что представители точных наук не в ладах с лирикой.

— Не надо иронизировать,—попросила Наташа. Именно попросила.—Хорошую поэзию, Сережа, нельзя не любить. Можно не знать, а не любить нельзя. А осень... Осенью человек как бы обновляется... Нет, вы напрасно не любите осень. Это ведь итог, а подводить итоги полезно и приятно.

— Смотря какие итоги.

— А любые. Плохие заставляют трезво смотреть на вещи и прежде всего на себя. Хорошие доставляют удовольствие. По-моему, критика людям нужна не только сверху или снизу, но главным образом изнутри. Вы не согласны?

— Почему же.— Сергей пожал плечами.— Я просто думаю.

В общем-то ему нравились наивно-восторженные мысли Наташи, нравилась ее искренность, ее убежденность. За всем этим угадывался самостоятельный ум. А самое страшное, считал Сергей, глупая, пустая женщина. Он помнил один судебный процесс, на котором оказался случайно. Разводились муж и жена. Мужчина молчал, коротко и ясно отвечал на вопросы судей, и ему, кажется, было очень стыдно. А женщина все рвалась в словесный бой, все ей хотелось что-то сказать, что-то уточнить, в чем-то лишний раз обвинить бывшего своего мужа, показать себя жертвой деспота, этакой безвинной, святой овечкой. Не стесняясь, она перечисляла его грехи, подлинные и мнимые, и люди в зале открыто смеялись над ее глупостью, однако она не понимала этого и, обращаясь не только к судьям, сколько к присутствующим, искала у них участия: «Гости когда соберутся, он всегда старается не со мной, а с другими женщинами танцевать... И на работе приказал, чтобы эта рыжая краля, его секретарша, не соединяла меня, когда я звоню! И это называется любовь и уважение к женщине, это называется здоровая советская семья?..»

Ум — он только ум, и ничего больше, вдруг подумал Сергей. А глупость многолика и многогранна, поэтому ее не сразу и разглядишь.

На остановке Наташа вышла подышать. Она стояла у обочины и, запрокинув голову, ловила сложенными ладошками снежинки, Сергей любовался ею из окна,

Самому не захотелось вылезать из тепла и уюта на холод.

Наташа вернулась мокрая, озябшая, но и какая-то свежая, от нее пахло снегом, и в Сергее пробудилось желание поцеловать ее, но именно потому, что это была Наташа, а не та девица (Лида, кажется), он ни за что не решился бы сделать это.

— Вот почему не слышно, когда падают снежинки? — спросила Наташа. Но, пожалуй, не Сергея, а себя.— Должен же быть какой-то звук...

— Слишком мала масса.

— Звук все равно должен быть, Сережа.— Она улыбнулась.— Только надо уметь слушать. А мы не умеем. Вы когда-нибудь слышали, как хрустит воздух, когда летят птицы?

Сергей не ответил, пожал плечами.

Автобус снова катился в бесконечном окружении леса, но небо прояснилось, выглянуло даже солнце, и лес уже не казался увядшим и злым.

— Ах, какая прелесть! — проговорила Наташа.— Смотрите, смотрите, Сережа. В городе вы никогда не увидите этого.

Он взглянул в окно. И снова пожал плечами. Нет, он вовсе не хотел показать, что не замечает ничего красивого. Наверное, что-то в этом есть. Например, в сочетании света и тени. А в общем, обычный полужимний, полусенний пейзаж. Любители пейзажной живописи могут выбрать свободный денек и сходить в картинную галерею. Там сколько душе угодно можно любоваться зимой, летом, осенью... В любое время года. А еще лучше, купить копию с картины какого-нибудь известного художника и повесить дома. Синий лес, серая дорога и дровни, вода и земля — все это будет всегда рядом.

— Вы никогда не жили в деревне? — вдруг спросила Наташа.

— Нет.

— Я так и подумала.

— Это очень плохо, что я не жил в деревне? Я вот еще не жил в Париже, в Монако, в Сингапуре...

— Ирония тут ни к чему,— сказала Наташа.— По моему, каждый человек должен хоть немного пожить в деревне. Вы не видели природы в чистом виде, поэтому и не чувствуете ее.

— У каждого свои привязанности, свои симпатии и антипатии. В этом своеобразие людей.

— Да не усложняйте вы самых простых вещей. Природа, между прочим, облагораживает человека, а иногда раскрывает с неожиданной стороны. Вы хоть раз в жизни бродили по зимнему лесу?

И Сергей представил:

деревья, по горло погруженные в снег. Сыплется за шиворот с веток. В ботинках мокро, потому что под снегом болото. Тяжелые намокшие штанины, прихваченные морозом, стегают по лодыжкам...

— Сырости хватает и в городе,— сказал он.— А благородство... Это что-то из Вальтер Скотта, из сентиментальных романов о барышнях и рыцарях.

— Ну что ж,— вздохнула Наташа,— благородные рыцари — это, действительно, из старых романов. А жаль. Но оставим этот спор, отложим до другого раза. Сегодня у вас тяжелое настроение. Вы будете писать о комбинате?

— Надо.

— И что, если не секрет?

— Пока трудно сказать. Думаешь одно, а когда сядешь за стол, нередко получается совсем другое. Тема должна отстояться.

Он и сам не знал, почему скрывает правду. Разговору с Выгодцевым, с главным инженером во многом убедили его. А выкладки плановика и экономистов?.. Вот, например, у него записано в блокноте, что многие рабо-

чие живут в окрестных деревнях и даже в соседнем городке за тридцать четыре километра от комбината. Их ежедневно возят на работу и с работы. За время, пока идет строительство, на эти перевозки израсходована куча денег, не говоря уже о горючем. А на строительство жилья денег почти не дают. Какая-то мудрая голова решила, что раз комбинат расположен в городе, значит, жилья есть. Раньше-то, дескать, где-то жили? Жили. Не учли такой «малости», как увеличение жителей Нижнереченска на несколько тысяч человек.

— Не хотите выдавать профессиональную тайну?

— Никакой тайны нет,— ответил Сергей.— Я в самом деле еще не знаю, что именно напишу.

Шеф, все дело в нем. Как он отнесется к идее Сергея? Вряд ли одобрит. Однако для себя Сергей решил, что будет твердо стоять на своем.

— Вы давно работаете в газете?

— Третий год.

— Наверное, разных людей повидали...

— И вы не меньше.— И спросил: — Почему вы пошли на эту работу? Бесконечные командировки, ведь это утомительно и...

— Не для женщины, да?

— Да.

— В женщинах силен комплекс неполноценности?..— Она улыбнулась.— Не обижайтесь, я поняла вас. Сама не знаю, почему выбрала эту профессию. Ездить, конечно, трудно. Но я люблю дороги. Надоедает сидеть на одном месте. Непоседливая я, Сережа. Значит, непостоянная.

Лес кончился. Вдоль дороги стояли новые дома. Однообразные, стереотипные, но все-таки и веселые, светлые, совсем непохожие на мрачноватые и надменные дома центра.

Сергей почувствовал тревогу, какую чувствовал всегда, возвращаясь домой. Наташа достала из сумки зер-

кало и поправила прическу. Потом аккуратно, чтобы не сбить прическу, надела белую вязаную шапочку.

— Вот мы и дома. Как-то поживает мой Громов?

— Кто это? — настороженно спросил Сергей.

— Отец.

— Я запишу ваш телефон, Наташа?

— Запишите.

В городе днем шел дождь. Асфальт блестел, как хорошо натертый паркет. В лужах размножались уличные фонари.

Они расстались на трамвайной остановке. Им нужно было ехать в разные стороны. Сергей хотел проводить Наташу, она не позволила. И когда ее не стало, когда она уехала, Сергей вдруг понял причину тоски, которая была и обычной, связанной с возвращением домой, и в то же время какой-то новой, незнакомой ему прежде.

А город казался ему ненужно громоздким, мрачным и необъятным. И захотелось леса, дождя и неба. Не просто леса, дождя и неба, а вместе с Наташей, вместе с ее сложенными лодочкой ладошками, в которые медленно, нежно падают снежинки...

XV

Наташу дома ждал неприятный сюрприз. Дверь открыла тетка, сестра отца, и сообщила шепотом:

— А у нас Леонид Модестович.

— Господи, что ему опять надо!

Леонид Модестович Смолич был начальником Производственно-наладочного управления (ПНУ), то есть начальником Наташи, и, как поговаривали в управлении, будущим ее мужем. Кстати, он и не скрывал своих намерений.

— Тебе лучше знать, Наташенька, чего ему надо, — сказала тетка.

Громов и Леонид Модестович сидели в комнате за

бутылкой коньяку. Наташа поцеловала отца и с укоризной сказала:

— Опять?

— Немножко, совсем немножко. Только за компанию.

— И в больницу пойдешь за компанию? — И Смоличу: — Вы же знаете, что папе нельзя пить.

— Прошу прощения. Как в Нижнереченске, все в порядке?

— Вы пришли, чтобы справиться о делах? Послезавтра представлю отчет. А сейчас мне нужно привести себя в порядок и отдохнуть, я очень устала.

Тем временем Громов с сестрой вышли в смежную комнату и включили там приемник.

— Наташа, нам необходимо поговорить. Так дальше продолжаться не может.— Смолич поднялся.— Вы же знаете...

— Я тоже считаю, что так продолжаться не может и не должно,— сказала Наташа.— Когда-то вы говорили мне, что с единомышленниками легче иметь дело, не так ли?

— Я готов признать свои ошибки...

— Это не ошибка. Это очень справедливые слова. И в чем вы считаете себя виновным передо мной?

— Вероятно, в наших отношениях были моменты...

— Извините, Леонид Модестович, но между нами никогда не было никаких отношений. Не считая, конечно, отношений начальника и подчиненной. Давайте договоримся, раз уж мы хоть в чем-то единомышленники: вы сами по себе, а я сама по себе. Смешно же, Леонид Модестович! Вы взрослый человек, с хорошим положением, а ведете себя как мальчишка. Поймите, это противно.

— Я понимаю...— упавшим голосом пробормотал Смолич.

— Так будьте мужчиной.

— Разве я обидел, оскорбил вас, Наташа? Я предлагаю...

— Я уже говорила вам, что не гожусь в жены. Ну подумайте, как вы будете себя чувствовать, когда вам будут говорить, что у вас очень милая дочь...— Ее бесил его приниженный, жалкий вид, заискивающий взгляд и как тряслись у него губы. Пожалуй, она еще не видела Смолича вот таким. Он раздваивался на глазах, теряя нечто человеческое. Трудно было поверить, что это тот же Смолич, начальник управления, который умеет быть корректным, одинаково вежливым со всеми, но, когда надо,— жестким. Наташа понимала, что сейчас его словами и поступками руководит страсть и он может на какое-то время изменить себе, но эта потерянность, но эта услужливая готовность заранее простить любую обиду... Может, поэтому от него и ушла первая жена? Ведь говорят, что ушла именно она.

— Но я люблю вас! — вдруг сказал, даже скорее вскрикнул Смолич.

— О боже. Если б вы только знали, как надоела мне ваша любовь. Возьмите себя в руки! Да и не меня вы любите, Леонид Модестович, а свою любовь. Вы смогли бы убить меня?..

— Что вы говорите! Я готов сам...

— Уходите,— сказала Наташа.— Уходите немедленно, я прошу вас. И больше никогда не приходите сюда.

— Хорошо, я уйду. Но позвольте мне прийти к вам на помощь в трудную минуту...— суетливо заговорил он.— Знайте, что рядом есть человек, который пожертвует всем ради вас и ничего не потребует взамен.

— И все-таки этот человек не забывает, что приносит именно жертву и что имеет право потребовать взамен нечто.— Наташа усмехнулась и повторила: — Уходите.

Громов после ухода Смолича молчал, уткнувшись в телевизор, а Тамара Григорьевна, накрывая стол к чаю,

что-то все бормотала, ворчала и неожиданно высказалась:

— Не пойму я нынешнюю молодежь. Кто бы мне, старой дуре, объяснил, чем это плох Леонид Модестович? Интеллигентный, интересный мужчина... В возрасте, конечно, но далеко не стар. Умен, образован, с ним приятно побеседовать...

— Тетя Тамара! — не выдержала Наташа. — Нельзя ли перед чаем о чем-нибудь другом?

— А ты послушай, послушай, уши-то не отсохнут. Он что, пьяница, бабник? Ну был женат. В жизни всякое случается, не сложилась жизнь. Старше тебя? Да это даже хорошо.

— Он просто замечательный, — сказала Наташа. — Хоть на выставку.

— Чего же ты бегаешь от замечательного человека? — не поняв иронии, спросила Тамара Григорьевна.

— Бегают не только от плохих людей.

— От добра, девочка, добра не ищут. — И Грому: — Выключи ты эту шарманку, поговорить не дашь.

— Смешно, — сказала Наташа.

— Ничего смешного не вижу.

— Наизобретали афоризмов на все случаи жизни и тыкают в них носом. А если я его не люблю?

— Что ты знаешь про любовь! Любовью сыт не будешь, а когда припрет в жизни-то, позабудешь и слово это.

— Значит, надо выгодно выскочить замуж и искать себе любовника?

— Любовников ищут от распущенности, — назидательно проговорила Тамара Григорьевна. — Как можно не любить хорошего человека?

— Но хороших людей на свете гораздо больше, чем плохих. Прикажете любить всех подряд?

— Уж тебя не переспоришь, — отмахнулась Тамара Григорьевна. — У тебя на все есть ответ. Только вот что

я тебе скажу, девочка: больно много финтишь ты со своей любовью, доиграешься. Попадешь в лапы какому-нибудь алкоголику, тогда узнаешь, что такое любовь.

Громов внимательно наблюдал за дочерью и сестрой. Честно говоря, ему тоже не очень-то нравился Смолич, и он был рад, что Наташа выставила его прочь.

— Откуда вы знаете, что Леонид Модестович не алкоголик? — спросила Наташа. — Может, он скрытый, подпольный алкоголик. И чем он вас так подкупил!

— А мы играли в дурачка, — высказался Громов, — и он подыгрывал ей. Я видел, но молчал.

— Сами вы дурачки! — сказала Тамара Григорьевна. — Разве не видно человека?

— Дорогая тетя Тamarочка, человек жив не только тем, что на виду у всех... Ванна свободна, не знаете?

— Свободна, ступай мойся, да будем чай пить. Ох, и боюсь я за тебя, девка.

— А вы не бойтесь, меня голыми руками не возьмешь. — Наташа схватила полотенце и пошла в ванную.

Тамара Григорьевна сказала Громову со вздохом:

— Влюбилась, это уж точно.

* * *

Может быть, высказывая это предположение, Тамара Григорьевна и не ошиблась. Думая о Сергее, Наташа чувствовала какое-то незнакомое волнение, ей было приятно думать о нем и просто знать, что он где-то есть, живет, радуется и огорчается, куда-то ходит, с кем-то встречается, и она ждала его звонка, а он почему-то не звонил.

Возвращаясь с работы, она первым делом спрашивала:

— Мне не звонили? — Спрашивая, она пыталась сохранить на лице безразличие, но тетка все видела, все понимала,

— Не звонили,— отвечала она сочувственно и разводила руками. Ей хотелось поинтересоваться, кто он, который должен позвонить, однако знала, что племянница все равно не скажет.

Длинные вечера были скучны и однообразны. Они втроем — Громов, Наташа и Тамара Григорьевна — играли в карты или смотрели телевизор, а когда в прихожей звонил телефон, Наташа вздрагивала, напрягалась вся, но не шла, ждала, когда ее позовут.

А Сергей не звонил потому, что боялся показаться назойливым. В конце концов желание слышать Наташу взяло верх. Ответил женский голос, совсем незнакомый и какой-то тягучий, быть может, вальяжный.

— Ал-ло-о.

И отчетливо представилась полная женщина в домашних туфлях без задников, с длинной — именно с длинной — папироской в растопыренных пальцах.

— Наталью Осиповну можно?

— Один момент, я посмотрю, дома ли она. А кто спрашивает?

— Болдырев.

— Сию минутку.— И смешок.

В трубке прослушивались какие-то разговоры, шаги, хлопанье дверей, секунды тянулись нестерпимо долго, у Сергея вспотела рука. Наконец он услышал голос Наташи.

— Да.

Он молчал, не знал, что говорить, а обычный вопрос о делах или здоровье был бы неуместным и глупым.

— Я слушаю.

— Здравствуйте, Наташа.

— Это вы, Сережа? — У нее был радостный голос, и Сергей возликовал.— А я давно ждала вашего звонка. Почему же вы не звонили?

— Работа. И потом... Как ваши дела? — Он все-таки задал этот идиотский вопрос.

— Дела? — откровенно удивилась Наташа.— Дела идут хорошо.

— Вы очень заняты сегодня?

— Как всегда.

— Может, мы встретимся?

Ах как долго он собирался сказать эти простые, обыденные в общем-то слова. А теперь, когда слова эти сказались, Сергею сделалось жарко.

— Это так неожиданно...— Видимо, она прикрыла трубку рукой, чтобы не подслушивали соседи, потому что голос ее стал вдруг глухой и далекий.— Ладно, приезжайте ко мне. Адрес знаете?.. Тогда запишите.

— Я запомню.

— Ну запоминайте.

Она сама открыла дверь. На ней были брюки и яркий джемпер, волосы спрятаны под пестрой косынкой.

Он протянул ей ветку мимозы.

— Ой, какая прелесть! Спасибо, Сережа. Проходите в комнату, я скоро освобожусь.

В голубой телевизионной полутьме Сергей не сразу разглядел Громова, а когда увидел его, растерялся. Хотел встать, но Громов опередил.

— Сидите, молодой человек.— А сам прощупывал его тяжелым и, как показалось Сергею, недружелюбным взглядом. Странные это были глаза, как будто застывшие, как у незрячего.

Юркий репортер на телеэкране подсовывал кому-то микрофон и просил «сказать несколько слов уважаемым телезрителям». Что-то знакомое было в этом человеке, и Сергей пытался вспомнить, где видел его. Не вспоминалось, а говорил человек невнятно, сумбурно, его, наверно, смущала навязчивость репортера, и он кое-как соединял необязательные слова в корявые фразы. «Значит, таким вот образом, мы достигли высоких, значит, показателей в отрасли...»

Громов убавил громкость, теперь человек на экране только шевелил губами.

Вдруг Громов встал, одернул пиджак, провел рукой по лысеющей голове и подошел к Сергею. Протягивая большую руку, представился:

— Громов.

— Болдырев. Сергей.

— Очень приятное имя — Сергей. Вы чем занимаетесь? Какая у вас трудовая профессия?

— Журналист.

— Любопытно. Вы пришли к Наташе или к Тамаре?

— К Наташе.

— Тогда понятно, — сказал Громов.

В Сергее пробудился какой-то безотчетный страх. Было, было в Громове что-то странное, неестественное. И не только в глазах, но во всем его облике, в каждом движении и даже в голосе. Говоря, он чуть вздергивал головой, словно ему мешал слишком тугой воротничок, однако ворот рубашки был расстегнут.

Неожиданно глухо спросил:

— В армии служили?

— Н-нет...

— Очень жаль. А я вот служил. Да, служил! — Голос его делался все громче и напряженнее. — С вашего позволения, принимал активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков на фронтах Отечественной войны. Вы на каком фронте воевали?

— Я не был на фронте, — тихо ответил Сергей.

— К вашему сведенью, имею одиннадцать правительственных наград. Был у меня радист, орел! Брал с собой радиостанцию, помощника и ночью, понимаете — ночью, когда темно, пробирался в тыл к немцам. А оттуда передавал мне радиограммы, каково?.. «Та-та-ти-ти-ти, та-ти-ти-ти-ти...» По скоплению пехоты и танков противника, смерть немецким захватчикам! Сам командующий армией просил отдать ему радиста, но я не

отдал. Если увидите его, передайте, что полковник Громов, бывший его боевой командир, передает привет. Забыл вот фамилию. Но вы его сразу узнаете. Однажды был случай... Вы, кажется, не слушаете меня?! — У него задрожали губы, и он надвинулся на Сергея. Оттого, что в комнате был полумрак, тело казалось непомерно громадным. — Вы... Мне... Меня... Встать, когда с вами говорит полковник Громов! Смир-рно!..

Сергей испуганно вскочил, и тут в комнату вбежала Наташа, включила свет и схватила Громова за руку.

— Что с тобой, папочка? Тебе плохо, да? Пойдем, я уложу тебя, отдохни. Ведь все хорошо...

Он часто заморгал, сник, обвис и, обняв Наташу, покорно вышел с нею в соседнюю комнату. Наташа тотчас вернулась, мельком взглянула на телевизор и повернула ручку громкости. Бодрый голос репортера произнес: «Итак, дорогие телезрители, мы с вами побывали на строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Наша передача подходит к концу...»

И Сергей вспомнил, где видел человека, у которого репортер брал интервью: в ресторане в Нижнереченске. Он подошел к их столику. Как его?..

— Михаил Тимофеевич Чуприн,— подсказала Наташа. И позвала: — Ну пойдете?

Сергей и не заметил, что она была уже в пальто.

Они вышли на улицу, но Сергей не мог отделаться от чувства страха. Громов все же сильно напугал его.

— Извините и не удивляйтесь, Сережа,— заговорила Наташа.— Отец у меня хороший. Больной только. Это после контузии. А вообще хороший и добрый. И все он не полковник, а старший лейтенант, ротой командовал на фронте. Когда его контузили, он почти два года пролежал в госпитале. Не повезло отцу в жизни...— Она неожиданно замолчала. Лицо сделалось грустным, как у людей, когда они вспоминают о чем-то тяжелом, неприятном. Теперь Наташа была похожа на

отца: такой же застывший, пугающий взгляд, туго сдвинутые брови.

А Сергею в голову настойчиво лезли мысли о наследственности. Он прочитал об этом недавно в статье какого-то психолога или психиатра. Потом в редакции был спор. Сергей, правда, участия в этом споре не принимал, считая глупостью высказываться, когда не знаешь существа дела. А Зиночка рассказывала, что у одного шизофреника родился ребенок без головы. Страшная чушь. При чем тут голова?.. И вообще шизофрения — это всего только психическое расстройство. От сильного переутомления, просто от умственной усталости или от глубокого потрясения. Кроме того, контузия — это травма. Но ведь не рождаются же у тех, кто потерял ноги, безногие же дети. А наука, между прочим, слишком многого не знает. И многое держится на предположениях и авторитете отдельных ученых. Игорь Романов, например, этот фанатик, и тот признает: «Большая часть истин — истины лишь потому, что их никто не смог опровергнуть. Но это не означает, что не опровергнут в будущем. Такие истины мы принимаем потому, что они устраивают нас сегодня, избавляют от каких-то дополнительных неудобств и если не объясняют всего, зато и не противоречат очевидному...» А наследственность и вообще-то дремучий лес. Тут все загадка, все неизвестность, и кто знает — что человек наследует от родителей и предков, а что приобретает потом.

— Что с вами, Сережа? — Наташа дергала его за рукав.— Говорю, говорю, а вы хоть бы что.

— Да так, задумался что-то.

— Куда мы пойдем?

— Может, в кино? — предложил он.

— Не хочется. Сидеть там... Давайте просто так погуляем.

— Давайте.— В сущности, Сергею тоже не хотелось в кино.

Они свернули в парк и шли вдоль невысокой узорчатой ограды. В парке было тихо, безлюдно, а рядом, всего в нескольких шагах, была уже иная жизнь. Тоже не слишком шумная и суетливая, потому что давно минул час «пик», но все-таки не затаенная, как здесь. Катились быстрые машины, проплывали надменные троллейбусы, где-то поблизости тархтел трамвай.

— А я читала вашу статью,— вдруг сказала Наташа.

— И как? — Он насторожился. Может быть, он и позвонил-то именно сегодня потому, что надеялся узнать мнение Наташи о своей статье. Она была опубликована накануне.

— Хотите правду?

— Разумеется.— В этом вопросе он угадал ее мнение.

— Мне не понравилась.

— Плохо написана?

— Ну, этого я сказать не могу, вы знаете лучше меня. Как бы вам объяснить...

— Прямо.— Он злился.

— Я ведь только читатель,— сказала Наташа.— Мне показалось, что вы или не сумели разобраться, или не захотели писать правду. А может, просто не поняли?

— Вот как. Чего же я там не понял?

— Ну... Вроде все так, а вроде и нет. Получилось по принципу: пришел — увидел — написал. А на самом деле все сложнее. Вот вы купили какую-то вещь. Телевизор, допустим. А он плохо работает. Почему?

— Плохо сделан, очевидно.

— Верно, но это не все. Ваша статья, Сережа, как бы отражает одну точку зрения — покупателя. Плохо? Да. Но почему, почему! Покупателя этот вопрос не интересует, он заплатил деньги и вправе требовать добротную вещь. Но вы-то не покупатель. Вы-то обязаны видеть больше и глубже. Для того вас, наверное, и послали в командировку, чтобы вы разобрались в причи-

нах. Давайте вернемся к телевизору, который плохо работает. Что, если заводу не привезли своевременно необходимые детали?.. План-то все равно спросят, а как его выполнять второпях, если к тому же не хватает людей?.. Я знаю, что говорю сумбурно и, может, не совсем то, что нужно говорить. Но вы поймите, Сережа: что такое хорошо и что такое плохо видит каждый, для этого вовсе не обязательно писать статьи...

— Значит, не нужно было писать?

— Не знаю... Нет, нужно! Только...

— Я солгал, написал неправду?

— Вроде бы не солгали, но впечатление неправды есть. Дело, наверное, в том, что правда тоже бывает разная. Крошечная может быть правда и большая, настоящая, которая не бросается в глаза. И потом... Вот вы поругали местное начальство. Я не знаю, насколько это справедливо,— отругать можно кого угодно. Получат они свои взыскания. А делу вы помогли?..

— Газета, Наташа, не «скорая помощь»,— сказал Сергей назидательно.— Газета может поставить вопрос, обратить внимание на проблему, но решают-то другие.

— Это я понимаю. Но ведь и поставить вопрос можно по-разному. Можно строго спросить с начальника строительства, почему он не выполняет план, а можно спросить у его начальства, почему оно не помогает стройке. Да ладно, не будем об этом, Сережа. У вас своя работа, а я не имею права вас учить.

«Рассказать ей все, как было? — спрашивал себя Сергей.— Не стоит, пожалуй, не поймет...»

— Давайте скатаем снежную бабу! — вдруг предложила Наташа. У нее озорно заблестели глаза. А Сергей не мог освободиться от неприятных мыслей, ему хотелось объяснить Наташе, как все получилось со статьей, ведь он-то не хуже ее — по крайней мере, не хуже — знал, что написал совсем, совсем не то, что следовало написать. И понимал, что любые объяснения будут по-

хожими на оправдание. Но разве чужая вина, если она и есть, уменьшает его собственную! Нисколько. И даже наоборот, потому что он поступился своими убеждениями...

И вообще он должен еще подумать. Как следует подумать. Возможно, редактор и прав, хотя, вспоминая разговор с ним, Сергей без особенного труда находил доказательства, которые начисто разрушали железную будто бы логику шефа. Но почему эти доказательства обнаружили только теперь?.. Неужели натолкнула Наташа?.. Увы, так же думал и он, когда возвращался из командировки и даже когда шел к шефу для разговора, и даже в кабинете шефа...

Выходит, не хватило мужества.

Признание это было оскорбительным, болезненным, и Сергей вдруг ясно понял, что достоин презрения. Наверняка, если бы Наташа знала всю правду, она стала бы его презирать.

Одинокие листья, не опавшие с осени, сиротливо жались к веткам. Искали защиты от стужи и ветра.

— О чем вы думаете, Сережа?

— Ни о чем.

— Вы счастливы?

— В общем, да.

— А я нет,— сказала Наташа.— Не хватает чего-то. У вас бывало когда-нибудь, что вдруг появляется чувство недовольства собой, чувство разочарования... Причин нет, а это чувство просто покоя не дает.

— Бывало.— Сергей едва не признался, что именно сейчас у него такое состояние.

Они стояли на развилке, и Наташа пристально смотрела ему в глаза. Снег подтаивал под ногами, и там, под снегом, была грязь.

— Значит,— вздохнула Наташа,— вы тоже не нашли себя. Грустно это, верно?.. Живешь, живешь и не знаешь, зачем. А может, счастье в том, что живешь на

свете?..— Она оживилась, вспыхнула.— Как вы думаете, Сережа?

— Червяк тоже живет.

— И что же? Он и счастлив по-своему, по-червячному! Видите, как все просто.

Он видел другое — ей совсем непросто.

— Давайте в выходной махнем за город, на лыжах! — предложила Наташа.— Вы любите ходить на лыжах?

Нет, Сергей не любит. Он всегда предпочитал проводить выходные в городе. Работал или читал. Изредка ходил в театр или кино. А на лыжах просто не умеет. В детстве катался, как все мальчишки, а уже лет с пятнадцати вообще не вставал на лыжи. Но отказаться не смог, и они договорились, что поедут. Наташа даже не поинтересовалась, есть ли у Сергея лыжи. Для нее, очевидно, это само собой разумелось.

Они свернули в боковую аллею и теперь опять шли вдоль узорчатой ограды, которая отделяла тихий парковый мир от проспекта. Там горели лампы дневного света, но их свет нисколько не был похож на дневной. В нем, в этом зеленоватом свете, было что-то мертвенное.

Так они дошли до выхода из парка, и Наташа заспешила домой.

— Провожать не надо, я сама.

Сергей не настаивал. Ему лучше было побыть одному. И Наташа ушла, оставив его в большом заснеженном парке.

XVI

Утром, после возвращения из Нижнереченска, Сергей пошел к редактору. Тот встретил его приветливо, долго и усердно тряс руку.

— Садись и выкладывай, с чем вернулся, Статья готова?

— Нет.

— Но мы же горим, Болдырев!

— Понимаете, Георгий Константинович, на комбинате очень сложная обстановка. Куча проблем, от которых многое зависит. На них там жмут со всех сторон...

— Ты погоди, погоди,— остановил Сергея редактор.— Кто и на кого жмет? Что-то я плохо понимаю тебя.

— Начальство жмет на строителей, на дирекцию...

— На всех жмут. На нас с тобой тоже. И на тех, кто жмет на нас. Такая диалектика. Вчера звонили из обкома, интересовались, когда мы выступим.

— Я и пришел, чтобы поговорить. Мне необходимо с вами посоветоваться.— Он выложил на стол блокнот и начал рассказывать, что удалось увидеть, узнать в Нижнереченске.

Редактор слушал молча. А когда Сергей выдохся, сказал:

— Все это чрезвычайно интересно, Болдырев. Чрезвычайно. Ты не сидел сложа руки. С кем ты встречался?

— С директором комбината.

— Выгодцев?

— Да.

— Понятно. Еще с кем?

— С главным инженером строительства, с Нестеренко...

— Это который Федор Федорович?— спросил редактор, и брови его взлетели кверху.

— А вы его знаете? Очень интересный человек.

— Интереснее некуда. Не учел я этого момента, надо было ехать самому. Да разве все учтешь! Теперь будет нам хороший втык. Ах, Болдырев, Болдырев!..— Он покачал головой.— Сиди, сиди, это моя вина.

— Вы меня не поняли, Георгий Константинович,— с обидой проговорил Сергей.— Статья у меня в принципе готова, всю ночь сегодня работал.

— Какая статья, о чем статья?.. О том, что мы теряем много бумаги из-за неправильного планирования? — Он горько так, всепонимающе усмехнулся.— Демагогия это, Болдырев. Де-ма-го-ги-я! Неглиже. Ты думаешь, что съездил и открыл еще одну Америку? Она давно открыта, уже закрывать пора, как рекомендовал Маяковский. Выгодцев с Нестеренко со своими маниловскими идеями где только не побывали, Болдырев. Размахавщина какая-то.— Он резко встал, а Сергей некстати как-то подумал, что такое размахавщина.— Того нет, другого не дали, плохо спланировали, своевременно не подвезли... Да если бы все было, этому же Выгодцеву делать было бы нечего! Есть сорт людей, которые работать не умеют, вот и толкают идеи и предложения. Видимость деятельности налицо. Ты подумал, что с нами было бы, если бы в годы первых пятилеток нашим хозяйством руководили такие выгодцевы и нестеренки?.. В прах, в трубу вылетели бы. Проблему нужно видеть в целом, в комплексе, так сказать. А тебя эти опытные волки увели в сторону, ловко обвели вокруг пальца, деловой разговор подменили своей демагогией.

— Но разве нелепое планирование производства бумаги в тоннах это мелочь?..

— Не знаю, Болдырев Я не знаю, и ты не знаешь.

— Но специалисты говорят...

— Вот, вот! — разгорячился редактор.— Выгодцев— специалист, Нестеренко— специалист, ты еще у нас сделался специалистом, а в Госплане сидят идиоты, а в министерстве работают дураки, неучи. Так ведь получается?

— Я этого не говорил.— В словах шефа была своя логика, опровергнуть которую, аргументированно опровергнуть, Сергей не мог. Хотя и было в нем внутреннее убеждение, чувство, что в чем-то редактор не прав. Он сказал потерянно: — Но бывают же ошибки.

— Ошибки бывают. Есть ошибки, Болдырев. И газета обязана вскрывать их. Это вообще. В данном же случае мы с тобой не знаем, кто ошибается — Госплан и министерство или Выгодцев и Нестеренко. Могу сообщить тебе: вопрос этот обсуждался, и не раз, но специалисты не пришли к единому мнению. Специалисты, заметь, которые знают положение дел не только на Нижнереченском комбинате, но по стране в целом. К тому же сегодня, сейчас от нашей газеты ждут не дискуссии о недостатках планирования, а конкретного анализа тяжелейшего положения, сложившегося на строительстве. Если хочешь, ждут живого, яркого слова публициста. Вторая очередь комбината должна быть пущена в установленные сроки.

— Так я об этом и говорю! — воскликнул Сергей, воспользовавшись паузой. — Проектировщики, например...

— Опять ты за свое, Болдырев. О недостаточно высоком качестве проектных изысканий, о плохом снабжении и прочем прекрасно знают те, кому это знать положено. Эти вопросы обязательно будут обсуждаться на бюро. Но ты-то должен был написать о тех ошибках и просчетах, которые не зависят от внешних причин, которые можно исправить на месте. Есть такие недостатки?

— Конечно, есть. Без этого невозможно, но не они определяют...

— А вот это уже не наше с тобой дело, — веско сказал редактор и нахмурился. — Без нас решат, кто и в чем именно повинен. Постарайся на этот раз обойтись без вселенских проблем. У тебя есть конкретное задание, и ты обязан его выполнить. Вот это и есть государственный, партийный подход к делу. Никто не насилует тебя, но нам, газетчикам, иногда необходимо «наступить на горло собственной песне». Я бы сказал, необходимее, чем любому поэту. Ты меня понял?

— Понял.

— Когда сдашь статью?

— Завтра,— сказал Сергей. Он понимал, что больше ничего не остается. То есть возражать можно, но для этого нужны аргументы и знания, которых у него не было.

— Тащи прямо ко мне, вместе посмотрим. Можешь идти домой, там спокойнее работать. А что касается проблем, о которых ты говорил... Пожалуй, через некоторое время мы вернемся к ним. Ты представь мне свои соображения. Может быть, в помощь тебе привлечем специалиста. Побываешь снова в Нижнереченске, на других комбинатах, вникнешь в суть поглубже. Словом, подумаем. А вообще молодец, что не прошел мимо.— Он похлопал Сергея по плечу и легонько подтолкнул к двери.

В приемной его окликнула Зиночка.

— Уже и не замечаете, Сергей Александрович?

— Извините, Зинаида Васильевна.

— Как съездили?

— Хорошо съездил.

— А вам звонил Новиков, оставил свой телефон.

— Благодарю. Больше ничего?

— Рассказали бы, как в Нижнереченске...

— Там все нормально,— сказал Сергей.— Писем никаких?

— Еще пишут,— ехидно ответила Зиночка.

Василий Иванович как будто только и ждал Сергея.

— С приездом. Вы слышали, в наш отдел берут двух новых литсотрудников?.. Не слышали? Удивительно, как это Сторожевская не сообщила об этом. Да, штаты утвердили, расширяемся помаленьку...— Он вдруг как-то скис.— Двоих-то возьмут, а где взять второго Виктора Павловича, а?.. Знаете, мне надоело молчать. Я устал молчать. Хотя бы под старость хочется воспользоваться правом голоса. Слишком долго я молчал, слишком дол-

го... Напишу в обком, в Москву, если надо. А вы как считаете, Сергей Александрович?

— Думаете, поможет?

— Значит, завтра могут вышвырнуть меня, послезавтра вас? Но сколько можно?! — воскликнул Василий Иванович. — На моих глазах таким вот образом погибли не два и не три человека. А я молчал. Все видел, все понимал, а молчал. Это позиция человека?.. — Он поморщился болезненно. — А тут еще дочка пристаёт с такими вопросами, что порой делается страшно, честное слово. Как ей объяснить, что у нас была совсем нелегкая и непростая жизнь...

Сергей смотрел на него с откровенной жалостью. Но сострадания не было. И жалел он Василия Ивановича не как жалеют хорошего человека, запутавшегося в сложностях и противоречиях жизни, а так, как жалеют больных или стариков, выживающих из ума. И где-то под спудом шевелилась мысль, что пора бы уже Василию Ивановичу уйти за кулисы, освободить место для молодых, более сильных и уверенных в себе. Эти запоздалые раскаяния по поводу собственной жизни, прожитой не так, как следовало прожить, кому, кому они нужны теперь?.. Кто примет их в расплату за ошибки? Раньше следовало подумать, гораздо раньше.

Добрых, добрый, добренький. Добряк, словом. Выйдет вот на пенсию и делается обычным старичком, каких немало сидит в скверах за разгадыванием глупейших кроссвордов или решением шашечных трехходовок. Вся их жизнь укладывается в клеточки кроссворда либо шахматной доски, и все они одинаковые, бывшие председатели и грузчики, директора и мелкие служащие, начальники и подчиненные. Старость всех постригла под одну гребенку.

Сергей решил не ехать домой, а сесть за статью здесь. Он положил перед собой чистый лист, на минутку задумался и написал: «На Нижнереченский целлюлозно-

бумажный комбинат я ехал в кабине самосвала...»
А дальше рука побежала сама, и мысли едва поспевали за рукой, облачаясь в слова и фразы.

«Шофер, молодой парень, плечам которого, казалось, было тесно в просторной кабине, молчалив, апатичен. Его глаза не выражают ничего, кроме безразличия...

Это чувство общей отрешенности, равнодушия выразил рабочий-бетонщик, когда я спросил его, сдадут ли в срок вторую очередь комбината.

— Сдадим, если прикажут.

— А вы-то как думаете сами?

— Что мне думать,— сказал он,— за меня думает начальство...»

Дальше все было просто, и Сергей почувствовал, что статья получится. Возможно, редактор и прав. В конце концов, он не председатель Госплана, не министр. Его дело написать, обратить внимание, а решают другие.

* * *

И статья, действительно, получилась. Особенно восхищался ею Василий Иванович, и хотя к его похвалам Сергей относился обычно снисходительно, не принимая всерьез, на этот раз похвала Добрых была приятна. Ему была необходима поддержка, профессиональная поддержка, потому что в глубине души он все-таки чувствовал себя виноватым.

Наташа пошатнула в нем то зыбкое спокойствие, которое он было обрел. Пошатнула — не то слово: разрушила, и он не смог ничего возразить. Вот шеф сумел убедить его, пусть и не до конца, но сумел. Почему же он не сумел убедить Наташу?..

Значит, чего-то не хватало ему. Может быть, не хватало главного: личной убежденности.

Дома Сергей продолжил мысленно диалог с Наташей.

«Вот ты говоришь,— он позволил себе называть Наташу на «ты», ему приятно было это,— что бывает правда большая и правда маленькая. Но правда есть только одна. Иначе какая же это к черту правда! Либо я солгал, либо написал правду. Одно из двух, третьего, как говорится, не дано...»

Она задумалась. Ей трудно спорить, и тогда Сергей подсказал ответ: «Но ты же, Сережа, отлично понимаешь, что твоя правда не настоящая, какая-то половинчатая! — Она тоже говорила ему «ты», отчего было еще приятнее.— Зачем ты юлишь, выискиваешь щелку? Всегда бывает так: сначала лгут себе, потому другим, потом запутываются окончательно...»

«Разве я кого-нибудь обманул? — воскликнул он.— Разве я кому-нибудь обещал...»

«Постой, Сережа. Ведь тебе сейчас было бы стыдно встретиться с тем же Выгодцевым, верно? Ну скажи, верно?.. Молчишь. Значит, стыдно. А если бы ты написал правду, стыдно не было бы».

«Выходит, если я пишу о ком-то плохо, меня должны замучить угрызения совести?»

«Не надо передергивать, Сережа. Ты воспользовался доверием человека, чтобы подкрепить заранее составленную схему, а это нечестный прием. Таким-то образом кого угодно можно всунуть в схему...»

«Это вовсе не моя схема».

«Тем хуже. Выходит, ты готов на все, чтобы угодить своему шефу. Вспомни, вспомни, Сережа, как он тебя учил: «Хороший журналист, Болдырев, это как гроссмейстер. Он играет со своими героями, наперед зная, что непременно победит. Таблица ему служит лишь для того, чтобы заполнять единцами пустые клеточки. Альтернатив нет. Еще не увидав своего героя, ты должен знать, что напишешь о нем. Тебе нужны только конкретные факты. Остальное у тебя все готово...» Это игра в одну корзину, а герои больше похожи на жертвы...»

— Хватит, не надо! — громко сказал Сергей. — Ты этого не слышала, ты этого не знаешь, не можешь знать.

«Как видишь, знаю, хотя и не слышала. Ты сам разоблачаешь себя. И, по правде говоря, это меня радует, оставляет какую-то надежду...»

Было бессмысленно продолжать диалог. Сергей был зол на редактора, почему-то — на Василия Ивановича, на Зиночку, но более всего он был зол на себя. Но не только зол. Была еще и обида. И стыд. Наташа разгадала в нем потаенное, тщательно охраняемое от посторонних, а разгадав, вызвала этот самый стыд.

Конечно, пройдет время, эпизод этот забудется, Сергей снова поедет в Нижнереченск и напишет большую проблемную статью... Он сделает это обязательно. Но как быть теперь, сейчас?

Вот этого он не знал.

XVII

Они договорились встретиться в девять, и Наташа ждала на автобусной станции. Он запоздал немного. Издали увидав его, Наташа помахала варежкой.

— Вы почти как олимпийский чемпион, Сережа. Вам очень идет этот костюм.

Лыжи с ботинками Сергей взял напрокат, а костюм пришлось купить.

На ней были брюки, в которых он видел Наташу дома, и белый свитер. Шапочка тоже знакомая. В этой шапочке она была в Нижнереченске.

Сергей плохо представлял, что станет делать, когда нужно будет надевать лыжи. Идти по ровному он кое-как еще сможет, а если придется с горы?.. Лучше бы об этом и вовсе не думать, но автобус все чаще обгонял лыжников — и одиночек, и целые семьи, и Сергей уже просто не мог не думать о скором своем, близком позоре. Все-таки надо было отказаться от этой затеи. Пред-

лог нашелся бы. Некогда, плохо себя чувствует, кто-то приехал неожиданно. Да мало ли! В конце концов, почему бы не сказать честно, что не умеет ходить на лыжах. В этом нет ничего удивительного и стыдного. Большинство горожан не умеют, это так естественно и понятно.

— Следующая — двадцать третий километр, — объявила кондукторша.

— Выходим, — сказала Наташа.

Автобус укатил дальше, оставив их на обочине. Километра два тянулось чистое белое поле, а потом начинался лес. Деревья карабкались по склонам невысоких холмов, и Сергей почувствовал страх. Обычный, тягучий какой-то страх. Все же до этой минуты необходимость стать на лыжи и открыть свое полное неумение была впереди, в будущем, могло ведь что-то случиться, но теперь этот момент наступил, и никаких неожиданностей не предвидится.

Небо над их головами было светлое, без единого облачка, пронизанное лучами невидимого солнца. Снег — вот он, нетронутый, мягкий, а за полем — лес на холмах. Скорее всего, именно туда Наташа и нацелилась...

— Красота-то какая! — сказала она.

— Да.

— Признайтесь, Сережа: ведь вы не умеете ходить на лыжах?

Он даже вздрогнул — так внезапен был ее вопрос.

— Я сразу поняла, как только увидела этот костюм. Он же совершенно новенький.

— Не умею, — признался Сергей, и ему стало легче.

— Не тушуйтесь. Я специально придумала выйги здесь, а там, куда сначала хотела, очень много народу собирается. Вам было бы неудобно.

Он поблагодарил ее взглядом.

Она сама приладила ему крепления. Он не умел и этого. Разогнувшись и накатывая свои лыжи, Наташа спросила:

— Что ж вы сразу не сказали? Я бы достала вам отличные лыжи, а эти дрянь. Напрокат взяли?

Он молча кивнул.

Наташа шла впереди, прокладывая лыжню. Кончилось поле, и теперь они петляли среди редкого мелко-лесья. Попадались и взрослые березы, но больше — пушистые такие елочки и сосеночки. У спуска с холма Наташа остановилась и поправила волосы.

— Ну как, получается? — спросила она.

— Вроде бы. — Ему-то казалось, что он уже совсем свободно владеет лыжами, а небольшая усталость была приятной.

У Наташи было розовое от мороза, возбужденное лицо. Сергей неожиданно обнял ее. Глаза ее были совсем близко. И в них — удивление.

— Вы что, Сережа...

Он поцеловал ее.

— На нас смотрят, — как-то очень просто сказала она.

На дереве, прямо над их головами, сидела ворона. Склонив набок голову, она и вправду смотрела на них. У вороны был такой взгляд, словно она все понимала.

Сергей отпустил Наташу и бросил в ворону снежок. Она удивленно вскрикнула, но не улетела, только подпрыгнула странно, распушив перья, и пересела на другой сук, повыше.

— Махнем? — Наташа показала вниз.

— Не знаю.

— Это очень просто, Сережа. Чуть-чуть пригнитесь, ноги в коленях тоже согните, но не надо напрягаться. Палки в стороны и назад. Ничего страшного. Да здесь и спуск отлогий.

— Попробую, — сказал Сергей.

— Ну... Раз. два...

Сергей зажмурился. Он сделал все так, как учила Наташа. Осталось только оттолкнуться.

— Три! — крикнула Наташа.

Ворона слетела с ветки, покружилась и, убедившись, что ей-то не грозит никакая опасность, что людям до нее нет дела, уселась обратно на свое место.

Сергей открыл глаза.

— Покурю.— Он достал сигареты и закурил. Непривычно — гулко и сильно — колотилось сердце. Подсасывало под ложечкой.

Наташа молчала, вычерчивая палкой на снегу какие-то узоры. Нечто, похожее на лабиринт из детского журнала, в котором мышка, чтобы убежать от кошки, должна отыскать единственный выход.

По шоссе прошел автобус. Он казался игрушечным. За лесом прогудел паровоз, и было в этом гудке что-то тревожное, зовущее. Заволновалась на суку ворона. С дерева посыпался снег.

Наташа отряхнулась и пристально взглянула на Сергея.

— Сейчас,— проговорил он неуверенно, затаился жадно подряд три раза и втоптал окурок в снег.

Все повторилось. Только теперь, когда он был готов броситься навстречу страшной неизвестности, по шоссе быстро пробежала легковая машина. И была это машина едва ли больше спичечного коробка.

— Не могу,— отступая от края спуска, сказал Сергей.— Немного обожду.— На Наташу он не смотрел, ему было очень стыдно, но страх оказался сильнее стыда.

Он внашал себе, что гора действительно ерундовая. Не гора, а так, пригорочек, что с ним ничего не сделается, в худшем случае — упадет, но ведь это пустяки, люди падают на крутых затяжных спусках при огромных скоростях, а тут...

— Сережа, вы что, боитесь?

В сущности, вопрос был излишним. Наташа и без того видела, что он боится. Однако верить этому не хо-

телось. Он же мужчина. А стоит какой-то подавленный, угнетенный, в нем нет ничего мужского, сильного и гордого. Если бы он вот сейчас решился поцеловать ее, она бы оттолкнула...

— Смелее, Сережа! — уже просила она.

— Да, да...

Наташа поняла, что он будет до бесконечности оттягивать последний момент, и чем дольше будет длиться его борьба со страхом, тем меньше в нем останется решимости.

Она взмахнула палками, и мимо Сергея, обдав его ветерком и снежной пылью, умчалась вниз. За нею оседал встревоженный снег, ее шапочка мелькала далеко внизу, промеж укутанных снегом елочек, а ворона, эта чертова птица с осмысленным взглядом, вдруг напомнила Сергею о себе: «Кар-р-р, кар-р-р!..»

Он снова кинул в нее снежок. Попал в сук, на котором она сидела, и ворона, шумно поднявшись с насыщенного места, полетела прочь.

И еще раз прогудел паровоз.

Наташа стояла внизу, облокотившись на палки.

Сергей, глубоко вздохнув, неловко оттолкнулся, одна — правая — лыжа поехала вперед, вторая отстала, он качнулся, хотел затормозить, задержаться на спуске, но его подхватило стремительное движение, над которым он был невластен. Его влекло вниз, вниз, на быстро приближающиеся елки. Странно, но Сергей не падал. Каким-то образом удерживался на ногах. И уже новое, неведомое ему прежде чувство азарта овладевало им, и не было ни страха, ни даже крошечной боязни.

Он все-таки упал, пытаясь лихо затормозить возле Наташи.

— Молодец, Сережа! — радовалась она и не скрывала своей радости.— Еще разок, а?..

— Давайте.

Он много падал. Съезжал с горы на ягодицах, на спине, зарывался лицом в снег. Наташа смеялась. Но Сергей чувствовал себя все увереннее, лыжи становились послушными, не разбегались в стороны, и, когда Наташа сказала, что на сегодня хватит, что пора двигаться к дому, он сам предложил повторить прогулку в следующий выходной.

— В следующий выходной я буду в командировке, Сережа.

— Ну и работка.

— Такая, ничего не напишешь.

В город вернулись уже затемно, и Сергей настоял на своем праве проводить Наташу.

— Если по праву,— рассмеялась она,— тогда провожайте.

* * *

Они нарушили традиции влюбленных — не стояли у парадной, но быстро распрощались и разошлись. И вот тогда-то Сергей почувствовал усталость. Ноги были тяжелые, плохо слушались, звенело в ушах, а лыжи давили плечо, как будто в них было бог знает сколько пудов веса. Он шел, мечтая поймать такси, не подумав как-то о том, что с лыжами никто его не возьмет. И вдруг за спиной, совсем близко, он услышал шум мотора. Сергей оглянулся. Его нагонял «Москвич». Поравнявшись с ним, «Москвич» остановился. Открылась дверца, высунулся водитель.

— Садитесь, подвезу,— предложил он.— Одному скучно.

И тут Сергей догадался, что лыжи слишком длинные.

— Спасибо, но у меня лыжи,— разочарованно пробормотал он.

— Пристроим.— Водитель вышел из машины, взял лыжи и закрепил их на крыше. Там были специальные кронштейны.

— С прогулки? — поинтересовался водитель, когда Сергей влез в машину и они поехали.

— Да.

— За городом были?

— За городом.

— Хорошее дело. Особенно с такой женщиной, а?..— Он вел машину небыстро, мягко и осторожно, выполняя свои обязанности с подчеркнутым удовольствием.

А Сергею что-то не понравилось в его словах. Что-то насторожило его. Он догадался, что случай, которому он обрадовался, вовсе не случай. Похоже, хозяин «Москвича» или просто водитель ехал именно за ним, за Сергеем.

— На днях я познакомился с любопытнейшей статистикой,— продолжал тот.— Вас, кстати, как зовут?

— Сергей.

— Будем знакомы, меня Леонид. Так вот. Оказывается, около восьмидесяти процентов женщин фригидны. Не верится? — Он усмехнулся.— Да, трудно поверить, когда любая баба готова повиснуть на шее. Но статистика есть статистика.

На крыше заскрежетало. Он поставил машину у тротуара и вышел посмотреть, что там случилось. Вернувшись, сказал:

— Плохо закрепили ваши лыжи, так и потерять могли.— Вырулив на проезжую часть, неожиданно спросил:— Ваша знакомая, мне кажется, не относится к этим восьмидесяти процентам?..

— Не знаю,— сказал Сергей холодно.— Я далек от статистики вообще, а от такой тем более. Почему вас это интересует?

— Ну, если честно... Я немного, совсем немного знаю Наташу. Да, куда вам надо ехать, я ведь не спросил. Не правда ли, загадочные вещи иногда происходят в жизни! Мы с вами друг друга не знаем, а вот общая знакомая у нас, оказывается, есть. Я когда увидел вас

с ней... Она красива, бесспорно красива и умна. Однако...

— Остановите машину,— сказал Сергей.

— Зачем же так! Я доставлю вас домой.

— Благодарю, не нужно. Чем обязан?

— Вы меня обижаете. Я был очень, рад познакомиться с вами. А в чужие дела я не любитель вмешиваться. Чисто из мужской солидарности хотел предупредить, но если вам это неприятно...

Сергею вовсе не нужно было сворачивать за угол, но он свернул в какой-то проулок и стоял там, покуда «Москвич» не отъехал подальше.

«Чертовщина какая-то! Чего он хотел, на что намекал?.. Леонид. Нужно спросить у Наташи, кто такой Леонид. Впрочем, этого делать как раз и нельзя».

Но все же было интересно, с какой целью этот Леонид намекал на свое близкое знакомство с Наташей. Обычное наущничество, месть за что-то, ревность? Но как-то не вязался вполне интеллигентный облик Леонида с образом банального сплетника. А если он действительно случайно увидел их — Сергея и Наташу — вместе и, побуждаемый благородным чувством... мужской солидарности, хотел предостеречь его? Может быть, он сосед Наташи. Но тогда возникает вопрос: от чего предостеречь? И неожиданно явилась мысль: «Не слишком ли легко она разрешила себя поцеловать? И кажется, несколько не смутилась при этом...»

Послышался короткий крик. Сергей прислушался. Тишина. Только издалека долетал грохот трамвая. Но едва он сделал несколько шагов, как крик повторился. Теперь он был пронзительный, близкий. Кажется, звали на помощь.

Впереди темнел овал арки. Сергей бросился туда.

Там два парня возились с девушкой. Один закрывал ей лицо, а второй пытался снять с нее шубку.

— Стой! — почему-то крикнул Сергей.

Тот, который закрывал девушке лицо, отпустил руки, и девушка пронзительно закричала:

— Карау-ул, на помощи!

Второй, здоровенный, какой-то даже прямоугольный, пошел на Сергея.

— Ну, падаль вшивая! — В руке у него что-то было.

На мгновение, всего на одно мгновение Сергею стало страшно. Кровь прилила к лицу. Стучало в висках. Не помня себя, не сознавая, что делает, Сергей размахнулся лыжами, насколько позволяла теснота арки, и ударил. Парень охнул и присел. На помощь ему кинулся второй. Девушка тем временем выскочила из-под арки в переулок. Она продолжала звать на помощь. Раздалась близкая трель милицейского свистка, тяжелый топот. Парни, пригнувшись, метнулись во двор. Сергей не задержал их. Да и не мог. Он знал, что, если бы попытался, ему пришлось бы худо. Силы истощились в нем окончательно.

Подоспел милиционер.

— Кто кричал?

— Я, я кричала... — дрожащим голосом ответила девушка.

— А что произошло? — Он на всякий случай схватил Сергея за рукав.

— Он... Он спас меня, — бормотала девушка, вздрагивая от страха. — Пристали двое, хотели раздеть...

— Какие двое? Где они? Куда побежали?

— Я не заметила, я так испугалась...

— А вы? — Милиционер обращался к Сергею.

— Побежали во двор, а в чем одеты и прочее — не видел. — Сергей вскинул лыжи на плечо.

— Задержитесь на минутку, гражданин! Я мигом. — Милиционер метнулся во двор. Но скоро появился снова. — Ушли, — сказал разочарованно. — Там есть проходная дверь. Ваша фамилия, имя, отчество, адрес проживания? — Он достал блокнот.

— Зачем это? — устало спросил Сергей.

— Мы поймаем преступников.— В голосе милиционера слышалась важность, а вот уверенности, пожалуй, не было.

Сергей назвал.

— Я могу идти?

— Пожалуйста. А девушку я провожу сам, бандиты могут быть где-то поблизости. Может быть, и вам лучше пойти с нами.

— Ничего.

Девушка повернулась к нему заплаканным лицом.

— Спасибо вам! — сказала она.— Если бы не вы!..

Домой Сергей вернулся около одиннадцати. В почтовом ящике лежала записка: «Болдырев, ты настоящий бегемот. Ведешь себя, как мелкий жулик. Мало того, что сам носа не кажешь, так еще и Наташку выкрал! Предупреждаем: если в течение 3 дней со дня опускания этой записки в твой ящик вы не появитесь у нас — будет большой скандал. Романовы и К°».

На обратной стороне записки был рисунок, сделанный, конечно, Зойкой: над глубокой ямой стоят двое с лопатами, в широкополых шляпах, в темных очках. А на дне ямы — скелет с привязанной к лодыжке биркой: «С. А. Болдырев, середина XX века н. э. (предположительно)».

Сергей улыбнулся. Шутливая эта записка позабавила его и немного хоть выправила настроение. Он позвонил Наташе и рассказал о записке. Оказалось, что она получила точно такую же записку, только в жульничестве обвиняют ее и к ноге привязана бирка с указанием ее фамилии. Они посмеялись вместе и сговорились, что в среду поедут к Романовым.

Сергей помылся, выпил чаю и собрался спать. В это время позвонила Лида. Она бойко, безостановочно тараторила:

— Я звонила тебе несколько раз, ты все не отве-

чаешь. Как твои дела, меня не хочешь увидеть, я взяла развод, вернее, подала на развод, скоро суд.

— Был в командировке,— хмуро ответил Сергей.— Только что вернулся.

— Бедненький, устал, наверно? И некому тебя пожалеть?..

Он повесил трубку, пусть Лида думает, что их разъединили. Через минуту она позвонила снова, но Сергей не подошел к телефону.

XVIII

В понедельник утром редактор пригласил Сергея к себе. Он был заметно встревожен чем-то. Торопливо поздоровался, кивнул на кресло — дескать, садись, но разговора не начинал. Молча, сосредоточенно ходил по кабинету, потом остановился у окна, побарабанил по стеклу. Задребезжал телефон. Редактор буквально подбежал к столу, схватил трубку и тотчас положил на место. Открыв дверь в приемную, закричал Зиночке:

— Сколько раз повторять: меня нет! Я на совещании, в обкоме, в типографии, где угодно!..

А Сергей вспоминал события последних дней, перебирал их в памяти, но ничего такого, что могло бы вызвать неудовольствие шефа его работой, не припомнилось. Но тогда зачем он понадобился редактору, и что означает эта нервозность? Ведь обычно шеф выдержан...

— Садись, садись, Болдырев. Ах, да...— Он махнул рукой.— Как настроение?

— Ничего.

— Ничего — пустое место.

— Нормально.

— Это лучше. В твой-то годы настроение должно быть всегда на высоте.— Он воткнул недокуренную сигарету в пепельницу и сразу же закурил новую.— План твоего отдела я просмотрел...— Тут Сергею показалось,

что редактор сделал ударение на слове «твоего». — Маловато планируешь материалов о передовых рабочих. Подумай. Нужна какая-нибудь яркая, броская рубрика. Скажем, «Наш современник — крупным планом». Или что-то в этом духе.

— Я подумую.

— Начни сам, сделай парочку хороших очерков. Дадим портреты людей, чтобы это не выглядело рядовой публикацией. Кстати, с Виктором Павловичем не встречаешься? — Он прошупывал Сергея взглядом.

— Нет, давно не виделись.

— Толковый был журналист, горячий только. А хватка настоящая, профессиональная. Поспешил он все-таки с увольнением. Поспешил. Не внял моему совету, а напрасно. Не знаешь, где он теперь?

— Не знаю, — ответил Сергей, догадываясь уже, что вызов его как-то связан именно с Новиковым. — Но если нужно... У меня есть его телефон.

— Не стоит, — сказал редактор. — Это я к слову. Впрочем... Не стоило мне, конечно, подписывать заявления. А я подписал. Ты говоришь, позвонить ему?..

— Если надо... — Какая-то загадочная или, во всяком случае, непонятная двойственность чувствовалась в поведении редактора, в его репликах, и Сергей не знал, как вести себя.

— Думаете, у меня не бывало неприятностей? — вдруг заговорил редактор очень похоже на то, как жаловался на свою судьбу Василий Иванович. — Бывали и покрупнее. И я горячился, и я стоял на своем, где следовало бы поступиться ради общего дела. Может быть, поэтому я и люблю всех вас, хотя некоторым и кажется... По-своему я люблю и Новикова, в нем есть крепость, надежность. А ты как думаешь?

Но Сергей еще не определился, еще не понял до конца, куда клонит шеф, и потому не ответил, а спросил:

— Вы хотите взять Новикова обратно?

— Взять — не взять. Не в этом дело. Да и трудно нам с ним сработаться. По совести, Болдырев, он сам должен быть редактором, горячности бы только поменьше ему. Пожалуй, ты поговори все-таки с ним.

— О чем, Георгий Константинович?

— Ну... — Он почмокал губами. — Вы же друзья, Болдырев. Вот по-дружески и поговори. Есть другие газеты, журналы, я всегда готов ему помочь. А ты подскажи, что нельзя идти напролом. Газетная работа — это почти как и дипломатия. Разумеется, писать надо обо всем, но отбор, отбор!.. — Редактор говорил запальчиво и слишком уж громко, точно доказывал кому-то свою правоту. — Я допускаю, что Виктор Павлович был прав с этой статьей, то есть прав в существе. Но нужно ли было выступать в газете?.. Вот это сомнительно. Всегда, Болдырев, найдутся злопыхатели, которые из частного случая, из единичного факта готовы сделать далеко идущие выводы. Не всякая грязь должна вываливаться на страницы газеты. Ты согласен? — Он опять смотрел на Сергея пытливо, выжидательно.

И Сергей не выдержал этого взгляда.

— Конечно, — сказал он, — Виктору не следовало лезть в эту клоаку.

— Почему же ты не сказал ему об этом прямо?

— Говорил.

— А он?..

— У него свое мнение. — Сергей вздохнул.

— Вот именно, всегда свое! Никаких советов не признает. Похвальная черта характера — самостоятельность, но она должна подкрепляться большим опытом и здравомыслием. А этого ему недостает. — Редактор вскинул руку. — Ладно, Болдырев. Значит, очерки о рабочем классе. Хорошо бы найти интересную династию. Словом, дерзай, я на тебя надеюсь.

— Ясно, Георгий Константинович. — Сергей встал.

— А Виктору Павловичу при случае передай, что он может рассчитывать на мою помощь и поддержку.

Какая-то неясность осталась в душе после разговора с редактором. По правде говоря, Сергей так и не понял до конца, чего хотел от него шеф. Скорее всего, почувствовал, что где-то «пахнет жареным» или уже получил «втык». Но ему-то, Сергею, какое до всего этого дело?.. Зачем ему нужна роль миротворца, тем более раз он не вмешался раньше, когда можно было сделать что-то реальное. Пусть разбираются сами, а у него достаточно собственных забот. Упрекать же его никто и ни в чем не имеет права. Каждый волен поступать так, как считает необходимым. Может быть, и удобным для себя. В этом нет ничего дурного. Гораздо хуже, когда человек поступает вопреки своим убеждениям. Да и глупо было бы звонить Виктору, встречаться с ним, чтобы сообщить о сожалениях, высказанных редактором. Да вряд ли Виктор и поверит этому. Они же ненавидят друг друга, а сегодняшние признания шефа чуть не в любви к Новикову — наверняка тщательно продуманный и к тому же вынужденный ход.

— Ну?..— едва Сергей вошел в комнату, поинтересовался Василий Иванович.

— Ничего особенного. Рубрика новая нужна.

— О Викторе Павловиче не было разговора?

Сергей понял, что какие-то слухи уже есть. Иначе Василий Иванович не стал бы спрашивать.

— Был. Шеф сказал, что жалеет об увольнении...

— Жалеет?! Врет, сукин сын. Сам только и ждал момента, а теперь икру мечет. Сергей Александрович, давайте напишем письмо, объясним...

— Куда?

— В обком хотя бы. Там разберутся. Я уверен, это поможет.

— Или повредит,— сказал Сергей.

— Вы думаете? — настороженно спросил Василий Иванович.

— Я только высказываю предположения. Но уверен, что Виктор не сидит сложа руки. Если он был прав, все окажется на своих местах. А вот если не прав, тогда наше письмо...

— Поразительно! — воскликнул Василий Иванович. — Это поразительно. Именно так случилось в сорок девятом. Тогда у нас сняли заместителя редактора, и мы написали письмо в его защиту. И навредили делу. Его обвинили еще в групповщине, в преднамеренном подборе кадров по принципу дружеских отношений и так далее. Я тогда один и остался в редакции, всех разогнали.

Сергей слушал, и ему хотелось сказать, что времена давно изменились, что сегодня ничего подобного быть не может, что он, Василий Иванович Добрых, живет вчерашними представлениями, однако его вполне устраивало заблуждение Василия Ивановича, потому что как бы освобождало от необходимости занять определенную позицию, давало возможность спокойно выжидать, никуда не вмешиваясь. А что конфликт не исчерпался с уходом Виктора, а только теперь назревал, Сергей был убежден. Поэтому шеф и затеял беседу.

Нет, оставаться в дураках Сергей вовсе не желал. Не он начал, не ему разбираться. Вообще в запутанном мире сложных связей и взаимоотношений самая верная, самая правильная, может быть, позиция — нейтралитет. Этому можно найти тысячи примеров. Именно нейтралитет поднимает человека выше суетной и зачастую бесполезной необходимости что-то делать, несвойственной данному человеку, за кого-то думать, находить врагов, обретать сомнительных друзей и напрасно расходовать нервную энергию.

Спору нет, в жизни случаются ситуации, когда надо включиться в борьбу, когда позиция стороннего наблю-

дателя оказывается безнравственной, аморальной, но тогда человек должен хотя бы точно знать, во имя чего он борется и на чьей стороне истина. Сейчас Сергей этого не знает. Возможно, догадывается, однако не слишком ли это мало для того, чтобы стать активным сторонником либо редактора, либо Виктора?.. В сущности, оба они могут ошибаться в равной степени, и как раз в силу своих различий: один — из-за горячности, бескомпромиссности и постоянной готовности к борьбе, другой — из-за слишком уж большой осторожности, боязни сделать неправильный шаг...

Да, Виктор симпатичен Сергею, он склонен скорее доверять ему, чем редактору. Но ведь далеко не всегда можно руководствоваться своими симпатиями и антипатиями. Опять же: ошибаются одинаково и друзья, и враги. А в позиции редактора, если быть объективным, тоже есть резон. И не он же, в конце концов, опровергал выступление Виктора в газете! Так что если ошибся все же шеф — это не его личная ошибка, а вот если не прав Виктор — вина целиком лежит на нем...

Мысль эта понравилась Сергею своею ясностью, логичностью, успокоила его, и он решил, что не станет звонить Виктору. А если уж редактор напомнит о разговоре, что-нибудь можно придумать.

XIX

Весна пришла неожиданная и дружная. Конец февраля стоял холодный, старики уверяли, что таких холодов в это время не бывало лет двадцать, не меньше, но в начале марта сильно и как-то вдруг потеплело, днем солнце жарко пригревало, снег сгоняло прямо на глазах и рождались мутные, вешние ручьи. Радостно чирикали на помойках воробьи, из подвалов повылезали голодные и обшарпанные беспризорные кошки, вороны, слетаясь на свои «многолюдные» митинги, об-

суждали какие-то вороньи проблемы, а люди, радуясь весне, старались побольше бывать на улице.

В комнату Сергея залетела бабочка. Слишком раннее тепло пробудило ее, должно быть, от зимней спячки. Сергей хотел выпустить ее на улицу, но подумал, что она тотчас погибнет, ей нечем кормиться, а ночью бывают заморозки, и оставил бабочку у себя. Так и жила она на окне и когда затихала от усталости, потому что с утра до вечера билась о стекло, Сергей беспokoился, как бы она не умерла, трогал ее и был рад, чувствуя пальцем, как напрягаются, трепещут живые крылья.

Он ждал возвращения Наташи из командировки и жил в каком-то лихорадочном ожидании. Она прочно вошла в его жизнь, заполнив пустоту и одиночество, и он уже просто не мог без нее. Правда, иногда Наташа обижала его, говорила, что он чересчур замкнутый, скрытный и... скучный, что ему недостает чувства юмора, и слова эти болью отзывались в нем. И дело вовсе не только в Наташе. Дело в том, что в свое время об этом же говорила ему и мать.

Что там, Сергей и сам понимал, что окружающим бывает нелегко с ним. Поэтому, может быть, у него и не было никогда близких друзей, с которыми он мог бы поделиться и радостью, и несчастьем. Товарищи сторонились его, и временами — не всегда, нет, — Сергея тяготило, оскорбляло это отчуждение. Одиночество, в котором он постоянно жил, научило его находить для себя занятия, прятаться от других, он приспособился к своему положению, и прежде ему было даже как бы и хорошо наедине с собой. Он привык к этому, и до встречи с Наташей не любил женщин, а случайные связи, к которым он никогда не стремился, но и не избегал которых, не только не приносили желаемого удовлетворения, но оставляли на душе неприятный осадок.

Пожалуй, Сергей чуточку побаивался женщин или ненавидел их, потому что его все-таки тянуло к ним, он понимал их большую власть над мужчинами.

«Ты что, Серега, принципиальный женоненавистник или принял обет безбрачия?» — смеялись знакомые. Они-то жили, как все нормальные молодые люди. Влюблялись, ухаживали, добивались своего, остывали, заговаривали с красивыми девушками прямо на улице, немножко преувеличивали успехи и гордились легкими победами, не подозревая о том, что во всякой такой победе есть привкус будущего поражения. Но — на то и жизнь, на то и молодость.

Все это Сергей знал, видел, при желании мог бы ответить на шутки так, что больше ни у кого не появилось бы охоты смеяться над ним, однако не отвечал, зло отмалчивался. И хотя очень нелегко давались ему одиночество и эта игра в безразличие, он продолжал игру, продолжал верить в свой талант и свое предназначение. Да, он знает цену себе. У него есть большая, ясная цель, которой он достигнет во что бы то ни стало, не размениваясь по мелочам. В жизни выигрывают только сильные и целеустремленные.

Он много читал, удивляя своей начитанностью сначала школьных, а потом и университетских наставников, радуя мать. Он всегда и во всем был настойчив, трудолюбив и прилежен. Возможно, его высокомерие поэтому и не вызывало в людях, знавших его, ненависти. Ему многое прощалось, что не прощается другим, и он легко, как-то незаметно уверовал в собственную незаурядность. Может быть, только мать, да и то ближе к концу жизни, поняла, что творилось с ее Сережей, но помочь она была уже не в силах: они стали чужими и почти не понимали друг друга.

А теперь вот еще Наташа.

В среду, после лыжной прогулки, они поехали к Романовым и застали их в ссоре.

— Никак жилплощадь не поделили? — посмеялась Наташа. — Теперь это модно. Когда жили в коммуналках, и разводов, говорят, было меньше: делить-то нечего!

— Их сиятельство собрался в экспедицию, — сообщила Зоя, — а я, видите ли, должна киснуть все лето в городе! Ему можно, а мне нельзя. Конечно, зачем ему в экспедиции жена, если там будут и помоложе...

Игорь при этом поморщился болезненно.

— Тысячу раз я тебе объяснял, что в экспедиции не будет ни одной женщины, — сказал он. — И вообще пора понять, что я еду не веселиться, а работать.

— У тебя на все есть ответ. Но так и знай: уедешь — подам на развод! Мне надоели твои мумии и черепки.

А серьезность, с какой она произнесла эти слова, была ненастоящей, наигранной. И посторонний человек без труда разглядел бы восторженное умиление, когда Зоя смотрела на своего Игоря. Просто ей страшно отпустить его от себя, и она ревновала его ко всем женщинам сразу, не имея причин ревновать к одной, конкретной. Но разве это возможно, чтобы вообще совсем не ревновать мужчину!..

— Дура же ты, Зойка! — обнимая подругу, сказала Наташа.

— Тебе-то легко говорить...

— Да пускай он уезжает хоть за край света! А мы с тобой тоже куда-нибудь махнем на гастроли, а?.. — Она отпустила Зою и обратилась к Игорю: — Ну а ты чего распушился, как петух? Также мне, представитель так называемого сильного пола! Хватай авоську и марш в магазин. Мы с Зойкой хотим выпить. Заодно уведи Болдырева, он нам будет мешать.

— Правильно, Наташка, — сказала Зоя повеселевшим голосом. — Напьемся и пойдем налево. Что тогда будут делать эти представители?

— В вытрезвитель сдадим,— сказал Сергей.

— Туда порядочных женщин не принимают.

— По просьбе общественности примут,— вставил Игорь, улыбаясь.

— По просьбе, по просьбе! — совсем по-детски передразнила его Зоя, и мир таким образом был восстановлен.

Позднее Игорь рассказал, что едет на Памир, где в прошлом сезоне геологи, побывавшие в тех краях впервые нашли останки не то древнего поселения, не то временной стоянки.

— Вряд ли это сообщение приняли бы всерьез,— рассказывал Игорь с энтузиазмом профессионала,— ведь наших ученых патриархов не так-то просто пробудить от спячки, а тут какое-то поселение на высоте четырех с лишним тысяч метров! Обычное дело: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но ребята из геологической партии тоже не простачки — привезли фотоснимки наскальных рисунков и, самое-то главное, обломки керамики...— Здесь Игорь покосился на Зою, однако она уже забыла про черепки.— Вот где открытие! Эти обломки специалисты относят к одиннадцатому—десятому векам!..

— А каким образом определяют возраст? — спросил Сергей.

— Ну, способов в наше время много,— ответил Игорь.— А в данном случае это легко устанавливается по орнаменту, который прекрасно сохранился.

Экспедиция снаряжается пока маленькая — пять-шесть человек. Игорь назначен ее руководителем, о чем он сообщил не без гордости.

— Должно быть, это очень интересно? — важно осведомилась Наташа. Вообще-то она не жаловала профессию Игоря.

— Еще бы! — воскликнул он.— Но работа в условиях высокогорья будет трудной.

— Ладно, ладно,— встрепенулась Зоя.— Можешь не уговаривать меня. Поезжай. Только так и знай, я тоже здесь скучать не намерена. И ну тебя с твоими династиями, цивилизациями и письменностями. Надоело уже слушать. Как твои-то дела, Болдырев? — Она незаметно для себя переняла манеру Наташи называть Сергея Болдыревым.

— Нормально.

— Скоро на свадьбу позовешь? — Она прищурилась.

— Никто не берет.

— Так прямо и никто?.. Наташка, нашла бы ты Болдыреву невесту. Мужик что надо, а холостой.

— Ему?.. — Наташа иронически усмехнулась.— Невесту можно, а вот жену труднее.

— Какне-то загадки все у вас.— Зоя пожала плечами. А Сергей насторожился, угадав в словах Наташи подвох или намек.

— Никаких загадок. Просто Болдырев слишком самоуверенный и несносный человек.

— Это он-то?! — Зоя аж подпрыгнула от удивления.

— Именно.— И взглянула на Сергея, явно вызывая его на разговор.

Промолчать бы ему, сделать вид, что не принимает это обвинение всерьез, а он не выдержал, буркнул:

— Каким уродился, ничего не поделаешь.

— Я не о характере,— немедленно возразила Наташа.— Тут ты прав: людей надо принимать такими, какие они есть, или не принимать.

— Но о чем же тогда? — спросила Зоя. Кажется, ее этот вопрос занимал больше, чем Сергея. Или даже Наташу.

— Иногда мне кажется,— заговорила она медленно, как бы раздумывая и предварительно взвешивая каждое слово,— что Болдырев идет к своей цели недозволёнными путями. Не прямо, как все люди, а объездов ищет, обходов. Чтобы полегче, побыстрее и поспокойнее.

Не замечая, разумеется, что своими локтями отталкивает других. Я была бы очень рада, если бы мне доказали, что я ошибаюсь...— Теперь она смотрела на Сергея в упор. Смотрела с надеждой, может быть. Ей искренне хотелось, чтобы именно он опроверг ее приговор.

А он сказал:

— Цель оправдывает средства.

— Да, если цель достаточно высока и благородна, а средства, подлежащие амнистии, не приносят окружающим неприятностей.

Понимал же, понимал Сергей, что нельзя ввязываться в этот спор, что надо каким-то образом замять его, свести к шутке, но — самолюбие взяло верх над благоразумием.

— Бывает, что негрешно соорудить и лесенку из пустых голов современников,— сказал он.

— Ты думаешь, о чем говоришь?!

— Умение думать — главное отличие человека от обезьяны. Надеюсь, меня хоть к обезьянам-то не приравнивали еще?

— И ты считаешь, что найдется нормальная баба, которая согласится подставить свою голову под твои подметки?

Спор, похоже, грозил перерасти в ссору, и тогда благоразумный Игорь, вмешавшись, стал рассказывать о Памире, и трудно было понять, что есть правда в его живописном, красочном рассказе, что легенда, а что просто вымысел.

Зоя слушала с откровенной усмешкой, все это она знала не хуже самого Игоря, потому что слышала сто раз; Наташа — с интересом, она-то знала о Памире не больше того, что изучают в школе на уроках географии, а Сергей — рассеянно, вполуха, думая о вещах столь же далеких от Марко Поло, сколь далеки они все были от самого высокогорного города в мире — Мургаба, в

окрестностях которого (если в горах вообще есть окрестности) предстояло работать экспедиции.

— Существует легенда, что Александр Македонский в поисках кратчайшего пути в Индию пытался перейти Памир,— неторопливо рассказывал Игорь.— Мудрые военачальники призывали полководца к благоразумию, к осторожности, но как же он, Александр Македонский, мог отступить от своего решения?.. Индия так близка, так заманчива и прекрасна, а главное — там уж рукой подать до цели всей его жизни — края Ойкумены...— Тут Игорь сделал паузу.

— А дальше? — нетерпеливо спросила Наташа.

— Судьба, как известно, одинаково переменчива у всех. Военное счастье тем более. Памир не покорился Александру Македонскому. Не было дорог, а козьи тропы были плохо приспособлены для передвижения огромного войска, да еще со слонами. Первыми от недостатка воздуха начали погибать именно слоны. Людям тоже приходилось туго. Памир — это Памир. И Македонский вынужден был отступить, захватив в качестве трофеев несколько памирских красавиц...

— Завидую я тебе,— проговорила Наташа.— Мужикам всегда везет. Здорово, верно? — Теперь она обратилась к Сергею.

И он вдруг догадался, что рассказ Игоря был предназначен ему.

А на другой день Наташа позвонила в редакцию и сообщила, что срочно уезжает в командировку — где-то произошла авария. Они даже не повидались перед ее отъездом. За время разлуки обида, которую причинила ему Наташа своими обвинениями, притупилась, потеряла прежнюю остроту. Сергей простил Наташе эту обиду, как, впрочем, простил бы все. Он уже понял, что любит ее, но не знал, радоваться пришедшей любви или нет...



А вот Наташа никак не могла разобраться в своих чувствах и в своих же отношениях к Сергею. В командировках скучала без него, посылала иногда ему открытки из тех городов, где приходилось бывать, и даже звонила. Возвращаясь в Ленинград, спешила увидеть его, однако редкая их встреча обходилась без ссоры. Она упрекала Сергея в себялюбии, в эгоизме, но почему-то ни себялюбие, ни эгоизм не отталкивали Наташу от него, не вызывали неприязни, напротив — как бы притягивали, интриговали.

До знакомства с Сергеем Наташа делила людей на хороших и на плохих. Все человечество вмещалось в эти оценки, но появился в ее жизни Сергей, и нарушилась четкая система; оказалось, что не для всякого пригодна привычная мерка, для иного — коротка, а хорошее и плохое сплеталось вдруг в единое целое, уживаясь в одном и том же человеке. Может быть, без своего «плохого» человек не был бы и «хорошим». Вот после этого и разберись.

Тетка, Тамара Григорьевна, та все понимает, для нее не существует в мире решительно никаких сложностей и противоречий.

— Посмотрела бы на себя, девка. На кого похожа стала?.. Доиграешься в любовь, после плакать будешь.

— Да о какой вы любви!

— Слепая я, что ли? И отец переживает, глядя на тебя, молчуном ходит, сопит — не подступиться. Хоть бы поговорила с ним, посоветовалась, что и как. А то, неровен час, вылетишь из гнезда и знать не будем, в какой стороне искать. Нынче это быстро делается. Леонида Модестовича отвадила, бог с тобой. Так не променяй, смотри, бька на эндыка.— Тамара Григорьевна намекала на Сергея, и Наташа прекрасно понимала это.

— Смешная вы, тетя Тамара. Честное слово, смеш-

ная. Вы уже все решили за меня, а я сама ничегошеньки не знаю.— Она не кокетничала. Она и думать не думала, что полюбила или хотя бы может полюбить Сергея. По крайней мере, так ей казалось. А тянулась к нему скорее из любопытства. Слишком уж много разного уживалось в нем: скромность и самомнение, доброта и какой-то подчеркнутый, нескрываемый эгоизм.

Чаще всего они спорили по пустякам, но споры эти каждый раз почему-то заканчивались ссорами, и Наташа винила в этом Сергея, его непомерное самолюбие, эгоцентризм, не замечая, что и сама бывает непоследовательной, а главное — именно она начинала споры, провоцировала их.

Как-то они гуляли по городу, и Наташа предложила идти до тех пор, пока не устанут, пока, как сказала она, «несут ноги». Так они дошли до окраины, где кончался город. Близко к новым домам подступал лес, но уже пыхтели экскаваторы, рыли котлованы под фундаменты новых домов.

— Господи, какая скука! Если бы мне доверили строить, я бы ставила дома прямо в лесу, а не корчевала бы деревья.— Она могла предположить, что именно ответит на это Сергей, но продолжала:— Увлекаемся мы простыми формами, сплошные прямоугольники, никакого уюта, не на чем задержать взгляд..

— Да, но зато люди получают отдельные квартиры,— возразил Сергей.

— Но зачем эти улы, это нагромождение бетона?

— По-твоему, нужно строить избы?— Сергей был истый горожанин.— Грядочки там, редисочка, салатик...— Он усмехнулся.— Второго Невского ведь все равно не будет.

— Неплохо и грядочки,— сказала Наташа с вызовом.

— Эдем для пенсионеров. Сиди себе на завалинке и клюй семечки из собственного огорода!

— А я не вижу ничего смешного в этом,— сказала Наташа.— Человеку необходимо общение с природой. Всем надоел шум, грохот, пыль. Посмотри, как по выходным люди стремятся за город...

— Мода. Вчера говорили о марках и этикетках от спичечных коробок, сегодня каждый считает делом чести порассуждать о природе, даже специалисты-любители появились. Завтра еще о чем-нибудь заговорят. Но почему-то ни один из любителей тишины и природы не бросил городскую квартиру в этих бетонных ульях и не уехал на жительство в деревню. Предпочитают любить и вздыхать с балкона!

— В огороде бузина, в Киеве дядька. Свалил все в одну кучу...

— Это не аргумент. Есть желание постоянно общаться с флорой и фауной — валяй в деревню, там нужны рабочие руки. Или в зоопарк, занимай свободную клетку и твояк на идиотов, которые не понимают всей красоты такой жизни...

— Почему ты такой раздражительный? Тебе прямо сказать ничего нельзя.

— А-а!— Он махнул рукой.— Терпеть не могу пустой болтовни. Голова трещит. В трамваях обсуждают мировые проблемы, в скверах запросто принимают решения за премьер-министров и президентов, в бане и то спорят о международном положении! Удивительно, когда люди живут?..

— А может, это и хорошо, что спорят? Значит, люди неравнодушны, чем-то обеспокоены.

— Работать надо,— сказал Сергей.— Ведь и на работе толкуют обо всем, кроме... работы. И в вашем ПНУ, наверное, как соберутся двое, так либо о футболе и выборах в Америке, либо о колготках и кофточках.

Наташа обидчиво поджала губы и промолчала.

Они проходили мимо каких-то грязно-красных складов с прохудившимися, кое-как заштопанными крышами.

Гнетущая затхлость прошлого, кладбище вчерашнего дня. Из-под черного от копоти снега выбивались чахлые кустики.

— Тоже природа,— усмехнулся Сергей. Он даже не пытался скрыть своего пренебрежения, своего высокомерия к окружающему и окружающим и этим злил Наташу. Ей казалось, что он любит себя, что ему непременно хочется быть не таким, как остальные люди, на которых он смотрит как бы свысока, не имея в общем-то на это никакого права, отсюда и его раздражительность, нетерпимость.

А может, она ошибается?.. Может, это не любованье собой, а всего лишь поза, маска, скрывающая неуверенность в себе, что часто свойственно людям талантливым, незаурядным?.. Конечно, Сергей все-таки эгоист, но ведь все чуточку эгоисты, только далеко не все готовы признаться в этом. Вот и Наташе приятно, что ее ценят на работе, что в самых сложных случаях, когда нужен хороший специалист, в командировки посылают именно ее. И разве не Сергей научил ее пристально приглядываться к людям, не принимать на веру очевидное, верить не словам, а поступкам.

Так Наташа оправдывала Сергея, когда тосковала по вечерам в захолустных провинциальных гостиницах, а встречаясь, они снова и снова ссорились, почти всегда — по пустякам, и каждый считал себя при этом правым.

XX

Как-то редактор мимоходом, в коридоре, поинтересовался, не видел ли Сергей Новикова, не говорил ли с ним, и он сказал, что, дескать, они виделись, разговаривали, но что Виктор не захотел и слушать его.

— Ну что ж,— буркнул редактор.— Была бы честь.

А Сергей и сам не понимал, для чего солгал. Скорее всего, для того, чтобы редактор больше не приставал к

расспросами. В конце концов, решил он, это не мое дело.

Спустя несколько дней они встретились с Виктором на улице. Шли с Наташей в кино и встретились. Это было так неожиданно, что Сергей растерялся и от растерянности начал задавать глупейшие вопросы насчет здоровья, семьи и тому подобное. А Виктор, как обычно, был весел, непринужден и все поглядывал на Наташу, пытаясь угадать, женился ли Сергей или это просто его знакомая.

После ухода из редакции он еще нигде не работал, продолжал «нелегально» собирать материал об автохозяйстве, близко сошелся с одним рабочим, который рассказал ему такого, что Виктор едва не побегал в прокуратуру. Однако удержался и написал новую статью, которую послал в одну из центральных газет. Теперь ждал ответа, правда, не очень надеясь, что статью опубликуют. И все же он не унывал.

— Дела идут отлично, старик,— сказал он.

— А работаешь где?

— Это детали. Важно ведь не где, а как, верно? — Он подмигнул и глазами показал на Наташу, спрашивая, кто она.

— Извини,— сказал Сергей.— Забыл, что вы незнакомы. Наташа. Между прочим, подруга Зои, помнишь ее?

— Виктор,— представился Новиков.— А как поживают Романовы?

— Хорошо поживают,— ответила Наташа. Ей почему-то не понравился Виктор, показался вульгарным.

— Передавайте им привет. Да, старик, я читал твою статью о бумкомбинате. Неплохо.

Наташа отвернулась. Она катала ногой камешек и, казалось, была совершенно безучастной к разговору Сергея с Виктором. Но это только казалось. На самом деле она настороженно ждала, что скажет Сергей.

— Там все гораздо сложнее,— сказал он.— Не совсем то я написал. Ты же знаешь шефа...

— Трудно с ним, ты прав,— согласился Виктор.— Я вообще удивляюсь, как ты с ним умудряешься ладить.

— Какое там! — Сергей безнадежно махнул рукой и поморщился.— Дня не проходит, чтобы не полаялись.

— Да, тяжелый случай.— Виктор взглянул на часы и заспешил.— Побегу, старик, дела призывают...

— Постой. А как эта история с опровержением? Заглохла или...

— Поживем — увидим,— ответил Виктор.— Разбираются. А что, слухи какие-нибудь есть?

— Я не слышал.

— Ну, всего вам наилучшего, подруга Зои Романовой! — Он весело посмотрел на Наташу.

— Будьте здоровы, друг Сергея Болдырева! — в тон Виктору ответила Наташа и отвернулась.

Сергею сделалось неловко.

— Зашел бы ко мне,— пригласил он.— Посидели бы, поболтали.

— Забегу, старик. Обязательно забегу.

Новиков пошел к трамвайной остановке, а Наташа вдруг сказала, что пойдет домой, хотя они собирались в кино.

— Устала я что-то,— объяснила она.— И Громов плохо себя чувствует.

— Тебе не понравился Виктор?

— Я его даже не разглядела.— На самом деле она хорошо разглядела Новикова, и когда он ушел, ей стало тоже неловко за свой неуместный тон.— О какой истории с опровержением вы говорили?

Сергею совсем не хотелось рассказывать Наташе об этой истории со статьей и опровержением, он понимал, что она не одобрит его пассивного поведения, нейтралитета — для нее как будто и не существует в жизни никаких там полутонов, не существует света и тени, она

убеждена, что человек всегда, в любых обстоятельствах должен занимать какую-то определенную позицию, а вот он считает это вовсе необязательным. Ибо человек, уверен Сергей, должен быть выше мелочных конфликтов и дрызг, а эта история, в которую влез Виктор; не более чем обыкновенная дрызга.

Впрочем, нейтралитет — тоже позиция.

Все-таки пришлось рассказать и как пришло письмо в редакцию, и как Новиков написал статью, и что из всего этого вышло.

— А мне показалось,— сказала Наташа,— что он просто трепач.

— Он не трепач. Только зря полез в эту драчку...— Сергей понял, что сказал лишнее. Не нужно бы ему комментировать поведение Виктора.

— Почему же зря? — удивленно воскликнула Наташа.— Ведь люди написали ему, значит, верят в него!

— А чего он добился? Обжегся, и все.

— Ну знаешь!.. Если так рассуждать, тогда вообще ничего делать не надо. Он молодец. Я уверена, что в конце концов во всем разберутся и Виктор вернется в редакцию. И вернется победителем.

— Сомнительно,— сказал Сергей.— Он ушел сам, добровольно, теперь попробуй докажи, что не верблюд.

— Но вы-то, его товарищи, знаете, как это случилось.

— Мы-то знаем, а вот захотят ли знать другие..

— Что-то очень уж мрачную картину ты рисуешь.

— Реалистическую,— усмехнувшись, сказал Сергей.— Кому нужен человек, который сам ищет конфликтов, сам создает их.

— Как хочешь, Сережа, а от твоего реализма дурно пахнет. Представляю, как трудно тебе работается в газете. Думаешь одно, пишешь другое. Разве так можно?

— С чего ты взяла, что я думаю одно, а пишу другое?

— С твоих слов,— ответила Наташа.— И еще кое с чего.

— Люди не всегда выражают словами то, что думают.

— Совсем хорошо! — воскликнула Наташа. И неожиданно: — Ты бы смог, как Виктор?.. — Она смотрела на Сергея с тайной надеждой. Она подталкивала его сказать, что и он смог бы поступить так, как Виктор. Хотя бы только сказать...

— Я не хочу,— сказал он.

— Это не ответ. Можно не хотеть и смочь, а можно хотеть и не смочь.

— Наверно,— согласился Сергей.— Все зависит от конкретных обстоятельств.

— Нет, все зависит от человека,— запальчиво возразила Наташа.— А обстоятельства изобретают для оправдания своей пассивности, трусости или равнодушия. Плохой поступок, Сережа, всегда плохой поступок...

— Розовое — розовое, черное — черное.— Он усмехнулся.— В принципе не существует ни плохих, ни хороших поступков. Это лишь оценка окружающих. Разумеется, я не имею в виду преступления...

— А если человек предал друга? — Наташа и не подозревала, что попала в цель. Или рядом с целью, но очень, очень близко.— Если на твоих глазах избивают женщину, ты пройдешь мимо, да?.. И потом скажешь, что вступиться тебе помешали обстоятельства?..

Сергей мог бы ответить на это, что он не пройдет мимо. Он имел право сказать так. Но не сказал.

— Смотря как я отношусь к этой женщине,— сказал он.— Вступаться или не вступаться — мое личное дело. В конце концов, никто не обязан рисковать собой ради неизвестно кого.

— Очень интересно! Это что же, последнее слово в твоем индивидуальном мировоззрении?

— Напрасно иронизируешь, Наташа,— спокойно, мягко проговорил он.— Плохое и хорошее, добро и зло — понятия растяжимые. В разное время эти понятия нередко менялись местами. То, что мы сегодня считаем хорошим, вчера могло считаться дурным.

— Допустим,— сказала Наташа.— Но ведь это частности, Болдырев! Есть общепринятые нормы поведения людей, которые никогда не меняются... местами.

— Ну да, удобно обществу — норма, неудобно — аномалия... Принцип подчинения меньшинства большинству.

— А ты противник этого принципа? У тебя есть свой: выгодно тебе — принимаешь, невыгодно — отвергаешь. Комфортно, ничего не скажешь.

— Не обо мне речь.

— О ком же тогда?

— Вообще, в принципе.

— Я видела на днях, как такие же, как ты, принципиальные в Летнем саду проявили себя в конкретных обстоятельствах. Трое гнались за одним с ножами, а десятки мужиков спокойно смотрели на это. Ну хоть бы один поднялся со скамейки!

— В чем-то ты права, это свинство. Но и мужиков этих надо понять.

— Понять? Да их же было во много раз больше!

— Те трое были организованны, они знали, чего хотят, а остальные каждый сам по себе. Допустим, я бы вмешался. А откуда я знаю, что другие поддержат меня?

— Все равно,— сказала Наташа.— Все равно. Иногда человек должен наплевать на риск и даже на свои убеждения, чтобы остаться человеком.

— Иногда — да,— согласился Сергей.— Например, я, возможно, убежденный пацифист, но если меня призывают защищать Родину — я пойду. Тот же Виктор, может быть, сторонник многоженства, однако он не заводит гарем. Разве у тебя не появляется желание при встрече с подонком плюнуть ему в рожу? Но ты же не

плюешь. А с твоей точки зрения это не только можно, но и нужно...

И Наташа, угадывая, чувствуя неправоту Сергея, не могла ему возразить.

— Не знаю,— устало сказала она.— Мне все равно тебя не переспорить. Я уверена, Сережа, что ты не прав. А слушаю твои рассуждения, вроде и прав.

— Так и должно быть,— сказал он.

— Так не может быть.

— Может и должно,— повторил Сергей,— потому что нет правды и неправды в чистом виде. В жизни, согласишься, все гораздо сложнее. В чем-то права ты, а в чем-то я.

— Ты думаешь? — с надеждой спросила Наташа.

— Уверен.

— Если бы...— Она вздохнула.— Не провожай дальше.

XXI

«Тук-тук, тук-тук».

На письменном столе стучит будильник. Отличный будильник, с ним никогда не проспичь, он поднимет и мертвого, но зато и уснешь не сразу — слишком громко стучит.

«Тук-тук, тук-тук»

Сергей ставит будильник на книгу в мягкой обложке, чтобы хоть немного заглушить этот стук.

Ночь. С улицы в комнату входит свет. Частью голубовато-зеленый, нежный — лунный свет, а частью мертвенно-желтый и резкий — госэнерговетский.

Прогремель последний трамвай, нарушив густую тишину. В окне звякнуло стекло. И опять наступила тишина. Только на столе по-прежнему стучал будильник.

«Тук-тук, тук-тук...»

— Задерни шторы,— сказала Наташа и с головой укуталась в одеяло.

Сергей понимал: ей стыдно. Стыдно её, луны, которая совсем некстати выкатилась из-за тучи и повисла над крышей, стыдно вчерашнего, завтрашнего и, наверное, стыдно себя.

Он встал, приседая, добежал до окна и задернул шторы. Теперь свет с трудом пробивался в узкую щелку посреди окна.

— Дай сигарету,— высвободясь, попросила Наташа. Раньше она не курила.

«Тук-тук, тук-тук, тук-тук...»

Сергей лежал тихо, боясь шевельнуться, чтобы нечаянно не спугнуть ощущение счастья, которое переполняло его. И вдруг вспомнился тот вечер, когда они вернулись с лыжной прогулки, вспомнился некий Леонид, который предложил подвезти Сергея домой, а потом... Что было потом, вспоминать не хотелось. И как он мог хоть на минуту, хоть на одно лишь мгновение поверить этому хлыщу! Даже не поверить, а только усомниться. А ведь было, было это. Не всегда, не постоянно, но случилось, что Сергей думал о каких-то мужчинах, которые были у Наташи до него, с которыми она была близка вот так же, как теперь с ним, и тогда кровь прилиwała к лицу, начинало стучать в висках и в затылке, и, в общем-то понимая, что не имеет права на ревность — никакого решительно права, чувствовал себя обманутым, оскорбленным.

Всему виной этот Леонид. Разумеется, он. Эти его намеки... Нужно было дать по морде, и все. Сергей не сделал этого. Нет, нельзя сказать, что он поверил. Но усомнился. А это, может быть, еще хуже.

Ему бы стать перед Наташей на колени и попросить прощения. Правда, она ни о чем таком не подозревает, но разве ему от этого легче? Нисколько не легче. Пожалуй, честнее было бы рассказать о встрече с этим автолеонидом. Признаться, что поверил. Почти поверил. Наташа простит. Поймет и простит, а он был бы спокоен.

Совесть перестала бы мучить его, как мучает теперь. Особенно теперь, когда Наташа рядом с ним — теплая, родная, любимая...

А если не простит?

— Потуши сигарету,— попросила она.— Все-таки гадость.

Он склонился над ней и стал целовать глаза. Первый ее мужчина.

— Не надо, Сережа, щекотно. Давай спать, завтра же на работу.

— Завтра, между прочим, выходной.

— Ну все равно, я очень устала, Сережа.

— Я тебя не отпущу больше,— сказал Сергей.— Ты останешься здесь навсегда, слышишь?

— Потом, Сережа. Все потом.

— Ты не уйдешь?

— Спи.— Она взяла его голову и придавила к подушке.

«Тук-тук, тук-тук...»

Не будильник, а зверь. Он хладнокровно отсчитывает минуты и как бы с издевкой напоминает, что они на земле и что время движется, идет себе время, и всему наступает обязательный конец. Всему, кроме самого времени. Оно — вечно.

Наташа сладко, совсем как маленький ребенок, посапывает во сне. А Сергею не спится. Он охраняет трепетный ее сон. И думает, думает...

Как же быть ему, рассказывать или не рассказывать, признаваться или не признаваться в своем предательстве? Ведь это именно предательство. Если бы точно знать, что Наташа простит! И откуда он взялся, этот тип, кто он?.. Впрочем, это не имеет значения. Значение имеет одно: признаваться или не признаваться.

А нужно ли Наташе его признание?.. Ничего не зная, она и не думает об этом, и ей хорошо. Зачем усложнять простые вещи? Пожалуй, пожалуй... В этом определен-

но что-то есть, какая-то здравая основа. В конце концов, это его, Сергея, позор, и он должен нести его сам. Признавшись же, он разделит свой позор на двоих, облегчит свою жизнь, очистит свою совесть, но нарушит покой Наташи. Честно ли это по отношению к ней?..

— О чем ты думаешь? — вдруг спросила Наташа, и Сергей вздрогнул от неожиданности. Он не заметил, когда она проснулась.

— Так, ни о чем.

— А почему не спишь? — допытывалась она.

— Не спится.

— А я, кажется, задремала немного. Даже сон какой-то видела, но ничего не помню. Нет, постой! — Она приподнялась. — Была лодка, и мы с тобой плыли в этой лодке...

— Куда? — спросил Сергей.

— Подожди, не мешай... — Она задумалась. — Нет, не вспомнить. А давай дальше сами придумаем. Вот представь, что мы с тобой плывем в маленькой-маленькой лодке по огромному-огромному морю...

— Представил. — Он поцеловал ее.

— Не мешай же! — с наигранной строгостью сказала Наташа. — Надо придумать маршрут, куда нам плыть. Знаешь, в детстве я любила путешествовать по карте. Очень было интересно. Найду какой-нибудь город подальше от Ленинграда и добираться туда самыми длинными путями. Читала все подряд, что удавалось достать, о местах, по которым путешествую. — Она засмеялась, и Сергей увидел ее белые зубы. — Зато по географии и истории у меня были одни пятерки, понял?.. Так куда же мы поплывем в нашей лодке?

— Давай на необыкновенный остров, где все необыкновенное.

— Это как?

— Все необыкновенное, — сказал Сергей. — И звери, и птицы, и цветы. А люди, тоже, конечно, необыкновен-

ные, не имеют понятия ни о подлости, ни о вражде. Вообще ни о чем низменном. Никто никому не делает гадостей, и даже в животном мире новые отношения: сильный не пожирает слабого. Вот: старый лев охраняет раненую косулю...

— От кого же он охраняет?

— На всякий случай.

Если разобраться, он вовсе и не оскорбил Наташу своими подозрениями, потому что ведь не он заподозрил. Ему намекнули, вот в чем дело. Именно намекнули, а он не то что стал подозревать или плохо думать о Наташе, а приревновал к тем мужчинам, которые были до него. Их не было, других?.. Тем лучше. Значит, он напрасно ревновал, а ревность сама по себе, ревность, как таковая, не может быть оскорбительной для женщины. Любимых женщин всегда ревнуют. Пожалуй, ревность — один из признаков истинной любви...

— От людей, да?..— спрашивала Наташа. Она всматривалась печальными глазами в темноту.— Давай уж лучше поплывем туда, где все самое обыкновенное. Пусть и на нашем острове будет принцип: выживает сильнейший. Это необходимо, и тут ничего не поделаешь. А вот люди пусть любят и уважают друг друга. А ненависть...— Она вздохнула.— Если есть любовь, должна быть и ненависть. От этого никуда не уйдешь. Ты спишь, Сережа?

— Нет, слушаю.

— Тогда поплывем?

— Поплывем..

И они плыли. И может быть, ни одно настоящее путешествие, даже самое экзотическое, не было столь интересным, а главное — желанным.

— Лаперузы...

— Нет, Магелланы...

— Землепроходцы!

— Сережа, а можно сказать — морепроходцы?

— Наверно, можно.

— А хоть бы и нельзя, нам-то что, верно?

Они забывали обо всем на свете, они не слышали и стука будильника, который исправно и честно выполнял свою работу. Голова Наташи лежала на груди Сергея. Он чувствовал губами ее мягкие пахучие волосы, слышал ее ровное, глубокое дыхание и как время от времени она бормотала что-то шепотом, вздрагивая всем телом.

А он опять не спал, и ему было хорошо сторожить ее сон.

* * *

Они были в кино. Потом шли. Просто шли по городу, без всякой конкретной цели. На Кировском мосту Наташа вдруг спросила:

— А куда, собственно, мы с тобой идем? — и остановилась.

— Похоже, что в никуда, — ответил Сергей. — Идем, и все.

— Нет, в никуда мне почему-то не хочется. — Наташа заглянула за перила. — А что, если нырнуть и... выплыть с обратной стороны земли! Интересно, где это будет?

— Где-нибудь в Тихом или Индийском океане, — сказал Сергей.

— В океане не хочу. — Она нарочито капризно сложила губы. — Тогда лучше вынырнуть здесь лет через двести. Представляешь?.. Меня приняли бы за русалку, и какой-нибудь новый Гоголь написал бы новый «Сон в майскую ночь». Или в летнюю?.. А «Вий» очень страшно, верно? Я не могла дочитать до конца. Я вообще боюсь читать страшные вещи. А ты?..

— Как-то не думал об этом.

— Значит, не боишься, — подытожила Наташа. — Если бы боялся, думал. Пойдем.

Слабо светился купол собора, и казалось, он не просто вознесся в небо, а поддерживает его. Над ним повисла Большая Медведица.

Они долго шли, и, может быть, оба не сознавали, куда и зачем идут. Во всяком случае, молчали об этом. И только под аркой остановились.

— Где твои окна? — спросила Наташа.

— Два крайних справа.

— Разве у тебя только два окна?

— Вторая комната и кухня выходят на другую сторону, — сказал Сергей.

— А я и забыла.

Они прошли через двор, Наташа чуть впереди, и так же, друг за другом, поднялись по лестнице. Уже когда вошли в квартиру, Сергей обнял Наташу, и она покорно прижалась к нему.

Проснулся он в начале десятого. В щель между шторами просачивалось солнце. На столе, придавленная будильником, лежала записка:

«Не волнуйся, Сережа, я уехала домой. Сон приснился плохой, как там Громов? Ключ взяла с собой, пусть он будет у меня, ладно? Обязательно позвони, как только встанешь. Я буду ждать. Очень буду ждать. Наташка».

Сергей открыл окно. В комнату ворвался ветер. Парусом надул шторы, сбросил на пол записку, а репродуктор на кухне хорошо знакомым голосом сказал:

— Начинаем воскресную радиопрограмму «С добрым утром!».

Сергей вышел на кухню и выключил репродуктор. Ему совсем не хотелось слушать бодрящую музыку. Он должен немедленно разобраться в том, что произошло. Пожалуй, Наташа не случайно оставила его одного, а сама поехала домой. Оставила, чтобы он подумал. Но о чем, собственно, думать?.. Все ясно: они поженятся.

В одной из центральных газет появилась статья Новикова. Наташа прочла ее и напомнила Сергею о недавнем разговоре.

— Ну что ты скажешь теперь?

— А я обязательно должен что-то сказать по этому поводу? — Он пытался уйти от прямого ответа, не зная, нужно ли радоваться за Виктора или огорчаться — ведь публикация статьи означала его, Сергея, поражение. Именно на это намекала Наташа. А признаваться, что проиграл, и проиграл крупно, очень уж не хотелось.

— Ты убедился, что Виктор был прав, добиваясь истины? — тормошила его Наташа. — Эх ты, поклонник нейтралитета.

— Честно говоря, — сказал Сергей, — пока я не вижу оснований для такой уверенности. Я оптимист, но эмоциям предпочитаю факты.

— Ты просто-напросто выжидаешь! — сердито воскликнула Наташа. — Выжидаешь, кто победит: твой шеф или Виктор, чтобы примкнуть наверняка...

— Допустим, я выжидаю, — мягко возразил Сергей. — Но, во-первых, мне нет необходимости ни к кому, как ты выразилась, примыкать. Во-вторых, почему я должен быть на чьей-то стороне, не имея фактов? В конце концов, это ведь только работа. Разве у тебя на работе не бывает споров, разногласий, разве ты всегда оказываешься права? Ей-богу, Наташка, я не вижу никакого криминала в том, что ошибаюсь. — Он привлек ее к себе, обнял, и она не оттолкнула его. Может быть, она даже согласилась бы на то, чтобы Сергей оказался прав, пусть. Она же понимает, что он умнее ее, лучше разбирается в людях, и она не претендует, нет, на какую-то необыкновенность. Она обычная женщина, слабая и готовая к жертвам ради любимого человека. Лишь бы

Сергей сказал, что душой он заодно с Виктором. Это не прихоть. Это желание видеть в нем человека действия и, быть может, тоже готового пойти на жертвы. Хотя бы и не ради нее.

И тихо спросила:

— Сережа, а если бы тебе пришлось вмешаться теперь?..

— А если бы тебе? — в свою очередь спросил он. И уточнил: — Если бы ты убедилась, что не прав Виктор, как бы ты поступила?

— Очень просто, — не задумываясь ответила Наташа. — Подошла бы к нему и сказала: «Мы с вами были не правы. Но это ничего, все равно оставайтесь таким». И пожала бы ему руку.

Сергей усмехнулся недоверчиво.

— А за что руку-то пожала бы?

— За принципиальность. За смелость. Человек, вступающий в борьбу с кем-то или с чем-то, должен быть уверен в своей правоте. И не так уж важно, Сережа, окажется ли он прав в конечном счете. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Впрочем... — Наташа как-то странно взглянула на него, и он невольно потупился.

А дня через три после появления статьи редактор сообщил Сергею, что по решению, которое «приняли там» (обычный жест — большим пальцем в потолок), в состав новой комиссии, которой поручена проверка и первой, и второй статьи, включили и его. То есть вопрос был поставлен таким образом, чтобы в комиссию вошел работник редакции, а кого же еще, кроме Сергея, мог порекомендовать редактор?.. Самому неудобно, вроде бы заинтересованное лицо («Хотя, ты же понимаешь, Болдырев, что с моей стороны...»), Добрых староват и ленив...

— Придется тебе поработать во имя торжества справедливости.

— Но мне тоже не совсем удобно,— сказал Сергей. Его совсем не прельщало это неожиданное назначение. Ведь участие в работе комиссии означало, что он все-таки должен будет принять либо сторону шефа, либо Виктора. А он, по правде говоря, надеялся на какой-то третий выход из положения.

— Пустяки! — воскликнул редактор.— Ты человек вполне объективный, тебе доверяют, так что действуй, Болдырев.— Он обнял Сергея и проводил до двери.

А вечером того же дня позвонил вдруг Новиков.

— Читал, старина?

— Читал. Поздравляю. От всей души поздравляю.

— Поздравления побереги на будущее,— сказал Виктор.— Эти деятели тоже не сидели и не сидят сложа белые рученьки. Будь уверен, развили вулканическую деятельность в защиту своих замызганных мундиров. Да и защитники у них найдутся. Там уже всю замечают следы стахановского движения, одного перевели, другой сам уволился, третий вышел на пенсию, четвертый заболел и так далее.

Сергей хотел сказать, что все обойдется, что назначена комиссия, в которую вошел и он, но вместо этого спросил:

— Что же ты не заходишь?

— Забегу на днях,— пообещал Виктор.— Готовь салатку в горчичном соусе. Кстати, ты не слышал случайно, кого включили в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности от редакции?

Наташа стояла в дверях. Она, конечно, не могла слышать, о чем спрашивал Виктор; да и не знала, что в состав комиссии включили Сергея. Она вообще ничего не знала об этой комиссии, но взглядом она о чем-то просила...

— Не слышал,— сказал Сергей.— А вот рядом со мной стоит Наташа и передает тебе привет.

— Спасибо, старик. Ей тоже передай мой привет.

Да, я хотел тебе еще в тот раз шепнуть — она отличная женщина! Если бы ты не был моим другом, а я был бы холостым... Пока, старик. Уже стучат, я из автомата.

Сергей положил трубку и вдруг ясно понял, что в общем-то не желает победы Виктору. Впрочем, пусть лучше победит он, чем редактор... Но как же это — хотеть и не хотеть одновременно? Нет, это невозможно. Тут что-то не так. Ведь это означает, что он просто-напросто боится, то есть более всего хочет остаться чистым, незапятнанным сам. Но это и есть точка зрения обывателя, а разве не он всегда говорил, что самое страшное в жизни — опуститься на обывательское дно, где есть все, кроме духа...

— Сережа, ты глухой?! — Наташа теребила его за рукав и кричала прямо в ухо. — Тебе обязательно нужно пойти к врачу. Пять раз повторила...

— Прости, задумался.

— Это Виктор звонил?

— Да.

— Как ты догадался передать ему привет?

— По твоим глазам.

— Не ври, Сережка, я тогда об этом не думала! Что у него нового?

— Пока ничего, — ответил Сергей.

— Слушай, у тебя какой-то странный вид. Ты где находишься сейчас? В Африке или там?.. — Наташа подняла руки и понграла пальцами. — Полетели, полетели птички перелетные.

— Что-то настроенное неважное, и голова побаливает. Устал, наверно. Скоро буду бредить репортажами и фамилиями передовых рабочих. Давай никуда не пойдем, а? — Они собирались прогуляться, может быть посидеть в кафе. — Посидим лучше дома, выпьем сухенького. А вообще-то пора бы нам сходиться в некое присутственное место и подать заявление...

— Успеется! — сказала Наташа. — Тебе что, так не терпится надеть хомут? Потерпи, милый. Еще натаскаешься.

— Не люблю неопределенности, ты же знаешь прекрасно. И потом твое положение...

— А вот за меня волноваться не надо, Сережа. Я делаю то, что мне хочется. Ты пока подумай, взвесь, прикинь...

— Я уже все прикинул, — сказал Сергей, обнимая ее. Они присели на оттоманку, и пружины протяжно завизжали.

— Неужели у тебя нет денег на новую! Прямо повернуться нельзя.

— Не думал об этом. Не все ли равно, на какой спать — на новой или на старой.

— Спартанство сейчас не в моде, а наукой совершенно точно установлено, что удобный и культурный быт не только улучшает настроение, но и повышает работоспособность. Между прочим, обоим тоже пора смеяться, а то мрак какой-то, как в тюрьме.

— Завтра куплю новый диван, — сказал Сергей. — А может, вместе посмотрим? У тебя вкус на такие вещи лучше моего.

— Дипломат ты, Сережа, никудышный. — Наташа рассмеялась. — Мне надо подготовить Громова, ведь для него это будет страшный удар. Он боится остаться один.

— Но ты говорила, что с вами живет его сестра.

— У них вежливые отношения, не больше, — проговорила Наташа печально. — Она с причудами тоже и больная.

— Возьмем твоего отца к себе.

— Нет, Сережа.

— Но почему? Места хватит.

— Отец не согласится. — Она вздохнула. — Ни за что не согласится. У нас уже был разговор на эту тему. Он стал плакаться, что я выйду замуж и брошу его. Я ска-

зала, что не брошу, а возьму к себе. И он заявил, что не пойдет. А он человек упрямый. Он лучше уйдет в дом инвалидов.

— Все равно когда-то нужно говорить ему.

— Я понимаю это.

— Когда же?

— Скоро, Сережа. Очень уже скоро. Вот наберусь от тебя мужества...

— Не можешь, чтобы не уколоть? — Он обиделся и даже убрал руку с ее плеча.

— Глупый ты, Сережка! — сказала Наташа и сама обняла его. — Ведь мужество — от слова «мужчина», только это я и хотела сказать. Но если ты непременно хочешь, чтобы я назвала дату... Тебя устраивает пятнадцатое?

— А что будет пятнадцатого?

— Ничего, обычный день. Кажется, пятница. Просто пройдет двенадцать календарных дней, как на работе. Вот и все.

— Вместе с заявлением в загс ты подашь и на перевод, ага?

— Какой перевод? — не поняла Наташа.

— На другую работу, — сказал Сергей.

— Я не собираюсь менять работу...

— Но можно же оставаться в этом твоём ПНУ и не ездить по командировкам!

— Вот ты о чем! — Наташа покачала головой, улыбнулась. — Значит, уже условия? А не рановато ли, Сережа?..

— Так же нельзя, Наташка! Какая-то противоестественность, честное слово. Муж дома, а жена в командировке. Согласись, что...

— Стоп, стоп, стоп, Сережа! — прервала его Наташа. — Это пахивает знаешь чем? Мещанством, мой милый. Сегодня ты против командировок, завтра потребуешь, чтобы я вообще сидела дома... Так не пойдет. Ой,

у меня же чайник выкипит! — Она вскочила и побежала на кухню.

А Сергею эти случайные слова напомнили мать, и он в который уже раз после ее смерти задал себе вопрос: «Значит, матери все-таки бывают правы гораздо чаще, чем кажется нам?..» Может, а почему бы и нет? Но ведь был же, был уважаемый мужчина, похожий на председателя райсовета или на министра коммунального хозяйства, с желтым портфелем, в цейссовских очках, который, оглядываясь, проверял лотерейные билеты, и почему же тогда нечаянные и сказанные без всякой цели слова Наташи так больно ранили самолюбие?.. Потому что была еще и мать, с ее откровенной слабостью к домашнему уюту, к хорошим вещам, была и есть Зоя Романова, есть много других людей, которые имеют внешность даже президентов, носят цейссовские очки и хотя они не трясутся, как тот мужчина, проверяя лотерейные билеты, но каждый покупает их и каждый мечтает выиграть. Не обязательно автомобиль, но — выиграть.

Вошла Наташа.

— Кушать подано! Между прочим, Болдырев, я бы на твоём месте купила и новый чайник. Есть из нержавеющей стали, очень симпатичные.

«А чайник, Сережа, тоже необходим людям», — говорила мать. Нет, она, пожалуй, говорила о холодильнике. Или о стиральной машине? Впрочем, это ничего не меняет. Главное — необходим. В этом, только в этом дело.

— Знаешь, с поющим носиком? Свистит, когда начинает кипеть.

— Кто-нибудь подарит на свадьбу, — сказал Сергей и подумал, что мать, кажется, тоже хотела такой чайник. — Обычно дарят чайники или сервизы из магазина уцененных товаров, — зло добавил он.

— Похоже, назревает очередная семейная ссора? — проговорила Наташа, испытующе глядя на Сергея. — Пойдем-ка лучше обедать.

— Извини.— Он встал.

А на кухне, уже за столом, Наташа, опустив глаза, тихо сказала:

— Тебе звонила Лида.

Сергей почувствовал, что краснеет. Он едва не выронил из рук бутылку с вином. Надо было что-то ответить. Может быть, надо было сказать, что он не знает никакой Лиды...

— Ну что же ты, открывай свой рислинг. Я с удовольствием выпью.

XXIII

Вот уж чего Сергею не хотелось, так это принимать участие в работе комиссии. И он клял себя за то, что сразу не отказался. Категорически. В конце концов, никто не смог бы его заставить. Можно было найти даже уважительную причину. Например, сказать, что они друзья с Виктором. А теперь поздно.

— Помни, Болдырев, что ты представитель нашей газеты! — напутствовал его редактор.— Я на тебя надеюсь.

К черту. Лучше бы он не надеялся. Впутал в историю. Занимался бы своими делами сам. Нет, все хотят остаться чистенькими, а при чем тут Сергей?..

Пятеро членов комиссии собрались в кабинете начальника автохозяйства. Он производил приятное впечатление. Был молод, интеллигентен.

— Не знаю, товарищи, чем могу быть вам полезен,— сокрушенно говорил он.— Не успел освоиться еще.

Оказалось, он всего несколько дней назад сменил прежнего начальника, Зимина.

— Ничего,— успокоил его председатель комиссии.— Постараемся разобраться сами. Вы отдайте необходимые распоряжения. Для начала нам понадобятся бухгалтер и заведующий складом.

Начальник вышел распорядиться. С ним вместе ушли три члена комиссии проверять склад и бухгалтерию. Остались председатель и Сергей. Они вдвоем хотели поговорить с рабочими, вообще поближе познакомиться с коллективом, осмотреть хозяйство, главным образом ремонтные мастерские.

Начальник скоро вернулся, и председатель поинтересовался, каково его личное мнение о положении дел.

— Я пока не успел составить никакого мнения...

— Но ведь в тресте вы работаете давно?

— Да, но от автохозяйства я был далек. Я работал в производственном отделе. О статье что-то слышал, но не вникал. Разве я мог подумать, что мне придется стать преемником Зимина?! — Он пожал плечами. — Меня, признаться, удивляет, как он проглядел этого прохвоста Приходько.

— Вы считаете, что во всем виноват мастер Приходько?

— Вероятно, не он один... — неуверенно ответил начальник. — В большом коллективе всегда найдутся люди, готовые... Впрочем, я боюсь делать какие-то выводы, поймите меня правильно. Вина Зимина очевидна, он передоверился Приходько, который в мастерских был полным хозяином.

— Ну а приписки, липовые путевые листы? Ведь к эксплуатации Приходько не имел отношения...

— С этим мы разберемся. Вероятно, были приписки. Но проверить, сами понимаете, очень трудно.

— Это верно, — согласился председатель. — Кстати, где сейчас работает Зимин?

— Начальником отдела материально-технического снабжения в тресте. Очень переживает. Для него это урок на всю жизнь.

— Урок неплохой, это верно. Секретарь партбюро на месте?

— В санатории. У него язва желудка.

— А председатель месткома?

— Нового еще не избрали, а прежний недавно уволился.

— Понятно,— проговорил председатель, усмехаясь.— Пригласите заместителей секретаря партбюро и председателя месткома.

Они пришли вместе. Один — в солдатской заношенной гимнастерке и залатанных брюках, заправленных в кирзовые сапоги, а второй — чистенький, этакий уютенький старикашка в пенсне, при галстукe с зажимом, в сатиновых нарукавниках.

— Кузьев, заместитель секретаря партийного бюро,— представился тот, который был в нарукавниках.

— Иващук,— хмуро сказал второй.

— Садитесь,— пригласил председатель комиссии.— Что же это вы, дорогие товарищи, пораспускали свое начальство?

— А вы, извините, кто будете? — поинтересовался Кузьев.

— Мы комиссия. Я председатель комиссии, моя фамилия Михайлов. Василий Петрович. А это Сергей Александрович Болдырев, член комиссии, заведующий отделом газеты «Красный пролетарий».

— Опять, значит, проверка...— Кузьев вздохнул.— Если позволите, неплохо было бы взглянуть на ваш мандат, так сказать. А то всякое случается...

— Пожалуйста.— Михайлов достал удостоверение и передал Кузьеву. Тот снял пенсне, надел очки, причем долго пристраивал их за ушами, укрепляя резинку, внимательно изучил удостоверение и, возвращая, сказал:

— Для порядочка, прошу прощения.

— Ничего. А теперь давайте поговорим о делах. Как же вы дожили до жизни такой, что вас без конца проверять нужно? Мы слушаем вас.

— До какой жизни, я не расслышал? — переспросил Кузьев.

— До невсеселой.

— А! — Он закивал головой.— Это, товарищ Михайлов, вы очень верно заметили: жизнь действительно невсеселая, куда уж там. И это происходит в то время, когда наш народ, воодушевленный последними решениями...

Михайлов поморщился и перебил Кузьева:

— Нельзя ли поконкретнее?

— Разве я сказал что-нибудь не так?

— Вы говорите все правильно, но мы здесь не для того, чтобы выслушивать речи. А вам, как заместителю секретаря партийной организации, думать о последних решениях следовало раньше.

— Угостили,— разводя руками, сказал Кузьев.— Проглядели, не пресекли своевременно. Виноваты.

Из дальнейших объяснений Кузьева выяснилось, что:

в общем и целом коллектив здоровый и сплоченный, понимающий стоящие перед ним задачи. С напряженной производственной программой справляется успешно. На протяжении нескольких лет не было случая невыполнения плана перевозок и ремонта автомашин. Общественные организации в тесном контакте с администрацией ведут большую воспитательную работу. Достаточно отметить, что каждый третий рабочий либо ударник, либо член бригады коммунистического труда. Почти восемьдесят процентов списочного состава борется за это почетное звание...

— Все это очень хорошо,— снова перебил Кузьева Михайлов. Иващук сидел молча и мял кепку.— Но как вы объясните, что в вашем коллективе произошла столь грязная история?

— Я уже отмечал, что в этом вопросе мы недоработали, допустили промах...

— А вы что молчите? — обратился Михайлов к Иващuku.

— Не знаю я, что говорить-то надо. Я целиком и полностью согласен с выступлением товарища Кузьева.— Он был растерян, подавлен и, пожалуй, плохо понимал, чего именно от него хотят.

— Вы кем работаете?

— Слесарь я по ремонту. А как уволился наш председатель месткома, помогаю мастеру.

— Значит, вы работаете в ремонтных мастерских?

— Да, да.— Он часто закивал головой.

— Ну и как, все в порядке у вас или не совсем?

— Это вы про что? — Он смотрел на Кузьева, как бы ожидая от него совета, подсказки. Но тот молчал.

— Наряды, например, аккуратно выписывают?

— Так ведь оно по-всякому бывает. Если какая машина срочно ремонта требует или там рессора лопнула, тогда, конечно дело, после выписывают...

— Товарищ Иващук у нас работает недавно,— неожиданно вмешался Кузьев.— Если позволите, я более подробно осветю этот вопрос.

— Он лучше знает,— охотно подхватил Иващук.— Я недавно. Вот, работа там стоит...

— Ну что ж,— вздохнув, сказал Михайлов,— идите работайте.

— Спасибо! — Иващук натянул кенку и радостный вышел.

Сергей проводил его взглядом и с какой-то непонятной грустью подумал, что этот человек просто-напросто подставное лицо, что он действительно ничего не знает. Виктор прав: здесь не сидели сложа руки, не ждали у моря погоды. Нет, совсем даже не случайно уехал лечить язву секретарь партбюро, как не случайно уволился председатель месткома и перешел на другую работу начальник автохозяйства Зимин. Выходит, Виктор прав и в главном. Но как же опровержение?.. Ведь была же и раньше проверка, неужели обманули, обвели вокруг пальца?.. Или все-таки...

Мысли Сергея перебил Михайлов.

— Итак, вы считаете, что положение в автохозяйстве, в частности в ремонтных мастерских, не вызывает тревоги? — спросил он, обращаясь к Кузяеву.

— В общем и целом, как я уже отмечал, коллектив у нас здоровый, нацеленный, но, к сожалению, имеется ряд недостатков, с которыми мы ведем непримиримую борьбу. В связи с этим я должен прямо заявить, что статьи товарища Новикова, — он посмотрел на Сергея, — вызывают чувство недоумения в нашем коллективе. Товарищ Новиков, сосредоточив все свое внимание на отдельных недостатках, которые имеются повсюду и партия не скрывает этого, прошел мимо положительного опыта. Я лично беседовал с товарищем Новиковым и советовал ему отразить успехи наших лучших, передовых рабочих. Мы не хотим закрывать глаза на недостатки и те отрицательные явления, которые имели место, однако было бы в корне неправильно...

— Одну минутку! — остановил его Михайлов. — У меня к вам вопрос: вы подписывали письмо в редакцию?

— Какое, прошу прощения, письмо?

— Вы прекрасно знаете, о каком письме идет речь.

— Понимаю. Вы имеете в виду то письмо, в котором коллектив выразил свое несогласие с позицией товарища Новикова?

— Во-первых, в письме выражено не мнение коллектива, а мнение людей, подписавших его. Во-вторых, позиция автора статей — это позиция не лично его, а тех органов печати, где статьи опубликованы.

— Мы действовали от имени коллектива, — возразил Кузяев. — Письмо обсуждалось на партийном бюро.

— А на собрании обсуждались статьи?

— Видите ли, члены бюро и администрация высказались за то, чтобы не выносить статью на широкое обсуждение, не будоражить коллектив. Я имею в виду

первую статью, опубликованную в газете «Красный пролетарий». — Он опять посмотрел на Сергея, словно бы рассчитывая на его поддержку. — А что касается второй статьи, то мы еще не успели дать ее положениям и выводам принципиальную оценку. Кстати, это правда, что тсварищ Новиков ушел из газеты?

— Это не имеет отношения к делу, — сказал Михайлов. — У вас, Сергей Александрович, нет вопросов к товарищу Кузяеву?

— Нет.

— А вы больше ничего не хотите добавить? — спросил Михайлов, перебирая бумаги.

— Пожалуй, нет, — ответил Кузяев, пытаясь заглянуть через стол в папку, в которой рылся Михайлов.

— Тогда свободны.

Кузяев неохотно вышел. Подождав, пока в коридоре затихнут его шаги, Михайлов спросил у Сергея:

— Что вы думаете обо всем этом?

— По-моему, тут все ясно.

— Насчет полной ясности у меня уверенности нет. В документах у них наверняка порядок, было время, чтобы замести следы своей деятельности. А вообще вы правы.

— Одного не пойму, — сказал Сергей, — как же первая проверка?

— Разберемся. Но получилось очень нехорошо. И Георгий Константинович поспешил с публикацией опровержения.

— Его торопили...

— Не знаю, кто его торопил. Но спешить было нельзя ни в коем случае. А что, Новиков действительно ушел?

— Да.

— Георгий Константинович не доверял ему?

— Да как вам сказать... Не ладили они, это верно.

— Говорят, он пьет и в семье у него не все благополучно?

— Что значит пьет? — Сергей пожал плечами. — По моему, не больше других. А насчет его семейных дел я ничего не знаю. Об этом лучше спросить у него.

— Поймите меня правильно — это не пустое любопытство...

— Я понимаю.

— Хорошо. — Михайлов закрыл папку и встал. — Пойдемте поговорим с людьми.

Рабочие очень по-разному встречали их. Одни охотно и подробно рассказывали о делах, другие, вроде Иващукка, хмуро отмалчивались, пожимали плечами. Дескать, ничего не знаем, ничего не ведаем.

— Но неужели вы не видели, что делается вокруг? Это же невозможно не видеть! — сказал одному из рабочих, электрику, Михайлов.

— Может, и видел... — неопределенно ответил тот.

— Так помогите нам разобраться! Вы же коммунист.

— Вы пришли и ушли, — заплевав окурок, внушительно сказал электрик, — а мне здесь работать. У меня семья, детей надо кормить, одевать, жена больная, на инвалидности.

— Вы что же, боитесь мести?

— Ничего я не боюсь. Ваше дело проверять — мое дело работать. Извините, у меня обеденный перерыв, а в столовой очередь.

Все же мало-помалу положение прояснялось, хотя, как и говорил Михайлов, документация была более-менее в порядке. Но даже того, что удалось выяснить, с избытком хватало для уголовного дела. Кое-кто признался, что лично часть своей зарплаты отдавал мастеру Приходько и механику, которые, по слухам, делились с бывшим начальником автохозяйства. Кто-то подбросил комиссии записку, где было точно указано, кому и когда со склада продавались запасные части. Водители приписывали рейсы, завышали вес груза, а лишний

бензин, чтобы «свести концы с концами», продавали или даже сливали. Нередко шоферы за мелкий ремонт автомашин платили слесарям наличными, чтобы получать премии за безаварийный пробег...

К концу рабочего дня члены комиссии собрались вместе. Пригласили и Кузьева. Михайлов познакомил его с выводами, оговорив, что выводы пока не окончательные, комиссия работу не закончила, но, судя по всему, материал придется передать в прокуратуру.

— Может, вы теперь что-то скажете?

Тот долго протирал очки, прежде чем надеть, а потом произнес длинную речь о каких-то заслугах коллектива, о недостатках в планировании, о трудной борьбе «с живучими пережитками прошлого в сознании некоторых людей» и под конец этой путаной речи заявил, что он «достиг пенсионного возраста».

— Я уже подал заявление об уходе,— сказал он.

— Боюсь, что просто так вам уйти не удастся,— сказал, усмехнувшись, Михайлов.

— Но по закону...

— Не сомневайтесь, все будет по закону.

Сергей с отвращением смотрел на Кузьева. Он понял, что произошло нечто важное. После того, что он увидел и услышал здесь, уже нельзя оставаться в стороне. Он также понял, что во многом, очень во многом, виновен редактор. И не только в увольнении Виктора.

Прямо из автохозяйства он хотел ехать в редакцию, чтобы тотчас, не откладывая в долгий ящик, высказать шефу все, что думает о нем. Тут он вспомнил, что сегодня суббота, короткий день, в редакции наверняка никого уже нет, и решил, что из дому позвонит редактору. Ждать до понедельника он просто не мог.

Был теплый вечер. По тротуару мамы катили разноцветные коляски. Девчонки чертили «классы». Нажимали на педали трехколесных велосипедов будущие чемпионы и рекордсмены. В окнах играло, забавляясь, солнце.

В такой вечер не думать бы ни о чем плохом, радоваться бы жизни, улыбаться людям. А у Сергея на душе было мрачно.

XXIV

Дома ждала Наташа. Она иногда приходила без Сергея, прибиралась в квартире, готовила обед. Вообще последние дни она жила как бы на два дома, даже кое-какие вещи перетащила.

— Не понять, жена ты мне или не жена? — говорил Сергей.

— Жена, жена, Сереженька! — смеялась Наташа.— Но приходящая. Разве тебе плохо? Другой бы на твоём месте был доволен.

На этот раз он застал ее с книгой.

— Обед давно остыл,— попеняла она.— В редакции задержался?

— Да,— соврал Сергей. Почему-то он не хотел говорить, что был в автохозяйстве.

— Звонил Виктор, обещал сегодня зайти.

— Прекрасно, у меня для него есть новости.

— Хорошие?

— Отличные!

— Какие же? — спросила Наташа.

— Военная тайна.

— Сейчас же выкладывай свою военную тайну!

— Никогда.

— А я вот возьму и обижусь,— сказала Наташа.

— А я возьму и все равно не скажу.

Ну разумеется, он рассказал бы ей и про комиссию, и про редактора, который оказался просто-напросто негодяем, но тут как раз позвонили в дверь.

— Наверное, Виктор,— догадалась Наташа.— Угадал к обеду, хорошая примета.

Сергей пошел открыть дверь. На лестничной площадке, улыбаясь, стоял редактор.

— Привет, привет, Болдырев. Не ожидал?

— Не ожидал,— признался Сергей.— Проходите.

Наташа удивленно смотрела на гостя. Ей показалось, что Сергей был обескуражен, даже голос вроде бы изменился.

— Раздевайтесь, Георгий Константинович. Давайте плащ, я повешу.

— Спасибо, я сам.— Он повесил плащ, потер руки и сказал: — Ну, знакомь с хозяйкой.— Частые морщинки побежали от глаз.

— Да, конечно...— бормотал Сергей.— Это Наташа...

— Георгий Константинович,— чуть наклонив голову, представился редактор.— Некоторым образом коллега вашего супруга и старший его товарищ. Именно на правах старшего товарища должен вам по большому секрету сообщить, что ваш муж очень талантливый журналист.

— Пожалуйста, проходите в комнату.— Сергей открыл дверь.

Редактор осмотрелся в комнате, одобрительно похмыкал, разглядывая книги, потом сел в кресло и, отвалившись, спросил:

— Как идет проверка?

— Работаем...

— Звонил мне ваш председатель, Михайлов. Мы ведь с ним старые однокашники. Спрашивает, какую рекомендацию дать комитету...— Он ощупывал глазами каждую вещь, словно оценивая.— А ты тесновато живешь, Болдырев. Что же молчишь?

— У меня же две комнаты,— сказал Сергей.

— Отдельная квартира?

— Отдельная.

— А я подумал, что помочь надо.— Он встал, подошел к стеллажу и снял томик Маяковского.— Поэт, а? Это не то, совсем не то, что нынешние стихотворцы. Силица в нем так и прет, дух захватывает.— Он поставил

книгу на место и вернулся в кресло.— Я пообещал Михайлову, что предварительно переговорю с тобой.

— Он знает мое мнение.

— Официальное! — Редактор поднял палец.— А официальное мнение — это, Болдырев, не совсем то, что неофициальное. Вопрос, я полагаю, будет поставлен широко. Наверняка и о критических выступлениях в печати. Это сегодня очень важная проблема. Ты написал дельную, полезную статью о строительстве Нижнереченского комбината. Она помогла соответствующим органам разобраться в положении дел, в результате строителям была оказана своевременная помощь, но и с них строго спросили. Это и есть наша партийная критика...

— Судя по всему,— сказал Сергей,— Новиков оказался прав.— Он понял, куда клонит редактор.

— Знаю. Есть критика и есть критиканство...

И тут редактора неожиданно перебила Наташа.

— А вы уверены,— спросила она,— что Сергей написал о строительстве правду?

— Наташа! — сказал Сергей с укоризной.

— Я не с тобой,— ответила она.

— Видите ли, милая Наташенька, невозможно делать газету, будучи неуверенным в своих помощниках. Работа у нас особенная, все в конечном счете основано именно на доверии — к людям, к фактам, и я, разумеется, полностью доверяю вашему супругу...

— Мы неженаты,— сказала Наташа.

— Простите, я подумал... — Редактор удивленно смотрел на Сергея.

— Это не имеет значения, Георгий Константинович,— поспешил он исправить неловкое положение.— Послезавтра мы подаем заявление.

Дважды прозвенел звонок.

— А вот и Виктор пришел! — объявила Наташа и пошла открывать дверь.

— Новиков, что ли? — спросил редактор.

— Наверно, он собирался сегодня зайти.

— Удобно ли нам с ним встречаться?

— Ничего, заодно и выясним все.

Приход Виктора обескуражил редактора. Он пришел к Сергею не просто поболтать, но с определенной целью. Ему необходимо было выяснить, что раскопала комиссия в автохозяйстве, чтобы подготовиться самому. В глубине души он считал Сергея человеком наивным и надеялся, что вызнает у него все что нужно. Никакой Михайлов ему не звонил, а как раз наоборот — Михайлову звонил редактор и понял из разговора, что комиссия копает глубоко....

Вошел Виктор.

— Ба, знакомые все лица, как говаривал товарищ Гоголь, который Николай Васильевич. Я вас приветствую, Георгий Константинович. Каким попутным ветром вас сюда занесло?..

— Здравствуйте, Виктор Павлович, рад вас видеть.

— Рады мы или не рады, но коль судьба свела нас вместе...— Он вытащил из кармана бутылку «Столичной» и поставил на стол.— Принимайте в пай. Закуска найдется, Наташенька?

— Что-нибудь сообразим,— сказала она.— Может, пообедаем?

— А почему бы и нет?

— Благодарю, я обедал, так что без меня.— Редактор встал.

— Тогда без обеда,— согласился Виктор.— Кусок хлеба и хвост селедки, что еще надо бедному татарину!

Редактор вышел из комнаты и вернулся тоже с бутылкой водки.

— Это я понимаю! — воскликнул Виктор, потирая руки.— Пить так пить. Нанесем фланговый удар по водочной промышленности.

— Как ваши дела, Виктор Павлович? — спросил редактор.

— Благодарю, не жалуясь. Все идет по заранее разработанному плану, а план, как известно, закон. Следовательно...

— Работаете?

— Кто не работает, тот не ест. А я люблю, грешным делом, хорошо поесть и крепко поспать.

— И все-таки напрасно вы ушли, напрасно не послушались меня...

— Ну, Георгий Константинович, что было, то бывшем поросло, не стоит брать в голову. А у вас что новенького?

— Сергей Александрович, я полагаю, держит вас в курсе...

— Представьте, не держит. Да я его и видел лет сто назад, если не больше. Хотя на днях мы встречались мимоходом... Наташа, а где обещанная тобой селедочка в горчичном соусе?

— В море плавает,— ответила Наташа. Она заметно оживилась, повеселела с приходом Виктора.

— А если снарядить экспедицию на кухню? — Виктор подмигнул.— Может, она плавает все-таки в соусе?..

— Посмотрим.

Наташа собирала на стол, Сергей помогал ей, а Виктор рассказывал историю, как некий дядя, приехавший на свадьбу к дочери из деревни, вышел в булочную и заблудился. И самое смешное, что адрес, записанный на бумажке, он оставил в квартире. А дома-то все одинаковые, в новом районе! Вот он и ходил, и спрашивал всех подряд, в каком доме справляют свадьбу. А свадьба в этот день в этом микрорайоне справляли целых три...

— Давайте к столу,— пригласила Наташа.

Виктор подошел к столу, принялся и развел руками.

— Императорская выпивка с царской закуской в тесной и дружеской компании советских журналистов. Мне, как бывшему... Георгий Константинович, поближе,

поближе... Предлагаю тост за представительницу лучшей половины человечества! — Он поднял рюмку и повернулся к Наташе. — Знаете, когда я смотрю на вас, начинаю понимать, почему люди стрелялись из-за женщин...

— Выбор оружия принадлежит мне, — встрял Сергей.

— Старик, возьми себя в руки! Ты же знаешь, что я образцово-показательный семьянин. Дернули?

И тут редактор поднялся.

— За женщин не только стрелялись, — сказал он, — но и пили за них стоя.

Виктор и Сергей смутились, но вставать было поздно — они уже выпили.

— Благодарю. — Наташа поклонилась редактору. — Но я не люблю этих старых манер.

Молча пожевали, Виктор налил еще.

— Минутку, — остановил его редактор. — Вы обронили слово «бывший». Я понимаю вас и не обижаюсь. Но и вы должны понять, что я искренне не хотел, чтобы вы уходили из газеты. Болдырев может подтвердить. Когда я просил его переговорить с вами, чтобы помочь...

— О какой помощи вы говорите? — удивился Виктор.

— Хватит вам, ей-богу! — Сергей взял стопку и выпил.

Виктор тоже выпил.

— Так я что-то не улавливаю, что вы хотели мне передать... — сказал он, глядя на редактора.

— Да кончай ты! — опять вмешался Сергей. — Наташе совсем неинтересны эти разговоры.

— Ты прав, старик, как всегда. Умница.

И Сергей понял, что Виктор обо всем — или о многом — догадывается. Ему сделалось не по себе.

— Нет, почему же неинтересны? — сказала Наташа удивленно. — Очень даже интересны, говорите,

— Перенесем диспут о свободе совести и вероисповедания на другой раз. Как это говорится?.. В доме, где есть труп, не рассуждают о причинах низкой рождаемости.— Виктор положил себе селедочную голову и стал тщательно разбирать ее.

Но редактора уже было не унять. Ему нужно было доказать, что он ничего не имеет против Новикова. Он даже высоко ценит его, как журналиста и честного, принципиального человека. И только его нежелание понять, что газетчик еще и дипломат, хотя и не состоит в штате МИДа, привело к тому, что он не работает в «Красном пролетарии»...

— Вы не верите либо не хотите верить, что в данном случае равнозначно,— говорил редактор немножко хмельным, не очень твердым голосом.— Наши с вами отношения были... несколько натянутыми, это так, однако с моей стороны... Более того, я всегда и всем ставил именно вас в пример...

— Бросьте,— сказал, не выдержав, Виктор.— При чем тут я? Ведь вы сами не верите тому, что говорите. И давайте не будем на эту тему, спать хочется.

— Пусть Болдырев скажет...

— Не нужны мне свидетели. Я пришел в этот дом, чтобы посидеть, выпить, пообщаться с приятелем, посмотреть на красивую женщину, а не разбираться в наших с вами взаимоотношениях. Да и разбираться не в чем: вы сами по себе, я сам по себе.— И Наташе: — Извините.

— Ну что ж,— поднимаясь, проговорил редактор.— Мне остается поблагодарить вас за откровенность, а Сергея Александровича за гостеприимство.

— Зачем же так-то! — сказал Виктор.— Деловые люди должны по-деловому подходить к решению спорных вопросов. Посидели бы еще, если, разумеется, хозяйка не против, обсудили бы международное положение...

Наташа едва не прыснула от смеха, а Сергей до того был напряжен, взвинчен, что даже не заметил иронии в словах Виктора, и стал всерьез уговаривать редактора, чтобы тот остался.

— Стоит ли обижаться, Георгий Константинович? Мало ли что бывает на работе! Сейчас примем еще по одной...

— Всего хорошего,— сказал редактор и, поклонившись Наташе, пошел из комнаты.

Сергей вышел следом за ним, чтобы проводить. В прихожей он снова пытался уговаривать его, однако редактор не проронил больше ни слова. Молча оделся и ушел не попрощавшись.

Сергей вернулся в комнату и сел на оттоманку. Наташа стояла, прислонившись к стене, и теребила пуговицу на блузке. Виктор налил себе водки и выпил. Подумал и выпил еще. Назойливее обычного стучал будильник.

— Такие, следовательно, пироги, старик,— сказал Виктор. Он неохотно поднялся.— Поползу. В гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше.

Наташа сняла передник, аккуратно сложила его и положила на стул. Потом тоже пошла одеваться. Сергей не шелохнулся. Он понимал, что его система лопнула по всем швам. Нет, не лопнула — она, как искусно взорванный ветхий, ставший ненужным дом, медленно оседала, и над грудой битого кирпича, заслоняя солнце и свет, поднималась густая, горькая пыль...

Хлопнула дверь, и сухо щелкнул замок.

* * *

Виктор с Наташей молча спустились по лестнице и молча же миновали двор. А когда вышли из-под арки, Наташа, взявши Виктора за рукав, проговорила с тревогой и печалью в голосе:

— Как это все мерзко, гадко...

— Вы зря ушли,— сказал Виктор.— Ему сейчас очень плохо. Он ведь просто запутался. Если бы сволочь какая-нибудь или бездарь... Жаль мне его, Наташа,

— А мне нет.

— Его испортил этот тип.

— Но разве можно испортить взрослого человека?..— Она усмехнулась и покачала головой.

— Можно. Еще как можно. Сергей ведь ни черта лысого не видел в жизни. Прошел элементарный курс обучения и возомнил, что познал истину в конечной инстанции. А этот Георгий Константинович прошел все. Болдырев, Болдырев!.. Он учуял в нем слабого, податливого человека и решил слепить марионетку. Такие типы, Наташа, окружают себя именно слабыми, безвольными людьми, чтобы рядом с ними казаться гигантами. Он же не дурак, не-ет. А Сергею нужно встряхнуться бы как следует, почувствовать себя обыкновенным смертным, а не помазанником Божиим. На землю спуститься...

— Не знаю.— Наташа вздохнула устало.— Мне иногда кажется, что уже ничего не исправить, что он таким и будет всегда...

— Тут многое зависит от вас,— сказал Виктор, беря ее под руку.— Если не все.

— От меня?

— Именно. Он любит вас, и только вы можете повлиять на него. Поверьте мне, я-то знаю Сергея. Только надо гладить его по головке. Идите к нему, Наташа...

— Нет,— решительно сказала она.— Может быть, потом. Сейчас не могу.

XXV

Все воскресенье Сергей прождал звонка, однако Наташа так и не позвонила. Он понял, что и не позвонит. К вечеру решил сам.

Очень долго никто не отвечал, гудки были какие-то необычно спокойные и слишком длинные. Сергей положил трубку и набрал снова номер. И тогда Наташа ответила сразу:

— Слушаю.

А Сергей, как уже было однажды, не знал, что сказать. Он молчал и старался не дышать в трубку.

— Перестань валять дурака. Я ведь знаю, что это ты.

— Здравствуй...

— Добрый вечер.

— Я весь день ждал, что ты позвонишь,— выдал Сергей.

— Ты что же, перестал быть мужчиной? — сказала она.— У меня совсем нет времени, говори скорее, какое у тебя дело.

— Хочу поговорить с тобой.

— Тебе кто-нибудь мешает, ты не один?

— С чего ты взяла?

— Тогда говори.

— По телефону не могу. Приезжай.

— Нет.

— Я очень тебя прошу.

— Нет, Сережа. Я к тебе не поеду.

— Но почему?

— А ты сам не догадываешься?

— Не знаю... Тогда давай встретимся где-нибудь,— сказал он.

Она долго молчала. А Сергей ждал, и было ему страшно снова услышать ее «нет».

— Наташа, ты где?..

— Здесь,— ответила она.

— Давай у моста.

— Ладно,— наконец сказала она.— Я буду там через полчаса.

Сергей издали, когда Наташа выходила из автобуса, увидел ее. И пошел навстречу. Честно говоря, он до последней минуты не верил, что она придет, хотя раньше она никогда не обманывала его. Но то было раньше. Теперь другое. Теперь многое, слишком многое изменилось, и Сергей прекрасно понимал это.

— Ты сегодня какая-то нарядная,— сказал он. И подумал, что вот опять не догадался купить цветы.

— Как всегда.

— И не в духе.

— Угадал.

— Случилось что-нибудь?

Они медленно шли по берегу Невы. Наташа ближе к воде, она заглядывала вниз.

— Не знаешь?

— А ты все-таки скажи, не стесняйся. Я выдержу.

— Господи, какой трагический тон! Мне нечего стесняться. Раз ты этого хочешь... Сережа, ты не такой, каким должен быть человек. Да к тому же мужчина.

— Но я не обезьяна, чтобы подражать...

— Не надо паясничать.— Наташа поморщилась.— Иначе я уйду. В тебе слишком много... Здравого смысла, что ли? Я даже не знаю. Угодничаешь, если тебе это выгодно. Хамишь, если уверен, что хамство останется без последствий. Или я не права?

— Ты продолжай, продолжай.

— У тебя все наперед рассчитано, разложено,— говорила Наташа, а сама думала о другом. Она думала о том, что, несмотря ни на что, любит Сергея и что ей будет трудно расстаться с ним. Это было не раз: она уезжала в командировки, почти наверное зная, что больше они не встретятся, а возвращаясь, спешила к нему.

— Что же ты замолчала? — потревожил ее Сергей.

— Да как-то и говорить не хочется.

— Или нечего?

— Есть, Сережа. Есть. Я вот думаю: ты никогда в жизни не ошибешься — ты разве что просчитаешься. А это страшно. И трудно, наверное?..

Они остановились. Ветер приносил водяную пыль. Солнце садилось. Над куполом собора висело одинокое круглое облако. И было звеняще тихо вокруг, словно они находились не в городе.

— И это все обо мне? — вдруг спросил Сергей.

— К сожалению.

— Предельно откровенно. Но ты, по-моему, преувеличиваешь мои... добродетели,— зло высказался Сергей. И отвернулся.

— Хорошо, что ты хоть частично признаешь свои... пороки,— сказала Наташа, усмехаясь.

— Прости, но я не вижу у себя никаких пороков. А недостатки у каждого есть. И ошибаются все. Или, если тебе это больше нравится, просчитываются.

— Разумеется, Сережа. Никто не станет с этим спорить. Вопрос в том, живет ли человек честно и прямо. Ошибается, делая добро или... зло. Ведь можно и собственные заблуждения возвести в принцип.

— Каждый живет по своим законам,— сказал Сергей.— Согласись, что человек имеет на это право.

— И это я уже слышала от тебя. Да ведь это и не твои, Сережа, слова.— Тихая улыбка скользнула по ее губам.— Иди в лес и живи там по своим законам, а среди людей...

— Наташа! — Он схватил ее за руку.

— Мне больно.— Она высвободилась.

— Извини.

— У тебя плохая программа, Сережа. И в этом главное.

— О какой программе ты говоришь?

— О твоей жизненной. Или у тебя нет программы? Что-то не похоже. Должна бы быть.

— Не знаю, не думал.

— Ты сказал как-то, что цель оправдывает средства. Вот это, мне кажется, и есть твой принцип, твоя программа. Меня не устраивает такая программа. Даже если цель прекрасна сама по себе, человек не имеет права, не должен плевать на окружающих и тем более пресмыкаться...

— А вот это уже лишнее.— Сергей повысил голос.

— Не кричи,— спокойно сказала Наташа.— Я говорю правду, и ты знаешь об этом не хуже меня.— В голосе ее угадывалась грусть об уходящем, о том, что редко, очень редко даруется человеку, а уходя, почти никогда не приходит назад.

— Тебе виднее, только я никогда и ни перед кем не пресмыкался.

— Вспомни, как мерзко ты вел себя вчера! Тебе ни с кем не хочется поссориться...

— Мне работать с ним,— понимая, что Наташа имеет в виду шефа, сказал Сергей.— Тебе легко рассуждать абстрактно...

— Конечно, я ведь живу в вакууме. Ты должен был прямо сказать этому Георгию Константиновичу, кто он есть.

— Я скажу. Даю тебе слово, что скажу!— воскликнул Сергей искренне.

— Дай бог,— вздохнула Наташа.— Мне не очень верится в это, но как бы я хотела ошибиться! Но почему, почему ты не сделал этого вчера?..

Он молча пожал плечами.

— Ты струсил.

Ветер растрепал одинокое облако, и оно, разделившись на мелкие обрывки, понемногу растаяло вовсе, оставив после себя еле заметную дымку в небе.

— Пойми меня, Сережа. Я не собираюсь навязывать тебе своего образа жизни, своих мыслей и убеждений. Люди могут быть вместе, могут, наверное, даже любить друг друга, а думать по-разному...

— Наташа!..

— Подожди, Сережа. Совесть их должна оставаться чистой. А ты можешь, как на духу, сказать, что твоя совесть чиста?..

Погасло солнце. На воде лежала тень от моста, и прямо из этой тени вдруг появился буксир. Он тащился тяжело и медленно, и было видно, как вокруг высокой трубы колыхается горячий воздух. На носу стоял молодой парень в тельняшке, с мегафоном.

— Какой смешной капитан,— сказала Наташа и помахала буксиру рукой.

Парень тоже помахал ей и заулыбался.

— На этой гнилой посудине,— проговорил Сергей,— вся команда полтора человека. Кочегар он, а не капитан.

Откуда-то выплеснулся последний солнечный луч. Коротко вспыхнул на мгновение купол собора. От берега к берегу, пересекая дорогу буксиру, пробежала золотистая тропа.

И смылись дневные краски.

— Ты подумай, Сережа. Тебе есть о чем подумать. И еще ты должен извиниться перед Виктором. Сделай это хотя бы ради меня. А теперь мне пора. Я обещала к восьми быть дома. И не провожай, так будет лучше.— Наташа положила руки ему на плечи и поцеловала в губы.

А он не обрадовался этому поцелую...

Вечер густел, наливаясь темнотой. Вода плескалась о гранит. Буксир дымил уже далеко. Торопливые шаги Наташи замирали в гулкой тишине набережной. Прошел автобус, наполнив вечер треском и запахом бензина. А когда автобуса не стало, когда утих треск мотора, не стало больше слышно и шагов Наташи...

* * *

Идти домой к пустоте Сергею не хотелось. Дома, одному, страшно. Книги, книги. Не надо книг. Не надо

чужих мыслей. Даже очень правильных и очень мудрых мыслей.

А куда деть себя?..

Сергей лихорадочно перебирал в памяти всех, кого бы можно было запросто навестить. Неужели взрослому человеку некуда пойти, когда ему неволею одиночество, когда есть нужда поделиться с кем-то...

Романовы! Только бы застать их дома, они любят гулять.

Он поймал такси, по дороге забежал в гастроном, купил вина, сладостей и, обвешанный пакетами, явился к Романовым. Ему повезло: они были дома.

— Ты откуда? — радостно удивилась Зоя.

— Хочу жрать, — сказал он, сваливая на стол пакеты. — Накормишь голодного мужика, которому некуда деться?

— Что-нибудь придумаем. Сейчас поставлю сосиски.

— О, сосиски! Обожаю сосиски. Скорее давай стакан, выпить хочется, аж душа горит.

Игорь поставил на стол фужеры, и они сели вдвоем.

— Начну верить в приметы, — сказал он. — Буквально пять минут назад мы с Зойкой говорили о тебе. Как живешь-то, окаянная твоя душа? Сколько времени не показываете носа! Рассказывай.

— Вроде не о чем, — проговорил Сергей. Он вертел в руке пустой фужер. — Кстати, вам привет от Виктора.

Пришла Зоя, поставила на стол тарелку, положила вилки.

— Как он? — спросила она.

— Теперь все в порядке. Были небольшие неприятности.

— А Наташка? Ты почему один? Опять в командировке?

— Нацеди, — протягивая Игорю фужер, сказал Сергей. Он залпом опорожнил посудину. — Нет, не в командировке. Расстались у моста час тому назад. Она ушла

в сторону моря...— Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась похожей на гримасу.— А где сосиски?.. Я подохну с голоду, и вам придется отвечать, потому что в вашей квартире найдут мой молодой труп. У вас низковатые потолки. Но это ничего. А вот от центра далековато...

— Сосиски сейчас принесу,— сказала Зоя.— Труп сбросим с балкона. Высоты потолков нам хватает, мой супруг не Валерий Брумель, а от центра ужасно далеко, ты прав. Пока доберешься, можно сойти с ума. Мы в театр поэтому перестали ходить.— И вдруг, без всякого перехода: — Что у вас произошло?

— Сам не пойму.

— Но ведь вы любите друг друга! — изумленно воскликнула Зоя.

— А что есть любовь?

— Не ломайся.

— Ушла она, ушла! Наговорила кучу советов и удалилась. Мавр сделал свое дело... Она, конечно, не мавр. Но и я не мавр, черт возьми! А кто я?..

— Догадываюсь,— усмехнулась Зоя и пошла за сосисками.

Игорь молча скатывал шарики из крошек хлеба. Тикали часы, подаренные Сергеем на новоселье. С гравировкой: «Счастливым тоже надо знать время». Надо, это же совершенно ясно. Зоя принесла сосиски. Хорошо, когда есть сосиски. От них вкусно пахнет. По комнате, важно и неслышно ступая, бродил откормленный, колесный кот. Он не обращал внимания на сосиски. На Сергее тоже.

— Что же вы молчите, мудрецы?

— Осторожнее! — предупредила Зоя.— Не наваливайся на стол, а то развалится.

— Головы летят, что там столы!..— сказал Сергей совсем уже пьяным голосом.— Застрелиться, что ли?.. Не модно. Да и пистолета не найдешь. Слышали бла-

ную песенку: «Крепдешином ты меня не купишь, лаковых ты туфель не найдешь...» А вот в Техасе продают винтовки и даже пулеметы. Техасцы, если захотят, могут объявить войну Вашингтону...

— Сережа, Сережа...— тихо вымолвила Зоя.— Не понял ты Наташку. А ведь она тебя тоже любит.

Он плохо соображал, о чем говорит Зоя. Вообще, что здесь происходит? Какая-то смесь в башке, коктейль. Почему бродит этот лоснящийся кот? Он похож на дельфина. Кот-идиот... Странное созвучие: происходит — бродит, кот — идиот...

— Конечно, она немножко вздорная, это правда...

— И потому плохо кончит.

— Перестань сейчас же!

— Зоя, не вмешивайся ты, ради бога,— сказал Игорь.— Сами разберутся.

— Сами, сами! Ничего они не разберутся. Что я, не знаю Наташку? И Сергей хорош, нечего сказать.

— Все мы хороши,— пробормотал Сергей.— А жить-то надо...—И неожиданно попросил Игоря:— Возьми меня с собой на Памир. Кем угодно, я умею лопатой... Мне надо уехать.

— Правда, Игорь! — подхватила Зоя.— Все равно же набирать рабочих.

— Бежишь? — прищурившись, сказал Игорь.

— Хочу уехать...

— Врешь. Взять-то я тебя могу, не жалко. Только тебе нужно не это. Не Памир тебе нужен, Серега.

— Все равно. Не возьмешь, уеду куда-нибудь еще. На Алтай. Или на Камчатку.

— Смотри, будет трудно. Ты хоть знаешь, что такое Памир?

— Ну... Как это?.. Горная страна, которую называют крышей мира. Высочайшая вершина...

— Я серьезно, Серега,— остановил его Игорь.— Сами горцы чаще называют Памир подножием смерти. До

Душанбе поедешь за свой счет, рабочих я должен набирать там...

Игорь продолжал говорить что-то, но Сергей ничего не понимал. У него кружилась голова. Вдоль стены шли слоны Александра Македонского. Очень хорошо!.. Слоны подошли на Памире, а солдаты Наполеона в русских снегах. Все где-нибудь и когда-нибудь гибнут, это закон природы... Кто сказал, что история не повторяется?..

— А тебя отпустят с работы? — спросил Игорь.

Слоны исчезли. Нет, один лежит на диване. Впрочем, это, кажется, кот, а вовсе не слон.

— Ты правильно решил, — сказала Зоя. — А Наташка будет тебя ждать...

Слоны вернулись ночью. Сергею снилось:

ледник, проще говоря, зеленый ледяной мешок. Вмерзшие туши огромных слонов. Игорь киркой дробил лед. Он хотел из вечного плена освободить хотя бы одного слона. Разумеется, для науки. Ледяные брызги хлестали по лицу. Гулкое эхо стремилось вверх, где далеко-далеко проклевывалось крохотное солнце. К ногам Сергея упал кусок льда. Он наклонился, чтобы взять его, а кусок превратился в Наташу. Она была ростом с пятиэтажный дом, в котором жили Романовы. Она говорила что-то, и у нее был трубный слоновий голос, а горы по многу раз повторяли ее слова. «Памир... мир...ниир...» Игорь киркой — рраз! «Это... то... ооо...» Еще взмах — два! «Подножие... ножие... еее...» Три! Ожил самый огромный слон. Потянулся, чуть шевельнул хоботом, и рухнули ледяные стены, стали оживать другие слоны. Губы Наташи все еще шевелились, она продолжала говорить что-то, но за грохотом падающих гор нельзя было услышать ее слов. «Мяаууу!» — сказал самый огромный слон. «Мяаууу!» — дружно сказали другие слоны, и тогда Сергей понял, что это не слоны, а коты в модных цейсовских очках. Игорь вылез из ледяного мешка и вырубил киркой на скале: «Трест нежилото фонда».

Разбудил Сергея будильник. Он подпрыгивал на втором томе собрания сочинений Томаса Манна. Сергей нажал кнопку, и он утих.

— Приснится же чепуха! — проговорил он вслух и тогда только вспомнил, что упросил Игоря взять его на Памир. Значит, приснилась не совсем чепуха.

Итак, Памир. А почему бы и нет? Перемена обстановки — это прекрасно. И полезно. Сергей стоял под душем, и прохладная вода постепенно снимала давящую головную боль. Он здорово напился вчера. Не помнил даже, как добирался домой. Кажется, провожал Игорь. А потом, уже возле самого дома, его задержали дружинники. Они отвели Сергея в свой штаб в подвале соседнего дома, а начальник штаба оказался знакомый, пенсионер из третьей парадной, любитель изящной словесности и коллекционер значков. Сергея привели домой, а что было дома, он не помнит. Провал какой-то в памяти. И страшно болит голова. А какое замечательное слово: «Па-мир»...

Сергей сварил крепкий кофе. После второй чашки стало почти совсем хорошо. Он побродил по квартире, попробовал даже читать, но строчки бежали куда-то, бежали мимо сознания. Он бросил книгу и приказал себе уснуть. Кажется, он и задремал.

Его поднял телефонный звонок. Звонила Наташа.

— Сережа, извини, — сказала она. У нее был странный, как будто плачущий голос. — Сегодня ночью умер отец. Я звонила тебе, ты не ответил... — Она всхлипнула. — Если можешь, прнезжай. — И положила трубку.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ



Глава I

В тот год, едва успели отсеяться, заболела Евдокия Ивановна. Последнее время она вообще часто хворала, но все-таки держалась на ногах, не жаловалась никому и не показывала своей слабости, а тут слегла. Осунулась вся, пожелтела, лицо с кулачок сделалось, руки — тоньше хворостинки, а вот ноги распухли, отяжелели — не поднять. Однако в город, в больницу, Евдокия Ивановна ехать отказалась, а фельдшеру, который уговаривал, сказала:

— Дома-то, бог даст, поправлюсь, не впервой, а в больнице той залечут доктора вовсе.

— Повлияйте на супругу, ей непременно надо в больницу,— обратился фельдшер к Федору Тимофеичу.

— Что я! — отмахнулся тот.— Как сама хочет.

А на деревне сплетничали, что Федор-то Тимофеич будто бы ждет не дождется, когда жена помрет, освободит его, чтоб мог он молодую в дом привести. И то правда, судачили бабы, для которых не свое горе — не горе, столько годов мужик мается с хворой! Оттого, видать, и пьет сильно. Известно, что в дому все на бабе держится, куда ни поверни, всюду баба нужна, ее сноровка и умение, потому мужнюю жену и зовут домовной, а от хворой бабы какой же толк?.. Одни сплошные заботы мужику и никакой радости, и никакой утехи.

На деревне все и всё про всех знают, знала и Настя о таких разговорах, но всерьез их не брала, думала: «На чужой роток не накинешь платок, пусть судачат себе, раз интересно, материной жизни не убудет, а вот уж поправится маманя...»

Только не поправлялась Евдокия Ивановна, день ото дня делалось ей хуже и хуже, вполовину ссохлась, точно съежилась, по ночам совсем не спала, стонала, тяжело ворочаясь на печи. Однажды, позвав Настю, заговорила с ней:

— Помру я скоро, дочушка, вот оно как...— А сама с надеждой смотрела на божницу и беззвучно шевелила сухими, воспаленными губами, выпрашивая у бога не себе здоровья и продления жизни, а какого возможно счастья для детей.

— Что вы такое говорите, маманя! — укорила ее Настя.— Грех это.

— Греха тут нет,— молвила Евдокия Ивановна,— все помрем. Не боюсь я ее, смерти этой. Давно бы мне на том свете быть, а за тебя боязно, дочушка. Замуж вот не успела отдать, как жить-то станешь?.. Худо тебе с отцом-то будет...

— Ну что вы, маманя! Поели бы чего, я крупени наварила.

— Одна я все про нашего отца-то знаю. Бил он меня по молодости смертным боем. Ох как бил, господь его простит... Может, оттого и хвораю я сделалась. Взял-то он меня из Анисовки, назло другой взял, а послая всю жизнь каялся, вот оно как... Не сужу его, сама тоже виноватая. Не надо было идти за него, потому знала про ту, другую. Люб он был мне, дочушка, так люб, что мочи моей не было.— Она вздохнула, хотела пере-креститься, да сил не хватило, чтобы руку поднять.— А ты уезжай к Андрею. Как помру, сразу и уезжай. Он в городе устроился и тебя куда-нибудь пристроит. Иди ближе, кровинушка моя, дай-кось я тебя поцелую...

— Зачем вы раньше время про это заговорили? — сказала Настя.

— Как бы поздно не сделалось, девоня. Ты отпиши-ка Андрею, пусть приедет, хочу повидать его напоследок, проститься.

— Отпишу...

— И ладно, — проговорила Евдокия Ивановна. — Ступай себе, устала я.

Старший брат Насти, Андрей, в прошлом году уехал в Ленинград. Услыхал, что там можно на завод устроиться, и уехал. Не любил он крестьянской работы, тяготила его земля, даром что в деревне родился и вырос.

— Блыкун, чтоб тебе!.. — шумел Федор Тимофеич. — В материну родню, видать, пошел. Ишь, на даровые хлеба потянуло. А вот я тебе!..

Пустые были угрозы: Андрей повыше отца вымахал, да и силой его бог не обидел. Уехал он против воли Федора Тимофеича, Евдокия Ивановна в душе тоже не одобряла поступок сына, но ей-то хотелось одного — чтобы дети в счастье и радости жили, раз самой счастья ничуть не досталось. Смолчала она, а теперь даже радовалась, что так все вышло, потому что после ее смерти будет куда и Насте податься. Город, конечно, не дом родной, в городе ничего своего у людей нету, все надо за деньги покупать, но живут же другие, не помирают с голоду. Даст бог, и Настя с Андреем не хуже других проживут.

Насте шел восемнадцатый годок. Уж так оно случилось, что именно в то лето, когда слегла Евдокия Ивановна, Настя и расцвела. Куда только подевалась недавняя острота в плечах и коленках, отчего казалась она угловатой и неуклюжей. Вдруг стать девичья в ней объявилась, походка сделалась неспешной, словно бы нарочно Настя так ходит — пусть люди смотрят, какая она из себя красивая, видная. Не портили Настино лицо даже веснушки, хоть чего только она не делала, чтоб

свести их! Не выводились. И руки у Насти удались не для крестьянской работы — пальцы длинные, тонкие, такими руками, смеялись парни, мужиков ласкать, а не в земле ковыряться. Настя краснела, слушая парней, но и приятно ей было, так приятно, что сердце щемило.

Все заботы по хозяйству, которые обычно справляла Евдокия Ивановна, теперь легли на нее. Да это бы и ничего, здоровьем Настю бог тоже не обделил, и никакая работа, хоть и самая тяжелая, не пугала ее, но со всеми делами одной управляться было трудно. А отец в доме помогал мало. За день Настя до того устанет, до того намается, что к вечеру лишь бы до сеновала добраться (в избе она летом не спала, — мать громко стонала и кашляла сильно), лишь бы прислонить куда голову и закрыть глаза...

А раньше, покуда Евдокия Ивановна не слегла совсем, Настя, освободившись от дел, бегала на гулянки, веселилась с девками, миловалась потихоньку с парнями, плясать и петь была горазда. Теперь вот пришлось забывать об этих радостях и утехах.

— Плюнь, дочушка, — жалеючи ее, говорила Евдокия Ивановна. — Всех делов на свете не переделаешь, все одно недоделанные и после тебя останутся, а годы-то молодые пройдут, и не заметишь как...

— Ничего, маманя. Вы не беспокойтесь, отдыхайте.

— Кончились, видно, мои отдыхи. А ты сходила бы на гулянку, вон как поют, слышь?..

Все слышала Настя, а в особенности гармошку, которая бередит душу, зовет выйти в круг. Девки с надрывом пели частушки:

Мой миленок — как теленок,
Только веники вязать.
Проводил меня до дому
И не мог поцеловать...

— Кто это так заливаётся — Фроська, что ль? — спрашивала Евдокия Ивановна, прислушиваясь.

— Фроська, кто ж еще.

— Ишь, голосище-то бог дал. Ступай и ты к ним, дочушка.

— Ладно, маманя.

А сама — на сеновал. Не до гулянок Насте — тело отдыхает просит, и ноги гудят. Вышла на двор, а тут как раз парни, заглушая девок, с хохотом запели скорожное, отчего кровь у Насти прилила к лицу и сделалось ей стыдно. Но, по правде сказать, стыдно не очень, только чуть-чуть...

Ближе к полночи веселье затихает, и Настя, закрыв глаза, видит, как расходятся парни с девками по своим укромным местам, хоронясь в тени заборов. И жалко становилось Насте себя, торопливой молодости, хотелось плакать от обиды и жалости, хоть и понимала она, что жалеть-то надо не себя, а мать.

Усталость, однако, брала свое, и Настя засыпала, утомленная работой и переживаниями, а пробуждаясь утром, чуть свет, бежала она к колодцу, ополаскивалась студеной водой, которая мигом прогоняла сон и утреннюю лень, и чувствовала, радуясь, как молодое ее тело наливается свежей силой, жаждой жизни и работы. Хотелось бежать, разбросав руки, далеко-далеко, за поля и леса, плотно обступившие Ореховичи, бежать без оглядки, куда хватит сил, но нужно было доить корову и выгонять ее в поле, кормить поросенка и кур, чистить в хлеву, затоплять печь, поливать грядки в огороде...

— Потерпи, дочушка, — скажет Евдокия Ивановна, успокаивая не столько Настю, сколько себя. — Бог все видит, все помнит и в своей милости господней не оставит, не забудет тебя. Оно так.

— Да что вы, маманя, все одно и одно. Не думайте.

— Если можно было не думать-то, — вздыхает Евдокия Ивановна.

По-своему жалел Настю и отец. Однако жалости сво-

ей не показывал. Был он строгий, неразговорчивый, просто слова никогда не молвит, только по делу, а чтобы приласкать хотя бы и дочку или посочувствовать кому, этого за Федором Тимофеичем сроду не водилось. Понимал, что трудно Насте, что рано на нее заботы бабки свалились, но тут уж ничего не поделаешь, раз девкой родилась. Замуж выйдет, детей нарожает — еще труднее достанется. Да и дома-то Федор Тимофеич бывал мало. Если не в поле работает, так плотничает где-нибудь. Плотник он был отменный, каких поискать. Работы у людей не просил, люди сами за ним ходили, лишь бы не отказал. А по праздникам пил здорово и, пьяный, зверел прямо. В деревне каждый знал, что к нему пьяному лучше не подступаться. Дома, случалось, тоже куражился, а Евдокия Ивановна терпела, никогда пьяному ему слова поперек не молвит. И Настю учила: «Пьяный мужик как бык делается. Ему и красное не нужно, одно слово скажи только!.. А ты не надо, ты — лаской. Глядишь, и поутихнет, спать ляжет...»

Бывали дни, когда Евдокии Ивановне становилось заметно лучше, она сползала с печи, выходила на двор, радуясь солнцу и свету, пыталась даже помогать Насте, но работа валилась у нее из рук, сил не хватало, чтобы назад на печь залезть...

* * *

Незаметно, в делах и заботах, минула теплая, с хорошими грозowymi дождями весна, обещая сытость земле и обильный урожай, какого не было уже несколько лет. Кто победнее, еле концы с концами сводили, хлеба едва на зимние месяцы хватало, а там молодой крапивой и лебедой питались, покуда на огороде что подрастет. Картошку скотине скармливали, потому что в скотине вся жизнь, а без нее никуда.

И пришло лето.

Травы поднялись густые, сочные, грузные по утрам от тяжелой росы. Наступила пора сенокоса. Андрей все не ехал, хотя в ответ на Настино письмо написал, что обязательно приедет.

А тут еще беда приключилась — перед самым сенокосом Федор Тимофеич поранил топором руку, так что косить пришлось Насте.

Дело это не бабье, а деваться некуда, помощи ждать не от кого, потому что каждый спешит заготовить сена для своей коровы. И ждать нельзя: время упустишь — останется Чернуха без корма на зиму.

На сенокосе-то Настя бывала, помогала родителям с малых лет — сгребала, ворошила траву, а вот косить ей не приходилось. У мужиков трава вроде как сама торопится под косу попасть, а Настя изнемогала от этой с виду веселой, красивой работы. Коса то и дело втыкалась носком в землю, хотя делянка ровная. Не работа, сплошное мучение. Пройдет Настя ряд, оглянется назад и видит, как колышутся на ветру, распрямляясь, нескошенные островки. Слезы выступают на глазах, от горькой обиды хочется закинуть косу куда подальше, чтобы не видеть ее, броситься на землю и реветь... А пореветь-то и некогда. Работать надо, спешить, чтобы трава не полегла, не иссохла на корню от зноя, не перестарилась. Хоть бы отец пришел, думала Настя. Словом помог бы, своим присутствием. Но Федор Тимофеич не приходил — запил он с досады, а уж это на неделю, никак не меньше. Дня четыре обычно он пьет без роздыху, а после отсыпается и отпивается рассолом. Настя не сердилась на отца, понимая, что и ему нелегко, а все же и обида брала: у всех сенокос — праздник, все не нарадуются, что травы в этом году такие густые и такие сочные, а для нее — горе, мука мученическая. Зная, что сейчас нельзя быть дождям — пропадет, сопреет вмиг непросохшее сено, — Настя нет-нет и ловила себя на том, что ждет и хочет дождя как избавления...

Первый день она до того устала, что к вечеру и рук было не поднять. Раньше, чем закатилось солнце, она легла спать. А спала она тут же на делянке, в шалаше. Утром проснулась вместе с солнышком и долго лежала, слушая, как пробуждается новый день. А пробуждался он с птичьего пения, и Настя думала, что птицы из всех животных самые неустомимые, самые трудолюбивые. Все спят еще, нежатся по своим логовам и норам, а птицы уже деток накормили и, радуясь солнцу, учинили веселый, разноголосый гам.

Настя тоже радовалась солнцу, которое пробивалось в шалаш сквозь щели, радовалась птичьему разноголосью, ей совсем не хотелось думать о предстоящей тяжелой работе, о вчерашней усталости, о больной матери, которой, по всему видно, остались считанные денечки, а думалось ей о будущем счастье и о чем-то таком, отчего трудно было дышать и появлялся звон в ушах. Полежав, покуда не отошла ночная истома, она поднялась, сходилла к ручью, умылась, выпила холодной простокваши и принялась за работу. Один ряд прошла — утренняя, росная трава поддавалась легко, — остановилась передохнуть и тут услышала за спиной чужой голос:

— Здорово живешь, Настюха.

Она вскрикнула и, отступая, больно ушибла палец о корневище.

— Не бойсь, это я, Василий.— Он протянул руки, чтобы поддержать Настю, а она, прыгая на одной ноге по колючей кошанине, чуть не плакала от боли.— И чего ты так напугалась?..— сказал Василий и покраснел густо.

А был он мужик не мужик, раз неженатый еще, но и не парень вроде, лет двадцати пяти. Девки давно перестали загадывать на него свою судьбу, а бабы, бессовестницы, болтали нехорошо, будто он к женитьбе не способный вовсе, ребятенков делать не может. Болезнь у него будто какая-то.

— Правда, напугалась,— улыбаясь сквозь слезы, сказала Настя.— Откуда вы здесь взялись, Василий Митрич?

— Домой ходил, шел вот обратно...

— А крюк-то какой дали!

Чтобы попасть на делянку Трофимовых, совсем не надо продирааться через заболоченный ольховник и лишний раз переходить речку. Этот путь получался вдвое длиннее, чем напрямую, берегом.

Василий, прищурившись, воззрился в небо, словно увидел там что-то необычное. Настя тоже посмотрела на небо.

— Приснилось деду Ивану,— сказал Василий.— Не будет сегодня дождя.

— Непохоже,— согласилась Настя.

Небо было чистое, ослепительное на солнечной стороне и голубое-голубое, если повернуться к солнцу спиной.

— Деду Ивану завсегда в ведро дождик чудится, а когда если перед дождем — ему ведро мерещится,— сказал Василий.

— Обманывают его кости, видать.

— То-то что обманывают. А ты, гляжу, негусто накосила.— Василий оглядел делянку.

Опустив глаза, Настя увидела, что ноготь на большом пальце, которым ушиблась о корневище, посинел. А из-под ногтя сочилась кровь. Но боли она уже не чувствовала.

— Сколь глядел, все ты мучаешься,— сказал Василий.

Если бы на месте Василия был кто-то другой, не сдержалась бы Настя, наговорила бы неласковых, обидных слов, чтоб не лез с ненужной жалостью, когда не просят. А с Василием состорожничала, не посмела ему грубить. И оттого, что он много старше ее, неловко и совестно прогнать с делянки, как прогнала бы любого

деревенского парня, и оттого, конечно, что Трофимов он, сын Митрия Пантелеича, самого крепкого мужика в Ореховичах (может, и не только в Ореховичах), которого боялись и уважали в деревне все. Больше-то боялись, чем уважали. А главное оттого, что нравился Василий Насте, хотя никто не догадывался об этом, вызывал в ней, когда она близко видела его или разговаривала с ним, непонятную робость, стыдливость. С другими парнями ничего похожего не бывало.

— Федору-то Тимофеичу все немогется? — спросил Василий.

— Руку же он поранил.

— Ведь вот же как, не ко времени беда пришла.

— Беда всегда не ко времени, Василий Митрич.

— Так оно есть, что верно, то верно. Дай-ка я попытаю твоей косой.— Он наклонился, поднял брошенную Настей косу, провел ногтем по лезвию и, покачав головой, сказал:— Притупилась сильно.

— В землю втыкается.

— А ты носок-то задирай чуть, тогда и не будет втыкаться. Ничего, сейчас мигом направим.— Василий достал из кармана завернутый в тряпицу брусок, поводит по лезвию и, спрятав брусок обратно в карман, подмигнул Насте: — Отыдь-ка в сторонку, Настюха.

Она отошла.

Василий поплевал на ладони, вздохнул шумно, размахнулся, и коса молнией сверкнула на солнце, зазвене-ла тонко и протяжно в сильных руках. Звон этот был нежен и чист.

Легко и свободно, точно играючи, укладывал Василий сочную пряную траву ровными, один к одному, пластинами, быстро продвигаясь в конец делянки. Настя смотрела, любуясь неволью, как напрягаются, перекачиваются под загорелой смуглой кожей тугие мускулы, и — против воли — думала со стыдом, как должно быть приятно и сладко обниматься, тешиться с ним... А когда

Василий, кончив ряд, повернул обратно, Настя застеснялась, отвела глаза в сторону. Даже на расстоянии она явственно слышала терпкий запах его ладного, налитого здоровьем и нерастраченной силой тела, и ей нестерпимо хотелось подойти к нему, аккуратно стереть с его лица и шеи пот, прижаться тесно и не отходить...

Василий без роздыху, единым махом, прошел четыре ряда — ряды-то у него получались вдвое шире Настинных,— повесил косу на сук, отерся тряпичей и, напившись из туюска, который поспешно подала ему Настя, сказал:

— Ты вот что, ты вороши покуда накошенное, чтоб не слежалось, а я послая еще приду, подмогну тебе, раз такое дело вышло. Глядишь, и управишься не хуже других.

— Не надо, зачем, Василий Митрич...

— Ну сказала тоже!.. Люди должны помогать друг дружке, а иначе-то как же? Сегодня я подмогну тебе, а завтра, бог даст, ты мне подмогнешь. Так оно и живется людям ладно.

— Спасибо вам на добром слове.

— Спасибовать после будешь, чего там.— Василий махнул рукой и пошел прочь, шумно продираясь сквозь густущий ольховник.

На вторую ночь Настя снова осталась ночевать в шалаше, хотя еды было у нее мало. Да и родители могли беспокоиться. Если что, решила она, можно сказать, что сильно устала. И вообще, покуда утром встанешь, покуда добежишь до делянки — не близкий свет, почти пять верст,— солнце подыметя, роса обсохнет, а по росе косить куда сподручнее. И сено лучше.

Страшновато было одной, и Настя, забравшись в шалаш, прислушивалась, ловила всякий шорох, хруст ветки, а сама старалась дышать тихо и ровно, чтобы ее дыхания не было слышно. Она уже начала задремывать, когда послышался треск кустов. Настя села и насторо-

жила, вся в ожидании... Вдруг сделалось тихо-тихо и раздался голос Федора Тимофеича.

— Ты где, Настасья?..

— Здесь я,— откликнулась она.

Отец нагнулся, заглянул в шалаш.

— Будто бы еще кто-то шел...— сказал он, осматриваясь.

— Не слыхала.

— Почудилось, значит. А ты чего это вторую ночь домой не являешься?

— Далеко ходить, тятя,— сказала Настя и выбралась из шалаша.

— Оно так,— проговорил Федор Тимофеич.— Устала сильно?

— Не очень чтобы, только руки ноют.

— С непривычки всегда так. А я гляжу — у тебя дело шибко подвигается, молодец ты, Настасья.

— А как рука, тятя?

— Болит, язвн ее в душу!

— Мамаля ничего?

— Ничего вроде... Я вот тут еды принес,— сказал Федор Тимофеич и поставил на пенек у лаза в шалаш узелок.— Мы с матерью так и подумали, что не придешь. Не страшно одной-то?

— Чуть,— ответила Настя, отчего-то смутившись.— Людей поблизости много, чего. Там Перуновых делянка, там — Трофимовых...

— Перуновы-то оно конечно, а у Трофимовых зимой снегу не допросишься, не то что заступы от них дожидаться. Ну здесь-то тихо, не озоруют вроде. А может, остаться мне с тобой?

— Не надо, тятя,— сказала Настя.— Вы к мамане ступайте, ей самой с печи не слезть.

— Ослабела мать совсем,— вздохнул Федор Тимофеич. Он после запоя обычно бывал добрый и жалостливый.— Где у тебя коса? Отбить бы ее надо.

— Да как же вы с одной рукой, тятя? И темно уже. Я утром попрошу кого из Перуновых, хоть бы и Григория Иваныча...

— Давай, давай, попытаю.

Настя принесла косу. Помучившись, Федор Тимофеич все же отбил и направил ее, потом выкурил сигарку, обошел, заглядывая в ближние кусты, делянку, словно хотел убедиться, что никого чужого здесь нет. Уходя, наказал Насте:

— Смотри тут. Если что, кричи громче — Перуновы прибегут. Завтра дед Иван обещался тебе помочь.

— Ладно, тятя.

— Смотри, — повторил Федор Тимофеич.

Настя выждала, покуда не стало слышно отца, и залезла обратно в шалаш. Но не ложилась, а сидела, будто чего-то ждала, хотя и не знала, чего именно. Или знала, надеялась, но не хотела признаваться в этом, боялась.

Уже холодно сделалось, над делянкой повиснул пахучий синий туман, заросли ольховника тесно обступили шалаш: когда туман шевелился, потревоженный ветерком, казалось, что надвигаются кусты. Страх мало-помалу одолевал Настю, и она пожалела, что отказалась, чтобы отец заночевал здесь. Прошло, может, полчаса или час, как ушел отец, ночь наступила, когда совсем близко послышался осторожный шорох. Настя напряглась, затаила дыхание...

— Настюха, — позвал Василий шепотом.

У нее кровь бросилась в голову.

— Настюха! — чуть громче повторил Василий.

Она не стала таиться, не стала притворяться, что не слышит его зова, как оно должно было бы девке, но тотчас и тоже шепотом ответила, чувствуя сухость во рту:

— Здесь я...

Василий, пригнувшись, пролез в шалаш, и Настя обхватила его могучую шею, повиснув на нем. Теперь она

хорошо слышала, как бьются два сердца, а острый, солоноватый запах пота щекотал в носу.

— Настюха...

— Милый, милый ты мой,— шептала она.

— Ждала? — спросил Василий.

— Ждала...

— Федор Тимофеич не уходил долго. Похоже, он слышал меня.

— Пусть,— сказала Настя, теснее прижимаясь к Василию.

— Ну, ну...— растерянно бормотал он, не зная, что говорить, не умея словами выразить свою радость.— Ты... Какая ты!

— Какая?

— Сладкая,— стыдливо сказал Василий, снимая ее руки со своих плеч.

— Обними,— сказала Настя.— Сильнее, еще сильнее. Милый...

— Больно же тебе.

— Хорошо.

Ей было так хорошо, как не бывало еще никогда, но и страшно тоже. А все равно не хотелось думать, что будет потом, завтра или послезавтра, когда узнают родители и вся деревня, хоть и понимала Настя, что ни ее отец с матерью, ни тем более Митрий Пантелеич и мать Василия, ни сестры его — никто-никто не одобрит ихней любви, не благословит под венец на долгое счастье. Куда там!.. Трофимовы — первые люди в Ореховичах, им вовсе не с руки родниться с Ванеевыми, брат в невестки девку, за которой не дадут большого приданого. Но главная беда и не в этом даже. Теперь, когда повсюду колхозы начинаются, Митрий Пантелеич, может, и столкнулся бы с Федором Тимофеичем, но с давних пор была между ними вражда. Митрий Пантелеич привык, что всякий первый кланяется ему, всякий за честь считает, когда он руку подаст, а Федор

Тимофеич никогда первый не раскланялся с ним и иначе, как мироедом проклятым, кулаком и кровососом, не назвал его. Добро бы еще заглазно — так-то вся деревня Трофимовых называла, — а то ведь и в глаза прямо брякнет, да еще и посмеется при этом. А все потому, что не чувствовал себя в зависимости от Митрия Пантелеича, всегда мог прокормить семью плотницким ремеслом. Но к тем же Трофимовым не ходил, сколько его ни звали. Евдокия Ивановна, случалось, упрекала мужа, говорила, что не в меру гордый он, что нельзя так-то жить, мало ли что завтра будет, а он твердил свое: «Плевать я хотел на Трофимовых! Пушай они мне кланяются, а от меня хрен с лыком дождутся». В последнее же время, когда заговорили о колхозах и о том, что скоро уже и в их глухие края придет коллективизация, Федор Тимофеич стал просто издеваться над Трофимовыми, радуясь, что раскулачат их и станут они наравне со всеми работать на одном поле. «Доберутся до ихних закровов! — шумел он, когда выпьет. — Насосались чужой кровушки, мироеды, теперь пушай этой кровушкой общественную землю поудобряют!..»

Не испытывал любви к Федору Тимофеичу и сам Трофимов. Правда, вражды своей открыто не показывал и первым снять шапку, поздороваться не чванился. Но все с улыбочкой хитрой, точно бы, оказывая уважение, знал наперед, что его унижение отомстится в будущем.

Все, все понимала Настя и потому должна бы была умерить свою любовь к Василию, зная, что ничего хорошего из этой любви не получится, но не хотела, не могла она насиловать сердце, не хотела поступиться любовью, которая подарила ей жгучую сладость, какой не знала она прежде и, может статься, не узнала бы никогда, если б не Василий.

«Господи, сотвори так, чтобы не кончалась эта ночь, — в мыслях просила она, лежа рядом с Василием,

уоставшая, истомленная, освященная редким бабьим счастьем.— Любые муки приму, господи, и не возропщу...»

А ночь была укутана в мягкий туман, в котором вязнул всякий звук, и ничего не было видно в двух шагах, только блестели горящие ярким светом глаза Василия и слышалось его прерывистое дыхание, как вдруг — в один миг — туман заколыхался, оживая, стал быстро редеть, сделавшись похожим на редкую кисею и проливаясь на землю обильной росой, и вспыхнуло розовым небо, оповещая о наступлении нового дня.

Солнце вставало ото сна.

— Пора, — заспешил Василий.

— Побудь еще немножко...

— Неровен час, отец проснется, я с вечера не сказал, что пойду.

Он бесшумно, таясь, скользнул в кусты.

* * *

Настя еще не начинала косить, только поела, когда объявился на делянке Андрей.

— Здорово, сеструха, — возвестил он громко.

Насте бы обрадоваться брату, — не виделись ведь долго уже, — обрадоваться и тому, что помощник пришел, а значит, конец ее мукам, а она нисколько не порадовалась. Как же теперь придет Василий?..

— Не ждала? — Андрей обнял Настю. — Никак было не вырваться, не пускали с работы.

— Ты когда приехал-то?

— Поздно вчера, к самой ночи. Отец к тебе ходил. Я хотел сразу тоже сюда податься, да мамаша не пустила, поговорить ей надо.

«Вот если б пришел!» — со страхом подумала Настя.

— А ты, гляжу, не рада, что братан приехал?..

— Что ты, братеня! Как мне не радоваться, подумай сам. Доехал-то ладно ли?

— Нормально доехал,— рассеянно ответил Андрей, пристально, так пристально, что этого нельзя было не заметить, приглядываясь к Насте. Не потому, что он что-то угадал, просто была она какая-то скованная.

— От станции на чем добирался?

— Сперва мужики подвезли — с базара в Дедово ехали, а оттуда пешедралом пер.

— Как же это такую даль!

— Ништо, сеструха. А ты одна натерпелась страху? Медведь не бродил?

— Ох, натерпелась! — вздохнула Настя, точно бы признавалась в этом со стыдом.

— Теперь вместе будем,— бодро сказал Андрей.— Перуновы-то тоже на покосе?

— Где ж им быть? Здесь.

— И Фроська здесь?

— Не лез бы ты к ней, братеня. У нее жених есть, свадьба, говорят, скоро.

До отъезда в город Андрей погуливал с Фроськой, и ее родители надеялись, что они поженятся.

— Старая любовь, сеструха, не ржавеет! — Он подмигнул и рассмеялся.— В городе-то у каждой замужней бабы обязательно есть еще мужик.

— Тыфу на тебя, лопотень!

— Правда, ей-богу, не вру.

— Вот и отстань от Фроськи, найди себе в городе кого.

— Городские девки не столь ядреные, сеструха! — напуская на себя важность, сказал Андрей.— Тощие все, синие, ну точно цыплята дохлые. Прямо подержаться не за что.— Он захохотал.

— Не охальничай, вот расскажу мамане.

— Не буду.— Он скинул рубаху, потянулся сладко, зевнул и, поплевав на руки («Совсем как Василий», — подумала Настя), взялся за косу.

Андрей косил, Настя ворошила и сгребала подсох-

шую траву, а сама все ломала голову, как бы ей предупредить Василия, чтобы не приходил сегодня вечером. Не дай-то бог, обеспокоенно думала она, если столкнутся братан с Василием. Не миновать драки. Василий-то спокойный, мирный, первый ни за что не полезет драться, а вот Андрей... А уж коли дойдет дело до драки, будут они биться не на живот, потому что братан не любит Трофимовых пуще отца. Ну и Василий не жалуется. Да по правде-то говоря, многие в Ореховичах имеют зуб на Андрея: не одну девку он смутил и ввел в стыд. Подкатывался, говорят, он и к младшей дочке Митрия Пантеленча, к Дарье, а Василий будто бы отвадил его, прибить пообещал. Андрей этого не простит, ему бы только причину найти для ссоры, своего он не упустит, нет...

«Разве сказать ему, что домой надо сбегать? — придумывала Настя. — Это бы можно, и дома дело найдется, да вот как на трофимовской делянке объявиться?.. Или ребятишек подослать, чтобы отозвали Василия?.. Нельзя, ребятишки вмиг разнесут по всей деревне...»

Нет большой беды, если Василий придет засветло, пока спать не легли. Увидит, что Настя не одна, и скроется. А не скроется — надумает, что сказать Андрею. Только вряд ли, чтобы он пришел засветло. Дождется, скорее всего, когда остальные спать улягутся. Тоже ведь скрытничать должен, хотя и совсем взрослый мужик. Так рассуждала Настя, не зная, что предпринять, как обмануть брата и Трофимовых. Она даже не заметила, занятая своими мыслями, как пришел дед Иван.

— Бог в помощь, гуси-лебеди! А ты когда успел явиться? — Он удивленно посмотрел на Андрея.

Андрей остановился, смахнул со лба пот и откинул курдюк пышный чуб.

— Бог-то, говорят, бог, да будь сам не плох!

— Балда стоеросовая, — беззлобно проговорил дед

Иван.— Все лазгодишь, блыкун. Как ты тут, дочка? Федор Тимофеич помочь прислал, а ты не одна. Ну да все равно. Миром навалимся — скорее дело пойдет.

— Управимся мы сами.

— Управилась одна баба сама рожать, без мужика, стало быть, а что из этого получилось, знаешь?.. Ладно, ладно, не буду. Ишь, краской-то пошла, словно саму в крапиве нашли. А дело-то, однако, святое и богоугодное.— Он тоже стянул рубаху, привычно, наспех перекрестился и пошел следом за Андреем, в соседнем с ним ряду.

Солнце пекло жарко, и в воздухе стоял непрерывный протяжный звон. Самое время было спрятаться в тени и подремать сладко-сладко. Настю так и подмывало бросить грабли и укрыться от жары в шалаше. Уж больно ей хотелось спать, глаза сами слипались. И все же она с удовольствием ворошила быстро подсыхавшую на солнце траву, пьянея от ее духмяного, чуть горьковатого запаха. Разок ей почудилось, что кто-то идет к делянке напролом через ольховник, она даже замерла в испуге, ясно представив, как Василий еще из кустов, не видя Андрея и деда Ивана, окликает ее, зовет...

— Ждешь кого? — спросил дед Иван.

— Что это вы?..— сказала она дрожащим голосом.

— Смотри, дочка!

— Задумалась...

— Это и есть самое опасное, когда девка задумывается. Ноги побереги, эй! Коса у меня добра, вмиг отхватит по самые коленки.

Настя посторонилась, давая ему простор.

Спустя немного Андрей воткнул косу в землю, лезвием кверху, и объявил:

— Перекур с дремотой. Пойду искупаюсь. Ты не хошь? — спросил он Настю.

— Знаю я твое купание,— сказала она.— В кусты и к Перуновым на делянку?..

— А чего я там днем не видел? — Андрей пожал плечами и пошел.

— Пушай,— проводил его дед Иван.— А ты, дочка, принеси-ка водицы испить.

— Квас есть.

— Все равно, хоть квас, хоть вода.

Она сбегала в шалаш, принесла туесок. Дед Иван напился, вытер губы и, прищурившись, посмотрел Насте в глаза. Она смутилась его взгляда, потупилась.

— Ну, девоня, какая такая забота тебя гложет? Смекаю, ждешь кого-то...

— Да нет же, это вам показалось.

— Стар я уже, потому мне давно ничего не кажется. Я вашего брата, гуси-лебеди, насквозь вижу, как аппаратом. Не хошь говорить, не говори, не насилую. Откроешься — оно, может, и подмогну чем...

Что правда, то правда: дед Иван всегда готов людям помогать, и нет у него врагов и друзей, есть только люди, которые в помощи нуждаются. Зато его любили все и уважали. Жил дед Иван один в старой-старой избе на отшибе, на самом берегу речки, отчего и звался «бережан», и никого у него не было родных. Ночью сторожил деревню, хотя никто его не нанимал в сторожа. Он шутил, что, дескать, все равно ему не спится, костям неудобно лежать: собьются кости в кучу, как в мешке, тыкаются в кожу, того и гляди, дырку сделают. Родни-то у него не было, но едва ли не все в Ореховичах считали его своим родственником по какой-нибудь линии, и он не отказывался. «Если от Адамова ребра счет вести,— посмеивался дед Иван,— тогда я дальний сродственник всем людям, какие только на земле проживают, а вот если поближе брать, когда деревенские бабы, которые детей нарожали и внуков уже выхаживают, когда эти самые бабы еще в девках ходили, тогда получается, что не так уж и дальняя я родня всей деревне...» Ну к этим его разговорам всерьез-то

никто не относился, а когда бы и узналось нечаянно, что кто-то из баб в молодости баловал с дедом Иваном, тоже большой беды не было бы. Все давно простилось деду Ивану, потому что он столько всего и всякого знал про людей, что его грехи молодые, если и были они, выставлять наружу никому не хотелось. А главное, что никогда дед Иван не попользовался тем, что знает, никогда тайны эти во зло не открывал.

— Я вчера Василия Трофимова встретил,— заговорил дед Иван как бы между прочим, для рассказа.— Дождя, спрашивает, не будет? А откуда мне-то знать, а?.. Про то одна небесная канцелярия знает. А может, и никто не знает, потому как есть ли еще она, канцелярия эта, вот вопрос. А после гляжу: чего это Василий не напрямки к себе на делянку пошел?..

И поняла тут Настя, что все знает дед Иван. Еще раньше знал, чем пришел Василий к ней. Все он видит, обо всем догадывается, а не увидит чего — додумает.

— Нельзя ему с братеней встретиться, никак нельзя...— молвила Настя.— Беда будет.

— Да уж нельзя,— согласился дед Иван.— Эх, гуси-лебеди!..— Он покачал головой.— К добру ли это, дочка?

— И сама не знаю...

— Выходит оно, что любовь пришла, коли сама не знаешь. Так и бывает. Что ты будешь делать!.. Сходить, что ли, предупредить?

Настя кивнула молча.

— Схожу, ты не пугайся. А ты подумать — подумай. Как следует быть подумай, слышь-ка! Дело твое, конечно, молодое, вполне мне понятное, и греха тут нет, а что Федор-то Тимофеич скажет, а?.. Он-то не поймет, нет. Не захотит понять, вот в чем закавыка получается. Да ведь и Митрий Пантеленч тоже, хотя тому-то нынче и выгода есть в том, чтобы с вами породниться.

— Какая выгода?

— Своя, дочка. У каждого своя бывает выгода в жизни, ты не забывай про это. Ладно, поотдыхали — и хватит, пора за работу браться.

Глава II

Сразу же после сенокоса Андрей собрался в город. Евдокия Ивановна уж как просила его погостить еще, как умоляла не уезжать, а он ни в какую не остался.

— Нельзя, маманя. На заводе строго.

— Ох, чует мое сердце, что не свидимся больше,— причитала Евдокия Ивановна.— И что тебе в этом городе, жил бы дома...— Она и забыла, что сама же и радовалась тому, что сын хорошо устроился.

— Ты брось, маманя,— бодрился Андрей.— Я вот в городе докторов знаменитых найду...

— Не нужны мне доктора, сынок. Видно, час мой пришел.

Настя слушала Андрея и знала, что никаких докторов он не найдет, да и искать-то не станет. Такой он есть, недаром его хвастуном звали на деревне. Наобещает и забудет тотчас.

Своей лошади у Ванеевых не было, когда надо, одалживались у соседей, а чтобы отвезти Андрея на станцию, Федор Тимофенч одалживаться не хотел, так что брату предстояло чуть не тридцать верст идти до станции пешком.

Настя вышла проводить его.

Было совсем рано, деревня только начинала просыпаться, даже коров еще не выгоняли. По дворам бабы гремели подойниками, пахло навозом и парным молоком. К полдню Андрею нужно было быть на станции, чтобы поспеть к поезду.

Когда они шли мимо дома Трофимовых, отворились ворота и Василий вывел запряженного в тарантас мери-

на. Настя вспыхнула, наклонилась и стала вроде завязывать шнурок на ботинке.

— Здорово, Андрюха,— сказал Василий,— Здравствуйте, Настасья Федоровна.— Он тоже был смущен.

— Здорово, если не шутишь,— ответил Андрей, усмехаясь.— Что это ты сеструху мою столь величаешь?

— А Василий Митрич всегда с уважением,— встряла Настя.

— Знаем мы это уважение.

— Ты никак на станцию собрался? — спросил Василий.

— Туда.

— Тогда залезай в тарантас, вместе поедем. Я тоже на станцию.

Андрей подкинул фанерный чемодан, перехваченный ремнем.

— Ехать — не идти,— сказал весело.— Ну, бывай, сестренка. Если что, отпиши сразу, я тогда мигом.

— Отпишу.— Настя покосилась на Василия. Ей и хотелось, чтобы он обратил на нее внимание, чтобы как-то дал знать, что рад встрече, что ждет не дожидается свидания, но и боялась она этого, потому что брат мог понять их перегляд.

Андрей влез в тарантас, Василий дернул вожжи, и мерин с места взял рысью, отчего брат едва не вывалился. В другой бы раз это рассмешило Настю, но теперь ей было не до смеха. Она стояла посреди улицы, провожая взглядом тарантас, напуганная неожиданно явившейся мыслью, что Андрей, может, нарочно подстроил свой отъезд так, чтобы и Василий ехал на станцию. Она вроде и понимала, что это нечаянное совпадение, мало ли кто и когда ездит на станцию, но почему же, спрашивала себя Настя, брат только накануне вечером объявил, что уезжает?.. Днем еще молчал, а вечером, придя с гулянки, взял и объявил! Не иначе, как вызнал, что Василий тоже на станцию собирается. А ну как он еще

кой-чего вызнал?.. Вот ведь как смотрел на Василия, будто тайна какая между ними есть...

— Проводила мужиков? — спросил дед Иван, тихо подойдя к Насте.

— Уехали...

— Григорий-то Иваныч дал Андрюхе вчера от ворот поворот, ружьем, слышь-ка, пригрозился, вот он и заспешил в город. Не бойсь, не раздерутся они с Василием.

— Ходил, стало быть, к Фроське.

— А то нет! Ступай домой. Корову-то подоила? Скоро выгонять.

— Мамазя сегодня сама.

— Ишь, полегчало как Евдокии. Глядишь, оно и на поправку дело пойдет.

Все знал дед Иван, не было от него тайн в Ореховичах, но, случилось, ошибался и он. Ведь пронюхал-таки Андрей про Василия с Настей — Фроська рассказала ему, как пробирался тишком Василий на делянку Ваневых и как поутру шел обратно. Сам Григорий Иваныч Перунов тоже заметил Василия и строго-настрого приказал дочке, чтобы та прикусила язык. Не то, пригрозил, вожжами выпорот, не посмотрит, что невеста. Велик был страх, а все же не сдержалась Фроська.

Андрей собирался на прощанье сказать Насте пару ласковых слов насчет Василия, но раз получилось так, что с Василием вместе ехать довелось, решил ему высказать все.

Поначалу, как отъехали от Ореховичей, разговора не заводил, болтали о разном, и Василий докучливо выспрашивал про жизнь в городе. Как, мол, там и что, не голодают ли люди, правда ли, что бабы общие, что за штуковина такая трамвай, не опасно ли ездить на нем и много ли в городе лошадей. Андрей охотно рассказывал, привирая, — ему нравилось, когда признавали его превосходство.

— Говорят, работаешь на большом заводе?

— Огромный.

— Не боязно?

— С непривычки маленько есть, а когда пообвыкнешься — ерунда.

— Делаешь-то на заводе что?

— Я по снабжению, — сказал Андрей, не вдаваясь в подробности. Работал он грузчиком на складе.

— А это что такое?

— Обеспечиваем, значит, завод необходимым сырьем и всем остальным, что нужно для работы.

— Выходит, ты вроде как начальником там? — с уважением спросил Василий.

— Как тебе сказать... Начальников на заводе много, один другого главнее.

— Не зря, значит, люди говорят, что в городах, куда ни сунешься, везде начальство. У нас-то покуда что тихо, редко кто наезжает. Коллективизацию вот проведут, тогда другое дело.

— Боишься?

— Отец боится, а по мне так все равно.

— Что так?

Василий не ответил, пожал плечами.

Тут въехали в Дедово, и Андрей предложил прихватить самогону.

— Отъедем малость — позавтракаем.

— Насчет этого строго, — усомнился Василий. — Теперь здесь колхоз, навряд ли достанешь.

— Ништо, я знаю, у кого есть.

Он обернулся мигом и в самом деле притащил бутылку самогону. Километрах в двух от Дедова свернули с большака, Василий кинул мерину сена, сами устроились в тенечке, достали припасы. Пили поочередно из горлышка прямо. Самогон был крепкий, но сильно во-нял чем-то.

— Не иначе, куриный помет кладут, — поморщив-

шись, сказал Василий.— Эти дедовские всегда жуликами были. Им бы подешевле купить и подороже продать.

— На это дело все мастера,— сказал Андрей.— Свою выгоду каждый знает. А ты, говорят, на мою сеструху виды имеешь?.. Болтали же, будто у тебя изъян по этой самой части...

— Больше баб слушай.

— Это ты насчет изъяну или насчет сеструхи?

— Спросил бы сам у Настюхи.

— А я подумал, что с тобой быстрее порешим...

— Может, порешим, а может, и нет.

— Однако заговорил, выходит — правда. Ругаться я с тобой не хочу, не к чему вроде. Ты вот что. Что там было, то быльем поросло, а наперед... Не потому так говорю, что обиду старую припомнил, как ты меня от своей сеструхи отваживал...

— Если б ты всерьез, так и не отваживал бы.

— Это сейчас ты говоришь.

— Вольному воля. Хочешь — верь, не хочешь — не верь,— сказал Василий.

— С этим делом ладно. Правильно сделал, что отвадил. Все равно я не женился бы на ней. А сеструху мою оставь, Василий. Добром прощу.

— Стращаешь?

— Советую.— Андрей взял бутылку, допил остатки самогона.— Не бывать такому, чтобы Ваневы с Трофимовыми породнились.

— Зря ты, Андрюха, затеял. Родители наши волками друг на дружку глядят, а нам-то к чему? Жизнь повсюду новая делается, а мы, выходит, по-старому жить станем? Возьми хоть моих отца с мамашей, смотреть на ихнюю жизнь слезно. Да и твои...

— Моих не трожь.

— Неужто ты зла желаешь Настюхе? Отдадут за муж, не спросив ее, и будет всю жизнь горе мыкать.

— Не нами заведено,— сказал Андрей,— не нам и менять. А ты подумай, я предупредил.

— А мое слово такое: пожелает того Настюха, буду сватать ее.

— Посватай, посватай,— усмехнулся Андрей.— Отец шуганет и тебя, и сватов так, что своих не узнаешь!

— Будет видно,— сказал Василий, поднимаясь.— Поехали, что ли?

Всю оставшуюся до станции дорогу оба молчали.

* * *

Василий с Настей не ходили, как другие парни и девки, на гулянки. Они таились, прятали от людей свою любовь, хотя и знали, что все равно придется признаваться. А сами не признаются — люди скажут. Долго тайну, да еще такую, при себе не удержишь. И то уж подружки интересовались, спрашивали Настю: «Чего это ты вовсе гулянки забросила?»

Лето стояло жаркое, знойное, но не засушливое. Сенкос кончился, прошли дожди, напоили землю, и трава снова пошла в рост. Дружно колосились хлеба, урожай ожидался богатый. Намечались в Ореховичах и свадьбы. Перуновы готовились выдавать замуж Фроську, Григорьевы сына собирались женить, поговаривали, что и Митрий Пантелеич нашел жениха для Дарьи. Евдокия Ивановна, глядя на дочку, вздыхала втихомолку, просила у бога, чтобы жених ей попался хороший и справный, но вслух своей мечты — поскорее выдать Настю — не выговаривала.

С Василием Настя виделась почти каждый вечер.

Сказавшись родителям, что идет на сеновал спать, Настя пробиралась огородом на выгон, там молодым сонником выходила на берег Норовки возле брода и ждала Василия. Или он ждал ее. Парни-то с девками так далеко на свиданки не бегали, миловались поближе к дому, не боясь, что увидит кто-то, а Василий с Настей

боялись чужих глаз. Однако и это убежище скоро показалось ненадежным, и они облюбовали местечко за речкой, у заброшенного хутора. Одна Настя ни за что не осмелилась бы прийти сюда, да еще ночью, с Василием же все ей было нипочем. Хутор этот считали проклятым местом, потому никто и не поселился здесь после смерти хозяина, который доживал бобылем, на деревне никогда не появлялся, а несколько лет назад повесился на воротах. Слухи-то были такие, что его повесили, будто бы с гражданской войны золотишко у него водилось. Жена его давно умерла, еще до революции, а дети — трое или четверо — умирали сразу, как только рождаются. Деревенские ходили сюда с опаской, с оглядкой, дотемна не задерживались, но землю все же использовали. А сам хутор мало-помалу ветшал, прорастал мохом...

Василий брал Настю на руки и осторожно ступал в быструю воду. Суматошная в излучине речка, за что и называли ее Норовкой, сердито урчала, вскипала в ногах Василия, норовя уронить его вместе с Настей, но силенок было у нее маловато. Василий целовал Настю, не поднимая ее, а сгибаясь низко над ее запрокинутым лицом, и она смотрелась в его добрые, ласковые глаза и видела в них себя, счастливую и радостную. А может, и не видела, потому что было темно, просто ей хотелось видеть. Она знала, что это и есть любовь, о какой мечталось прежде как о несбыточном, невозможном и какой — так думалось — вовсе и не бывает в жизни, а просто люди придумали ее в утешение себе и своим горестям. Оказалось, не придумали, раз пришла любовь к Насте. Пришла нежданно-негаданно из мечтаний и снов, заставила позабыть обо всем на свете — и что было, и что будет, — нарушила покой и привычную жизнь. И сколько же силы в ней, господи, подумать и то страшно...

Василий целовал и целовал ее, так что лицо Настиино горело.

— Колючий-то какой,— шептала она.

— Вечером брился,— оправдывался он.

— Пусти, не могу больше,— просила Настя, пугаясь, что он послушается и отпустит.

— А вот не пушу, а вот уроню!..— дразнил Василий, приседая низко, и Настина коса окуналась в холодную воду, вытягивалась следом за быстрым течением, а не тонула, хоть была тяжелая.

— Ой! — притворно вскрикивала Настя, крепче обхватывая шею Василия, тесно-тесно прижимаясь к нему.

— Да нешто я взаправду... Да я тебя, Настюха... Да я тебе что хошь сделаю, на руках всю жизнь носить стану, только скажи...

— Поцелуй.— Она закрывала глаза и вся трепетала в его руках.

— Точно птица,— шептал Василий.

— Я и есть птица, а ты поймал меня,— смеялась Настя.

— Лучше ты меня.

— Где мне!.. Ты вон какой большой, сильный, ты любой силок порвешь. Да и клетки такой не бывает.

Время бежало быстро, быстрее, чем вода в речке, будто кто-то, кто властен над ними и над всем, что их окружало, нарочно подгонял часы, торопил. И занималась над лесами заря, остывшая за ночь земля дышала холодом и сыростью, и сами собой являлись мысли о том, что счастье не бывает долгим. Займется пожаром в сердце, заполыхает жгуче и сладко, а после дымно и безрадостно тлеет, не давая ни тепла, ни света...

От хутора до Ореховичей полтора километра. Туман опускается ниже, ниже, из него небыстро прорастают верхушки деревьев и — раньше всего — островерхая часовня на погосте. Потом на взгорке возникают крыши изб, а если долго смотреть в одну точку, кажется, что деревня плывет. В низине, за выгоном, вьется Норовка, речка неширокая и неглубокая, зато вода в ней чистая,

холодная, как из родника. А вокруг Ореховичей — леса, богатые грибами, ягодами и зверьем.

По осени уходили бабы с ребятишками в леса за орехами, мешками запасали для себя и на базар тоже возили. Потому, должно быть, деревню и прозвали Ореховичами, а жителей — орешниками.

Настя смотрит, как светлеет вокруг, как прибывает из тумана деревня, и грустно делается ей, что пришла пора расставаться с Василием. А век бы не расставалась, хоть бы и жила на этом мрачном заброшенном хуторе...

Она возвращалась домой переполненная сладкой усталостью, томлением, с горящими губами, которые хранили вкус Васильевых губ, и тихонько, чтобы не услышали родители, залезала на сеновал. Теперь бы в самый раз помечтать, лежать бы на свежем душистом сене и складывать в уме будущую свою счастливую жизнь, в которой не достанется места ни горю, ни слезам, чего она много нагляделась, в которой будет сплошная радость с милым и с ребятишками, рожденными от любви, однако Настя не смела о таком думать, страшно ей было и не хотелось обманываться...

Сна оставалось совсем мало, скоро надо доить и выгонять корову, и Настя, прогоняя из головы вообще всякие мысли, спешила уснуть.

Однажды, когда они с Василием возвращались с хутора, у брода их встретил дед Иван.

— А-а, гуси-лебеди,— сказал, точно бы встретился случайно,— Поостереглись бы вы маленько от чужого глаза. Э-эх, чего уж там! — Он махнул рукой и окликнул собаку: — Кузя, пошли.

— Чего это дед Иван?.. — настороженно спросила Настя у Василия.

— Чудит, похоже.

Только не чудил дед Иван, а предупреждал: на огороде Настю дожидалась Евдокия Ивановна.

— Оглашенная, с кем ты спуталась-то, с кем по ночам незнамо где бродишь?.. Аль беду хошь накликасть?..

— Что вы, маманя...

— Не перечь, ослушница, все знаю. Ведь поиграется Василий и бросит, а после что?.. Жить-то как станешь, глупая? Не нужна ты Трофимовым...— На глазах Евдокии Ивановны проступили слезы.— Не девкой и не мужней женой останешься, срам-то, срам-то какой, помилуй господи!

— Он любит меня, маманя,— молвила Настя, опуская глаза.

— Горе ты мое, горюшко. Что из того, что любит? Полюбит, сколько ему в охотку, и перестанет. Ославят же тебя, никто порченую замуж не возьмет.

— Да не порченая я, маманя!

— Поди-ка ты. Это кто ж поверит, ежели с мужиком неизвестно где по ночам швендаешься? Не об том думаешь, вот что.

— А если об том, если Василий замуж меня зовет?

— Из головы выбрось,— сказала Евдокия Ивановна.— Савины, слышь-ка, сватов собираются засылать...

— Нет, маманя.

— Да нешто отец спрашивать тебя станет!

— Все равно не пойду ни за кого, кроме Василия.

— Отца ослушаешься?! — испуганно воскликнула Евдокия Ивановна, ей-то такое и в голову не могло бы прийти.— Или затяжелела?..

— Не знаю.

Побелела Евдокия Ивановна, ноги у нее подкосились, и она, причитая, опустилась на землю.

Так кончилось короткое тайное Настино счастье. И хоть всегда она знала, что придет конец, не миновать этого, а все же и надеялась на что-то. Но потухли, как тухнут летние зарницы, ближние ее мечты и надежды; и осталась горькая, пугающая пустота... Она не ревела, не расканвалась, лежала, зарывшись в сено, словно

мышь, и мысли ее обращены были в прошедшее. Всю жизнь, сколько бы ни было ей отмерено жить, говорила себе Настя, всю жизнь она будет помнить и хранить в сердце эти ушедшие безвозвратно дни и ночи, будет довольна тем, сколько досталось ей от счастья, потому что, догадывалась она, иным людям и вовсе ничегошеньки не достается. Надо беречь хорошее, радоваться тому, что было,— ведь его могло и не быть. А дальше уж как бог положит. И еще говорила себе Настя, словно клятву давала, что, как бы ни сложилась ее судьба, она не пожалеет ни о чем, не укорит хотя бы и в мыслях только Василия, что уступила ему, поддалась его желани-ям...

С этим Настя заснула и проспала до самого обеда, а Евдокия Ивановна не стала тревожить ее, кое-как сама управилась с делами, Федору же Тимофеичу сказала, что дочке неможется.

— Замуж пора, оттого и неможется.

— Рано еще, не погуляла как следует.

— Рано — не поздно,— буркнул Федор Тимофеич.

Вечером Настя никуда не пошла. Да и не могла она никуда уйти — Евдокия Ивановна стерегла.

Василий пришел к ним. Постучался непривычно, по-городскому, а войдя в избу, снял фуражку, перекрестился и поклонился хозяевам. Ваневы сидели за столом, ужинали.

— Проходь к столу,— пригласил Федор Тимофеич неохотно.

— Благодарствую.— Василий присел на лавке возле двери, держа фуражку на коленях. Он поспрашивал, как здоровье хозяйки, зажила ли рука у хозяина, много ли накосили сена, и перевел разговор на колхоз.

— Слышно, будто скоро у нас колхоз будет.

— Хорошее дело,— отозвался Федор Тимофеич.— Коммуной-то жить вроде сподручнее. На миру, говорят, и смерть красна.

— Смерть она всегда одинаковая,— возразил Василий.

— Это я к слову. Чего помирать-то, коли жизнь хорошая идет. Ну, вам-то колхоз ни к чему, ясное дело.

— А мне так все едино.

— Что так-то? — недоверчиво спросил Федор Тимофеич.

— Я как все.

— Так-то и волк себе думает, когда в овчарню лезет. Похоже, Митрий Пантелеич хитрость какую затеял, не иначе.

— Того не знаю,— сказал Василий.— А не всяк волк, который серой масти. Мне отец не указ. Делиться я пошел, вот оно какое дело.

— Вон что!.. А ко мне-то за советом пришел или как?.. Ну, затеял ты... Позор ведь — с родителями делиться. И навряд ли Митрий Пантелеич свое на то согласие даст. Не для того добро наживал, чтобы по ветру пустить. Деленое добро — не добро.

— Не согласится — по закону раздел учинят, я узнавал.

— Закон, оно само собой, только не для всех закон одинаково писан. Ну да дело это ваше, трофимовское, я тут не советчик. Или еще что нужно?..

— С Настюхой я хотел кой об чем потолковать.

— Вон ты куда-а!.. А нечего вам с ней толковать, разные, однако, у вас стежки-дорожки. Ступай себе с богом.

— Я ж по-хорошему, как положено. Сватов зашлю...

— А я и сватов твоих взащей вытолкаю.

— Что ты, отец! — подала голос Евдокия Ивановна, молчавшая до сих пор.— Человек к нам с добрым словом...

— Помолчи, мать! — выкрикнул Федор Тимофеич.— А ты... Уходи, Василий. Это весь мой сказ тебе, другого не будет.

— Опомнись, отец,— опять встряла Евдокия Ивановна.— Гуляют же они, любовь у них...

— Любовь? — закричал Федор Тимофеич.— Еще что-о... Зашибу сукину дочь!

— Утихомирься, отец, дело такое, никуда не денешься. Нечего горячку пороть, обдумать все надо...— приговаривала Евдокия Ивановна.

— Убью стерву! — Он бегал по избе, размахивая кулаками, позабыв о больной руке. Вдруг остановился, набычившись посмотрел на Василия, который стоял у двери.— Кулачье, мироеды проклятые!.. Пронюхали про колхоз, теперь Настасия им понадобилась! Добро им свое за нами укрыть надо, чтоб не отняли!.. А вот выкуси! — Он сложил фигу и протянул Василию.

В избу вошла Настя. Остановилась рядом с Василием.

— А ну, девка, сказывай отцу, что промеж вас было?.. Ну!

Настя пожала плечами.

— Чего молчишь; когда отец спрашивает?..

— Сами знаете, что бывает.

Всего ожидать мог Федор Тимофеич — слез, оправданий, уговоров, но чтобы дочка так легко призналась, чтобы не испугалась гнева родительского... Он растерялся даже. Упала тут Настя ему в ноги, попроси благословения, да хоть бы промолчи она, и смирился бы, может, Федор Тимофеич, зла-то он ей не желал и не хотел, а стремился по-своему как лучше сделать. Не поняла этого Настя, взяла и сказала:

— Все равно за него выйду.

Федор Тимофеич выхватил из-под лавки топор.

— Опомнись! — истошно закричала Евдокия Ивановна, бросаясь к мужу.

— Отыдь, прибью! — Он оттолкнул ее, она упала и закрыла руками лицо.

Василий подался вперед, поймал руку Федора Тимофеича и заломил за спину. Топор вывалился, и Настя ногой затолкала его обратно под лавку.

Силы оставили Федора Тимофеича, теперь и ему сделалось страшно. Он сел на лавку и опустил голову.

— Ничего, ничего,— приговаривала Евдокия Ивановна.— Все как-никак образуется, отец. Ты поостынь маленько, приляг. Кваску, может, выпьешь?

Он кивнул. Она принесла квасу, сама же и напоила и бороду передником вытерла. Умела она успокоить его, научилась за долгую жизнь. Знала, когда приласкать нужно, пожалеть, а когда лучше посторониться и смолчать. Иногда думала, что если бы смолodu не перечила мужу, если бы сразу сумела приладиться к нему, тогда он и не бил бы ее так. А чтобы вовсе мужик не бил жену — этого-то не бывает, другие засмеют.

— Я ли худого ей хочу? — сказал Федор Тимофеич, не глядя на Настю с Василием.

— А ты не думай, оно завсегда так-то бывает, когда молодые полюбовничают... Поостынешь вот, сядем рядком и потолкуем, как оно и что. Глядишь, и сладим дело.

Пожалуй, и сладили бы, но неожиданно пришел сам Митрий Пантелеич. Недобро посмотрел на Василия, но ничего не сказал. Сел у стола, свернул сигарку и, закурив, обратился к хозяину:

— Вот как нынче дети, умнее родителей сделались. Погоди уже, дома я поговорю с тобой! — Он погрозил Василию кулаком: — Зачем девку в смушенье вводишь?!

— Эко диво! — Федор Тимофеич усмехнулся.— Мы на него не в обиде. Вот ведь свататься пришел...

Митрий Пантелеич зыркнул глазами на сына, покраснел густо, однако сдержался, гнева своего открыто не показал.

— Раз такое дело... Выдь-ка,— велел Василию,— мы промеж себя, по-родительски, потолкуем.

— Пойдем,— позвал Василий Настю и взял ее за руку.

— Ступайте, ступайте,— Евдокия Ивановна прикрыла за ними дверь.

— Ну, с чем пожаловал?..— Федор Тимофеич встал с лавки, прошел к столу и сел напротив гостя.

— Справная у тебя девка, хоть куда! Моим-то далеко до нее.

— Да никак и ты сватать явился?

— А что ж,— сказал Митрий Пантелеич медовым голосом, разглаживая бороду.— И посватал бы, кабы Василий...— Он покачал головой, точно сожалел о чем-то.— Характером он вышел злой и на руку тяжел, ежели по совести сказать. Да это бы, может, и ничего, возле такой домовны, как Настасья, кто хошь похорошеет. Однако с изъяном он, кажись... Оно и говорить про такое совестно,— сын же мой,— а надо, коли до такого дошло. Ты вот посуди сам: разве б удержался мужик до таких годов, чтобы не жениться и ребятенков не нарожать, когда бы изъяну по этому делу у него не было, а?..

Евдокия Ивановна насторожилась, угадывая за словами Митрия Пантелеича подвох. А Федор Тимофеич, насупясь, проговорил:

— Не пойму я что-то, к чему ты разговоры эти затеял...

— Так ведь в смущенье же девку вашу ввел, сукья сын!

— Какое там, раз сам толкуешь, что с изъяном Василий. А у Настасьи своя голова на плечах.

— Оно так,— сказал Митрий Пантелеич с облегчением,— а все ж она девка, за мужика не в ответе. Люди же мы, не звери какие. По-хорошему надо, как оно заведено испокон веку. Лошади у вас нет — возьми вот, не

побрезгуй... — Он вынул из-за пазухи пачку денег и положил на стол. — От чистого сердца, не подумай худого.

«Эвон куда выгнул, бес! — подумала Евдокия Ивановна. — Сладко пел...»

Федор Тимофеич медленно поднялся, опираясь руками на столешницу, взял деньги, поигрался бумажками, словно радуясь и не веря, что это ему, понюхал зачем-то и вдруг швырнул в лицо Митрию Пантелеичу.

— Проваливай! — сказал тихо и злобно. — Не то грех смертный возьму на душу. Ты меня знаешь...

— Да брось ты, Федор Тимофеич. Не бабы же мы с тобой, неужто миром не столкнемся?.. Ну, было дело, так с кем по молодости и по глупости не бывает такого?.. Невелик убыток, а здесь много. Если что, еще добавлю... — Он сунул руку за пазуху.

Федор Тимофеич надвинулся своим огромным телом на Митрия Пантелеича. Тот вскочил проворно и попятился к двери, ступая по разбросанным на полу деньгам. А нагнуться и собрать побоялся.

— Погодь, погодь... — бормотал он.

— И сынку своему передай, чтоб духу его тут не было! На месте пришибу, если объявится!

— Вот и ладно, вот и столковались, — сказал Митрий Пантелеич, прицеливаясь, как бы половчее ухватить деньги.

— С тобой толковать — что редьку хреном закусывать. Я с тобой за одним углом с... не сяду, не то что!.. — Федор Тимофеич занес кулак и ударил бы, но тут отворилась дверь и в избу ворвалась Настя, а за нею Василий. Евдокия Ивановна в страхе замахала руками. Василий взглянул на отца, на деньги и все понял. Он повернулся и вышел прочь. Настя стояла в оцепенении, и не было у нее сил двинуться с места. Митрий Пантелеич скользнул было за двери, но Федор Тимофеич, поймав его за ворот, втянул обратно в избу.

— Собери! — приказал он, ткнув Митрия Пантелеича лицом в деньги.

Евдокия Ивановна вытолкала дочку в сени.

— Ступай, девка, как бы хуже чего не было...

Настя забилась на сеновал и тут наконец разревелась. Не знала она, что теперь делать, как жить дальше и стоит ли вообще жить. И наложила бы на себя руки, не побоялась бы смерти, но страшно было принять противную богу и людям смерть. Кинут в землю за оградой погоста, как собаку кинут, холмик даже не насыпят сверху, а сровняют могилу, чтоб не видно было, что здесь могила, чтоб и духом никто не знал, что здесь лежит она, Настя... И станет ее неприкаянная душа вечно бродить по свету, скрестись по ночам в избы к людям, искать тепла и жалости, а люди будут шарaxаться в испуге и, точно нечистую силу, отгонять ее крестом от своего жилья...

«Чему быть — того не миновать, — заплакавшись, решила Настя. — Не судьба, значит, нам с Василием».

С тем она и заснула, а поутру поднялась как обычно, подоила корову, выгнала ее за ворота, задала корм корову, истопила печь. Отец на удивление был тих и спокоен, как будто ничего не случилось.

— Вот что, — сказал он, когда сели за стол, — кашу ты заварила, девоня, крутую, ввек не расхлебать. Думали мы с матерью отдать тебя за Кольку Савина...

— Не надо, тятенька!

— Помолчи! — прикрикнула на нее Евдокия Ивановна. — Слушай, когда отец говорит.

— Но теперь уж, видно, нечего про это думать, — продолжал Федор Тимофеич хмуро, однако не было в его голосе гнева. Скорее — жалость. — Уезжать тебе надо, девка. К Андрею отправим. Поживешь сколько-нибудь, а там видно будет. Справку из сельсовета я выправлю. Так что собирайся, это мое последнее слово.

Выпороть бы тебя как следует быть, опозорила нас с матерью, ославила...

— Спасибо, тятенька,— молвила Настя искренне. Она понимала, что оставаться в деревне никак нельзя, проходу не дадут, особенно сестры Василия.

— Не балуй там в городе,— всхлипнув, сказала Евдокия Ивановна.— Брата слушайся...

— Ну, нюни-то распускать! — поморщился Федор Тимофеич.— Собирай девку в дорогу, а я в сельсовет пошел.

День прошел быстро, в заботах, а назавтра Настя должна была уезжать. К вечеру она умаялась сильно и рано залезла на сеновал, чтобы выспаться: вставать нужно до петухов, чтобы поспеть на поезд.

* * *

А не спалось. Все думалось о чем-то, но больше о Василии, с которым, видно, уже не повидаться. Настя крепилась, отгоняла эти мысли, готовая смириться с судьбой и с родительским решением, но Василий стоял перед глазами, точно и в самом деле был он здесь, рядом, вызывая стыдное желание кинуться ему на шею и обнимать, обнимать его, и слушать, прижавшись к груди, как бьется его сердце...

Деревня уснула. Затихли даже собаки. Разбрелись с гулянки парочки по своим укромным местам. Время от времени тяжело вздыхала корова в хлеву, сопел боров.

— Настюха! — позвал вдруг чей-то голос.

Она съежилась в тесный комок, но голоса не подала, затихла.

— Спишь, девка?..

Скрипнула лестница.

Из люка высунулась голова деда Ивана.

— Что не отзываешься? — спросил он, оглядываясь.

— Не узнала.

— Испужалась, значит... Слезай-ка, дело есть.

— Какое дело?

— Слезай, слезай.

Настя спустилась следом за дедом Иваном.

— Ты вот что, ты не горюй,— заговорил он.— Велик ли грех, коли полюбились друг дружке! Нет тут греха. От любви дети происходят, откуда же греху взяться?.. Да кабы люди не любились, кабы бабы детишек на свет не рожали, над кем бы бог-то был?.. Ступай сейчас к своему Василию, ждет он тебя.

— Нет, что вы!

— Ступай за мной.

— А ежели тятенька увидит?

— Не увидит. Никто не увидит. Али меня боишься, девка?

— Что вы...

— Дед Иван не выдаст. Сколь много всего я знаю про людей-то, э-э!.. А молчу, потому не берусь судить. Да и судить-то за что? Бог, девка, коли он есть, после разберется, кто правый, а кто виноватый в чем...

Огородом они вышли на выгон и, таясь в тени заборов, направились к избе деда Ивана. Кузя, который никогда не разлучался с хозяином, трусил рядом. А в избе Настю дожидался Василий.

Он обнял ее.

— Господи, милый ты мой, желанный...— шептала Настя, всхлипывая.

— Ну,— успокаивал ее Василий неловко.

— Кончилась наша любовь, не быть нам вместе...

— А это, Настюха, как мы захотим.

— Что мы, коли тятенька не хочет. Нельзя против родительской воли.

— Федор-то Тимофеич отходчивый,— сказал Василий.

— А Митрий Пантеленч?..

— Мои-то все на дыбки поднялись. И пушай. Мне наплевать, Настюха. Лишь бы ты захотела...

— Силушек моих нет,— молвила Настя.— Тятенька приказал в город ехать, к брату Андрею. С утра повезет на станцию. Уже и справку в сельсовете выправил.

— И я выправил,— сказал Василий.— Выходит, Настюха, что нам с тобой вместе подаваться надо.

— Как же это?..

— Уедем куда-нибудь, завербуемся. А к Андрею нам нельзя.

— Мыслимо ли это, подумай?! — воскликнула Настя.— Из дому бежать без родительского благословения... А жить как будем?

— Проживем, Настюха.

— Проклянет меня тятенька.

— Простит. Вот увидишь, простит.

— Не знаю, Васенька. Ой, не знаю, милый ты мой!.. И куда же мы пойдем с тобой, ведь никто не ждет нас, никому мы не нужны. Пропадем в городе...

— Был я в городе,— сказал Василий,— слыхал там, что на север людей вербуют. За казенный счет туда везут, харчи тоже бесплатные...— Признаться, что он специально и узнавал, Василий не мог. На самом-то деле он и справку в сельсовете выправил заранее, потому что мало у него было надежд.

— Далеко этот север,— вздохнула Настя.— И холодно, говорят, там сильно. Замерзнем.

— Зимой везде нежарко. Однако раз люди живут, значит, жить можно. Зато деньги там большие платят, Настюха. Заработаем, после вернемся хоть бы и домой, свое хозяйство заведем. Глядишь, и Федор Тимофеич сменит гнев на милость. А мои пушай лопнут от зависти. Пушай подавятся своим добром.

— Боюсь я, Васенька. Ведь тайно надо... И маменька совсем больная, это она из последних сил ходит, я-то знаю.

— Все равно же к Андрею тебя отправляют.

— К брату — это другое.

— Помогут люди Евдокии Ивановне, если что. Колхоз же скоро будет, миром жить станут.

— Вас-то раскулачат небось?

— Кто их знает,— сказал Василий.— Отец рассказывал что куда, попрятал. Он и откупиться может. Вот в район будто собирается ехать, а какие у него там дела?.. Выкрутится. Да он и в колхоз первый запишется, лишь бы добро его не тронули. И что нам думать про них, ты мне свое слово скажи, Настюха! Я-то как-никак, а уйду, не останусь здесь.

— После скажу...

— Поздно бы не было. Ушлют же тебя к Андрею.

— Не знаю прямо, Васенька, что и подумать...

В дверь поскреблись, вошел дед Иван.

— Порешили что, гуси-лебеди?

— Порешили,— сдержанно ответил Василий.

— Оно и видать. А вот послушайте, какая бль-не-бль разок вышла. Пошел это мужик на ярмарку коня покупать. Ходил он ходил, высматривал все, вынюхивал, стало быть, и нашел же знатного коня. Ну, красавец, а не конь, загляденье одно! Ей-богу правда, не вру. Никаких тебе изъянов у коня не обнаружилось, и мастью буланый, хоть куда. А мужик-то, однако, в сомненье вошел, потому как хозяин недорого за коня запрашивает,— сорок целковых всего. Оно понятно, когда б хозяин запрашивал пятьдесят, тут мужик без сомнений сорок бы дал, конь того стоит, а раз, дескать, сорок просит, тут что-то не так, думает мужик. Ну, покуда он сомневался, покуда думал и гадал, пришел другой человек, взглянул на коня этого и заплатил без разговоров сколько просят. И увел коня. С тех-то пор, слушайте, слушайте, гуси-лебеди, перестал этот мужик, который сомневался, вовсе спать! Как ляжет, как закроет глаза, тут ему и видится конь буланый. И до того извелся мужик, что бросил все — и жену с ребяташками, и хозяйство, все как есть бросил — и пошел по свету того

коня искать. Давно это было, а он и по сию пору все ищет, да только найти не может...— Дед Иван внимательно посмотрел на Настю, заплевал окурочек и проговорил: — Конь-то, однако, что, коня другого можно купить, хоть бы и дороже... Вот в позапрошлом годе кто-то гусиху на гнезде убил, так гусь, который навроде ейного мужика был, все лето искал гусиху. А осенью не отлетел в теплые края на зимовку. Я его после нашел на Долгом озере вмерзшим в лед. Такие дела бывают на свете, что и не подумаешь...

Никогда бы Настя не решилась, не осмелилась сбежать из дому, хоть и верила безоглядно Василию и любила его. На край света пошла бы за ним, когда бы благословили отец с матерью. А так, чтобы не спросясь, чтобы самой, тайно... «Но что же делать?» — спрашивала себя Настя и не находила ответа. Лучше бы не звал ее Василий, не заманивал. Пусть бы все было, как решилось. А теперь не будет в жизни ей покоя и радости...

Переживала за дочку и Евдокия Ивановна. Прожив жизнь и не узнав простого бабьего счастья, она всей душой хотела, чтобы хорошо и ладно устроилась Настина жизнь. Но на беду, не на счастье, полюбился дочке Трофимов Василий. Уж как Евдокия Ивановна просила, как уговаривала Федора Тимофеича, чтобы простил он Настю и благословил ее. Но он стоял на своем. Теперь что ж, теперь ничего не осталось, как отправить Настю к Андрею подальше от позора. А в городе несладко, нет. И приглядеть за дочкой некому. На сына Евдокия Ивановна не надеялась. И подумалось ей, что если бы — не дай-то бог! — порешили Василий с Настей уехать самостоятельно куда подальше отсюда, не воспротивилась бы, не стала бы проклинать дочку, а приняла бы это как знамение. Тотчас она и прогнала столь грешные мысли и даже прекрестилась.

— Господи, прости и помилуй,— проговорила Евдокия Ивановна вслух.

— Ты чего там, мать? — встревоженно спросил Федор Тимофеич.

— Да подумала я, отец, что тяжело будет нашей девоне в городе-то, непривычная она...

— А легкого искать — на свете не жить,— сказал Федор Тимофеич и зевнул, засыпая.

А Евдокия Ивановне не спалось. Среди ночи она сползла с печи и вышла на двор подышать воздухом. Тут она и увидела Настю, которая как раз возвращалась со свидания с Василием.

— Ты где это швендала?.. — всплеснула Евдокия Ивановна руками, догадываясь, откуда идет дочка. — Никак опять с Василием была?..

Не было у Насти никаких больше сил, кинулась она к матери, обняла ее ноги и все-все рассказала.

— Прости, маманя!

— Худо получается,— сказала Евдокия Ивановна, утирая слезы. — Не такого счастья молила я тебе у бога, ох не такого, девка!.. Да, видать, не судьба мне возле твоего счастья погреться чуть, твоих ребятишек поготовить...

— Ну что вы, маманя!

— Последнее доживаю, кровинушка ты моя. — Она приласкала Настю и гладила, гладила ее голову. — Что я тебе скажу... Василий-то мужик правильный, работающий, тебя не обидит, а коли оба любите друг дружку, я твоему счастью мешать не стану. Ступайте с богом. — Она отвернулась и всхлипнула громко.

— Маманя!..

— Прими мое благословение и Василию передай...

Едва Евдокия Ивановна сказала это, как Василий выступил из-за угла. Он провожал Настю и, когда увидел ее мать, задержался. Стоял он близко и потому слышал весь разговор.

— Спасибо, Евдокия Ивановна, на добром слове.

— Дай вам господь счастья, дети. А отца, ежели жива буду, успокою помаленьку. Не худого он дочке-то хочет, а все как лучше. Бог, дочушка, милостив, не допустит погибели вашей... Живите в радости и согласии. А люди, хотя бы и отец родной, не могут судить за любовь вашу. Только держитесь крепче друг дружки, тогда и горе вам будет не в горе. Оно тяжелое и страшное, когда на одного навалится, а две силы против одной завсегда устоят. Баба не выдержит — мужик свои плечи подставит, а коли мужик не сдюжит, бывает, — ты, дочка, подмогни. — Она перекрестила обоих и поцеловала. — Чемодан-то где у тебя?..

— В сенях возле квашни, маманя.

— Бери, и ступайте, покуда отец спит. Я сейчас котмку с едой вынесу.

— Так сразу?.. — обеспокоенно спросила Настя. — Василий же не собрался.

— Я собрался, — сказал Василий. — У деда Ивана мои вещички.

В третьем часу Василий и Настя уходили из родных Ореховичей, неся на себе нехитрые пожитки. Никто не провожал их, только дед Иван вышел на выгон попрощаться.

— Летите, гуси-лебеди! Дай вам бог всего хорошего. Жизнь, она бо-ольша-ая, всякое в жизни случается, но места-то всем хватает. А теперь послушайте-ка последний совет деда Ивана. Утром же кинутся вас искать и Федор Тимофеич, и Митрий Пантелеич. Сразу на станцию подадутся, и вся недолга...

— Верно ведь! — испуганно вскрикнула Настя. — Куда ж нам?..

— Слушай деда Ивана зато. Они, значит, на нашу станцию, а вы на Новоскольники ступайте, а оттуда поездов много на Великие Луки. Никто не догадается

там вас искать. Оно, конечное дело, подале будет, ну да это-то ничего. К вечеру дойдете.

Они перешли Норовку и недолго постояли на берегу, прощаясь с деревней и не зная, вернутся ли сюда когда-нибудь или нет.

— Пошли,— позвал Василий,— не ровен час, спохватятся.

Глава III

Не все сложилось так, как было задумано у Василия. Он-то думал, что завербуются они с Настей, а оказалось, что женщин на север не берут, и сколько они ни просили, сколько ни уговаривали уполномоченного, ничего не вышло.

— Товарищ начальник, я ведь и стиральной могу, и постирать,— упрашивала Настя.

— Да она насчет там работы не хуже иного мужика,— вторил ей Василий.

Однако уполномоченный стоял на своем, а поскольку ни сам он, ни его начальство на север не ехали, то и не беспокоило его, кто будет мужикам стирать и готовить еду.

— У меня приказ: до весны женщин не вербовать.

— Что ж, вовсе без баб мужики будут?..— усомнился Василий.

— Значит, без баб,— усмехнулся уполномоченный.— Да и сам-то ты, Василий Дмитриевич...— Он повертел справку, прищурился.— Из кулаков, похоже?..

— С чего это вы взяли, товарищ начальник?— сказала Настя, выступая вперед Василия.— Кабы из кулаков, разве б дали в сельсовете справку!

— Ладно, ладно.— Уполномоченный поднял глаза, покачал головой.— Люди не особенно рвутся на север. Место там необжитое пока. Условия, сам понимаешь, не сахар. А ты еще и жену за собой тащишь. Вот я и думаю: в чем же причина?

— Мало ли,— сказал Василий смущенно.

— Пожениться мы хотели, товарищ начальник, а родители не сговорились,— опуская глаза, молвила Настя и покраснела.

— Молодо — зелено. Но это меня не касается. Вы, Василий Дмитриевич, поедете один?

— А Настюха как же?..

— Вы как дети, честное слово! — сказал уполномоченный.— Откуда я знаю, что она будет делать. Я же не запрещаю ей ехать, это ее личное дело, куда хочет, туда может и ехать. Вот договор с ней заключить я не имею права. Пусть купит билет на поезд и едет себе...

Василий с Настей переглянулись.

— А может, — продолжал уполномоченный, — вы просто притворяетесь простачками, а сами в одном вагоне поедете, за всеми не уследишь.— Он быстро заполнил договор, дал Василию подписать и сказал, что отправление завтра вечером.

По-всякому судили-рядили Василий с Настей, что могли бы означать намеки уполномоченного. Предостерегал он их, чтобы не пытались уехать вместе, или дал понять, что это возможно?.. И порешили они, что, скорее всего, уполномоченный намекнул, как им поступить. Человек-то он вроде хороший, душевный, не накричал, не выгнал, а все растолковал и объяснил. Главное, рассудил Василий, незаметно в вагон пробраться. Чтобы начальство не заметило. Мужики же свой народ, не выдадут.

Но никто на Настю не обратил внимания. Разве что уполномоченный, бывший при посадке, увидел ее, но сделал вид, что не заметил. А другим-то и подавно было не до Насти, не до Василия. Все кинулись к вагону, чтобы получше местечко занять, и Василий в этой толкучке (хорошо и то, что была ночь, темно) подсадил Настю.

Сначала их повезли в Псков, и там долго отстаива-

лись на запасных путях. Мужики куда-то бегали узнавать, скоро ли повезут дальше, приносили кипяток, а Василия Настя не отпускала, страшно было оставаться одной, хотя можно было и не прятаться: никому до нее дела не было. Потом к их составу прицепили еще несколько вагонов. И хотя никто не знал, как там будет на этом севере, а все-таки радовались: наконец-то поехали.

В теплушке было душно. К тому же мужики беспрерывно курили едкий самосад, а на ночь развешивали по краям нар портянки. Настя всю долгую дорогу, почти две недели, пряталась от начальства, безвылазно сидела в темном углу на верхних нарах, дрожа от страха быть открытой. На больших стоянках вагоны проветривали, мужики выходили размяться и посмотреть на новые места. А Настя забивалась под нары. Выходила она только по нужде и только ночью. И тут ее подстерегал другой страх: она боялась отстать от поезда, потеряться, и Василий каждый раз выходил вместе с ней. Мужики смеялись над ним поначалу, что бабу за куст провожает, однако недолго смеялись и потешались. Перестали, когда отъехали далеко от родных мест и когда поняли все, что Настя всерьез поехала за Василием на край света.

— Ну, девка!..— удивлялись мужики, теребя свои бороды.— И это ж надо придумать такое, чтобы не испугаться!.. Да хоть бы еще мужняя жена, тогда куды ни шло, а так-то..— И завидовали многие Василию, а кто постарше — ругали, что потащил Настю за собой в неизвестность. Может, и на погибель.

— Бог даст, не сгинем, выдюжим,— оправдывался Василий, чувствуя все-таки и вину перед Настей.

— Выдюжим,— поддакивала она.

А народ с ними ехал самый разный. Большинство завербовалось на далекий север в надежде подзаработать денег (мужики поопытнее рассказывали, что на

севере платят много), вернуться домой и завести свое хозяйство, благо земля теперь была у всех. Немало среди вербованных было одиноких, холостых мужиков, которым все равно куда податься, где жить — а на новом-то месте, может, еще интереснее. Дескать, рассуждали они, раз на севере народ нужен, чтобы строить там что-то, значит, кто-то должен ехать. «На миру — и смерть красна, — пошучивали они. — А за бабью юбку весь век не продержишься».

— Поди-ка ты скажи расейскому нашему мужику, который от бабского подола отлепиться боится, чтобы он стронулся с места насиженного и двинул куда-то строить! — возражал пожилой мужик по имени Петр Игнатьич Иванов. — Да хрен он двинется, лучше с голоду помрет дома, лучше заместо коня в соху впряжется...

— Дома-то и солома, однако, едома, — возражали ему.

— То-то что солома. Зато в других прочих государствах давно на машинах землю пахают, а мы все на своем горбу.

Вообще мужики всю дорогу спорили, иногда дело чуть до драки не доходило, а один все к Насте пристаивал, когда Василий отойдет.

— Плюнь, — нашептывал, — на своего дурного мужика. Со мной, ядрена мать, не пропадешь.

Настя отмалчивалась, не смея оттолкнуть его и рассказать Василию, потому что боялась, как бы мужик этот со злости не выдал ее начальству. Был этот мужик вообще какой-то замкнутый, хмурый, о нем знали только то, что фамилия его Монастырев. Другие мужики относились к Насте уважительно и ничего такого себе не позволяли. Оказавшись вдали от дома, от привычного, устоявшегося жизненного уклада, от земли, на которой большинство чувствовали себя хозяевами, да и были ими, они затосковали, и эта тоска, десятикратно усиленная неизвестностью, неуверенностью в завтрашнем

дне и неприспособленностью к иной, не крестьянской жизни, пробуждала в них дремавшую до поры нежность к женщине, исконную доброту, совестливость и заботливость, свойственную русскому мужику. Не потому вовсе бывает груб и жесток мужик, что груба и жестока его душа, а потому, что стыдится он собственной нежности и доброты. Может, сердце его разрывается, обливаясь кровью, когда он подымает руку на бабу, может, он-то хотел бы ласкать ее, тешить, верной собачонкой служить ей, оберегая от тяжелой работы, от слез и горя, от всего, что делает бабу раньше времени старухой немощной, что отнимает у нее радость и смех... А нельзя! Не принято, чтобы мужик у бабы был в послушании, чтобы, не дай бог, уступил ей в чем-то. А если и бывает такое — люди строго осуждают мужика, бабы чужие в том числе.

Однако Настя-то была не своя, чужая. Ее можно и пожалеть, и уважить — за это никто не осудит.

А она все думала с беспокойством и тревогой: «Как там дома? Не прибил бы отец маманю...»

Не прибил и даже не ударил ни разочка.

Рано поутру, еще до солнца, к Ванеевым прибежал Митрий Пантеленч. Был он весь взъерошенный, злой.

— Евдокия, где девка твоя?! — заорал с порога.

— Ты что это ни свет ни заря?.. — свесившись с печи, сказала Евдокия Ивановна и мысленно перекрестилась. — Где же ей и быть, как не на сеновале.

— А ты поглядь, поглядь!

— Да никак случилось что?

Из горницы вышел заспанный Федор Тимофеич. Был он в исподнем, босой.

— Взбесился, что ли?.. — сказал незваному гостю. — Я вот...

Митрий Пантеленч махнул рукой, выбежал из избы и мигом вскарабкался на сеновал. Пошурухтался там в сене и, слезши вниз, объявил:

— Нету девки.

— Кого нету?..— спросил Федор Тимофеич. Он вышел на крыльцо, накинув на плечи ватовень.

— Девки твоей нету, кого же еще! Выходит, сбежали... Василия-то моего тоже нету.

— Как сбежали, куда? — Федор Тимофеич недоуменно крутил нечесаной головой.

— Похоже, и от вас тайком,— проговорил, чуть успокаиваясь, Митрий Пантелеич.— Ну, ничего!.. Далеко не убегут, мигом представлю их. Одевайся, сват, я пойду запрягать. Вместе поедем, раз такое дело.

— Не поеду,— вдруг сказал Федор Тимофеич.— Пушай себе на здоровье, баба с возу — кобыле легче. А ты поищи, поищи ветра в поле, авось найдешь жмень прошлогодного снега.

— Да ты что, дочка же твоя!

— А и что, что дочка?.. Все одно когда-нибудь отдавать взамуж. Так-то оно, может, и к лучшему.— Он взмахнул рукой.— А ты беги, беги запрягай. Их-то не догонишь, так я располагаю, но кобылу разогреешь. Застоялась, поди.— Он потянулся и пошел в избу.

Федор Тимофеич допытывал жену, догадываясь, что она была в сговоре с Настей. Евдокия Ивановна боялась признаться, однако желание выпросить у мужа прощения для дочери взяло верх. Бросилась она в ноги Федору Тимофеичу и запричитала:

— Хошь убей меня, Феденька! Хошь замучай до смерти, а Настеньку не проклинай, христом-богом молю тебя!.. Пушай живут с миром...

— Ты подымись-ка с полу-то,— легонько толкнув жену, буркнул Федор Тимофеич беззлобно.— Бить не стану, не бойся.

— А дочку-то простишь ли?..

— Бог простит. Но ты запомни, мать, что обратно ей ходу нету. Позору не допушу в доме.

На исходе второй недели эшелон с вербованными прибыл на место назначения. Выезжали в последних числах июля, который в том году выдался знойный, а приехали вроде в глубокую-глубокую осень, хотя август только начался.

Выгружались среди ночи, чтобы не задерживать порожние вагоны и не мешать другим поездам: путь был одноколейный, и никакой станции или хотя бы разъезда не было и в помине. Вокруг, сколько хватало глаз, лежала холодная, мрачная, неприветливая степь не степь, но равнина, которая называлась тундрой. Далеко-далеко, едва обозначенные на сером небе, горбами поднимались черные солки.

Дул сильный ветер. Шел снег вперемешку с дождем.

Мужики выпрыгивали из теплушек, радуясь концу пути (все любят дороги, но еще больше, когда дороги кончаются), возможности размяться на твердой земле, а выпрыгнув — очумело, дико, точно загнанные собаками волки, оглядывались по сторонам... Никто не ждал, что здесь их встретит яркое солнышко и зной — знали же, что едут на север, — но чтобы еще до ильина дня, когда хлеб вызревает в полях, наливаясь соками, чтобы в такую пору пошел снег...

— Да никак, мужики, нас на тот свет привезли?!

— Кабы на тот, — сказал Петр Игнатьич, — так сатана либо еще кто объявился. А коли не видать ихнего брата, стало быть, это наш, белый свет. Ты ущипни себя за правое ухо, — посоветовал он.

— Щипал уже...

— Ну?..

— Не понять: ухи-то замерзли!

— А на том свете жарко, — подытожил Петр Игнатьич.

Мужики развеселились, заговорили, полезли по карманам за кисетами, задымили сигарками — оно вроде и теплее сделалось, уютнее.

— Страшно, Настюха? — наклоняясь, спросил Василий.

— Не очень чтобы, — ответила она, ежась от холода и страха. — Зябко только, дует сильно.

— Север, он и есть север, — сказал Петр Игнатьич, который был рядом с ними. Они в поезде еще сговорились держаться друг друга. — Вот в жарких странах, умные люди сказывают, совсем даже наоборот: там зимы вовсе не бывает.

— Как же это без зимы? — заудивлялись мужики, теснее подступая к Иванову. Он был старше всех, как-то спокойнее, и к нему льнули.

— А просто, — сказал он. — Всегда лето, круглый год.

— И зимой, что ли, лето?

— И зимой, ежели по-нашему считать.

— И снегу не бывает?

— Не бывает, откуда ж ему взяться!

— А хлеб как же?

— Что ж хлеб, растет. Без хлебушка никуда, известное дело.

— Так вымерзнут же без снегу озимые!

На это Иванов ответить не успел. Велели построиться. И тут уж Насте некуда было деваться.

— Становись промеж нас с Василием, — подтолкнул ее Петр Игнатьич.

Вдоль строя, сопровождаемый помощниками, медленно шел самый главный начальник, приехавший вместе с вербованными, Фомичев. Был он в полушубке и хромовых сапогах. Перед каждым он останавливался, спрашивал фамилию, имя и отчество, а один из помощников делал отметку в списке. Иногда, чем-то заинтересованный, Фомичев задавал кому-нибудь дополнитель-

ные вопросы: «Откуда? Сколько лет? Есть ли специальность?» Никто его доселе не видел, но поговаривали, что человек он строгий и поблажки от него не жди. Так что Настя стояла ни жива ни мертва, ожидая самого худшего. «Вот возьмет и отправит назад в пустом поезде»,— думала она. Худшего-то она себе не представляла.

Фомичев остановился возле Петра Игнатъича, и тот, не дожидаясь вопросов, доложил:

— Иванов Петр Игнатъевич, с-под Великих Лук, ежели слышали. Родился в восемьсот семьдесят шестом. Могу печником, плотничаю маленько, бондарничать также умеем. В общем, как всякий мужик.

Фомичев улыбнулся.

— В армии служили?

— Так точно, служил! В германскую немцев... кхакха... били, а после и в гражданскую пришлось повоевать.

— Что ж, Петр Игнатъевич, теперь здесь будем воевать.

— С кем, разрешите полюбопытствовать?

— С холодом, например,— сказал Фомичев.

— От холода у нас имеется верное средство...

— Какое же?

— А работа!

— Это верно,— согласился Фомичев. Он повернулся, чтобы идти дальше, и тут увидал Настю.

— Женщина?! — удивленно воскликнул он.

— Жинка это моя,— выступая вперед, сказал Василий.

— Дорогой, что ли, подобрал? — усмехаясь, спросил один из помощников Фомичева.

— Обождите, Петренко! — Фомичев поморщился и обратился к Василию: — Ваша фамилия?

— Трофимов. Василий Митрич Трофимов.

— Вы что же, Василий Дмитриевич, жену с собой привезли?

— Вместе мы, вместе. Из одной деревни.

— Так всю дорогу и ехали?

— Всю дорогу, товарищ начальник.

Фомичев обернулся и строго посмотрел на своих помощников.

— Не может быть,— сказал один из них, тот, что был со списком.

— То есть почему не может, ежели так оно и есть? — возмущенно проговорил Петр Игнатьич.

— Это невозможно! — настаивал помощник.

— Нельзя штаны через голову надеть, да еще... — Петр Игнатьич махнул рукой.

Тут мужики, которые ехали в одном вагоне с Василием и Настей и потому знали правду, загалдели одобрительно, заговорили все разом и, нарушив строй, сбились вокруг Фомичева.

Молчали только Настя и Василий.

— Минутку, минутку! — Фомичев поднял руки. — Насколько я понимаю, эта женщина действительно приехала вместе с мужем...

— Вместе, вместе! — галдели мужики.

— Петренко, занесите в список. Вас как зовут? — спросил Фомичев Настю.

— Настя... Настасья...

— А отчество?

— Федоровна она,— сказал Василий.

— Анастасия Федоровна Трофимова. Записывай, Петренко. Документы у вас какие-нибудь есть?

— Справка из сельсовета, а как же.— Настя полезла за пазуху, но засмушалась и опустила руки.

Мужики захихикали.

— Потом отдадите справку,— сказал Фомичев, догадываясь, что Насте при мужчинах неудобно ее доставать.

— Только я, товарищ начальник...

— Что еще?

— Не Трофимова я, а Ванеева.

— Это как же?

— Не расписаны мы куда,— объяснил Василий.

— Выходит, вы не муж и жена?

— Как посмотреть, с какой стороны подойти к этому вопросу,— опять встрял в разговор Петр Игнатьич.— Любовь промеж них случилась, оттого и подались из дому, поскольку, стало быть, родители ихние были несогласные насчет женитьбы...

— История,— сказал Фомичев, с интересом разглядывая Настю.— Ладно, потом разберемся. Не отправлять же вас теперь обратно! Можете следовать с мужем.— И он пошел дальше вдоль строя.

А «следовали» двадцать верст по открытой тундре навстречу разыгравшейся метели. Ветер, вырываясь с каким-то истошным, звериным воем (или так казалось с непривычки?) из седловины между дальних сопок, валил людей с ног. Чтобы не упасть и не потеряться среди этого невиданного хаоса, держались за руки. Это был уже не строй, а живой клубок из сотен людей, и никто не чувствовал себя лучше других, никому не было легче. То и дело слышалось:

.... Подтянись! Не отставать!

А как не отставать, когда ноги выше колен проваливались в снег, колючая поземка слепила глаза, и казалось, колонна не движется совсем, а топчется на одном месте.

Василий с Настей шли в самом конце растянувшейся на добрую версту колонны, и Василий как мог загораживал ее от встречного ветра.

Тут их и высмотрел Фомичев, который, похоже, устал меньше всех. Каким-то образом, двигаясь вместе со всеми, он успевал еще бегать вдоль колонны, появляясь то в начале, то в конце.

— Живы? — спросил он Настю.

Настя кивнула молча, теснее прижимаясь к Василию. Страшно ей было и зябко.

— Как же вы решились ехать сюда?

— Не знаю,— ответила Настя.— Куда мужик, туда и баба, известное дело.— Она почувствовала, угадала в голосе Фомичева расположение и разговорилась.

— Да,— сказал он.— Трудно вам будет, Настя.

— А кому нынче легко?

— Места здесь глухие, необжитые... Зима длинная и лютая. Без привычки тяжело.

— Ничего, товарищ начальник,— сказала Настя, бодрясь.— Живы будем — не помрем.

Василий настороженно прислушивался к разговору. Было ему и приятно, что такой большой начальник — самый главный здесь — запросто беседует с Настей о простых вещах, но и беспокоило тоже, потому что начальство всегда себе на уме: зазря, без смыслу, беседу не заведет. А тут и вовсе разные мысли лезли в голову: как-никак, а Настя среди них единственная баба.

— Вот именно, если живы будем...— проговорил Фомичев, вздыхая.— Федоровна тебя по батюшке-то?

— Что вы! — смутилась Настя.

— Федором Тимофеичем ейного отца звать,— подтвердил Василий.

— А лет сколько?

— Восемнадцатый...

— Ну и ну! — Фомичев покачал головой.— Как же тебя родители... Ах да,— спохватился он.— Хлебнешь ты горя, Анастасия Федоровна.

— А горе наше, товарищ начальник, завсегда с нами,— сказала Настя.— Покуда до дна не выхлебаешь, все едино никуда от него не деваешься.

— Оно так,— молвил Василий. Все-таки он считал за лучшее участвовать в разговоре, чтоб вовремя подправить, если Настя что-нибудь не так скажет,

— Выходит, каждому свое? — спросил Фомичев. Но спросил так, будто не спрашивал, а отвечал на какой-то свой вопрос.

— Про что это вы? — не поняла Настя.

— Не для того человек на свете живет, Анастасия Федоровна, чтобы горе хлебать. Для счастья и радости человек рождается, а горе... Не нужно бы горя, вот в чем дело. Не нужно! — повторил он.

— А и без горя нельзя, — возразила Настя. Она совсем осмелела, хоть бы и поспорить была готова.

— Нельзя, говорите?

— Никак нельзя, товарищ начальник.

«А может, она и права? — подумал Фомичев, глядя на людей, волею обстоятельств подчиненных ему, заброшенных за тысячи километров от дома. — Может, готовность принять горе и несчастье как должное, как неизбежность и плату за радость и это терпеливое ожидание худшего помогают человеку жить, бороться?.. Может, именно такие люди, как эта, в сущности, девочка, по-настоящему и бывают счастливыми, потому что умеют радоваться самому малому?..»

А дороге не видно было конца. Вроде и сопки несколько не приближались, оставаясь все такими же далекими.

Где-то на полпути колонну обогнали тракторы с прицепными санями-волокушами. Правда, тракторов-то было всего три. Но мужики веселились, завидя их. Какая-никакая, а техника. Настя подивилась, что Фомичев не поехал на тракторе, а всю дорогу шел вместе со всеми. Об этом она сказала Василию.

— Бойтся, чтобы не вернуться с полпути.

— Да куда тут возвращаться, подумай сам, — возразила Настя. — А я так думаю: человек он хороший, душевный. И не отослал меня назад, и спрашивает про все, будто ровня нам...

— Так-то оно так, Настюха,— с сомнением проговорил Василий.— А по мне, лучше подальше держаться от начальства. У них свое, а у нас с тобой — свое.

Настя не стала спорить, хоть и не хотелось плохо думать о Фомичеве. Однако Василию, конечно, виднее, как им держаться и с кем быть. На то он мужик, голова всему.

* * *

К полудню дошли до места. Тоже тундра, но не равнинная, отчего и казалась без конца и краю, а окруженная сопками. Метель улеглась, проглянуло даже солнышко. Было оно совсем не такое, как дома,— непривычно огромное и красное,— а все же солнце. И настроение у людей поднялось, потому что и в самом деле немного человеку надо для радости.

Едва успели перекурить, пожевать, у кого что было, всухомятку, как распорядились ставить палатки. Здоровые, крепкие мужики чуть не падали от усталости, матерились на чем свет стоит, но к вечеру выстроились в ряды палатки, затрещали раскаленные докрасна соляровые печки, забулькало весело в котелках и чайниках горячее варево.

— Жизнь не жизнь, а жить можно,— каламбурили мужики, радуясь теплу, похлебке, какому-никакому, а уюту, и хоть парусиновой, ненадежной, но крыше над головами.

— Палатка, она как солдатская шинель, только наоборот,— приговаривал Петр Игнатьич. Его слушали со вниманием.— В шинели, например, солдату зимой не холодно, потому как она суконная, а летом не жарко, раз без подкладки.— Мужики улыбались, покачивая головами.— А палатку взять?.. Летом ее солнце насквозь пропекает, а зимой ветер продувает. Поэтому, мужички, теснее ложитесь, чтоб друг дружку греть.

— А я-то все думаю, на кой хрен Трофимов бабу за

собой потащил,— громко сказал Монастырев.— Теперича понятно, будет ему к чему прижаться!

— Ну ты, болтать болтай, а лишнее при себе оставь! — погрозил ему Петр Игнатьич.

На другое утро, которое и на утро было мало похоже — такая же серость, что днем, что ночью,— приступили к работе, к постройке барачков. Как водится, сначала был митинг. Всех собрали в одно место, Фомичев влез на ящики и сказал короткую речь:

— Мы с вами здесь для того, чтобы построить в суровом заполярном краю новый город, который станет в дальнейшем крупным индустриальным центром. Задача тяжелая, сложная, но мы обязаны ее выполнить в самые сжатые сроки. Легкой жизни я вам не обещаю, но работать нужно, и мы будем работать...

После него выступил технический директор строительства Ростислав Евгеньевич Конашевич. Этот был в полушубке, в меховой папахе, в очках и бородатый. Он неловко влез на ящики, поддерживаемый Фомичевым, снял очки, подышал на них, махнул рукой и спрятал очки в карман.

— Много говорить не приходится, товарищи...— Тут он запнулся и виновато посмотрел на Фомичева.— В общем и целом, друзья мои, начальник строительства достаточно подробно и технически грамотно обрисовал вам положение дел на сегодняшний день. Здесь, где мы с вами сейчас находимся,— он показал пальцем себе под ноги,— скрыты огромные запасы минерального сырья. Из этого сырья можно получать высококачественные удобрения... Если я не ошибаюсь, большинство из вас крестьяне?

Мужики загудели, выражая свое согласие.

— Кому, как не вам, знать, что земля со временем истощается и требует удобрений,— продолжал Конашевич.

Мужики опять загудели, зашевелились. Фомичев, припсднвявшись, что-то тихо сказал Конашевичу. Тот кивнул.

— Сейчас, друзья мои, не время вдаваться в подробности. В другой раз мы подробнее поговорим об этом. Подводя итоги, я хочу отметить следующее: будут у страны удобрения — будет у народа хлеб. А это зависит во многом от нас с вами.

Фомичев, уже не взбираясь на ящики, крикнул:

— Всем все понятно? А теперь за работу! — Он протянул руку, и кто-то подал ему лопату.

Мужики расходились, обсуждая услышанное. Удобрения для землицы — это, конечно, дело. Кто ж из них не понимал, что землица требует подкормки! Все понимали. Но ведь обходились же раньше без этого сырья! Для того навоз есть и севооборот придуман. Навозу не поскупись положить — вот и хлебушек. Однако мужик есть мужик: раз его ждет дело, работа — он идет и делает это дело. Можно сколько-то прожить без хлеба — не впервой, можно и без бабы, тем более бабы все равно нету, а вот без работы — никак нельзя. И мужики работали изо всех сил, не жалеючи себя, работали так, как они привыкли работать на своем хлебном поле.

Помогали немногочисленным тракторам и лошадям перевозить от железной дороги все прибывающие и прибывающие грузы, таскали, случалось, эти грузы и на себе, долбали ломами и кирками вечную мерзлоту, «грызли» едва ли не голыми руками базальт и гранит, не зная ни дня, ни ночи, ни выходных, ни праздников. Все было подчинено работе, и только работе. До настоящих холодов, до наступления полярной ночи нужно было во что бы то ни стало перебраться в бараки. А иначе — гибель...

Поблизости не было никакого жилья. Тундра, сопки и небо. Все одинаково серое, белесое, точно выцветшее, точно потерявшее свой исконный, природный цвет.

Иногда на оленьих упряжках появлялись жители этих диких мест. Раскосые, в меховых одеждах, они приезжали посмотреть на чужой, пришлый народ. Однако держались поодаль. То ли остерегались, то ли просто не спешили знакомиться. Кто-то вызнал, что место, где велось строительство, вроде священного или, скорее, проклятого у этих раскосых. Будто бы всякий человек, который придет сюда, хотя бы ногой ступит, должен погибнуть страшной смертью...

— Выходит, что мы для них вроде как антихристово племя! — смеялись мужики, пугая приезжих громким криком и хохотом.

— А что, мужички, оно, может, за грехи супротив ихней супостатской веры нам законное местечко в раю отыщется?

— Держи карман шире, да чтоб в дыру не выпало! — усмеялся Монастырев. — По теперешней вере в рай-то пускают только большевичков.

— Сказанул тоже! Они ж в бога не веруют!

— Это-то ничего. Они нарочно толкуют, что бога нету. Чтобы, значит, мы, которые веруют, не боялись грешить.

— А корысть-то им в этом какая?

— Известно какая. Чтоб мы со своими грешными рылами в рай не совались. Народу-то сколько на свете развелось? Тьма народу, на всех в раю места не хватит.

— Городишь. Я так смекаю, что все, которые не подохнут раньше время и которые сумеют через дырки, какие шахтами называются, пролезть, попадут в рай.

Такие разговоры Монастырев заводил каждодневно. Настя, прислушиваясь, никак не могла понять: шутят мужики, треплются или в самом деле так думают? А по правде сказать, она не понимала и разницы между большевиками и меньшевиками. Все люди одинаковые, все работают наравне. Ясно, конечно, что товарищ Фомичев большевик, потому он и начальник над всеми.

Однако человек-то он такой же, как все остальные, и если б спросили Настю, к примеру, если б вдруг взяли и спросили, кого допустить в рай, а кого не допускать, она, не задумываясь, сказала бы, что первого впустить в рай надо именно товарища Фомичева. Не верила она, что он в бога не верит. Откуда бы он в людях все-все понимал, когда бы не верил?.. Ведь понимание и разум людям даны от бога! Вот сразу выделил и Василия, и Петра Игнатьича, увидав в них людей старательных, честных, и оказывал им особенное внимание. Когда бы он жил только своим умом, разве сумел бы разобраться, кто какой человек? Людей-то вон сколько!..

Того, что она невольно помогла Фомичеву заметить и Василия, и Иванова, Настя не понимала.

А Василия назначили бригадиром плотников. Он старался изо всех сил. И Петр Игнатьич помогал ему.

Петр Игнатьич любил порассуждать и говаривал, что мужик в работе успокаивается, обретает в себе уверенность, поверив в себя, в свою нужность людям, быстро и крепко врастает в место, каким бы чужим оно ни было для него и сколь бы гиблым, непригодным для жизни ни показалось сначала. Там, где выживает какой-нибудь зверь, какая-нибудь растительность, обязательно выживет и приживется русский человек. Нипочем ему и сама мерзлота, хотя бы и вечная, а был бы воздух, чем дышать, и была бы работа, от которой польза себе и людям.

Мужики охотно слушали рассуждения Петра Игнатьича, всякому льстили его слова, однако не все — где уж там! — были довольны его усердием и усердием Василия. Иные просто ворчали, выражая свое недовольство (дескать, работа — это, конечно, хорошо и нужно, но спина-то одна, зачем ее слишком перегибать и выламывать?..), а иные вовсе не хотели подчиняться, артачились. Больше всех недоволен был Монастырев. Сам но-

ровил от работы увильнуть, посидеть у костра, и других подбивал.

— Землицу поровну поделили — это что! — толковал он мужикам, которые казались ему понадежнее и по-злее. — Не земля наша властям нужна, не-ет. Бабы — вот что им нужно. В городах-то женщины пошли хворые, немочные, от них, как от баб, толку никакого. Какая и родит, так снова не ребятенка, а кочерыжку. Вот и придумали нас угнать подальше, а баб наших пользоваться, чтобы рожали большевикам крепких наследников. Потом они заберут их и будут по-своему воспитывать...

Как-то Петр Игнатьич услышал эту болтовню Монастырева.

— Дурак ты, — сказал. — Баб сюда не повезли, чтобы побережь их. Для тебя же, для дурака. А ты несешь, ты несешь!.. Злобность это в тебе говорит, Монастырев. Небось раскулачили?

— Не твое собачье дело! — огрызнулся Монастырев и поднялся. — Еще поглядеть надо, за каким чертом ты сюда притащился, хрыч старый.

— Это верно, — пожимая плечами, сказал Петр Игнатьич. — Вот и посмотри, оно, может, и поумнеешь малость. Да у меня-то пять сыновей работали. А на вас, похоже, кто победнее спину гнул. Ты вот власти поносишь, Монастырев. А почему, ежели спросить?.. Да потому, что у тебя власть отняли...

— Уйди! — приступая к Петру Игнатьичу, сказал Монастырев сквозь зубы. — Не лезь в душу, а не то...

— Грозился наш телок волка съест, да с самого шкуру содрали, — засмеялся Петр Игнатьич.

Монастырев выхватил из-за пояса топор и занес его над головой. Он и ударил бы, пожалуй, но тут подоспел Василий, вывернул ему руку.

— Ты это, не шибко расходись...

— Ничего, годик-другой в этих краях пообретается, глядишь, и остудится, — сказал Петр Игнатьич.

— Хрен я буду здесь обретаться! — рыкнул Монастырев. — Пушай такие дураки, как ты, обретаются.

— А куда ты денешься?

— За меня не бсись. Но прежде тебя, суку, прибью.

— Ну-ну!.. Только скажу я тебе так, Монастырев: покуда меня прибьешь, сам от злобности своей подохнешь. И то вон уже на Кошея похож, желтушный стал.

Монастырев опять было схватился за топор, но мужики его оттащили, стали уговаривать.

— Эка ты разошелся, — примирительно говорил Василий. — Что вам делить-то, подумай сам. Работа, она есть работа, ее делать нужно. А лаяться станем — последнее дело.

Другие поддержали Василия, загомонили одобрительно. Каждый ведь понимал, что в одиночку здесь не проживешь и помогать друг другу надо.

Глава IV

И поднимались один за другим свеженькие чистые бараки. Над крышами курились дымы, обозначая в бескрайнем северном просторе человеческое поселение. Худо ли, бедно ли, а начиналась новая жизнь. Удивительная она была, эта жизнь, нисколько не похожая на прошлую, а уж какой ей быть в будущем — и быть ли — зависело от людей.

Строили сразу всё: и жильё, и электростанцию, и рудник, и обогатительную фабрику, и еще много-много чего. Тянули и железнодорожную ветку. Это-то, наравне с жильем, прежде всего, потому что грузы прибывали и прибывали, а перетаскивать их за двадцать верст было невозможно.

Люди постепенно втягивались в дело, привыкали к необычным, суровым условиям жизни. Поначалу мало кто верил, что в этих краях, забытых богом, оставленных без его присмотра, можно построить хоть что-ни-

будь, можно выжить хоть неделю или месяц... Но появилась вера, а с нею и понимание, без которого всякое полезное дело превращается в бессмысленное,— это нужно, это необходимо.

Настя готовила еду на бригаду Василия, убиралась в бараке, стирала мужикам и чинила их истрепанную одежду. В общем, работы ей хватало, а за работой она не очень занимала себя мыслями о будущем, зная, что, когда надо подумать, подумает Василий. Она во всем полагалась на него и любила сильнее прежнего. Жалела тоже, потому что он оставил ради нее не просто дом и хозяйство, но порвал со всей своей родней. А вот себя Настя нисколько не жалела. Она должна, обязана быть там, где ее мужик, должна делить с ним наравне и радости и невзгоды, хорошее и плохое. А остальное уж как сложится, как бог даст. Счастлив будет Василий — значит, счастлива будет и она...

В бараке, сразу у входа налево, им отгородили угол с отдельной дверью. Так что жили они по-семейному, никого не стесняясь и не стесняя, не дразня мужиков своей семейной, особенной от других жизнью. Настя даже радовалась тайно, что все случилось именно так. Если бы не воспротивился их счастью Митрий Пантелеич и вся трофимовская родня, если бы не уперся Федор Тимофеич, не было бы у них спокойной жизни, понимала теперь Настя. Пожалуй, больше всего им мешали бы сестры Василия. Никогда бы не простили они (и не простят!), что вошла она в их родню. А что ей-то эта родня, что ихняя любовь к ней или нелюбовь! Был бы у нее Василий, любил бы он ее, а до остальных Трофимовых нет Насте никакого дела. Пусть живут, как им хочется и может, она мешаться не станет, лишь бы не трогали ее...

Так она успокаивала, уговаривала себя и свою совесть, потому что чувствовала вину и перед отцом с матерью, и перед Трофимовыми. Конечно, никого она не

обокрала, не обманула, но страшно было ей думать, что живет она в незаслуженном, как бы не в своем, а в чужом счастье, которое себе присвоила. Оттого Настя не щадила себя в работе, каждому старалась услужить, помочь, сделать хорошее. Она словно искупала тяжкий грех и в этом находила оправдание своей вине. Ведь не в лености живет, не в пустых заботах и сытости, а в трудах и мучениях, какие другим-то бабам, может, и во сне не приснятся. Неужто бог не увидит этого? А увидав, неужто не простит, не снимет с души грех?..

Мужики удивлялись ее выносливости, терпению. Каждый невольно ставил на место Насти свою жену, но не каждый мог, не покривя душой, сказать, что и его баба сумела бы выдержать такое...

Земля здесь была чудная. Степь не степь кругом, хотя в основном и равнина — даже сопки, дугой опоясывающие поселок, были с виду отлогие, покатые, — однако и не лес тоже: деревья какие-то низенькие, кривые и растут редко, вразброс. Карлики, они и есть карлики, потому и уродливые. Да откуда бы взяться нормальным деревьям, когда постоянно дуют холодные ветры, а земля промерзла насквозь. Сколько ни долбай ломом или киркой — все мерзлота. Даже летом земля почти не отходит. Едва лопатой копнешь на штык, дерн снимешь — и твердь проступает. В такой-то земле не то что хлеб, картошка не вырастет. И ни дня, как положено и как привычно людям, ни ночи настоящей. В летнее время сплошной день, только к вечеру смеркается немного, блекнет, сереет небо, а зимой наоборот — ночь и ночь...

Поначалу думалось, что от такого можно с ума сойти, но оказалось, что и к этому человек привыкает. Не легко, не просто — недаром мужики зверели, — но привыкает. Привыкла и Настя. Ее не столько угнетало, что всю зиму, с ноября до марта, не бывает солнца, что бараки заносило снегом до самых крыш, сколько то, что нет баб. Не с кем отвести душу за разговорами, кото-

рых мужик, хоть бы и родной и любимый, никогда не поймет. А Насте было о чем поговорить: она забеременела.

Ее не пугало это, она ждала, когда это случится, но все-таки было и страшновато рожать здесь. Дома совсем другое дело. Там мать, там бабки... «Кто подскажет, кто научит, кто примет дите?» — с беспокойством думала Настя. Одни мужики вокруг, и у них своя, далекая от бабьих забот, жизнь, которой не понимала Настя. Возвращаясь в барак с работы, большинство мужиков тотчас ложились спать, многие даже не раздевались, ложились, в чем работали, только снимут обувь, а некоторые играли в карты. Ругались при этом безбожно, громко, много курили, пили спирт, который доставали неизвестно откуда. Правда, начальство строго наказывало за это, но никто не боялся, да разве тут уследишь за всеми...

По своей бригадирской должности и Василий должен бы был бороться с картежной игрой и вообще всякими безобразиями, однако Настя просила его не вмешиваться, не влезать, боясь мести со стороны мужиков. Пусть себе, как хотят, говорила Настя, они и так злые из-за холодной погоды, плохой еды, а также и потому, что живут без баб. Василий-то, может, и не видел ничего, а Настя замечала, как им завидуют, какими жадными глазами смотрят мужики на нее. Вмешайся Василий, покажи свою власть — тот же Монастырев не остановится ни перед чем. Зверь зверем, только что обличье человеческое.

А по правде говоря, Василий не очень-то стремился вмешиваться и жалел, что его назначили бригадиром. Не для его характера такая должность. Был он спокойный, мягкий, не любил скандалов и споров, всегда готовый уступить, хотя бы и чувствовал свою правоту. Ему бы исполнять, что приказывают другие, а приходилось приказывать другим. Чего уж там, каждому хотелось

делать что полегче, работать там, где потеплее, и по утрам, когда нужно было распределять работу, начиналась между мужиками настоящая свара. Василий терялся, не умея успокоить мужиков, и сам брался за самую трудную работу. За это его ругал Петр Игнатьич.

— Что ж ты, маткин берег, в поводу у всякой сволочи идешь! Эдак-то на тебе скоро верхом поедут.

— А что я могу сделать? — оправдывался Василий. — Драться с ними?

— Зачем драться? Ты должен себя так поставить, — наставлял Петр Игнатьич, — чтоб слово твое было авторитетное. Сам всю тяжелую работу не переделаешь, а спрос с тебя будет.

— Это-то верно... — вздыхал Василий. — Попробую.

— Ты не пробовай, а делай. Это баба, которая всю жизнь по разным рукам ходит, все пробовала и пробовала. Тебе-то такое вроде как не с руки.

Не раз и не два Петр Игнатьич заводил этот разговор с Василием, однако ничего не менялось, и тогда Петр Игнатьич, никому не сказавши, сходил к самому Фомичеву, рассказал ему, какие дела творятся в бригаде. Назавтра с утра, когда мужики препирались, кому куда идти работать, неожиданно появился Фомичев.

— Что здесь за базар?! — прикрикнул он строго. И ведь знал же, знал, кто бригадир, хорошо помнил Василия, а спросил: — Где бригадир?

— Тут я... — сказал Василий.

— Какого же дьявола вы митингуете, когда надо работать?

— Да нет, мы не митингуем, — оправдывался Василий, не понимая иронии.

— Так в чем же дело?

— Наряжаю людей на работу.

— Непохоже. — Фомичев оглядел столпившихся и молчавших при нем мужиков, выбрал одного и спросил: — Задание получил?

— Ну,— ответил тот.

— Ну или получил?

— Получил.

— А почему не выполняешь?

— Я вчера был на котловане, сегодня опять посылают.

— А ты хотел бы к теще на блины?

Получилось это так неожиданно, что всем вдруг сделалось весело, и мужики захохотали дружно.

— Я бы тоже не прочь тещинными блинами полакомиться,— сказал Фомичев,— а вот приходится воевать с некоторыми малосознательными...

— Вам-то что,— осмелев, возразил мужик.— Захотели — и поехали.

— Ошибаешься. Мне отсюда, как и всем вам, никуда не уехать, пока не выполним задание Родины.

— Вы хоть послае уедете, а нас навряд ли отпустят...

— До того еще дожить надо,— сказал кто-то громко, со вздохом.

— Также верно,— обескураживающе легко согласился Фомичев.— Слыхали, как один человек очень смерти боялся и без конца жаловался всем, что умрет скоро?.. Всех врачей обошел, всех знахарок в округе. Казалось ему, что у него какая-то неизвестная болезнь, от которой он и умрет. Вот одна бабка возьми и спроси у него: а чего, дескать, мил человек, ты смерти-то боишься? Смерть, мол, дело обычное, все умирают. А он и признался, что страшно ему подумать, как его хоронить будут, как гроб заколачивать. Бабка усмехнулась и сказала ему: «Ишь чего! Да ты еще доживи до собственных-то похорон, а потом пугайся...»

Тут мужики совсем развеселились.

— А что, мужички,— крикнул кто-то,— поди, сильно в башке гудит, когда гвозди в гроб заколачивают?

— Ты ляг да попробуй!

— Захотел чего! Мне еще пожить хочется.

— Раз пожить хочется, тогда и не узнаешь нипочем, как оно в башке твоей гудеть станет!..

— Ладно,— сказал Фомичев,— поговорили, и будет. Делу время, потехе час, а?.. Я вот что подумал, мужики: может, вам бригадира заменить?— Он посмотрел на Василия, и тому вдруг сделалось стыдно. Он отвел глаза.

И случилось то, чего Василий в общем-то не ожидал: мужики дружно воспротивились, стали уверять Фомичева, что бригадир у них хороший, что другого такого и не найти. Больше всех старался Монастырев, что особенно удивило Василия. (После он скажет об этом Петру Игнатьичу, и тот не станет разочаровывать его, ответит ничего не значащими словами: «Всякое бывает на свете...»)

— Раз так,— сказал Фомичев удовлетворенно,— менять не будем.— И вот здесь он допустил ошибку, которую никогда не простит себе.— А то я уже решил назначить вместо Трофимова Иванова Петра Игнатьевича...

Никто не заметил, никто не обратил внимания, как побелел весь от злобы и ненависти Монастырев. До этого момента он, как и все, думал, что Фомичев пришел в бригаду случайно, а теперь понял, что не обошлось без Петра Игнатьича, которого он не просто не любил, а ненавидел, как только можно ненавидеть злейшего, кровного врага.

«У-у, сука продажная!— распаяя себя, думал Монастырев, сжимая в руках лопату и жалея о том, что нельзя прямо сейчас воспользоваться ею так, как ему хотелось бы.— Ну погоди, погоди, скотина рыжая! Выпущу я тебе кишки наружу, чтоб и другим наука была...»

Вообще-то был он трусоват и вряд ли осмелился бы поднять на кого-нибудь руку, но теперь, поняв, что появление Фомичева в бригаде не было случайным (он пове-

рил, что Фомичев в самом деле собирался сменить бригадира), что о беспорядках начальству «накапал» Иванов, Монастырев неожиданно для себя пришел к мысли, что, скорее всего, Петр Игнатьич не тот, за кого его принимают. Может, он и не завербованный даже. То-то он с бригадиром дружбу водит, все высматривает да вынюхивает, а потом начальству наушничает.

«Хитро задумано,— рассуждал Монастырев, уже ничуть не сомневаясь в своей догадке.— Только меня-то на мякине не проведешь, не на того напали!..»

Ему было приятно сознавать, что именно он «раскусил» хитрость начальства, но и страшно тоже. Так страшно, что пот прошибал. Он вспоминал частые стычки с Петром Игнатьичем, как грозился убить его и как, случалось, проклинал при нем Советскую власть. Сейчас он ругал себя, потому что не догадался об этом раньше. А теперь поздновато — ему, Монастыреву, не простится ничего. Другие-то отработают свое, набьют карманы — и домой, коровенкой там, хозяйством обзаводиться. А он черта с два!.. Работай, Монастырев, вкальвай, пока стройка не закончена, пока лишние руки нужны, а придет срок, и все — все припомнят ему, каждое неосторожное слово, пусть и сказанное в запальчивости. Значит, единственное спасение — бежать отсюда?.. Эта мысль и прежде приходила в голову, однако страх всегда брал верх над желанием уйти. Страшно было в одиночку пускаться в дорогу по тундре. Если бы достать ружье, мечтал Монастырев... Он пробовал подбить себе в попутчики кого-нибудь из мужиков, но из этого ничего не вышло. Да и бежать-то ему, в сущности, было некуда — никто не ждал его в деревне, а в их доме разместился сельсовет.

Но теперь делать было нечего — нужно уходить...

Только, во-первых, не горячиться, дожидаться весны,— уходить зимой, в полярную ночь, было, конечно, безумием; во-вторых, необходимо как следует подгото-

виться — харчей подсобрать, одеждой запастись, куревом. А пока, решил он, лучше всего притихнуть, не высываться вперед других, не болтать лишнего, не вольтить на работе, вообще вести себя мирно. Пусть думают, что он «перековался». Не плохо бы подружиться с Трофимовым. Ну а весной... Весной он рассчитается с этим Ивановым, который будто бы Петр Игнатич, и ищите, начальнички, ветра в поле!..

* * *

Василий любил Настю, относился к ней ласково, нежно, оберегал ее от лишних тревог. Вообще он был человек добрый, терпеливый, не жаловался на трудности, считая, что жаловаться, то есть жалеть себя, самое последнее дело. Тяжело, непривычно?.. Ну что ж, ведь кто-то должен работать здесь, раз надо! А люди, они все одинаковые, рассуждал Василий, и никому не хочется взваливать на свои плечи больше, чем можно унести.

Но случалось, и на него нападала тоска. Он делался мрачным, серым с лица, глаза проваливались глубоко в глазницы, точно у покойника, и Насте было страшно смотреть на него такого.

— Сгинем мы здесь, Настюха, — говорил Василий. — Худое, проклятое место. Не богом и не для людей создано.

— Да что ты, милый! — успокаивала Настя. — Живем же вот...

— Не жизнь это, не жизнь... Ты оставь меня тут, а сама вертайся назад в деревню. Родишь там, береги ребятенка. Федор Тимофенч простит тебя. И за меня ему покайся.

Именно такое говорят перед смертью, думала Настя, и оттого страх сжимал ее сердце, но не могла она поверить, не хотела, что Василий умрет.

— Глупости говоришь. Это потому, что ночь все вре-

мя...— А сама отворачивала лицо, чтобы не показать Василию слез.— Подумай-ка, милый, как хорошо-то, что нас в какую-нибудь Литовию не завезли или еще дальше! А тут жить можно, не надо бога гневить.— Она знать не знала, что такое Литовия. Услыхала раз от кого-то, показалось ей это слово неродным, холодным, вот и повторяла его.

— Какая жизнь! — безнадежно вздыхал Василий.— Волка нашего привези сюда, и тот сдохнет.

— Потому волк и не человек,— упорствовала Настя, зная, что, если она не поддержит Василия, пропадет он.— Сам посмотри, сколько много всего настроили, а когда приехали, пустое место было. И домов не сосчитать,— домами она называла бараки,— и электрическую станцию! Живи и радуйся, правда. Отработал свое — отдыхай в тепле и с лампочкой, даже керосину не нужно. Что заработал — получи, а в лавку пойдешь — что хошь, то и покупай. Да разве б мы в деревне жили так, милый?..

Василий смотрел на нее пронзительно, жалостливо, но в закутке и впрямь было тепло, горело электричество, без хлеба и каши не сидели, и тоска его постепенно убывала, жизнь уже не казалась столь безнадежной и гиблой, однако в ней, в этой жизни, не хватало чего-то главного или, может, просто привычного.

— Ни хозяйства своего, ни животины какой...

— А в городах завсегда так живут,— убежденно говорила Настя.

— То в городах!

— Ничего не поделаешь: были мы с тобой деревенские, а теперь стали городские. Привыкнем, милый. Не в том дело, где жить, а в том, как жить...

Она не лгала, уговаривая Василия, вселяя в него надежду на лучшее будущее, хоть и не посчитала бы большим грехом ложь во спасение. Она думала почти так, как говорила, принимая все случившееся с ними за

счастье. И потому, что любила Василия, а здесь никто не мог различить их, и потому еще, что перед нею открывался мир, который она никогда бы не увидела, разве что в кино, оставаясь навечно в родных Ореховичах. Жили бы они в потемках с лучиной,— керосин дорогой, носили бы домотканую одежду, которая кажется удобной и красивой только издали тому, кто не носил ее, а тут электрический свет, радио провели в бараки, одежду подряд все носят магазинную даже в будни, даже на работу, какую в деревне не всякий и по воскресеньям надевает. Конечно, по радио рассказывают, что нынче и в деревне жизнь меняется к лучшему, и Настя верит этому — по радио зря ничего не скажут, — однако во всех деревнях сразу не переменится, покуда эти перемены до ихних Ореховичей дойдут, можно и состариться, и помереть... А здесь — вот она, новая жизнь! Что хлеб привозной, так он ничем не хуже своего. По крайней мере, в него картошку и мякину не добавляют. В поселке больница открылась, и Настю послали туда работать санитаркой. А кто видал такое, чтобы деревенская баба на работе ходила в белом халате, например?.. Чтобы эту деревенскую бабу, почти девку еще, умные, образованные люди — доктора! — по имени-отчеству называли?.. В век такого никто в Ореховичах не видывал, и за одно это, искренне думала Настя, надо всю жизнь богу молиться...

— Тебя слушаешь,— улыбаясь, говорил Василий,— так мы вроде не на краю света живем, а прямо в раю.

— В раю ангелы живут,— возражала Настя.— И святые.

— А я вот погляжу на тебя, Настюха, ты и есть самая настоящая святая.

— Куда мне! — краснела она.

— Другие тоже говорят. Доктора встретил — святая, говорит, у вас жена, Василий Митрич...

Может, в этом и было что-то от истины. Нравилось Насте ухаживать за больными, ослабевшими мужиками, которые точно дети делаются и совестятся своей слабости. Она понимала это и старалась, чтобы мужики не догадывались о том, что она видит их слабость. Одного попросит воды принести, будто бы ей самой тяжело, другого — койку подвинуть, хоть и нет в этом никакой надобности, и мужики радуются, что и больные они нужны бабе, посмеиваются над Настей и ее бессилием. Дескать, баба, она и есть баба, ничего сама не умеет, ни на что не способная без мужика. А ей-то только того и надо, потому что не доктора и не лекарства (без этого, конечно, тоже совсем нельзя) мужика на ноги поставят и вернут к жизни, а уверенность, что без него не обойдутся, что без него все на свете прахом пойдет и жизнь остановится...

К весне кое-кто из начальства жен выписал. В том числе и Фомичев. Его жена тоже работала в больнице. Она была доктором по женским болезням. Бог знает откуда и как, но уже через несколько дней после ее появления весь поселок знал, какой именно она доктор, и мужики смеялись, что ее специально для Насти прислали, раз Настя рожать собирается.

Но прежде чем Настя родила, случилось большое несчастье: убили Петра Игнатьича. Чуть живого, без сознания, его нашел утром один мужик. Похоже, били ломом или еще чем-то тяжелым из-за угла — голова была проломлена на затылке. Лежал Петр Игнатьич в кустах возле уборной. Его принесли в больницу, и он почти сутки жил, однако в сознание так и не пришел, скончался.

Никто не сомневался, что убийцей был Монастырев, а когда выяснилось, что он к тому же исчез и что не ночевал в своем бараке, снарядили погоню на машине. Надеялись догнать в тундре, — он-то ушел пешком, — но не догнали. Видимо, он напал на Петра Игнатьича еще

вечером, за ночь успел добраться до станции и уехал каким-нибудь товарняком: их останавливалось много, а те, что не останавливались, сбавляли ход, так что ловкому мужику нетрудно прицепиться. По линии дали, конечно, телеграмму с приметами Монастырева, чтобы милиция на станциях проверяла все поезда, однако поймать не поймали. А вскоре выяснилось, что и приметы были неточные: оказывается, в день убийства Монастырев сбрил бороду и усы. Об этом рассказал парикмахер. «Я еще удивился, а он говорит, что проигрался в карты,— рассказывал парикмахер всем подряд.— Ну я и не подумал ничего худого, не впервой, чтобы мужики проигрывали в карты свои бороды...» Ему показали фотокарточку Монастырева, и парикмахер сразу его признал. По всему выходило, что Монастырев заранее припрятал вещички и ждал возле уборной, когда Петр Игнатьич выйдет перед ночью по нужде. Приезжий следователь пробыл на стройке три дня. Он все удивлялся, как это никто не обратил внимания, что двоих — Петра Игнатьича и Монастырева — не было ночью на месте, потому что ходить тут по ночам было некуда.

На этом следствии и закончилось, и вышел приказ товарища Фомичева, в котором бригадирам указывалось: на зимний период в одиннадцать вечера проверять, все ли люди на месте, и докладывать ответственному дежурному по строительству, потому что были случаи, когда мужики, подвыпив, уходили в тундру, а потом плутали там по нескольку дней. Одного местные жители привезли обмороженного и еле живого.

А Петра Игнатьича хоронили всем поселком, И раньше умирали люди, не без того, но умирали сами по себе, от болезней или тоски, а чтобы убили кого-нибудь — такого не было.

Над гробом Петра Игнатьича Фомичев сказал речь.

— Ваш товарищ,— сказал он,— погиб от руки классового врага. Не личные счеты сводил убийца. Он сво-

дил счета с Советской властью, в нее был нацелен его удар из-за угла! Он просчитался, думая, что дрогнет Советская власть. Не дрогнет, устоит, и никто, никакой враг не помешает нам строить новую жизнь, во имя которой мы все здесь терпим лишения и невзгоды. Дрогнули наши сердца, но не наша воля, не наша решимость, которая удвоится в ответ на любой происк врага! Новой жизни быть, товарищи...— твердо закончил Фомичев.

* * *

Еще всю продолжалось строительство, но уже начали добывать и руду, ради чего и была затеяна эта стройка. Часть людей, в том числе и бригаду Василия, перевели на добычу, а самого его назначили, поскольку он грамотный, учетчиком. Дело его заключалось в том, чтобы на станции (к тому времени подвели к поселку и железнодорожную ветку) принимать от возчиков руду и записывать, кто сколько сдал. Получалось, что Василий стал вроде как начальником, и Настя очень гордилась этим. Правда, кое-кто из мужиков был недоволен им. Особенно те, которые раньше работали в одной бригаде с Василием. Но это понятно: на каждого не угодишь, а Василию, считала Настя, оказали большое доверие. И он честно оправдывал его. Другие приемщики, как скоро выяснилось, своим людям — землякам, приятелям — лишнее записывали и брали за это деньги. А Василий — нет. Насчет этого его специально предупреждали, когда назначали на новую работу.

— Мы считаем, что добыли тысячу пудов руды, — объяснили Василию, — а оказывается, что только восемьсот, например. От этого прямой убыток государству и всему обществу.

— Куда же остальные-то двести пудов деваются? — не сообразил Василий этой арифметики.

— Этих двухсот пудов просто-напросто нет! Фикция это, обман.

— Как так?..

— Учетчики приписывают. Возчик привезет шесть пудов, а ему пишут семь.

— Тут резон какой-то должен быть,— сказал Василий с сомнением.— Зачем я стану писать больше, чем есть?

— Резон есть. Получается, что бригада, от которой возчик работает, больше других добывает. Значит, и денег им больше, и почета. Ну и учетчику что-то перепадает.

— Вон оно как! — наконец сообразил Василий.— Выходит, воровство это...

Тут в кабинет вошел Фомичев. Увидал Василия, обрадовался, руку подал.

— Ну как, Василий Дмитриевич?

— А хорошо все, чего нам.

— Решили Трофимова в учетчики перевести,— сказал помощник Фомичева.— Безобразие там творится.

— Правильно решили! — поддержал Фомичев.— Человек он честный, трудолюбивый, мы ему полностью доверяем.

— Спасибо за честь,— проговорил Василий смущенно.

— Честь по труду, Василий Дмитриевич. Земляков ваших здесь много?

— Не так чтобы, но есть.

— Возможно, кое-кто будет на чувства ваши нажимать, на землячество...

— Это насчет того, чтобы приписывать своим?

— Да.

— Не пойдет,— сказал Василий.— Работа сама по себе, а дружба сама по себе. Я так понимаю.

— Правильно понимаете, Василий Дмитриевич.— Фомичев обнял его за плечи и спросил:— Как ваша жена?

— Хорошо.

- Не жалеет, что приехали сюда?
- Чего ей жалеть? Довольная наоборот.
- Моя супруга говорит, что ей рожать скоро.
- Выходит, что скоро,— ответил Василий и по-

краснел.

Родила Настя в апреле 1932 года дочку. Назвали ее Машей.

Это был первый ребенок, рожденный здесь, и чуть ли не весь поселок собрался возле больницы, словно на митинг. Радость у людей была огромная, каждый в душе считал новорожденную как бы и своим ребенком, потому что других детей в поселке не было вообще. Несколько женщин, появившихся за зиму, детей с собой не привезли.

А собрались мужики, чтобы взглянуть на мать и дите, потому что, может, нет для мужика большей радости, чем видеть бабу с ребенком.

Страшно было Насте выносить и показывать чужим дочку,— сглазить ведь могли, но и понимала она, что нельзя не показать.

— Вынеси,— сказала она Василию.— Пушай люди посмотрят.— Сама она была слабая и выйти не могла.

— А ежели у кого дурной глаз? — усомнился Василий.

— Ничего, ничего, милый... Даст бог, обойдется. Неужто кто худого нашей дочке пожелает? Для всех она как своя...

— Люди разные,— сомневался Василий, сопротивляясь.

— А радость всем одинаковая,— сказала Настя.— Нести надо.

Закутали дочку потеплее — жена Фомичева, Клавдия Павловна, сама закутывала,— и Василий вышел с ней на крыльцо. В самое первое мгновение, когда он появился в дверях, тихо вдруг стало, все замолчали, словно чудо объявилось, а не отец с дочкой на руках, но

кто-то закричал громко «Ура-а!», и тогда закричали и другие, и поднялся такой шум, что Клавдия Павловна, стоявшая за спиной Василия, замахала руками. Мужики шапки бросали вверх, топтали их и тянулись, тянулись руками, чтобы потрогать ребеночка, ощутить, почувствовать чтобы живую плоть нового человека. Но этого-то Василий никому не позволил, отталкивая чужие руки, поворачивался к людям спиной, загоразвивая дочку.

Настя лежала в палате, слушала радостные крики, и приятно ей было оттого, что своим большим-большим счастьем, больше какого не бывает на свете, ради которого можно принять любые муки, она делится с другими...

Какой-то мужик, понастырнее и поспортивнее остальных, пробился все же на крыльцо, к Василию.

— Эх мать честная!..— выкрикнул он, кинув шапку под ноги.— Веселись, народ! Ежели, говорю вам, баба разродилась, значица, быть тут жизни настоящей! Оно так, мужики!.. Куды, говорю, русский наш человек ногой ступил, где наша русская баба потомство на свет произвела, там и цветам цвести, и хлебам колоситься! — Он повернулся лицом к Василию и попросил: — Дай, друг, поддержать ребятенка.

— Ступай, ступай,— хмуро сказал Василий.

— Ну и ладно, коли так! Я не в обиде, и сам бы не дал. Но повыше-то подыми, чтоб всем видать было.

И Василий поднял дочку над головой.

— Во! — кричал мужик, прыгая на своей шапке.— Пушай теперь и другие прочие женщины, какне есть, тоже ребятенков рожают. А начальство просить будем, мужики, чтоб наших баб сюда привезли и вообще, потому как сам я холостой и другие есть холостые!.. Неча бобылями жить, зазря небо коптить, надо по-людски, как от бога и природы заведено! — Он нагнулся, собираясь поднять шапку, но передумал и поддал ее

ногой. Потом неожиданно подпрыгнул и поцеловал Василия.

Клавдия Павловна приняла девочку и унесла к Насте в палату.

Василий был героем дня. Все его узнавали, раскланивались уважительно, и незнакомые люди приглашали в гости. Даже те, кто еще накануне по злобе своей и недовольству не протянул бы ему руки, вроде забыли об этом.

А Настю пришел навестить Фомичев. Клавдия Павловна не хотела пускать его. Они препирались в коридоре возле двери, и Насте все-все было слышно.

— Нельзя! — строго говорила Клавдия Павловна. — Где ты видел, чтобы к роженицам впускали посторонних?

— Разумеется, я не видел, — смеясь, отвечал Фомичев. — Но ты пойми, Клава, это особенный случай!

— Каждое рождение человека — особенный случай, пора вам, мужчинам, это уяснить.

— Уяснил, уяснил... Но ты все-таки разреши заглянуть на минутку. Очень нужно! Я не подойду к ее кровати, постою у двери...

Тут не выдержала Настя, сказала громко, чтобы слышно было в коридоре:

— Пустите, Клавдия Павловна! Ничего не будет, Василий-то приходил.

Ей был приятен этот визит и настойчивость Фомичева, потому что, понимала она, высокое начальство не ко всякому пойдет — и времени у того же Фомичева нет, чтобы всех навещать, и положение не позволяет быть со всеми запросто, по-свойски, — а раз к ней пришел, значит, сильно уважает и ценит Василия...

Фомичев вошел в накинутом на плечи белом халате, с табуреткой, которую поставил в углу у самой двери. Но не присел,

— Поздравляю,— сказал,— Настасья Федоровна! Вот построим город и первую улицу назовем в честь вашей дочки.

— Как это? — не поняла Настя.

— Просто! Улица Марии Трофимовой. Красиво?

— Спасибо на добром слове,— сказала Настя тихо, рдея от счастья и благодарности.— Только ни к чему это...

— Пусть наши потомки, которые будут здесь жить, в этом прекрасном городе, через сто, через двести лет, знают и помнят тех, кто первым пришел сюда! И пришел на века. А уж первого человека, рожденного здесь, тем более должны знать. Это вам спасибо, Настасья Федоровна. Вам!

— Мне-то за что? — искренне удивилась Настя.

— Вы сами не понимаете, что сделали...

Приоткрылась дверь, в палату бочком протиснулся Василий. Он не уходил далеко от больницы и теперь, когда у Насти в гостях был Фомичев, оставаться на улице не мог. Он, конечно, думать не думал, что у начальника может быть дурной глаз, а все же...

— Родив дочку,— продолжал Фомичев,— вы сделали то, что не сумели бы сотни лучших агитаторов!

Настя молчала, а Василий пожал плечами и молвил:

— Обычное дело, когда баба рожает. На то ведь она и баба, чтобы ребятишек рожать на свет.

Фомичев резко повернулся к нему.

— И самое обычное бывает необычным, Василий Дмитриевич. До сегодняшнего дня многие не верили, что мы пришли сюда не гостями, а хозяевами. Ведь было же такое?

— Было, чего уж там...

— Ну вот! А теперь?.. Мужик-то здорово сказал, а?.. Где русская женщина родила, там и цветам быть, и хлебам колоситься! Вот в чем главное.

— Вам оно виднее,— согласился Василий, вздыхая.— А наше дело маленькое. Работаем, где узано.

— Э-э, нет, Василий Дмитриевич! — возразил Фомичев.— Все дела здесь наши общие. Разве вам безразлично, что и как мы делаем? Разве не радостно вам сознавать, что не было ничего, только тундра и вечная мерзлота, а пришли мы — вы, Настасья Федоровна, Иванов, я, тысячи других людей — и началось преобразование земли?!

— Приятно, конечно, чего там...

— Да, не все одинаково радуются сегодняшним успехам. Но...— Он пристально посмотрел на Василия, и тот не выдержал этого взгляда, отвернулся.— Обиды, Василий Дмитриевич, забудутся, а дело, которое мы делаем все вместе, останется в веках! Дети, внуки, правнуки наши с вами скажут нам огромное свое спасибо. Человек живет не для личного блага, нет. Он всегда жил, трудился, терпел лишения, умирал на поле боя не ради себя, но ради будущего, во имя его. Хотя, может быть, далеко не каждый понимал и понимает это.

— Так и есть,— подумав, сказал Василий.

— Иначе человечество давно бы вымерло. Да что там! Иначе человек никогда не стал бы человеком...
Вошла Клавдия Павловна.

— Не хватит митинговать? — сказала она, обращаясь к Фомичеву.— Настасье Федоровне пора кормить ребенка.

— Сейчас, сейчас... Я главного не сказал.

— Пока ты доберешься до главного...

— Строя дом, вы знаете, что он простоит не двадцать или тридцать лет, пока мы живы, а сто и больше, верно? — спросил Фомичев у Василия, одновременно отмахиваясь от Клавдии Павловны.

— Еще бы.

— Значит, не для себя только стараешься?.. Ладно, действительно пора нам уходить, Василий Дмитриевич. Утомил я Настасью Федоровну.

— Бог с вами, я ничего! — воскликнула Настя и застыдилась того, что вспомнила бога.

— Как говорится, напоследок хочу вас порадовать. Руководство приняло решение выделить вам отдельный дом. Вы у нас единственная семья с ребенком.

Настино сердце готово было выпрыгнуть из груди от счастья и благодарности, и не знала она, какими словами высказать все, что ей хотелось бы. Она подняла наполненные слезами глаза, посмотрела на Фомичева, на Клавдию Павловну, которая ласково улыбалась Насте, и на Василия посмотрела, стоящего с опущенной головой, и ничего не сказала, чувствуя, что любые слова, хотя бы и самые хорошие, будут сейчас лишними.

— Ну, мама, набирайтесь сил, впереди у нас с вами много дел,— сказал Фомичев и, кивнув, вышел. Следом за ним вышла и Клавдия Павловна, предупредив Василия, чтобы он долго в палате не задерживался.

— Дай мне твою руку,— попросила Настя.

Василий неуверенно приблизился к кровати, протянул руку. Настя погладила ее и положила на свое лицо.

— Сядь на краешек.

— Нельзя, что ты!..

— Немножко можно.

— Докторша увидит — ругаться станет,— противился Василий.— И штаны у меня нечистые...

— Тогда возьми табуретку.

Василий придвинул табуретку и присел.

— Ты доволен, милый? — тихо спросила Настя.

— Чего лишнее спрашивать, Настюха! Ясное дело, что доволен.

— Но ты сыночка хотел...

— Это ж так, вообще. Дочка-то, может, и лучше еще, помощницей тебе будет.

— А потом сына родим,— краснея, сказала Настя.
— Ты не загадывай.— Василий погладил ее волосы.
— Поцелуй...

Он наклонился и, косясь на дверь, поцеловал ее в лоб.

— Покойников же в лоб целуют,— засмеялась Настя.— А хорошо-то как, господи!.. Подумать страшно. Не чаяла я, милый, не гадала, что выживем мы здесь и еще дочку родим...

— Раз другие живут, и мы проживем.

— Теперь можно наших кого в гости позвать...

— А это незачем,— сухо сказал Василий, освобождая свою руку.

Тут заглянула в палату Клавдия Павловна и погрозила Василию пальцем. Он быстро встал и вышел.

Глава V

Отец писал, что колхоз в Ореховичах устроился прочно. Никто не голодает, всем хватает хлебушка. В деревне открыли школу для младших ребятшек. Вообще жизнь пошла совсем другая, чем прежде. Такая жизнь, о какой раньше-то и мечтать никому не смелось. Мать, слава богу, вроде даже поправляться стала. Брат Андрей не приезжает, но писать — пишет. Похоже, окончательно устроился в городе. Собирается жениться.

Радуюсь за своих, а главное за то, что выздоровела мать, Настя в письмах спрашивала и про мужнину родню. Однако Федор Тимофеич ничего не отписывал про Трофимовых, умалчивал, словно не знал таких или не понимал Настинных вопросов. Значит, догадывалась она, не помирились, по-прежнему живут врагами. Она-то в душе давно простила и родителей Василия, и сестер его, понимая, что нелегко им было смириться с ослушанием и отречением сына и брата от своей родни. Бог с ними, рассудила Настя. Он же и судья им, как всем осталь-

ным людям. Ихнее право обижаться на нее или не обижаться, признавать за свою или не признавать...

А Василий хоть и переживал сильно, хоть и маялся (этого ведь не скроешь от жены), но прощать ни родителей, ни сестер, кажется, не собирался. Потому и писем не писал. Настя подталкивала его, настраивала, чтобы написал домой. Плохие ли, хорошие, а родители ведь, говорила она, и нет на свете большего греха, чем держать обиду — пусть тыщу раз справедливую — на отца с матерью. Но Василий твердо стоял на своем. И однажды, когда Настя принялась уговаривать его, высказался:

— Кабы не отец, жили бы мы с тобой дома, Настюха. Землю бы пахали, хлеб сеяли. А ты все голову мне морочишь!

И поняла тогда Настя: как бы ни было им хорошо здесь, какой бы почет и уважение ни заслужил своей работой Василий, а все равно до скончания века не будет ему покоя и настоящей радости, потому что не лежит у него душа к теперешней работе, но крестьянского труда просит, по земле тоскует, изнывает болью... Да и сама Настя иногда явственно слышала какой-то непонятный зов, неизвестно откуда исходящий, и, не видя, видела деревню Ореховичи с поднимающимися над крышами дымами, поля, лежащие вокруг, и лес, куда столько побегала по грибы и ягоды со своими подружками, и родное небо, которое не в пример здешнему — серому, блеклому — всегда голубое и чистое, такое чистое, словно кто-то моет его по утрам, покуда не пробудились люди. И еще преследовал Настю настойчивый, странный запах, одинаково знакомый и незнакомый, и она догадывалась, что так может пахнуть только распаханная земля, когда лежит она парная, отдохнувшая за зиму, накопившая в себе новые силы, лежит и дышит, вбирая в себя весну, готовая принять хлебное семя, чтобы, вспоенная дождями и согретая солнцем, затяжелеть тучны-

ми колосьями и разродиться, когда придет время, обильным урожаем...

Настя молчала про свои видения и про эти запахи, которые, случилось, по несколько дней преследовали ее, ничего не говорила Василию, чтобы не волновать его напрасно, не расстраивать. А когда Василий признался в своей тоске, сказала ему:

— Попросись у товарища Фомичева. Может, отпустят нас.

Их отпустили бы, конечно. Тем более, договорный срок истек, и жили они здесь уже не вербованными, но сделались как бы местными жителями, первыми и оттого почетными гражданами нового города, который вырастал из ничего на их же глазах, строился их же руками. Каждый камень, положенный в фундамент каждого дома, и каждое бревнышко, из которых клалась стена, были политы их потом.

Только не захотел Василий уезжать отсюда. Не захотел, хотя невозможно как болела его душа, стремилась на родину, к земле, к привычному труду. Он сказал себе, что навсегда — на веки вечные — отказывается от родни, которая сама прежде отказалась от него, воспротивившись его счастью с Настей.

За себя он мог бы простить, — чего между близкими не бывает в жизни! За Настю и детей — нет.

— А ты все равно прости! — убеждала его Настя, не чувствуя в себе ни колечко злобы против всех Трофимовых. — Через силу прости. Это даже лучше, милый. Что людям в том прощении, которое легко дается?

— Нет, — отвечал Василий упрямо. — Я не прошу... И ты не прощай, слышишь?

— Можно ли так?

— Можно. И детям нашим вели, когда вырастут и понимать станут, чтобы не прощали.

— Бог с тобой, что ты говоришь-то?! — перепугалась Настя. — Будто помирать собрался...

— Я вообще, к примеру. Как оно там дальше сложится, никто не знает про то. Ни ты, ни я, ни твой бог, Настюха...— Василий вздохнул тяжело, и в глазах его проступила такая тоска и горечь, что Насте сделалось страшно.— Ежели случится такое, что не будет меня, одни останетесь, не иди к ним, не смей! К своим иди. А эти пушай живут сами по себе. Такое мое тебе слово.

— Нельзя же, Васенька! — Она редко называла мужа по имени, все больше «милый».— Дети не судьи родителям. Не нами заведено это, не нам и переиначивать. Подумай, подумай сам: что бы это делалось на свете, когда бы дети судили родителей своих?!

— Не нами заведено — это правда,— сказал Василий.— Но людьми! Люди и переиначат, когда надо. А мы с тобой люди или нет?..

— Люди,— согласилась Настя.— А это —от бога. Всё от бога.

— А есть ли он, бог?..—вдруг проговорил Василий с сомнением.— Кто видал его?..

— Окстись! — вскрикнула Настя и перекрестилась.— Бог, он потому и бог, что людям не показывает-ся...

— Да погоди ты! — перебил ее Василий.— Кабы бог-то был, разве б допустил такой срам, как у нас получился?.. Ну а ежели и есть, так, стало быть, не в ту сторону смотрит, куда надо, не то творит. От него польза должна быть людям, а не вред. Выходит, свои у него там заботы, а у нас — свои.

— Может, он нарочно искушения всякие посылает, чтоб испытать нас. Без этого и счастье не счастье, и жизнь не жизнь.

— А-а! — Василий махнул рукой.— Он, значит, искушения посылает, а бороться с ними мы?.. Ты как хошь, твое дело, а мне с таким богом, у которого отдельные от моих дела, не по дороге.

Настя отступалась, не спорила больше. И потому,

что не умела, и потому, что не хотела, боялась разгневать мужа — не за себя, конечно, боялась, а за него же, чтоб не причинять ему беспокойства,— а главное потому, что сомнения, которые высказывал Василий, не вызвали в ее душе должного отпора, возмущения. Напротив, вспоминая, что было с ними и что она видела, Настя вынужденно приходила к мысли, что в чем-то Василий и прав. Не в том, что бога нет — такое-то не могло прийти ей в голову,— а в том, что бог не всегда поступает по справедливости. Что их испытывает тяготами и лишениями — это ладно. А вот зачем, к примеру, дал помереть их мальчику, который родился после Маняши?.. Уж как им хотелось сынка, как хотелось! Сколько Настя молила бога, чтобы именно сына родить!.. И родила ведь,— не иначе ее молитвы дошли куда надо,— только пожил мальчик всего несколько деньков. Неужто и это для испытания им было дадено?.. Нет, быть этого не может. Не может быть, чтобы крепость веры в него бог испытывал смертью ребенка. А если все же испытывал, значит, не добро творил. Выходит, прав Василий?..

Настя гнала прочь эти мысли, соглашаясь на то, что они сильно чем-то прогневали бога, а он, мать еще говорила, сколько добр, столько и зол бывает. В нем всего поровну. Как бы и в людях: один, поглядишь, добрый уродился, ласковый и жалостливый, а другой — злой и колючий, только бы больно кому сделать...

Шестой год они уже жили на севере. Похоронив сына, Настя родила вторую дочку, которую назвали — в честь Настинной матери — Дуней. Как раз перед самым ее рождением отец написал, что Евдокия Ивановна скончалась. Настя бы поехала домой, но, во-первых, куда ж поедешь брюхатая, на сносях, во-вторых, как объявил Василий, поздно: письмо было в дороге две недели.

— Да и померла когда, тоже неизвестно,— сказал он.— Может, и сорокоуст уже справили. Чего теперь-то.

После родов Клавдия Павловна говорила Насте, что лучше бы им уехать отсюда. Детям нужны витамины, солнце нужно.

— Не хочет муж,— отвечала Настя.— Ни в какую.

— Одна уезжайте, с детьми. Маленькая подрастет — вернетесь, а детей у бабушки оставите. Наш тоже с бабушкой живет.

— Нет у нас бабушки,— призналась Настя.— Моя померла совсем недавно, а своих муж не признаёт...

— Извините, я не знала,— смутилась Клавдия Павловна.— И все-таки детей как-то нужно отсюда вывезти, Настасья Федоровна. Вы подумайте, обсудите с Василием Дмитриевичем...

— Ладно, я подумаю. Спасибо вам за заботу об нас.

Не пришлось долго думать — судьба сама распорядилась...

* * *

Весной 1937 года случилось большое несчастье — на поселок обрушилась лавина. Растревоженный снег, много-много лет спокойно и неподвижно лежавший на скло-не сопки, в которой добывали руду, вдруг стронулся с места...

Случилось это ночью, когда большинство людей спало. Лавина снесла, точно сдула, два барака, похоронив под собой людей, которые не успели даже проснуться. К утру на этом месте, не оставив никаких следов трагедии, лежал белый, чистый снег...

Домик, где жили Трофимовы, не пострадал. Вообще среди семейных не было пострадавших. К тому времени в первых бараках жили только холостяки, для семейных строили новые, получше.

Василий проснулся, кажется, раньше сигнала тревоги от близкого грохота. Настя тоже вскочила.

- Господи, что это?..
- Тревога,— сказал Василий.
- Грохочет-то что?
- Должно, лавина.

Он быстро оделся и выбежал из дому. Сирена выла, не умолкая. Вспыхивали прожекторы. В их дрожащем свете, словно ненастоящие, суетились, бегали люди.

Василий числился в аварийной команде и знал, куда идти, что делать.

А Настя больше не ложилась спать. Сначала, едва ушел Василий, она разбудила Маняшу, закутала ее и Дуню и тоже хотела бежать на улицу. Но к тому времени все, кому было положено, были на ногах и устанавливали порядок. Руководил сам Фомичев. Прежде всего он приказал не выпускать вне зоны опасности из домов женщин и детей. Поэтому всех, кто выбегал из барачков (а выбегали и раздетые, прямо со сна), загоняли обратно. Загнали и Настю с дочками, и она, успокоив и уложив перепуганную Маняшу — Дуня даже не проснулась,— всю оставшуюся ночь просидела у окна, хотя там ничего не было видно.

Утром Василий не вернулся домой. Не вернулся и к обеду. Настя пошла в контору узнавать про него, и там ей сказали, что четверых спасателей завалило, когда они вытаскивали людей из барака, до которого можно было еще добраться. В числе этих четверых был и Василий.

Настя не заплакала, побледнела только, молча повернулась и ушла. У нее был выходной день, однако она, взяв Дуняшу, отправилась в больницу. Там хватало работы. Раненых и обмороженных приносили двое суток, но среди них не было Василия.

Их откопали к концу третьего дня, когда никто уже и не верил, что эти четверо отыщутся. Верила, пожалуй, одна Настя. Даже не верила, а знала.

Двое были мертвые, третий на ноги сам поднялся, а Василий хоть и живой, дышал еще, но был без сознания. Настю к нему близко не допустили, сколько она ни рвалась, сколько ни кричала. Ее уговаривали, что все обойдется, все будет хорошо...

— Шли бы вы отдыхать, Настенька,— говорила Клавдия Павловна нежно, обнимая ее.— На вас лица нет, на ногах еле держитесь...— Она и сама неизвестно как держалась на ногах-то.— А за Василия Дмитриевича не беспокойтесь, ничего страшного, просто шоковое состояние...

А Настя рвалась в палату, не хотела никого слушать. Теперь, когда Василий нашелся, когда он был рядом с нею, но чуть живой, терпение ее лопнуло и все горе, которое она сдерживала, выплеснулось наружу.

— Пустите, пустите! — кричала Настя, и ее не могли удержать двое мужиков.— Васенька, миленький мой!..

Вот тут появился Фомичев. Все трое суток, прошедшие после лавины, он не ложился, не знал ни минуты отдыха, и, увидав плачущую Настю, тоже не сумел сдержаться.

— Замолчите! — прикрикнул он.— Возьмите себя в руки, как не стыдно!..

Странно, но именно это слово, сказанное Фомичевым сгоряча, в гневе, отрезвило Настю, вернуло к действительности. Господи, ведь жив же, жив ее Василий!.. Нашелся, и это главное. Она перестала реветь, успокоилась и смотрела на Фомичева испуганно и вопрошающе.

— Вы же умная, сильная женщина,— сказал он, рассеянно шаря в карманах.— Люди погибли, понимаете?.. А ваш муж жив.

Кто-то догадался и дал ему закурить. Он затаился жадно.

— Жив, а не шевелится...— всхлипнула Настя.

— Я же вам объясняла, Настенька, что он в шоковом состоянии. Придет в себя, и все будет хорошо. Сту-

пайте, ступайте домой. Мы сообщим, когда можно прийти,— подталкивая ее, сказала Клавдия Павловна.

— Ладно.— Настя согласно кивнула и побрела прочь.

Фомичев посмотрел на жену. Она поняла его немой вопрос и пожала плечами.

— Где Абрамов? — Он имел в виду главного врача.

— Где-то в палатах. Найти?

— Не надо. Если что, я у себя.

— Отдохнул бы и ты, Алексей.

— Отдохну у прокурора,— мрачно пошутил он.

— Но разве?..

— Чепуха! Людей жалко. Это стихия. Стихия! Ничего, когда-нибудь научимся бороться и со стихией. Пошел я, Клава. Передай Абрамову, чтобы держали меня в курсе.— Он уже повернулся, чтобы уйти, но, вспомнив, спросил: — Так что Трофимов?

— Не знаю. Состояние пока очень тяжелое. Ты же знаешь, что я не специалист.

А Василий выкарабкался. Можно сказать, обманул смерть. Даже не сильно обморозился. Перенес, правда, воспаление легких, но, отлежавшись в больнице три недели, вышел здоровый вроде, не увечный. Только прихрамывал некоторое время на левую ногу, которую придавило балкой. Рассказать ничего не мог. Говорил, что не помнит.

На стройку, как и предполагал Фомичев, наехало много начальства. Все работы были остановлены. Велось расследование. Ходили самые невероятные слухи, в том числе и о том, что строительство теперь прикроют.

В конце концов из Москвы и Ленинграда приехали ученые. Место катастрофы оцепили и никого, кроме начальства и ученых, не пускали.

Поселок жил тревожной жизнью, только и разговоров было о катастрофе и о комиссии, а кое-кто уже собирался домой.

Одни радовались возможному скорому возвращению в родные места, другие задумчиво вздыхали: нелегко подняться в такой путь с семьей, когда уже и здесь пообжились и пообвыклись в роде.

Кто-то пустил слух о вредительстве.

Дошли, конечно, эти разговоры и до руководства. Стали искать смутьянов, чтобы пресечь слухи. Но кого найдешь, если все говорят! И тогда объявили, что будет общее собрание.

Помещения, в котором бы разместились все, не было, и собрание проводили на улице. Сначала выступил какой-то приезжий начальник. Сказал всего несколько слов и, сняв фуражку, предложил минутой молчания почтить память погибших товарищей.

Мужики загудели одобрительно, потянулись стаскивать свои шапки. Постояли молча. Потом начальник надел фуражку и объявил:

— Некоторые из вас, я слышал, уже домой собрались, так вот товарищ академик вам все объяснит.

Академик был маленький, сухонький, с бородкой клинышком. Говорил он тихо, медленно, не очень понятно. Велел принести грифельную доску и мелок. Но ни грифельной доски, ни мелка не нашлось, и он смутился. Кто-то догадался притащить лист фанеры и карандаш. Академик поблагодарил и стал рисовать на фанере сначала какие-то линии, стрелки, а потом писал цифры. Повернувшись опять к людям, он сказал:

— Этот график показывает, товарищи, что данный склон, обращенный на юг, то есть наиболее всего... э-э... прогреваемый солнцем, является потенциально лавиноопасным. Однако, как показывают расчеты, самым тщательным образом проделанные моими коллегами, вероятность движения снежной массы представляется ничтожно малой. Скажем, раз в столетие. Таким образом, в ближайшие годы катастрофа повториться не может...

— А почему теперь такое получилось? — выкрикнул кто-то из толпы.

— Видите ли, вероятность того...

— Ты проще, проще давай!

— На графике, который вы видите...

— На нем ни хрена не понять!

Академик опять смутился, завертел головой, растерянно глядя на своих помощников. Приезжий из Москвы начальник, который выступал первый, что-то шепнул академику, наклонившись. Тот согласно закивал.

— Мой коллега Андрей... э-э... Сергеевич Пустошин все объяснит вам, — сказал академик, и его место занял молодой, крепкий мужчина с улыбочатым, веселым лицом.

— В общем, так, товарищи. Лавина — это стихийное бедствие. Как землетрясение, наводнение, засуха. Понятно?

— Засуха-то понятно, — загалдели мужики.

— Тогда пойдем дальше. Мы пока еще не умеем бороться с этими стихийными бедствиями. Даже предсказывать по-настоящему не умеем, и в этом должны честно признаться. Отсюда вывод: никакого злого умысла не было. Кто-то интересовался, почему лавина обрушилась именно сейчас. Отвечаю: дело случая. Если бы она обрушилась год назад или через год, этот вопрос вы все равно задали бы, верно?.. Не исключена возможность, что одной из причин явилась слишком ранняя для этих мест весна, а также и то, что под лавиноопасным склоном велись работы. В том числе и взрывные...

Тут поднялся галдеж. Мужики выкрикивали что-то возмущенно, спорили друг с другом, и в этом общем крике нельзя было разобрать никаких слов. Впрочем, их и нечего было понимать — так было все ясно. Пустошин терпеливо ждал, пока мужики успокоятся, и с его лица не сходила улыбка. Это подействовало — шум постепенно утих.

— Можно продолжать?— спросил Пустошин.— Значит, положение таково: как уже было сказано, вероятность повторной катастрофы практически исключается. Но!..— Он поднял руку.— Принимая во внимание случившееся и дальнейшую вашу безопасность, товарищи, комиссия вынесла решение о прекращении любых работ в зоне повышенной опасности. То есть непосредственно на южном склоне сопки и прилегающей к склону территории. По крайней мере до тех пор, пока мы не будем уверены на сто один процент, что трагедия не повторится. У меня все. Если есть вопросы, готов ответить.

— Я хотел спросить насчет прочих мест,— сказал один из мужиков, пробираясь вперед.— Там не опасно?

— Я бы мог ответить, что опасно ходить по улице. Что касается опасности схода лавин—нет.

— Это точно?

— Абсолютно точно, что в местах, представляющих хотя бы самую минимальную опасность, вы не будете работать и не будут строить жилье. Еще есть вопросы?..

— Вопросы-то они есть, конешное дело...— Мужик потоптался, махнул рукой и вернулся в толпу.

* * *

Настя стала замечать, что Василий после обвала сделался какой-то другой. Вроде и он это, все тот же добрый, покладистый Василий, который никому грубого слова не скажет, голоса не повысит, а вроде и не он... Бонятся всего, прислушивается ко всякому шороху, неожиданному постороннему звуку, сам разговаривает шепотом и Насте не разрешает говорить громко. Чуть что, сразу настораживается, напрягается весь: «Тс-с-с... Что там?..» А там ничего. Тишина. Или обычные звуки: что-то скрипнуло, что-то стукнуло, прошуршало. А по ночам совсем спать перестал, заснуть никак не может. А если, намаявшись, заснет — дергается всю ночь, вска-

кивает то и дело, пугливо озираясь, или вовсе, точно не в своем уме, прямо в исподнем выбегает на улицу. Исхудал до невозможности, только кожа да кости остались, глаза огромные и постоянно тревожные, бегающие, а руки трясутся. Пустяка не сделает по дому, чтобы не уронить что-нибудь, не разбить. И аппетит пропал. Сядет к столу, поскребет ложкой в миске, похлебает чуть-чуть жидкого — и все.

Настя ходила возле мужа, словно возле малого ребенка. Что там, за ним больше ухаживала, чем за Дуняшей. А он и не замечал ни ее, ни детей, хотя прежде, до несчастья, Дуняшу с рук не спускал. Сколько Настя слез выплакала, сколько выпрашивала у бога здоровья Василию, а все без толку. Таял он, теряя свое обличье, день ото дня. У него не спрашивала, что с ним, понимая, что лишние вопросы к хорошему не приведут. Молчком, лаской и нежностью пыталась вернуть мужа к нормальной жизни, а когда потеряла всякую надежду, рассказывала обо всем Клавдии Павловне, и та посоветовала снова положить Василия в больницу.

— Обследовать нужно вашего мужа, Настенька, — сказала, пряча глаза. — Специалистам показать.

— Пойдет ли?.. — усомнилась Настя. — Он и дома-то боится всего...

Василий пошел. Ни слова против не молвил. Вроде как обрадовался даже. А в больнице сразу разделся и лег на кровать. Похоже, здесь ему было спокойнее.

Осматривали его и местные доктора, и приезжие. Продержали в больнице полтора месяца. Ну, правда, подлечили маленько. Оживел Василий, поправился, спать стал, хоть и по-прежнему во сне дергался и вскрикивал. Руки почти совсем не дрожали, и в глазах тревога пропала. А все-таки был это уже не прежний Василий. Скванность какая-то в нем сохранилась, неуверенность. Говорил медленно и требовал, чтобы, когда он

говорит, ему в глаза смотрели. И делал все осторожно, с опаской.

Врачи объяснили, что это нервная болезнь и что поэтому Василию нельзя больше оставаться здесь. Необходимо, сказали врачи, переменить обстановку. Болезнь наверняка пройдет, если жить в другом месте, где он забудет пережитый им страх.

Настя приняла это известие спокойно. Она понимала, что Василий очень болен, беспокоилась за него, но вместе с тем как бы и радовалась, что теперь-то они вернутся в родные края, а главное, тому радовалась, что муж остался живой, что господь не отнял у дочек отца и кормильца. «Нет худа без добра», — рассудила Настя, потому что не станет же Василий упрячиться, согласится уехать и они будут жить в милой ее сердцу деревне Ореховичи. Где ни живи, какое благополучие ни имей, думала Настя, а дома-то все равно лучше. Может, многие люди оттого и не бывают счастливые, что счастье свое ищут далеко от дома. А оно, рождаясь вместе с человеком, по земле за ним не бродит...

Плохого она сказать ничего не хочет — им было хорошо здесь, однако тоска по родине преследовала ее все эти годы, вызывая беспокойство в душе и пустоту в сердце. Часто снились ей березки, которые росли вместе с Настей, тополь перед домом, который загоразивал солнце и который отец все собирался срубить, и речка Норовка, и все-все, что окружало Настю с детства, без чего прожить можно, но не хочется. А весной и осенью, когда над тундрой пролетали гуси, Насте казалось, что это те самые гуси, которые испокон веку гнездились недалеко от Ореховичей, на болотах, окружающих Долгое озеро. Дед Иван всегда знал, когда именно, в какой точно день, гуси вернутся домой. Рано утром он выходил на выгон и ждал. А дождавшись, радовался, точно ребенок, махал гусям шапкой, которую носил круглый год, зимой и летом, смешно подпрыгивал и приговари-

вал: «Прилетели гуси-лебеди, вернулись на родную сторонушку!..» Не понимала Настя, не догадывалась — или не хотела признаться в этом,— что гуси, пролетающие над тундрой, не могли быть теми гусями...

Конечно, не случись такого несчастья и не заболей Василий, они еще пожили бы здесь, а теперь что ж, теперь одна им дорога — домой. Можно в отчем доме жить, а можно хоть и свой, новый, поставить. Деньги есть, накопилось их немало. Слава богу, платили хорошо.

Но Василий все рассудил иначе.

— Калека я,— сказал он.— Никакой из меня больше не кормилец.

— Не гневи бога, опомнись! Живой же, счастье-то какое! Болезней на свете разных больше, чем людей, а живут же люди. И мы...

— А как жить-то?.. Собака бездомная тоже живет вроде, только не жизнь это, Настюха. Мученье одно.

— Тоже сравнил. Поедем домой...

— Никогда! — сказал Василий упрямо.

— Ладно, ладно,— не стала спорить Настя.— Не хочешь в Ореховичи — можно в Анисовку либо еще в какую-нибудь деревню.

— Нет,— повторил Василий.— Ноги моей там не будет. И слово мое твердое. Помру лучше, а на поклон не пойду.

— Не на поклон же, милый! Денег у нас своих хватит, чужого не надо. И дом поставим, и корову купим.

— Это все равно. Мы на поклон не пойдем, а они станут думать, что пришли, что не можем без них обойтись.

— Нельзя же, Васенька, тебе здесь оставаться, доктора-то что говорят!..— Настя чуть не плакала. Холила она, лелеяла мечту, как они приедут в Ореховичи, как поставят большой красивый дом, чтобы был этот дом просторнее и красивее трофимовского, купят корову,

овец, курей, заведут двух поросят, как заживут они мирно и счастливо, будут принимать в своем доме гостей, которые станут приходить к ним, чтобы послушать о жизни на далеком, неведомом севере,— ведь никто-никто, кроме них, не бывал на севере! — и вот разом из-за пустого, как считала Настя, упрямства Василия рухнули все мечты, вся красота, воздвигнутая Настей в воображении. А спорить она не могла. Тут не ей решать, а мужу. Да и пожалеть его надо, раз хворый.

— Здесь нельзя — в другом месте можно, — подумав, сказал Василий, — Россия-матушка большая, всем места хватит, всех пригрееет. Найдется и нам какое-нибудь местечко, Настюха. А на меня не сердчай...

— Я ничего, я как лучше хотела, — смиряясь, молвила Настя. — Может, к брату моему поедем, к Андрею?.. Отец писал, что устроился он хорошо, поможет...

— К Андрею-то?.. — Василий вспомнил, как ехали они с Андреем на станцию, разговор давний вспомнил и покачал головой. — Погоди, — сказал, — придумаем что-нибудь.

Неожиданно им помог Фомичев. От своей жены узнал, что Василий ни в какую не желает ехать на родину (Настя все рассказала Клавдии Павловне), зашел как-то вечером к ним домой, вроде Василия проведать и на детишек поглядеть, а в разговоре, который сам и завел умело, предложил им ехать в Ленинград.

— Я дам вам письмо хорошему человеку, он поможет устроиться.

— Неловко, — сказала Настя.

— Ерунда! Это мой друг, он все сделает для вас. Кстати, ему это и нетрудно — в милиции работает. — Фомичев подмигнул Насте и засмеялся: — Не боятесь?

— Нам нечего бояться, — сказал Василий.

— Вот и ладно.

— Спасибо, товарищ Фомичев, — поблагодарила На-

стя и поклонилась в пояс.— За все, за все спасибо вам и супруге вашей!

— Ну-ну!..— засмутился Фомичев.— Этого не надо, Анастасия Федоровна. Живите счастливо, дочек берегите. Мы будем помнить о вас.

— Поберегу,— растроганная таким вниманием, сказала Настя.— Дети же это наши.

— Мало ли что, пишите, не стесняйтесь.— Он как-то очень уж внимательно посмотрел на Настю.— Много вам предстоит пережить в жизни. Чувствую, что много... Хватит сил?

— Раз надо, то и хватит,— ответила Настя, вздыхая.— А своих не хватит — люди подсобят. Они добрые, люди-то. Это с виду кажется, что иной злой и жадный. А совесть, она всем одинаково дана, верно?

— Верно-то верно,— проговорил Фомичев.— Совесть всем одинаково дана... А распоряжается ею каждый по своему усмотрению, Анастасия Федоровна! Не у каждого она болит.

— Вам виднее,— сказала Настя.— Вы грамотные.

— Если бы грамота слепых зрячими делала!.. В общем, договорились: завтра придете к нам, я вручу письмо. И у Клавдии Павловны, между прочим, поручение к вам имеется. Не затруднит выполнить?

— Какое затруднение,— подал голос Василий.— Для вас и супруги вашей хоть в пекло, хоть на край света.

— Так далеко не надо, Василий Дмитриевич! — Фомичев опять засмеялся.— Мелочь, пустяки. Она сама скажет. А с вас беру слово, что напишете, когда устроитесь.

— Напишем,— сказал Василий.

Поручение у Клавдии Павловны было и впрямь пустяковое: зайти к ее матери в Ленинграде, передать привет, письмо и маленькую посылочку ко дню рождения их сына, которому исполнялось десять лет. Обставила Клавдия Павловна свою просьбу так, точно бог знает

какой груз просила отвезти, и это-то ввело в заблуждение и Василия, и Настю. Им и в голову не пришло, что посылка и письмо — повод, чтобы они зашли к матери Клавдии Павловны. А в письме было написано, чтобы она приютила Трофимовых, пока те найдут работу и жилье.

В конце июня 1937 года семейство Трофимовых снялось с насиженного, как-никак обжитого места...

Глава VI

Друг Фомичева Николай Васильевич Воронов был начальником милиции в небольшом пригородном поселке. Найти его оказалось совсем просто — каждый житель поселка знал Воронова.

Он хорошо принял Василия (Настя не поехала с мужем, постеснялась), усадил в кресло возле стола, сам тоже сел в кресло, напротив, и тотчас прочитал письмо.

— Вот человек! — покачав головой, сказал Воронов. — Про себя никогда ни строчки не напишет. Ладно, так и запишем. Вы сейчас-то где остановились?

— У тещи товарища Фомичева, — смущенно ответил Василий. Ему было стыдно даже вспомнить, как они принесли письмо и посылку, а их заставили остаться жить и, сколько они ни отговаривались, никуда не отпустили.

— А, у Елизаветы Михайловны?

— У нее.

— Ладно, так и запишем. Она здорова?

— Вроде здорова...

— Сашка большой?

— Умный парнишка, — сказал Василий.

— А как там Алексей поживает? Все суетится, наверно? Все ему больше всех надо?..

Василий не понял, о ком спрашивает Воронов, потому что непривычно ему было слышать, что Фомичева

называют Алексеем. Его и теща-то в разговорах иначе, как Алексей Николаевич, не величала. А для Василия он и вовсе был товарищем Фомичевым, большим начальником, и только.

И он переспросил:

— Это вы про кого?

— Алексей Николаевич, говорю, по-прежнему суется, бегаёт?

— Товарищ-то Фомичев?.. Заботливый человек, настоящий хозяин,— сказал Василий с уважением.

— Заботливости у него не отнимешь, это правда. Вы кто по профессии, Василий Дмитриевич?

— Да ведь как оно сказать... Крестьянин я вообще-то. А там, на севере, учетчиком работал последнее время. Руду принимал на станции.

— На складе?

— Вроде как на складе. Мне привозят руду — я принимаю, записываю.

— Ладно, так и запишем.— Тут Воронов действительно, привстав, что-то отметил на листке.— Семья какая?

— Жинка и двое детишек. Дочки.

— Большие?

— Старшей-то пять, шестой, а младшая в прошлом годе родилась.

— И здесь у вас, насколько я понимаю, своих никого?

Василий задумался. Считать или не считать за своего Андрея, Настинного брата? А если считать, то говорить об этом Воронову или необязательно?.. Решил все-таки сказать.

— Где-то живет в Ленинграде у жены брат, только...

— Не в ладах с ним?

— Вроде того.

— Что-нибудь придумаем,— листая записную книжку, бормотал Воронов.— А мы не придумаем — другие

сообразят... Работу-то найдем, вопросов нет, Василий Дмитриевич. С жильем сложнее. Если бы вы один, а у вас семейство, в общежитие не поселишь...

— Чего там, мы привычные,— сказал Василий.— Была бы крыша над головой.

— Крыша, крыша...— продолжал бормотать Воронов.— Савин, Семенов, Сивов... Ага, этот нам годится! — Он поднялся, обошел вокруг стола, взял трубку и попросил соединить его с Сивовым.— Андрей Егорыч? Привет, привет, дорогой. Воронов беспокоит... Ничего не случилось,— он усмехнулся и добавил как бы со значением: — Пока. Дело такого рода. Фомичева помнишь?.. Как то есть не знаешь?! Хреновина какая-то. Ну, все равно. Надо устроить хорошего человека... Нет, к тебе в замы он сам не пойдет, а вот жилье нужно. У него жена и двое детей, между прочим... Ты не пыхти, не паровоз. Говорю, что человек хороший, надежный, значит, так оно и есть. Работал на севере кладовщиком, у меня на столе рекомендательное письмо от Фомичева... По здоровью уехал... А Фомичева ты должен бы был знать. Друг это мой, товарищ. Всю гражданскую вместе прошли. Думать у тебя было время до моего звонка, а теперь надо делать.. Что?.. Ладно, так и запишем!.. Сейчас спрошу.— Воронов повернулся к Василию: — Вы сегодня подойти сможете?

— Смогу, а чего ж.

— Будет, Андрей Егорыч. Привет!

Воронов положил трубку, вернулся в кресло и стал объяснять Василию, куда он должен подойти, к кому и как обратиться. Объяснял, объяснял, а потом махнул рукой, вызвал дежурного и приказал отвезти Василия на машине к Сивову прямо на фабрику.

— И проводи в кабинет, а то у него секретарша завелась — не баба, а зверь.

— И обратно доставить, товарищ начальник? — косясь на Василия, спросил дежурный.

— Обратнo? Нет, доставь туда и возвращайся.

Дежурный ушел. Воронов попрощался с Василием, пожелал ему успехов и еще извинился, что сам не может поехать с ним.

— И насчет машины вы зря...— сказал Василий, чувствуя себя виноватым и перед Вороновым, и перед дежурным, и перед неизвестным ему Сивовым.

— Пустяки, пустяки, Василий Дмитриевич,— провожая Василия к двери, говорил Воронов.— Если что, заходите. Привет Елизавете Михайловне и Сашке.

Сивов был директором небольшой деревообрабатывающей фабрики, на которой сколачивали тарные ящики, выпускали вагонку, мерную рейку, делали нехитрую мебель: табуретки и самые простые столы — четыре ноги и столешница.

Василия взяли на работу кладовщиком-экспедитором (так официально называлась его должность), а Настю оформили при этом же складе сторожем. Обязанности Василия заключались в том, чтобы принимать от железной дороги вагоны с лесом, организовывать разгрузку и хранение, а также отправку непосредственно на фабрику. Лес прибывал разный. Иногда просто «баланы», иногда — доски, а то и сплошной горбыль, из которого и делали рейку.

Склад находился возле железнодорожной станции, тут же, при складе, дали и жилье: отдельный маленький домик — сторожку — с комнатой метров пятнадцать, с крохотной выгородкой-кухней и сенями. При доме был огородик, четыре грядки. Дровами разрешалось пользоваться бесплатно, за электричество также платила фабрика. Конечно, это были не хоромы, а работа тяжелая, хлопотная и зарплата копеечная, однако Настя не могла нарадоваться и этому, не верилось ей, что снова им повезло, что быстро и так удачно устроились на новом месте. Она мыла-чистила сторожку, которая была сильно запущенная, грязная, — днем предшественник Васи-

ля использовал ее как контору, ночью здесь спал сторож, и круглые сутки шастали сюда местные мужики с бутылками. И бывший кладовщик, и бывший сторож, как объяснили Василию, были оба отменными пьяницами. Получалось, что вроде даже Василий оказался находкой для фабрики. Человек положительный, семейный, да и жена не позволит устраивать у себя в доме пивную.

Директор, разумеется, оформлением не занимался, а начальник снабжения, которому Василий подчинялся, торопил его. Сам и акт о приеме-сдаче составил, тут же заставил подписать прежнего кладовщика, который люто смотрел на Василия, и дал на подпись Василию. Ни на минуту не усомнился ни в чем Василий, расписался и еще довольный был, что быстро все уладилось. Да и какие у него могли возникнуть сомнения, если устраивал его на работу сам директор по просьбе начальника милиции! А Настя и вовсе не знала ничего про дела мужа, у нее хватало своих забот...

* * *

Она спешила наладить хозяйство в доме и все торопила Василия с покупкой мебели. Хотелось, ей двухспальную никелированную кровать, чтобы с шариками и с колесиками на ножках, шифоньер с зеркалом, швейную машинку, стол большой круглый, стулья венские и абажур над столом розовый, с кистями. Конечно, на пол обязательно половики, а на стенку, у кровати, коврик красивый.

В поселковом магазине особенно не из чего было выбирать, и она решила, что лучше поехать в город, там приглядеть сразу все необходимое и привезти. Первые дни, куда обживались, куда Василий оформлял свои дела в конторе, было некогда ехать, а потом он стал откладывать и откладывать поездку за мебелью.

— Потерпи,— говорил Насте,— вот огляжусь на работе...

— Сколько ж можно на полу спать, Васенька? Ни сесть, ни встать, точно на станции живем!

— Купили же посуду...

— Что посуда!

Нет, не могла Настя больше ждать, не было на это никаких сил, потому что мысленно она давно уже обставила комнату, построила уют, в котором жить им и жить...

И тогда Василий признался, что нет у них денег на мебель, украли в дороге.

— Да разве ж можно так смеяться! — сказала Настя осуждающе, а в глубине души уже пробудились сомнения, и она боялась, что это вовсе не шутка, не смех. Боялась, но и продолжала надеяться все-таки...

— Правда,— молвил Василий, опустив голову.— Все, что было, подчистую. Только расхожие и остались...

— Как же это, Васенька?!

— Сам не знаю. Должно, на станции. Когда за кипятком бегал.

— Ведь я зашивала в пиджак...

— Оттуда и вырезали, бритвой. Похоже, другие тоже зашивают, вот мазурики и приспособились.

— Покажи пиджак...

— Вот.— Василий, скинув пиджак, показал тщательно зашитый, еле заметный разрез вдоль рукава.— Сначала проводница мне заделала, чтобы не так видно было,— объяснил он.— А после Елизавета Михайловна...

— Господи!..— выдохнула Настя, уткнувшись лицом в стенку.— Господи, за что же это?..

Разом рухнули ее мечты о спокойной обеспеченной жизни, которые вынашивала она. Не будет у них теперь ни кровати с шарами и колесиками, ни шифоньера с зеркалом и ящиками для белья, ни швейной машинки, ничего-ничего не будет. А ведь еще и козу собирались

присмотреть, чтобы ребятам молоко свое было, и поросенка купить...

— Ты не серчай, Настюха,— виновато говорил Василий, обнимая ее за плечи.

Только на миг остановилось сердце у Насти и ослабели ноги. Она даже как следует подумать не успела о том, что лучше бы ей не жить на свете, а о том подумала, что нельзя Василию волноваться, как бы страшная болезнь не вернулась снова. Хоть и большое случилось горе, сказала себе Настя, а все-таки и не беда, потому что не было и раньше у них денег, однако жили ведь! Значит, станут жить и дальше. Было бы у Василия здоровье.

— Ну, Настюха!..— тормошил ее Василий.

— Я ничего, милый. Ничего...— сказала Настя, кусая губы и пытаясь улыбаться.— Чего мне серчать? Коли так вышло, стало быть, судьба. Проживем, бог с нами, с деньгами этими.— Она перевела дух.— А ты не переживай, не мучь себя. Выкинь из головы.

— Как выкинешь, ежели столько лет копили!

— Копили, да не скопили. Не было и нет. Ты думай, что никаких денег не уворовали, вот и легче тебе станет. Вроде как и не было у нас этих денег.

— Невезучий я, Настюха. Навязался тебе...

— Господи, говоришь — сам не знаешь чего! Таких-то случаев сколько угодно бывает. У других и побольше крадут. Подумай, что нам: работа есть, домик дали, неужто не проживем?.. Еще как проживем!

Тяжело было Насте произносить эти успокоительные слова. Самой-то хотелось реветь, выть хотелось от обиды и жалости, головой биться об стенку, но знала она, что должна держаться из последних сил, и даже потом, когда сил не будет. Не имеет она права показывать своих слез и переживаний. Василию опасно волноваться, да и самой тоже: дочку малую надо кормить, а от волнений молоко у баб часто пропадает.

Пересчитали они деньги, какие были не защиты, а оставлены на повседневные расходы. Вышло, что если жить бережливо, экономить, то на месяц вполне им хватит. А там, глядишь, и зарплата подоспеет.

— На хлеб есть,— говорила Настя, разглаживая мятые рубли и трешки,— одежда у всех крепкая...

Молча Василий обнял жену, ткнулся колючей щекой в ее лицо и пошел на улицу.

Насобирав досок и сколотил широкий топчан. Настя из мешков матрас сшила, набили его соломой, сверху накрыли стареньким одеялом, которое с собой привезли,— вроде и постель хорошая получилась. Конечно, не сравнить с никелированной кроватью, а поглядеть со стороны — даже и красиво. Стол и табуретки Василий тоже сам смастерил — дело нехитрое, хотя, если попросить, дали бы на фабрике. А без шифоньера, решили они, покуда и обойтись можно. Не столько много у них разной одежды и белья, чтобы непременно в шифоньер убирать. Младшая, Дуняша, спала вместе с ними на топчане — Настя клала ее рядом с собой, к стенке,— а Мане на табуретках стелили, загораживая их столом, чтобы дочка не упала.

Как-никак, а устроились. Василий щенка откуда-то принес, и Маня тотчас назвала его Шариком. С ним веселее и как-то спокойнее стало — все какая-то живность в доме. А вырастет — помогать склад сторожить будет.

Домик их стоял у ворот склада, на территории. С одной стороны, удобно, потому что тут тебе и работа, тут тебе и жилье, а с другой — нет: железная дорога рядом, по ночам поезда спать мешают, и соседей нету, Мане поиграть не с кем. А пускать ее одну в поселок страшно: пути надо переходить, долго ли до несчастья. Но все же удобств больше, чем неудобств. Люди вон сколько мученки принимают, пока до работы доберутся! Некоторые в самый Ленинград ездят. Шутка сказать!

час туда и час обратно, да еще по городу на трамвае. А им красота прямо — и работа делается, и по хозяйству заодно управляют. И дети всегда на глазах. В том же, что соседей нет, тоже есть свои преимущества: никто не видит близко их жизнь, никто не знает, как они трудно живут, какая у них в доме бедность, а значит, никто и не осудит, не попрекнет Василия, что, дескать, мужик, а семью обеспечить не умеет. Не предполагала Настя, что в те годы все трудно жили, все мечтали о никелированных кроватях и швейных машинках. Она-то думала, что в городах живут богато, нужды ни в чем не знают. А судила об этом по тому, как жили Елизавета Михайловна с внуком. У них-то и жилье просторное — две огромные комнаты, — и мебель красивая, какой Настя никогда не видывала, и на столе всегда не только мясо, а и колбаса, и сыр.

По правде говоря, Насте очень хотелось навестить брата Андрея. Но этого не хотел Василий.

— Сама, раз хочется, поезжай, — сказал как-то. — А я в гости к нему не ходок.

Андрей приехал сам. Видно, отец сообщил Настин адрес.

Был выходной день. Маня играла на улице с Шариком, Дуняша спала, а Василий с Настей, отобедав, сидели в кухне, обсуждали свои дела. Приближалась зима, надо было подумать о запасах — капусты бы насолить, купить картошки, чтобы зимой с рынка не таскать, — пальто Мане справиться, а то растет быстро, прошлогоднее уж и не влезет... Вдруг залаял Шарик громко, Маня что-то закричала.

— Никак идет кто? — Василий прислушался. — Кажись, стучат. Пойду посмотрю.

В ворота действительно барабанили. Шарик прямо исходил на злость, а Маня стояла напуганная.

Василий отпер калитку и сразу признал в нежданном госте Андрея,

— Здорово, что ли! — сказал Андрей, пытливо приглядываясь к Василию, к Мане и отгоняя Шарика, который норовил схватить его за брючину.

— Здоров будь, проходи.

— Не рад такому гостю?

— Рад не рад,— хмуро произнес Василий,— а раз пришел — милости просим.

— Ладно тебе! Кто старое вспомянет, тому глаз вон. Давай обнимемся, родня как-никак.

Они обнялись. Андрей, кивнув на Маню, спросил:

— Старшая?

— Старшая.

— Стало быть, Мария. Ну, Машенька, давай и с тобой поздоровкаемся. Я твой дядя. А ты, выходит, моя племянница.

Маня недоверчиво посмотрела на Андрея. Василий подтвердил:

— Дядя Андрей это, дочка.

Настя, обеспокоенная задержкой Василия, тоже вышла на крыльцо. Увидав Андрея, обрадовалась, кинулась к нему на шею.

— Братец ты мой! Сколько же годов мы не виделись?

— Порядочно. А ты и знать не даешь, что рядом живете...

— Все собирались заехать,— оправдывалась Настя.

Вошли в дом. Андрей огляделся, удивленно пожал плечами. Василий молча стал собираться в магазин. Настя догадалась, куда он, засуетилась.

— Вы тут поговорите, я сама сбегаю. Я мигом.

— Ты приготовь что, я схожу,— сказал Василий.

— Не ходи,— поднимаясь, сказал Андрей.— У меня привезено.— И он достал из кармана пальто поллитровку «Московской».

— Нынче ты у меня в гостях,— пробурчал Василий недовольно. И с этим ушел.

Настя убирала со стола после обеда, накрывала заново. Андрей тем временем походил по дому, присматриваясь ко всему внимательно, с любопытством. Постоял над спящей Дуняшей, вздохнул. Вернувшись в кухню, сел возле окна.

— Ну, как живете-то, сестра?

— Живем, слава богу.

— Богу-то, может, и слава, хрен его знает. А вы, смотрю, не очень чтобы...

— Не жалуемся.

— Что же так?.. Или мало на севере платили? Василий-то не пьет, случаем?

— Нет, что ты! — Настя даже руками замахала. — Иногда разве, как и все мужики.

— Мебелишка-то хреновая у вас.

— Обокрали нас, братец, когда с севера ехали. Были у нас деньги, и немалые. И на дом хватило бы, и на обзаведение всякое. А теперь вот... Ничего, — она улыбнулась, — бог даст, поправимся.

— Ты все на бога надеешься, а надо бы на мужика! Не обижает Василий?

— Этого не скажу. Добрый он, обходительный.

— Что добрый — хорошо, еще бы ему разворотливости побольше. Здесь не деревня. С умом надо жить.

— Живем же! — сказала Настя. — Сыты, одеты как-никак, крыша над головой. А что еще нужно?..

Андрей, похоже, хотел возразить на это, но не успел: вернулся Василий, нарочно громко хлопнув дверью в сенях, чтобы в доме было слышно. Мало ли о чем Настя с Андреем беседуют...

* * *

Не жаловалась Настя никому, не корила судьбу, понимала, что какая досталась от рождения, с такой и жить надо. Судьба — не платье: для будней и праздников всегда одна. Зато и не знал никто (догадки-то стро-

ить волен каждый), как намучились они по первости! На всем сэкономили, не рубль — копейку берегли, и к тому времени, когда настала пора Мане в школу идти, жизнь их наладилась. И шифоньер купили, и стулья фабричные, и кровать справили, и одета Маня была не хуже, чем все другие ребяташки. Нет, не стыдно было отправлять дочку в школу. Правда, сама-то Настя как-нибудь — не по гостям, рассуждала, ходить, — а детей холила, и голодными — упаси бог! — или рваными они не бывали. Василий тоже одевался как надо, наравне со всеми поселковыми мужиками, и наравне же со всеми, когда он шел по субботам в баню, Настя давала ему на пиво и на «маленькую».

Козу завели, курей держали. На зиму хватало своей картошки и луку. Капусту квасили, огурцы солили и грибы. Сушеные тоже не переводились...

Вот с работой не все ладно получалось. Вагоны с лесом прибывали когда попало, без всякого графика, и почему-то чаще всего ночью. Постоянных грузчиков на складе не держали, раз и работы постоянной нет, и Василий нанимал случайных мужиков специально на разгрузку. Платил им наличными по договоренности из денег, которые получал в бухгалтерии под расписку. Днем найти желающих подработать было нетрудно, — бездельные мужики, которым выпить хочется, всегда толклись либо возле бани, у пивного ларька, либо возле склада. Позови только — они тут как тут! А ночью хуже. Все спят по домам — и пьющие, и непьющие. Случилось как-то, что вагон простоял до утра неразгруженным, так Василия тотчас вызвали на фабрику и предупредили, что штрафы железной дороге за простой вагонов будут вычитать из его зарплаты. Он пытался объяснить, что у него нет грузчиков, что ночью негде нанять людей, однако его не очень-то стали слушать. Дескать, если ты приставлен к этому делу, за что и получаешь зарплату, то тебе и отвечать положено. Обсудили они

с Настей положение и пришли к выводу, что, может, это и справедливо. Потому что каждый человек должен отвечать за свое дело, а иначе сплошной беспорядок получится. А если и не совсем все-таки это справедливо, все равно никуда не денешься. Во-первых, спорить с начальством бесполезно — начальство больше знает; во-вторых, могли ведь и на порог показать. А куда податься с семьей?.. Где еще найдешь такие условия, чтобы и работа была, и жилье совсем бесплатное?..

С тех пор вагоны, которые прибывали по ночам, Василий с Настей разгружали сами. Бывало, правда, что дежурный по станции предупредит заранее, тогда удавалось с вечера найти мужиков, но толку от этого чуть. Мужики, которые соглашались поработать ночью, требовали денег авансом и к прибытию вагона успевали напиться. Тут уж не только самим приходилось работать, а еще приглядывать за помощниками, чтобы несчастья не произошло. Насчет техники безопасности строгости были большие.

А разгружать лес силы нужны. Василий же был еще слабоват здоровьем, и не столько Настя помогала ему, сколько он помогал Насте. Летом было полегче: Настя скинет платье и ворочает вагой, как заправский грузчик, благо ночью никто не видит ее раздетую да и самой не так стыдно в потемках. Вот зимой или осенью — вообще когда холодно на дворе — не разденешься, приходится работать в одежде, хоть и неудобно это, и жарко. Однако Настя безропотно делала все, что нужно, и на все у нее хватало сил и времени. Вагоны разгружала, склад охраняла — два раза в ночь обязательно обойдет территорию — и с хозяйством, которое тоже было немалым, управлялась. Всюду попевала она, и неизвестно, когда отдыхала и спала. Посторонние люди удивлялись, глядя на нее, а она несколько не удивлялась и не считала себя чем-то обиженной. Знала, что если чего не сделает сама, этого уже никто не сделает. Еще и радова-

лась, что повезло ей в жизни. Муж добрый, тихий, почти не пьющий, любит ее и лаской своей и вниманием не обходит. Дочки растут красивые и здоровые, никаких от них неприятностей, дом свой. «Это ли не счастье, это ли не везенье?» — думала Настя, заглушая хорошими мыслями тяжелую усталость...

Брат Андрей, а еще больше жена его, Людмила, не одобряли Настиного оптимизма, нашептывали ей, что Василий плохой муж, что так жить, как они живут, нельзя, только Настя не принимала всерьез их слов. Она-то знала, что все это неправда, видела, как некоторые бабы с мужиками-пьяницами мучаются. Да ведь и Андрей, если внимательно посмотреть, никакой радости не видит. Возомнил себя городским, тянется за другими, жену одевает в шелка и крепдешины, а сам в своем доме — точно квартирант или, того хуже, приживальщик. Людмила на него покрикивает, за всякую неловкость попрекает, даже курить в комнате не разрешает — выгоняет на лестницу. А зачем, спросить бы ее, выходила за курящего?..

Не спрашивала Настя и вообще своих мнений насчет чужой жизни не высказывала. Каждый живет, как ему хочется и как удобно. Андрею нравится у жены на побегушках быть — его дело. А Настя счастлива, что в доме настоящий хозяин есть, мужик. Не понимала она, как можно любить и уважать мужика, если он в подчинении у бабы!..

Единственное, чего хотелось бы еще Насте, так это съездить на родину, в деревню Ореховичи. Самой посмотреть, какая там жизнь наладилась, и чтобы дочери узнали свою настоящую родину. Неважно, что обе они родились на севере, а важно, что корень, от которого все они пошли, остался в Ореховичах. Отец звал в гости, и новая его жена звала. Обижались в письмах, что не приезжают. Но Василий ни в какую не соглашался. Настю с дочками отпуская, а сам — нет. Упрямец

свое показывал, хотя в Ореховичах Трофимовых почти и не осталось: сестры поразъехались, писал Настин отец, а Митрий Пантелеич с женой совсем старые стали, давно обиды позабыли и будто бы даже к Ванеевым в гости заходят иногда.

После каждого полученного от отца письма Настя начинала разговор про Ореховичи и как бы хорошо всем им туда заявиться, однако Василий и слышать про это не желал.

— Съездишь, чего тебе,— говорил хмуро.— А моей ноги там не будет.

— Куда же я одна-то? — возражала Настя.— Что люди подумают про нас, если я с дочками приеду, а ты нет?..

— На всех людей не угодишь, пусть что хотят говорят.

Собралась бы Настя поехать и без Василия — так ей хотелось побывать на родине,— но все надеялась, что пройдет время и сменит он гнев на милость. Не может не сменить, потому что родные места — святые места, а родная кровь, зов ее, любые обиды пересилит. И представляла Настя, как приедут они всей семьей, с подарками (тут нельзя поскучиться), в городской одежде — Василий при галстук! — как наймут на станции подводу, а возница, который повезет их в Ореховичи, всю дорогу будет спрашивать, кто они такие. А там, глядишь, осмотрится Василий в деревне, вспомнит любимую крестьянскую работу, без которой тоскует все эти годы, пройдет для интереса с косою ряд-другой, подышит запахами земли и трав и не захочет возвращаться назад к вагонам и теперешнему ихнему дому, который, если по правде, и не дом вовсе, а будка.. И останутся они навсегда в родных Ореховичах и станут жить, как испокон веку жили их родители и деды..

Она и Андрея подговаривала, чтобы плюнул он на город, в котором суета одна, пыль и грохот круглые сут-

ки (Андрей жил на проспекте, и окно выходило на трамвайную линию), чтобы забирал свою Людмилу и ехал жить в деревню.

— Даешь, сестренка! — смеялся Андрей. — Пусть другие в навозе копаются, а мне и здесь хорошо.

— Так ли уж хорошо, брат?

— А это смотря с чем сравнивать. Вот вам бы в самый раз домой вернуться. Василий никогда не приживется в городе, потому что характер у него крестьянский.

— Я бы хоть сейчас, — признавалась Настя. — Василий же и не хочет.

— Дурак.

— Это-то ни при чем, — обиделась за мужа Настя. — Просто принцип у него такой.

— Принципами сыт не будешь и на себя вместо костюма не напялишь, — сказал Андрей, не скрывая презрения.

— А от людей уважение? — возразила Настя. — Знаешь, как Василия уважает товарищ Фомичев Алексей Николаевич! А человек он большой, не чета нам.

— И много ты имеешь, сестренка, от этого уважения?

— Чего-то ты не то говоришь, брат, — с сомнением сказала Настя. — Уважение, оно и есть уважение. Ну, как бы и любовь, например. За нее ничего не дают, потому что она сама и есть счастье, самое большое на земле. Ты любишь Людмилу? — Она посмотрела на брата внимательно.

— Не думал про это. И не в том счастье.

— В том, брат, в том! Если ты любишь и тебя любят, если уважение от людей имеешь и сам других уважаешь, это и есть счастье.

— Люди-то, оглянись, открой глаза, сволочи! — зло сказал Андрей и сплюнул. — Каждый норовит обмануть, себе побольше заграбастать! Это ты у нас такая святая

родилась, да твой Василий, может. Я тебе, сестренка, прямо скажу, без всяких там... Наплачешься ты со своей дурацкой святостью и уважением! И никакой тебе товарищ Фомичев не поможет, не надейся...

— Нельзя такое говорить. А товарища Фомичева ты не видел и не знаешь, а если бы знал...

— Чепуха! — сказал Андрей убежденно. — Ну, что ты для него, для этого товарища Фомичева? Камень у дороги. Пока не мешает — пусть себе лежит, а помешал — ногой его, в канаву, чтобы глаза не мозолил.

— И чего ты такой злой? — проговорила Настя.

Она удивлялась брату, его рассуждениям, и страшновато ей было за него, потому что без веры в людей, без любви к ним и милосердия нельзя жить на свете. Собачья это жизнь, не дай бог. А то и хуже: собака-то хоть хозяина любит, ему верит, а из слов Андрея можно понять, что он никого вообще не любит и никому не верит. Спору нет, живет он вроде в благополучии и сытости, не нуждается, а радость-то велика ли в этом? Ведь придет время умирать, и добро, нажитое при жизни, с собой не возьмешь. А душа покоя запросит. И совесть пробудится тогда, обязательно пробудится, чтобы по всей строгости спросить: как жил, что делал, кому радость была от твоего пребывания на земле, посадил ли свое дерево, кинул ли в землю доброе семя, от которого вдвое уродится доброты и веры, или зло, может, вынашивал против людей, зависть черную копил на сердце, худого желал людям, чтобы себе взять побольше от того, что на всех дано и между всеми делиться же должно, каждому по заслугам, которые трудом и уважением к ближнему измеряются?..

— И не боязно тебе так-то жить? — спросила Настя.

— А мне бояться нечего, — ответил Андрей.

— Это только пока.

— А я далеко не заглядываю.

— Спросится, брат... — Настя вздохнула.

— Ты еще страшным судом меня попугай! — Андрей рассмеялся.

— Что суд, — молвила Настя. — Совесть своей бойся, к ней прислушивайся.

— А она у меня крепко спит.

— Как сам знаешь, я тебе не советчик. Только лучше не жди, брат, когда совесть проснется, сам пробуди. Как бы поздно не случилось.

Глава VII

Часть леса, в том числе и пиломатериалы, оседала на складе, как непригодная в дело. Отходы производства — обрезки всякие — также возвращались на склад, потому что на территории фабрики хранить их было негде. Все это продавали местному населению на дрова. Люди выписывали документы, платили в кассу фабрики деньги, с квитанцией приезжали на склад, и Василий отпускал то, что положено. Иногда его просили вместо отходов «подкинуть» хорошего материала, — поселок застраивался, а застройщикам нужен лес, — однако он всем отказывал. Случалось, мужики выражали недовольство, ворчали, ссылались на прежнего кладовщика, который не скупился, «был человеком», зато, дескать, и сам не был обижен. Василий отмалчивался на это, зная, что, когда людям что-нибудь надо, они ссылаются на других...

«Дровяные» квитанции, как называл их Василий, в журнале учета не регистрировались, а вместе с месячным отчетом сдавались в бухгалтерию фабрики. Однажды, принимая месячный отчет, бухгалтер сказал Василию, что у него остается много неиспользованных денег, отпускаемых на оплату грузчиков.

— Не пойму, Василий Дмитриевич, как это у вас получается?..

— А очень просто. Бывает, что мы с женой сами

разгружаем, когда не найти никого. По ночам в особенности.

— Выходит, вы бесплатно работаете? — удивился бухгалтер. — Непорядок это, товарищ Трофимов.

— Как уж есть, — пожал Василий плечами. — Чем штраф платить, лучше самим.

— Это вы правильно говорите — государственные интересы прежде всего, — похвалил бухгалтер. — Но и вы не должны работать без оплаты вашего труда. Разгрузили вагон — получите деньги.

— Так не положено, раз мы с женой на фабрике числимся. Незаконное это дело.

— Чего же в этом незаконного? Если работа выполнена, вполне законно получить за нее деньги. Фабрике, а следовательно, и государству безразлично, кто именно разгрузил вагон.

— Так-то оно, может, и так... — с сомнением сказал Василий. — Но как я могу получить эти деньги, если нам с женой нельзя?

— Не мне учить вас, Василий Дмитриевич. — Бухгалтер улыбнулся приветливо, но в то же время и вроде недоверчиво. И спросил: — Вы требуете у грузчиков предъявлять документы, когда нанимаете их?

— А никто не говорил, чтобы требовать... — растерялся Василий.

— Видите! Откуда же тогда мне знать, кто на самом деле разгружал вчера вагоны: Иванов, Петров или... Трофимов? Мне важно, чтобы количество выгруженного леса соответствовало действительному. Остальное меня не касается. Хоть все вагоны сами разгружайте!..

Ушел Василий из конторы в сомнении. Похоже было, что бухгалтер все правильно объяснил. И хоть не посоветовал прямо выписывать «липовые» наряды, а деньги брать себе, но вроде и намекнул. Если подумать, никакого здесь нарушения нет, потому что и правда вагоны разгружаются, а за разгрузку положено платить... Но

с другой стороны, рассуждал Василий, как на это дело посмотреть. Почему-то не разрешается получать деньги ему и Насте! Стало быть, есть тут какой-то резон...

И решил Василий ничего не рассказывать Насте, чтобы не смущать ее напрасно. Пусть будет все, как было прежде. Всегда лучше подальше от греха держаться и не искушать себя.

А спустя какое-то время — неделю или полторы — на склад приехал сам начальник снабжения фабрики. Походил по складу, проверил огнетушители и прочий пожарный инвентарь, посмотрел, как хранятся материалы, а после напросился в гости. В портфеле у него оказалась поллитровка коньяку, которого Василий никогда не пробовал. Чтобы не осрамиться перед таким гостем, он сбегал в поселковый магазин за другой бутылкой. Коньяку, правда, не оказалось, пришлось купить «Московскую». Настя тем временем на стол собрала: яичницу с салом сделала, помидорчиков, огурчиков поставила, все чин по чину.

Сели к столу, выпили по одной. Начальник снабжения, спросив у Насти разрешения, закурил.

— Небогато живете, хозяйюшка,— сказал, качая головой. И посмотрел на Настю с сочувствием.

— Нам богатство-то ни к чему,— ответила Настя с достоинством.— Живем — не жалуемся.

— Тоже верно,— согласился начальник и предложил: — Еще по одной?

Василий налил в стопки, выпили.

— Есть люди, Анастасия Федоровна,— продолжал начальник,— которые работают на копейку, а живут на рубль. У вас, как я посмотрю, все наоборот получается.

— Мы по совести живем,— сказала Настя.

— Никто не сомневается в этом! Вот я осмотрел склад — полнейший порядок. Три года вы у нас работаете, Василий Дмитриевич?

— Трех-то еще нет,— ответил Василий,

— Все равно. Обратите внимание: за это время ни одного предписания от пожарников, ни одной тяжбы с железной дорогой! А бывало-то!..— Он махнул рукой.— Выходит, недооцениваем мы ваш труд. Я переговорю с директором. Может быть, найдем возможность прибавить вам зарплату...

— За это спасибо,— сдержанно сказал Василий.

— Но должен заметить вам, Василий Дмитриевич, что вы иногда переусердствуете...

— Как это?

— Я не вникал, а в бухгалтерии мне сообщили, что у вас образуются некоторые остатки денег, что вы сами зачастую разгружаете вагоны...

— Бывает.

— В прошлом месяце сколько разгрузили?

— Шесть, кажись...

— И другие, наверное, помогали разгружать?

— Уж как водится,— признался Василий.— Не можешь — так простой будет. Мужики не очень-то спешат, им что!..— Он вздохнул.

— Видите! Разным проходимцам и пьяницам переплачиваете, а сами денег не берете! Справедливо ли это?..

— Не положено раз...— неуверенно молвил Василий, вспоминая разговор с бухгалтером.

— А кому нужно такое ваше бескорыстие? Государству?.. Нет. Государство наше народное, и первая его забота — забота о благосостоянии трудящегося человека. Вот вы, Анастасия Федоровна, ломаетесь на разгрузке, спину гнете, женскую свою замечательную красоту губите, а за что?..

Насте было приятно слышать такие слова от начальства, и она зарделась вся от смущения.

— Да что вы...— пробормотала она чуть слышно.

— Мы за работу зарплату получаем,— сказал Василий.

— Зарплату все получают,— возразил начальник снабжения, подливая в стопку Василия.— Но никто не должен за одну зарплату две работы выполнять. Больше того: в ночное время и в праздничные дни за разгрузку положено платить аккордно.

— Это как — аккордно? — спросил Василий.

— В двойном размере.

— Хорошие деньги! — проговорил Василий.

— Именно. Вы, кажется, вчера ночью разгружали вагон?..

— Было. Один полувагон пиловочника.

— И бесплатно! — подхватил начальник снабжения.

— Раз не положено, товарищ начальник,— сказала Настя, и голос ее был печален. Жаль, конечно, тех денег, которые могли бы заработать. Вернее — получить.

— Да что вы все «товарищ начальник», «товарищ начальник»! Зовите просто Борис Михайлович. А что касается положено или не положено...— Он сделал маленький глоток и почмокал губами.— На все случаи жизни, мои дорогие, законов не насочиняешь. Закон для того и существует, чтобы служить благу трудового народа, а карающая его десница призвана отрезать пути к обогащению нечестным людям, живущим за счет общества.— Произнеся эту речь, он налил Василию еще полную стопку и чуть-чуть себе. Когда же Настя хотела долить ему, Борис Михайлович поморщился и погладил живот.— Язва,— вздохнул он.

— Травами пробовали лечить? — спросила Настя участливо.

— И травами пробовал.

— Вот еще есть хорошее средство. Надо разбить два сырых яйца, добавить теплого молока и меда. Пить это за два часа до еды, три раза в день.

— Что вы говорите?..— воскликнул удивленно Борис Михайлович.— И помогает?

— Люди говорят, что помогает.

— Обязательно попробую. Сейчас запишу.— Он вынул из портфеля записную книжку и действительно записал под диктовку Насти этот рецепт.— Спасибо, Анастасия Федоровна! Пора мне. Кстати, Василий Дмитриевич, у вас все требования и книга учета в порядке?..

— В порядке, а как же.

— Мне не совсем приятно, я вам полностью доверяю...— как бы засмутился Борис Михайлович,— но, сами понимаете, положение обязывает! — Он виновато развел руками.— Словом, нужно произвести сверку... Для отчетности, пустая в общем-то формальность...

— Мне, значит, в контору прийти? — спросил Василий.

— Не стоит хлопот! Давайте я захвачу с собой, сверим, и все в порядке. Надеюсь, не подведете меня?..

— Как же можно, чтобы подвести вас?! — высказалась Настя.— Вы к нам со всей душой и с добрым словом...

— Пустяки, пустяки, Анастасия Федоровна.

На мгновение Василий заколебался — должен ли отдавать из рук документы? — однако вопрос начальника снабжения, не подведет ли его он, Василий, сбил с толку. Он принес книгу учета, подшитые требования, по которым отпускал лес и пиломатериалы, и передал Борису Михайловичу. Тот спрятал все в портфель, а из портфеля неожиданно вытащил вторую бутылку коньяку и коробку конфет.

— Совсем забыл! Дочкам вашим конфеты, а мы, Василий Дмитриевич, давайте на посошок еще по одной! Черт с ней, с язвой. Тем более, теперь у меня есть отличный рецепт.

Выпили, и Борис Михайлович стал прощаться. Настя пыталась отдать ему почти нетронутую бутылку с коньяком, а он обиделся. Пришлось оставить себе.

— До другого раза пусть стоит,— сказал Василий. Долго после ухода начальника снабжения Василий с Настей обсуждали его визит. Казалось им, что неспроста он приходил. Похоже, был во всем этом какой-то смысл, которого они не понимали. Очень им хотелось думать, что начальник пришел с проверкой и, оставшись довольным, заглянул погостевать. На том и порешили, а выписывать себе деньги за разгрузку все-таки не осмелились, хотя по всему выходило, что никакого беззакония здесь нет.

Спустя два дня на склад явился незнакомый человек и сказал, что Борис Михайлович разрешил взять три кубометра пиловочника.

— Без документов не могу,— сказал Василий.

— Тогда позвольте — я позвоню ему.

Человек позвонил, поговорил с начальником снабжения и передал трубку Василию.

— Отпустите,— велел Борис Михайлович.— Потом оформим. Главный бухгалтер уехал в банк, а дело срочное.

Василий помолчал в трубку, соображая, а потом сказал:

— Вы уж простите, товарищ начальник, но никак не могу без документов.

— А если я очень попрошу?

— Все равно.

Теперь помолчал начальник снабжения. И вдруг спросил:

— Этот человек не слышит нас?

Василий покосился — мужчина стоял далеко, у двери.

— Нет.

— Говорю вам по секрету: правильно поступили, что отказали,— это проверка. Молодцом, Василий Дмитриевич, не подвели. Как он уйдет, давайте сюда, заберете документы.

А еще через неделю на складе объявилась ревизия. Не своя, фабричная, а со стороны. Ни Василий, ни Настя ничего худого от ревизии не ожидали и потому были спокойны. Добрым словом помянули и Бориса Михайловича. Теперь-то им было ясно, зачем он приезжал на склад: намекал насчет возможной ревизии. Что там намекал! Ведь прямо сказал, когда пришел человек за пиловочником...

Ревизия работала несколько дней. Неожиданно обнаружилась недостача леса — больше ста кубометров! — и дефицитных пиломатериалов. Василий наотрез отказался подписать такой акт. Он не понимал, откуда взялась эта недостача, и уверял ревизоров, что произошла ошибка. Однако ошибки не было, и Василий пошел в бухгалтерию, надеясь, что там помогут во всем разобраться.

Главный бухгалтер посочувствовал, поудивлялся вместе с Василием и пообещал разобраться, выяснить, навести справки. Начальника снабжения, с которым Василию тоже хотелось поговорить, не было — уехал в командировку, а к директору, подумав, Василий не пошел. Директор — человек на фабрике новый, всего около месяца работает, чем он поможет?.. И вот тут была его главная ошибка, потому что именно новый директор, приняв дела, попросил финансовые органы произвести полную ревизию на фабрике, и в первую очередь — материальных ценностей. Так что, если бы Василий зашел к директору, рассказал бы ему, как отпускал дрова без записи в учетную книгу и возвращая квитанции в бухгалтерию, как начальник снабжения брал у него все документы на проверку, тогда, может быть, дело и не зашло бы далеко...

Домой Василий вернулся и с надеждой, что главный бухгалтер разберется, не даст его в обиду, но и с какой-то тревогой, которая мучила его.

— Да успокойся, милый,— уговаривала Настя.— Каждому ясно и понятно, что это ошибка...

— Не знаю, Настюха. Чует мое сердце, что неспроста все это, что кто-то подстроил все.

— Глупости! — уверяла Настя.— Кому от того польза, что нам вред сделают?.. Разве мы кому-нибудь со- вредничали хоть разок?..

— Оно вроде и так, а вроде и не так... — сомневался Василий и пытался понять, каким же образом могла случиться недостача. Ну, десять кубометров, двадцать. Мало ли, обмерился, когда отпуская, или ловкач какой надул, а то ведь — шутка сказать! — больше ста кубометров, не считая пиломатериалов. А уж пиломатериалы он отпускал осторожно, чтобы ни единая доска не потерялась, не была вывезена лишней...

Конечно, рано или поздно Василий докопался бы до истины, догадался бы сам, как это могло случиться, а догадавшись, рассказал бы кому следует, и дело приняло бы совсем другой оборот. Но не успел: его вызвали к следователю. Опять же, если бы следователь начал с недостачи, они вместе разобрались бы, а следователь стал спрашивать насчет того, кому и как Василий платил за разгрузку вагонов. То есть с того конца взялся, откуда беды Василий и вовсе ждать не мог...

— Расскажите, гражданин Трофимов, каким образом вы платили грузчикам. Подробно, пожалуйста.

— А очень просто, — сказал Василий, не ожидавший этого вопроса. — Получал в бухгалтерии деньги и платил, когда разгружали вагоны.

— Наряды выписывали?

— Обязательно! С этим строго. Как же без наряда, сами подумайте.

— Без наряда нельзя, верно... Платили наличными?

— Наличными, наличными. А иначе ни один мужик не пойдет разгружать. Мужичу что надо?.. Разгрузил — давай деньги. Чтобы без волокиты...

— Разумеется! — сказал следователь, копаясь в бумагах.— Вот, гражданин Трофимов, наряд, выписанный на имя Захарчука А. И. Знаете такого?

— Где там! — отмахнулся Василий. Он немножко успокоился и держался уверенно. Не понимая, что именно этого добивался следователь, расспрашивая об оплате грузчикам. Тут хоть и были нарушения, но не такие, чтобы привлекать человека к суду.

— Неужели не помните?..

— Разве всех запомнишь! Зовешь, кто попадется. Правда, некоторые и сами приходят, спрашивают...— Василий поднял на следователя глаза.— Что-нибудь неправильно? — спросил он с надеждой.

— Посмотрим,— неопределенно ответил следователь.— Вам знакомы фамилии Афонин и Яковлев?

— Вроде что-то припоминаю... Если бы в лицо посмотреть!

— Все в свое время. Пока напому: Афонин получал у вас деньги за разгрузку в прошлом году четыре раза, в этом — три...

— По нарядам?

— Совершенно верно. Но дело, гражданин Трофимов, в том, что Афонин вообще не проживает здесь, а Яковлев, который живет по указанному в документах адресу, уверяет, что никогда в жизни не разгружал вагоны! Как это прикажете понимать?

— Врет,— сказал Василий.— Раз в документах записано, значит, разгружал.

— Логично. Но...— Следователь близко наклонился к Василию.— Лучше, если вы расскажете честно.

— Да что же мне рассказывать?!

— Смотрите: «Афонин Н. И., улица Коммунаров, дом девять». Вашей рукой написано?

— Моей,— сказал Василий.

— Видите ли, по этому адресу проживает не Афонин, а Петровы.

— Так я ж не проверял, кто где живет! — воскликнул Василий. — Как скажут, так и писал.

— Ага, значит, паспорта не спрашивали?

— Какие паспорта! — Василий засмеялся даже. — Мужиков-то я ловлю то у пивного ларька возле бани, то еще где. Да и зачем мне ихние документы, сами рассудите... Мне — лишь бы работу сделали.

— Очень все у вас просто получается, гражданин Трофимов! — Следователь встал, прошелся по кабинету и остановился за спиной Василия. — Деньги из государственной казны платите неизвестно кому и за что...

— Почему же неизвестно? За работу.

— Интересно получается... За работу! Почему же люди, если они действительно работали, называют себя чужими именами? Вам это в голову не приходило?..

— Не приходило... — сознался Василий. — Откуда оно придет? По мне хоть ты Иванов, а хоть Петров... — Он начинал понимать, что следователь его запутывает.

— М-да... — Следователь вернулся на прежнее место, выдвинул у стола ящик, чего-то поискал там. — Если не ошибаюсь, у вас двое детей и ждете третьего?

— Ждем, — сказал Василий. — Сына хочется.

— Наследника, стало быть?

— Наследника, наследника!

— А наследство-то незавидное, гражданин Трофимов! Прямо скажем, незавидное. Хищение государственного имущества с целью наживы и с использованием служебного положения карается строго...

— Какое еще хищение? — встрепенулся Василий, почувствовав, как сильно забилося сердце.

— Лес куда делся?..

— Кто его знает! — простодушно ответил Василий. — Вроде никуда не должен был деваться...

— На дрова отпускали?

— Отпускал.

— На основании чего?

— Квитанции приносили. Что уплачено, значит.

— Есть квитанции,— сказал следователь.— Но есть и недостача! Бывало, что знакомым, друзьям-приятелям и без квитанций отпускали?..

— Не бывало.

— Напрасно запираетесь, гражданин Трофимов. Кроме материалов дела у нас имеются свидетели, которые покупали у вас на дрова лес без оплаты через кассу. И не только лес, а?.. Досочки тоже, верно?..— Василию показалось, что следователь подмигнул.

— Такого не было!

— А ведь чистосердечное признание облегчит вашу участь, гражданин Трофимов.

— Не в чем мне признаваться.

— В журнале учета, например, записано, что шестнадцатого апреля сего года вы отпустили шесть кубометров «вагонки». А накладной не имеется! Как же это вы маху дали?.. Следы оставили.

— Раз отпускал, значит, накладная была,— сказал Василий.

— Но куда же она делась?

— Поискать надо...

— Искали, искали,— усмехнулся следователь.— Да не нашли! У вас записано, что «вагонку» вывезли на автомашине «сорок один — тридцать шесть»...

— Фабричная машина.

— Однако в путевом листе нет отметки, что водитель ездил на склад! И он не помнит, чтобы ездил.

— Забыл, может?..

— Что же у нас с вами получается? Один забыл, другой врет, третий чужой фамилией назвался!.. Пожалуйста, еще факт: в декабре прошлого года, опять «вагонка». Отпущено пять кубометров. И снова нет ни накладной, ни путевого листа...

Василий чувствовал себя опустошенным, разбитым. Он окончательно понял, что запутался, вернее, что его

запутали, вовлекли в какие-то темные дела, но кто, за-чем?.. Может быть, он даже догадывался, что тут не обошлось без Бориса Михайловича, однако думать об этом не хотелось, а кроме того — как же путевые листы, как же свидетели, про которых говорил следователь?.. Все перемешалось у него в голове, по лицу катился пот, страх мешал рассуждать...

— Может, нехватка раньше была?..— с надеждой спросил он.

— То есть? — переспросил следователь.

— Ну...— Василий запнулся.

— Что же вы? — подтолкнул следователь.

— Подумал, что, может, когда другой был кладовщик...

— Подумали, а дальше что?

— Вроде не получается. Ревизии были каждый год...

— Именно, гражданин Трофимов! Советую вам еще и еще раз обдумать все. Не исключено, что вы были всего-навсего исполнителем преступного замысла...

— Ничего такого я не знаю,— сказал Василий уставшим голосом.

— У вас будет достаточно времени, чтобы взвесить все и здраво оценить свое положение.

Домой Василия не отпустили. Следователь рассудил, что преступники (а он не сомневался, что за спиной Василия скрываются другие) могут сговориться, научить Трофимова, как вести себя на допросах, что говорить. По всему видно, что он-то человек неопытный, запутать его большого труда не составит, а запутавшись, он в конце концов даст исчерпывающие показания...

* * *

Настя никак не хотела поверить, что Василия арестовали. Однако уже на другой день и ее вызвали к следователю. Она давала еще более путаные показания, потому что вообще толком не знала, как Василий оформ-

лял документы. Зато она рассказала, что Василию бухгалтер предлагал получать деньги за разгрузку, а после им вместе об этом же говорил и начальник снабжения. И о том рассказала, что Борис Михайлович брал документы на проверку. Не просто взяла и рассказала — эти факты Настя не связывала с арестом Василия и с обнаруженной недостачей, — а отвечая на вопросы следователя, которые казались ей ненужными. Сама она высказала предположение, что Василия оговорили.

Это заинтересовало следователя.

— У вашего мужа были враги на фабрике?

— Не должно... Мы никому худого не делали, все по закону.

— Вот видите! — сказал следователь.

А что Настя видела? Ничего она не видела и не понимала, кроме того, что Василий не виноват, что произошла ошибка, которую обязательно найдут. Ей оставалось только надеяться на лучшее и на справедливость. Жалела она, что нету товарища Воронова — перевели куда-то, — а то пошла бы к нему. А тут еще вызвал ее директор фабрики и заявил, что ввиду сложившихся обстоятельств он вынужден ее уволить и что она обязана в трехдневный срок освободить дом, так как он является служебным помещением и находится на территории склада.

— Господи, куда же я денусь с малыми ребятами?..

— Ничем помочь не могу, — сказал директор и, обратив внимание на ее выпуклый, заметный живот, отвернулся.

— Не виноватые же мы, товарищ директор! — убеждала Настя.

— Возможно, очень возможно. Но и вы должны понять меня. Ваш муж находится под следствием, и я не имею права оставить вас на территории склада!

Настя опустила на стул и заплакала.

— Хорошо, хорошо, — сказал директор. — Даю вам

десять дней. За это время вы что-нибудь найдете. Но большего сделать для вас не могу.

— И на том спасибо,— поклонилась Настя.

Директор взглянул на нее удивленно, участливо и неожиданно посоветовал пойти к прокурору.

— Напишите заявление, укажите, что ждете ребенка, тяжелое материальное положение... Будет предписание не увольнять вас — я со своей стороны... Только ради бога не благодарите! — Он поморщился.

Настя тихо вышла из кабинета.

К прокурору она не пошла. В тот же день съехала из казенного дома и подала заявление на расчет. Спасибо, добрые люди пустили пожить квартирантами.

Спустя несколько дней по поселку прошел слух, что арестовали и главного бухгалтера фабрики, и начальника снабжения, и еще каких-то людей. Узнав об этом, Настя подумала, что теперь, значит, освободят ее Василия, раз нашли настоящих виновников, однако его не освобождали, и она решила сходить к следователю — узнать, в чем дело. Принял ее следователь неохотно, в подробности вдаваться не стал, объяснил только, что на фабрике орудовала целая шайка расхитителей, в которую, как показывают обвиняемые и материалы дела, входил и Василий.

— Втянули, выходит? Оговорили?.. — спрашивала Настя, удерживая слезы. Не хотела она больше плакать при чужих людях, не хотела просить ни о чем и показывать свою слабость. Она знала, что не виноват Василий, и решила добиваться правды. Чего бы это ей ни стоило.

— Суд разберется и установит подлинную вину каждого,— сухо сказал следователь.

— А что, уже и суд назначен?

— Да, скоро суд.

Некуда было пойти, не с кем посоветоваться. Одна надежда, что, может, брат Андрей что-то подскажет. И Настя поехала к нему.

— Дадут срок,— уверенно заявил Андрей, выслушав Настю.— Как пить дать. Раз другие на Василия показывают — не отвертеться. Зато я говорил, что с начальством надо в мире и дружбе жить! Глядишь, и дела никакого не было бы, и вам бы кое-что перепало. Честность свою показывали!.. Учишь-учишь вас уму-разуму, а вы всё с принципиальностью своей носитесь.

— Ты, брат, словами не бросайся,— сказала Настя.— Справедливость всегда найдется...

— Что же ты не нашла?

— Найду. Думала, ты что-нибудь присоветуешь.

— А его нечего в это впутывать! — встряла в разговор Людмила, жена Андрея.

— Ты ладно, ладно!..— возразил ей Андрей.— Защитник хороший Василию нужен, но это дорого.

— Денег-то у нас нет... Может, брат, дашь взаймы?

— Еще чего! — вскинулась Людмила.— И откуда у нас деньги? Еле-еле концы с концами сводим...

— На нет и суда нет,— молвила Настя и стала собираться.

Андрей вышел проводить ее на трамвай и все извинялся, что не может помочь.

— Ладно, брат,— успокоила его Настя.— Обойдемся как-нибудь. На суде небось откроется вся правда. Меня вызовут, я скажу.

— Постой! — вдруг воскликнул Андрей, хватая Настю за руку.— У вас же знакомый, как его?.. Ну, который на севере начальником был!

— Где его отыщешь, братишка.— Настя вздохнула.

— А теща его?..

— И правда,— сказала Настя.— Как же я забыла про Елизавету Михайловну?! Она и в гости приглашала...

— Видишь! Ты прямо к ней, она скажет, где этот...

— Товарищ Фомичев Алексей Николаевич,

— Ни пуха тебе, сестренка!

Елизавета Михайловна встретила Настю приветливо, усадила пить чай, про дочек расспрашивала, а когда услышала, какая случилась беда, чуть чашку не выронила.

Заставила все снова пересказать, вздыхала, охала, потом взялась за голову.

— Какие же еще сволочи рядом с нами живут, Анастасия Федоровна! Жаль, что Алексей Николаевич далеко, он бы, конечно, помог вам.

— Он все на севере? — тихо спросила Настя.

— Оттуда перевели его, — сказала Елизавета Михайловна. — В прошлом году они с Клавочкой перебрались аж в Среднюю Азию. И Сашу забрали. Говорила я, чтобы мальчика не таскали за собой, где там!.. Она взмахнула рукой. — В такую-то жару, ужас!.. Я вычитала, что в тех местах жара доходит до сорока пяти градусов в тени.

— Жарко, — потерянно промолвила Настя. — А я думала, может, напишу Алексею-то Николаевичу...

— Правильно! — подхватила Елизавета Михайловна. — Непременно надо написать. Он что-нибудь предпримет, он никогда не оставляет людей в беде, этого у него не отнимешь. Вот вам адрес, пишите. А я от себя тоже напишу.

Настя воспрянула духом. В письме она подробно все описала — целых шесть страничек из школьной тетрадки получилось — и стала ждать ответа. Но скорее, чем пришел ответ, состоялся суд. Настя надеялась, что ее вызовут свидетелем, однако не вызвали, объяснили, что, как жена обвиняемого, она не имеет права давать показания. Прав своих Настя не знала, и она поехала на суд в Ленинград без особенной надежды на хороший исход, но все-таки и надеясь в душе, что на суде выплывет настоящая правда. А вышло так, будто Василий и есть самый главный виновник. Мало чего понимала Настя в речах прокурора и защитников, которых было

несколько, да и слышала плохо — в голове гул какой-то стоял, и все происходящее было как бы во сне,— но поняла, однако, что бухгалтер и Борис Михайлович вроде как и вовсе не были виноватыми, а всего лишь попустительствовали преступлению, халатно относились к своим обязанностям и плохо проводили ревизии. Что, например, Василий сдавал в бухгалтерию, лично главному бухгалтеру, квитанции за дрова и что начальник снабжения брал документы на проверку — от этого они отказались, и защитники, которые их защищали, доказывали суду, что это оговор со стороны Трофимова. Нашлись два мужика, подтвердившие, что брали у Василия и дрова, и доски за наличные деньги, которые платили не в кассу, а ему в руки. Дескать, нам что, нам все равно куда платить, лишь бы, мол, по закону все было...

Что и как говорил защитник Василия, назначенный от суда, Настя совсем не слышала, ей сделалось плохо, она потеряла сознание и пришла в себя в больнице. О том, что она в больнице, сообщили Андрею, и он — на этом ему и Людмиле спасибо — взял Машу и Дуню к себе домой.

Настя пробыла в больнице две недели и там же узнала, что Василию дали пять лет лишения свободы, а бухгалтеру и начальнику снабжения по одному году.

Из больницы она выписалась непохожая на себя. Врачи боялись, что от нервного потрясения может быть выкидыш. Но, слава богу, обошлось...

* * *

Андрей и Людмила советовали ехать с дочками в деревню. О том же писал и отец. По правде говоря, Настя и сама склонялась к этому, потому что делать ей здесь теперь было нечего. Но и в Ореховичи возвращаться было страшно.

Срок обжалования приговора истек, пока Настя бо-

дела. Защитник Василия писать апелляцию не стал — интереса у него не было, а бухгалтер и начальник снабжения жаловаться не захотели. Они-то понимали, что новое расследование может не на пользу им пойти.

А от Фомичева все не было и не было письма.

Один бог знает, как жила Настя это время с ребятами. Никаких запасов у них никогда не бывало, все деньги уходило на еду и на одежду, продать же было нечего. Счастье еще, что не описали имущество. Да и что там описывать! Помогали добрые люди, немножко Настя подрабатывала, где придется и когда удавалось. Стирала кое-кому, убиралась. Она и вагоны пошла бы разгружать, но тяжелую работу делать было нельзя — седьмой месяц беременности. Другой бы кто на ее месте отчаялся, а Настя терпела, не отчаивалась, удивляя людей, и когда случалось с кем говорить, она выражала надежду, что все еще образуется, все еще будет хорошо.

Но и большому терпению приходит конец. Стала Настя все чаще и чаще думать, что это несчастье послано им в наказание за что-то, за какой-то большой грех и, значит, одно может быть утешение, что искупит она этот грех. За себя и за Василия...

И тут неожиданно, точно с неба свалился, приехал Федор Тимофеич. Настя была рада-радешенька. Столько лет не виделись, а главное, что приехал он очень кстати, когда Настя была близка к отчаянию и теряла веру в справедливость. Маня с Дуняшей сначала дичились дедушки, жались к матери, но быстро, в первый же день привыкли к нему. К тому же Федор Тимофеич навез деревенских гостинцев, а Настя с дочками давно хорошо не ели.

Много расспрашивать он не стал. Похоже, все подробности знал от Андрея. Огляделся, повздыхал и сказал — как отрубил, заранее пресекая любые Настины возражения:

— Поскитались по белу свету, и будя! Свой дом пустой стоит, а ты по чужим углам христа ради обретаешься. Как оно там с Василием обернется, видно будет, а тебе с ребятишками делать здесь нечего. Вот и Митрий Пантелеич велел передать, чтобы верталась с внуками домой. Зла против тебя они не держат, прошло зло-то, а внуки как-никак им тоже родные. Собирайся, стало быть, Настасья. Вместе поедем.

Трудно было возражать отцу. Да и что возразишь?.. Видно, нет другого пути, как только ехать в Ореховичи, прав отец. И дочери обрадовались. В особенности Маня, которую задразнили в школе совсем.

— Ладно,— согласилась Настя.— Судьба, значит, у нас такая...

— Денька через три и тронемся,— сказал Федор Тимофеич, тоже обрадованный, что все легко уладилось.— Я кое-чего посмотрю в Ленинграде — наказов люди давали,— и тронемся.

Однако выехать они не успели: Настю вызвали в городскую прокуратуру. Она как вскрыла конверт, прочитала вызов, и сердце ее забилося быстро-быстро.

— Насчет Василия! — вскрикнула она, бросаясь отцу на шею.— Знала я, что товарищ Фомичев поможет.

— Дай-то бог,— сказал Федор Тимофеич.

В прокуратуре Настя показала полученное письмо, и ее провели тотчас в огромный кабинет с ковровой дорожкой, которая лежала от двери до самого стола. Настя ничего не видела, кроме этой дорожки, стояла и раздумывала, как быть — идти ли по дорожке прямо или бочком, мимо. А пока она решала, из-за стола навстречу ей вышел мужчина. Был он высокий, представительный, каким, по мнению Насти, и должен быть большой начальник. А что это именно большой начальник, она не сомневалась. Начальство поменьше в таких-то кабинетах не сидит.

Подошел он к Насте, взял ее под руку, провел впе-

ред по дорожке и усадил в кресло, в котором Настя утонула.

— Давайте знакомиться,— сказал, протягивая руку.— Сидите, сидите!.. Меня зовут Александр Иванович. А вас, если не ошибаюсь, Анастасия Федоровна?..— Лицо у него было доброе, открытое, и Насте сделалось легко, исчезли скованность и страх.

— Просто Настя,— сказала она.

— Какая же вы просто Настя! Мать двоих детей...— Он сел в другое кресло, напротив. Их разделял маленький низкий столик.— Мне звонил Алексей Николаевич, просил разобраться с делом вашего супруга... Кстати, передавал вам привет.

— Это товарищ Фомичев? — спросила Настя.

— Да, да. Вы давно с ним знакомы?

— На севере вместе были. Как вместе...— засмушалась Настя.— Мы-то вербованные, а он начальник. Хороший, душевный человек. Когда муж под обвал попал и заболел, он сильно нам помог...

— Понятно, понятно... А ваше письмо к нему долго путешествовало.

— Я уж и-ждать перестала,— призналась Настя.

— Алексей Николаевич теперь в Москве.

— Это он приказал, чтобы разобраться?..

Александр Иванович улыбнулся.

— Приказал не приказал, Анастасия Федоровна, а дело вашего супруга мы пересмотрим. Будет назначено новое расследование. Я уже познакомился с материалами...

— Невиноватый он, товарищ начальник! Христом богом клянусь, что невиноватый! Как на духу...— Настя не выдержала, заплакала.

— Ну-ну! — успокаивал ее Александр Иванович, наливая в стакан воды из графина.— Надо держать себя в руках. Обещаю вам, что ваш супруг скоро вернется домой. Некоторая вина за ним есть...

— Втянули, опутали,— всхлипывала Настя.

— Не без того, не без того...— Он поднялся из кресла, обогнул письменный стол, порывлся в каких-то бумажках.— Не надо бы ему было лезть в эту клоаку.

— Что вы сказали?

— Да ничего, Анастасия Федоровна. Сына или дочку ждете?

— Сыночка хотелось бы...— краснея, ответила Настя.

— Сын — это хорошо. У Алексея Николаевича тоже, кажется, сын?

— Сын, сын! — подтвердила Настя.— Тезка ваш.

— Вот как?..— вроде удивился Александр Иванович.— Не знал. Значит, таким образом, Анастасия Федоровна: поезжайте домой, живите спокойно и ждите супруга. Думаю, дело не затянется. Кстати, вас уволили с фабрики?..

— Сама ушла.

— Но предложили уйти?

— Предложили...

— Мы сделаем представление, вернетесь, если хотите, на прежнее место.

— Нет,— сказала Настя и покачала головой.— Вернется если Василий, уедем мы на родину. Отец уже приехал за мной, собирались уезжать. Когда бы не вызов к вам...

— А вы можете ехать,— сказал Александр Иванович.

— Подожду здесь. Вместе потом.

— Смотрите. Ну, пожелаю вам сына родить, Анастасия Федоровна, и вообще всего-всего наилучшего.— Он заботливо взял Настю за локоть, помог встать из кресла и проводил к двери.

И вот здесь, на выходе уже, Настя, посмотрев в глаза Александра Ивановича, спросила все-таки:

— Не обманете?

— Вам достаточно моего слова? — Он рассмеялся. Она кивнула.

Дома Настя обо всем рассказала отцу, но скрыла, что ей посоветовали ехать в деревню. Напротив, наговорила, будто бы велено никуда не уезжать, потому что, дескать, в любой день она может понадобиться...

— Раз такое дело, — пожимая плечами, сказал Федор Тимофеич, однако заметно было, что не очень-то он верит Насте. — Письмо вот без тебя принесли, из самой Москвы...

Письмо было от Клавдии Павловны. Она извинялась за мужа и за себя, что долго не отвечали на Настино письмо, объяснив это тем, что Алексея Николаевича неожиданно отозвали в Москву. Писала также, что муж позвонил в Ленинград насчет Василия, кланяется Насте и велит, если понадобится, снова сообщить ему.

— От кого?.. — оboждав, покуда Настя дочитает, заинтересовался Федор Тимофеич. Лестно и ему было, что дочери из Москвы пишут.

— От жены товарища Фомичева, от Клавдии Павловны.

— Про Василия что-нибудь написано?

— А как же! — с гордостью сказала Настя. — Он и приказал, чтобы это дело по справедливости разобрали. — Откуда ей было знать, что Фомичев ничего приказывать не мог, а мог только просить.

— Гляди, Настасья. Мне ехать надо, посевная начинается...

— Поезжай, конечно. А мы следом. Вот освободят Василия — сразу и поедem, ни дня здесь больше не задержимся.

Федор Тимофеич собрался быстро и уехал, оставив Насте немного денег и продуктов, привезенных из деревни. А Настя ждала Василия. Каждый день ждала, ночи не спала. Почему-то ей казалось, что он обязательно вернется ночью. С детства она знала, что всякие не-

ожиданности, в особенности приятные, случаются по ночам. Вскоре от Василия пришло письмо. «Теперь меня перевели обратно в тюрьму,— сообщал он.— Вызывал начальник и сказал, что приказано будто бы произвести новое следствие. Я-то не очень чтобы поверил, однако сведущие здешние люди говорят, что, когда переводят в тюрьму из лагеря, значит, или будет пересуд, или новое следствие. Так что, может статься, и откроется вся правда, как она есть, а я ни в чем не виноватый...»

Настя прямо не знала, куда деть радость. Схватила Дуняшу, закружилась с ней, покуда та не расплакалась. А Настя все повторяла:

— Скоро наш папка приедет!.. Скоро наш папка приедет!..

Весь поселок вмиг узнал, что Трофимова выпускают, и люди, хоть и не все, радовались вместе с Настей, поздравляли ее.

* * *

Письмо от Василия пришло в пятницу, 20 июня. В воскресенье Настя собиралась ехать к Андрею в город. Она встала пораньше, чтобы приготовить дочкам поесть, пока они спят. Сунулась — хлеба мало, решила сбегать в магазин. Там и узнала, что началась война. Народ толпился на небольшой площади возле магазина, словно ждали чего-то. Женщины плакали, мужчины курили молча... Забыв купить хлеба, Настя вернулась домой и здесь застала Андрея.

Маня с Дуняшей уже проснулись, смотрели на мать испуганно. Похоже, брат сказал им про войну. «А что они понимают? Им-то все равно», — как-то мимоходом подумала Настя.

— Что же теперь будет, брат?..

— Мужиков на фронт позабирают, — сказал Андрей, — а вашему брату ждать.

— Господи, вот несчастье-то какое свалилось!

— Ты вот что, уезжать вам надо в деревню. Нечего здесь у моря погоды ждать.

Настя покачала головой.

— Скоро папка придет,— сказала Маня, строго посмотрев на Андрея.

— Откуда ты взяла?

— Письмо пришло,— Настя подняла голову.— Приноси-ка, Маняша, дяде Андрею письмо папкино. К вам собиралась сегодня, показать хотела, радостью нашей поделиться...

Маня принесла письмо и отдала Андрею. Прочитав, он сказал:

— Похоже, что так... Да вот если бы не война! Теперь, я думаю, не до него.

— А может, его уже освободили,— с надеждой выговорила Настя.— Письмо-то долго шло...

— Скоро сказки сказываются,— выразил Андрей свое сомнение.— Уезжать вам надо, сестра. Пока не поздно. В деревне легче войну переждать.

— Нет,— сказала Настя.— Мы уж как-нибудь, а папку нашего дождемся. Он же, как освободят, сюда поедет.— Она приласкала Маню.— Верно, доченька?

— Да, мама.

— Освободят, придет! Если и освободят или освободили, так сразу на фронт возьмут, неужели не понимаешь этого?.. Война же!

— Его не возьмут,— возразила Настя.— Он больной, слабый вовсе, какой из него вояка, сам подумай. Чего ему мотаться туда-сюда?.. Придет — тогда все вместе и отправимся в деревню. Да и тяжело мне одной по поездкам.

Так и не убедил Андрей сестру, уехал ни с чем. Василий же не возвращался. Вскоре дошли слухи, что из Ленинграда людей эвакуируют, что немцы наступают. Начал разъезжаться народ и из поселка. Соседи совето-

вали уезжать и Насте. А она не знала, что делать, как быть. И уехать страшно — вдруг все же вернется Василий и не найдет их, — и оставаться тоже страшно. Война приблизилась и уже не казалась безопасной для тех, кто не был на фронте. Кто знает, решилась бы Настя или нет, если бы не старшая дочка.

— Поехали к дедушке, — однажды сказала она. — Все уезжают. А папка найдет нас там.

— Поехали, поехали, мамочка, — теребила Настю и младшая, и это подтолкнуло ее к окончательному решению.

Глава VIII

В поселковом Совете Настя получила необходимые документы, собрала нехитрые свои пожитки (старшая дочка говорила, чтобы она не тащила швейную машинку, однако Настя ни за что не хотела с нею расставаться), и в назначенное время они были в Ленинграде на вокзале. Но попасть в эшелон оказалось не так-то просто, и, если бы не Андрей с его умением достать, выпросить, уговорить кого угодно, Настя ни за что не уехала бы. Андрей же сумел посадить их даже в пассажирский вагон, хотя большинство вагонов были теплушками. Слава богу, все устроилось благополучно, и у Насти теперь была одна забота — как там, на месте, добраться от станции до Ореховичей: не близкий это свет, а у нее двое ребятишек и вот-вот приспееет рожать.

— Мы потихоньку, — успокаивала ее Маня, и Настя не знала, радоваться или огорчаться тому, что дочка удалась не по возрасту рассудительная, серьезная. Все-то Маня видела, все понимала и рассуждала почти как взрослая.

А меньшая выпрашивала:

— Мамочка, мамочка, расскажи про Ореховичи.

Кажется, Настя могла бы часами рассказывать про

родную деревню,— так она тосковала все эти годы, так мечтала вернуться туда, а вот рассказать ничего не получалось. «Красиво у нас,— скажет.— Кругом леса и поля, и речка у нас хорошая, Норовка, а на выгоне коровки пасутся...»

Нет у Насти ни слов, ни красок, чтобы выразить свою любовь, а стоит зажмурить глаза — и видит она явственно-явственно, как если бы наяву, Ореховичи. Каждый дом видит, каждый тополек и колодезный журавль, в самом центре деревни, на котором дед Иван давно-давно привязал красную тряпицу вместо флага. Тут, у колодца, по утрам собирались деревенские бабы, чтобы обсудить последние новости, просто так посудачить минутку,— потом до самого позднего вечера некогда и присесть будет...

Ореховичи — деревня небольшая, всего три десятка дворов. Сторона лесная, сильно заболоченная, так что пахотной земли мало. Потому, наверно, Ореховичи не расстроились, хотя место для жизни удобное и красивое. Старики говорили, что раньше, во времена незапамятные, на этом месте был старообрядческий скит, а после, когда старообрядцы убралась отсюда, на эстонскую сторону подались, какой-то барин (уж никто и не помнит, как его звали) продал большой кусок леса разбогатевшему мужику, будто бы прапращуру Трофимовых, и тот обосновался здесь. Сначала-то был только хутор, но со временем стала деревня, а земли вокруг отошли к казне. Так ли все было, никто толком не знает, и дед Иван, когда Трофимовы заводили разговор о том, что вся местность окрест на самом деле принадлежит им, посмеивался, говоря, что у Адама и Евы и того больше земли было, а вот же нет ни самих Адама с Евой, ни землицы ихней...

А ехали медленно, подолгу стояли на станциях и разъездах, люди нервничали и, несмотря на общее огромное горе, ругались между собой. В вагоне было

тесно, Насте с дочками досталась одна боковая узкая полка на всех, однако она и этому радовалась, в ссоры, которые и вспыхивали чаще всего из-за места, не встревала, но молча сносила все неудобства и тесноту. И то верно: другие, как правило, ехали неизвестно куда, лишь бы подальше от войны и опасности, а Настя ехала домой и потому жалела своих попутчиков.

Но вышло совсем не так, как думала, как надеялась она.

Однажды состав остановился на каком-то полустанке и поступил приказ выйти всем из вагонов. Вдоль поезда бегали озабоченные военные, торопили эвакуированных, а на вопросы не отвечали, отмахивались. Кто-то все же вызнал, что поблизости немцы — то ли парашютисты, то ли еще какие другие — и что впереди железная дорога перерезана. Что тут было!.. Все перепуталось, перемешалось, плакали дети, голосили женщины, военные с винтовками отгоняли пассажиров в сторону от поезда, в вагоны грузили раненых красноармейцев.

Настя никого ни о чем не спрашивала, а молча побрела с дочками к вокзальному домику, где было велено собраться эвакуированным. Раз есть такой приказ, надо слушаться. Дуня, правда, расплакалась, но Маня быстро успокоила ее. Она и это умела лучше матери. Наверно, никогда еще на этом тихом полустанке не скапливалось столько народу. Дежурный с трудом отбивался от наседавших на него женщин с детьми, что-то пытался объяснить, доказать, но понять, что именно он объяснял и доказывал, было невозможно. Казалось, что женщины, обезумевшие от страха и неизвестности, растерзают старичка дежурного. И тут появился военный. По его выправке и уверенности, с какой он держался, сразу всем стало ясно, что он здесь главный.

Он растолкал людей, поднялся на крылечко и вдруг закричал:

— Мо-олча-ать! Здесь не базар, а прифронтовая полоса. Паникеров, кто бы они ни были, расстреляю на месте! — Он расстегнул кобуру, и все мигом затихли, успокоились, почувствовав в этом человеке силу. А он оглядел толпу и уже тише, вроде даже виновато, заговорил: — Сейчас все вы вернетесь по вагонам. Класные вагоны заняты ранеными бойцами, так что остальным придется потесниться. Очень вас прошу, граждане, соблюдать строжайший порядок и дисциплину. Никакой паники не допущу, грузиться быстро и без разговоров. Громоздкие вещи и лишние узлы... оставить здесь. Первыми грузятся престарелые и женщины с маленькими детьми. Всем все ясно?..

Толпа настороженно молчала.

— Далее. Врачам и прочим медицинским работникам отойти в сторону.

Из толпы вышли несколько женщин и мужчина.

— Красько! — позвал военный. Рядом с ним мигом оказался военврач с бородкой. — Товарищ Красько, принимайте пополнение. Женщины и дети, соблюдая порядок, идут к вагонам. Мужчины остаются на месте.

Толпа быстро редела. Красноармейцы проверяли документы у мужчин. Некоторым документы возвращали, а остальным было приказано ждать. Кто-то наконец решился и спросил, куда их повезут.

— Обратно в Ленинград пойдет эшелон, — ответил военный.

Настя услышала эти слова и тотчас сообразила — раз они находятся недалеко от станции Дно, значит, не так уж и далеко теперь до Ореховичей. Она знала, что деревенские мужики иногда ездили и в Дно, особенно в распутицу, когда на ближнюю станцию вообще не проехать, а в Новосокольники почти столько же, сколько и в Дно. А тут еще поползли слухи, что обратной дороги в Ленинград тоже нет, что немцы и там перерезали путь...

Она тихонько выбралась из поредевшей толпы и отошла с ребятами в сторонку, раздумывая, как ей быть. И назад не хочется — страшно, и оставаться тоже боязно...

На счастье или на несчастье — этого вперед не угадаешь, а и после не поймешь, раз поступил именно так, а не иначе, — подкатился к Насте мужик. То ли угадал в ней не городскую, свою вроде, деревенскую, то ли просто потому, что стояла она теперь в сторонке, как бы и не имея отношения к остальным эвакуированным.

— Откель приехали? — спросил, оглядывая Настин круглый живот.

— Да из Ленинграда, — ответила она. — Обратно, говорят, повезут. Немцы вроде бы впереди...

— А сама-то из каких мест будешь? — полюбопытствовал мужик. — Разговор у тебя наш, псковский...

— Из-под Новосокольников, Ореховичи — не слышали?

— Да как не слышать! — Мужик засветился весь, обрадовался. — То-то я и слышу. Вещичек-то у тебя кот наплакал... А здесь что? — Он толкнул ногой машинку, обернутую поверх футляра тряпкой. Настя все боялась поцарапать футляр, таскала машинку за собой.

— Машинка швейная, — простодушно сказала она. — Жалко бросать, вещь дорогая.

— Еще что, бросать! Рожать тебе скоро?

— Скоро...

— Из Ореховичей, значит... А не врешь, случаем? — Он прищурился и погладил Маню. Та отстранилась.

— Зачем же мне врать-то? — удивилась Настя.

— Так-то оно так, врать тебе вроде и ни к чему, а все ж... — Он почесал в затылке, как бы в раздумье, а сам все смотрел, смотрел на завернутую машинку. — Ладно, подвезу вас, не пропадать же вам вместе с другими, земляки же мы. Ишь, две девки, и третью скоро народишь,

— Куда подвезете? — встрепелась Настя.

— А куда надо, туда и подвезу, значит.

— До самых Ореховичей?..

— Не-е, до самых-то не выйдя.., до Малаховки могу.

— Не слыхала.

— Оттуда до ваших Новосокольников рукой подать, машины, бывает, ходют, В два счета от Малаховки доберешься.

— Прямо не знаю,— молвила Настя в растерянности.— Может, лучше назад?..— Она оглянулась: почти все эвакуированные разместились по вагонам, красноармейцы следили за порядком. Вокруг военного, который выступал и устанавливал дисциплину, собралось несколько мужчин. Они что-то доказывали, спорили, однако военный, похоже, не очень-то слушал их.

— Дело, конечно, хозяйское,— сказал мужик.— Как сама хошь.— Он вдруг приблизился к Насте близко, так что она учуяла запах самогона, и зашептал: — Назад-то куды?.. Немцы же там. Всех перестреляют вмиг, особенно раз красноармейцы в поезде.

А Настя сомневалась. Смущало ее незнакомое название деревни — Малаховка.

— Не сумлевайся, дура баба.— Мужик был догадлив.— Наша Малаховка — маленькая деревня, это верно. А вот, к примеру, Дедово слыхала?

— Господи! — воскликнула Настя радостно.— Как же, это же рядом с Ореховичами.

— А ты сумлеваешься,— чуть важничая, проговорил мужик.— Я ж и то чую, что земляки мы с тобой. От Малаховки до Дедова — чего там, хреновина! Хоть и пешком можно, вам и в Новосокольники ни к чему вовсе.

— Сколько же верст? — спросила Настя.

— Да ведь версты наши псковские не меряны... А считается, что верст, однако, около тридцати наберется.

— Тридцать-то ничего,— сказала Настя, подумав, что, если потихоньку, не торопясь, можно добраться за два дня. Если бы не Дуня и не вещи, да если бы живот был полегче, так и за один день можно бы упраться.

— И я ж тебе толкую! — сказал мужик.

— Как, Маня? — спросила Настя у старшей дочери.

— Нашла кого пытаться. Ты не думай, время дорого, того и гляди и сюда немцы допрут. Или военные отнимут лошадку.

— А вы с лошадыю?

— Нешто на себе повезу? Ясное дело, что с лошадыю. Кобыла у меня что надо.

— Мама, поедем обратно! — сказала Маня.— Я не хочу на лошади...

— И я,— поддакнула Дуня, вытирая слезы.

— Что вы, дочушки мои?! — Настя приласкала обеих.— Мы теперь совсем близко от нашей деревни, а там дедушка, молоко свое.

Посадка к тому времени закончилась. Мужчин, которых военный не пустил в поезд, увели. Стало пустынно на полустанке и неожиданно тихо. К паровозу подбежал красноармеец, вспрыгнул на подножку и что-то крикнул машинисту. Тот кивнул, скрылся в будке, и тотчас, без гудка, только отдуваясь белым паром, паровоз вздрогнул, дернулся, и за ним дернулись вагоны...

— Дай им бог,— тихо сказал мужик и перекрестился.— А нам спешить надо.

Он подхватил машинку и пошел вперед. Настя взяла узел с одежкой и вместе с дочками побрела за ним. Теперь уж нечего было думать: поезд медленно набирал ход.

Лошадь, запряженная в телегу, стояла недалеко от станции, укрытая за лабазом. Ее сторожил мальчонка лет десяти, как и Маня.

— Все тихо? — спросил у него мужик, оглядываясь,

— Никого не было, тятя,— ответил мальчонка, косясь на Маню.

— Напоил?

— Напоил, тятя.

— Тогда с богом!

Все забрались на телегу, и мужик дернул вожжи:

— Ну-у, пошла-а, ленивая!

Тут Настя спросила:

— А сколько вы с нас возьмете?

— Ах мать честная! — сплюнул мужик. — К тебе, бабонька, с добром, а ты про деньги толкуешь!.. На кой мне твои деньги?

— Простите,— сказала Настя виновато.

Ехали они целый день лесной дорогой, ни одна деревня не встретилась им по пути. Настю, по правде говоря, настораживало это, но после того, как мужик пристыдил ее за деньги, она боялась его спрашивать о чем-нибудь.

Поздним вечером выбрались из леса. Перед ними были поля, а дорога разбегалась на две.

Мужик остановил кобылу, спрыгнул с телеги, размял затекшие ноги и, взглянув на Настю, сказал:

— Ну вот, бабонька... Отсель, стало быть, мне на Малаховку поворачивать, направо, а вам идтить налево. Туточки версты три до Ивантеевки, быстро дойдете. Село большое, богатое. Там заночуете, а утром здешние мужики отвезут в Дедово. Оно, может, кто и до Ореховичей согласится...

— А вы не подвезете до Ивантеевки? — попросила Настя. — Тяжело нам идти...

— Вишь ты какое дело! — Он почесал в затылке. — Кобыла пристала, да и баба ждет. Оно, конечно... Не-е, дойдете. Это ж близко.

Настя молча сняла с телеги Дуню, узел с одеждой, хотела снять и машинку, однако мужик остановил ее.

— Ты машинку-то не смай, не надо,— сказал он, и в голосе его не было прежней приветливости.— Тащить вам тяжело, что верно, то верно, а моей бабе давно хотелось машинку иметь...

— Как же это?..— растерялась Настя.

— Денег с вас не взял. А совет хороший дал и подвез. Пущай она будет вместо платы. Хреновина, конечно, да уж ладно...— Он вспрыгнул на телегу, вытянул кобылу кнутом, и кобыла взяла с места доброй, спорой рысью.

За телегой, медленно оседая, клубилась густая пыль.

Маня подняла на мать глаза, вздохнула совсем повзрослому и сказала тихо:

— Говорила тебе...

— Что ты говорила?

— Чтобы назад ехать.

Ничего не ответила на это Настя. Даже не успокоилась, что теперь до Ореховичей недалеко. Она поняла вдруг, что мужик-то обманул их, завез неизвестно куда. Правда, про Дедово вспоминал... А может, не обманул? Машинка — ладно, бог с ней, с машинкой, хотя и жалко, конечно. Не малых денег стоит, чтобы за подвоз отдать. В деревне бы как пригодилась!..

— Пошли,— позвала она детей, взваливая на плечо узел.

К ночи они добрались до большого села, которое правда называлось Ивантеевка, и это вселило в Настю надежду. Она постучалась в крайний дом. Кто-то прильнул к окну, присматриваясь. Спустя немного открылась калитка, вышла пожилая женщина.

— Чего надоть?

— Переночевать не пустите?..

— Издалека, что ль?

— Издалека,— уже еле ворочая языком, ответила Настя.— Из Ленинграда.

— И-иы!..,— воскликнула хозяйка, всплескивая рука-

ми.— Куды ж занесло вас, сердешных?.. Ну, проходите в дом, чего стоять на дворе...

Тут и выяснилось, что никаких Ореховичей на сто верст в округе нету, да и насчет Дедова хозяйка не знала.

— А Новосokolьники далеко отсюда?

— И-иы, чего! Это ж на Дно надоть, а посла на поезде ехать.

— Нам сказали, что отсюда какая-то дорога есть...

— Так кто ж его знает! — Хозяйка пожала плечами.— Дорог много, може, какая есть. Завтра поспрошаем у людей. Вот Егор Фомич, тот про все знает. Его и спросим. Это наш председатель колхоза.

* * *

Егор Фомич пришел спозаранку. Скорее всего, покуда Настя с дочками спали, хозяйка и сбегала за ним. Он проверил Настин паспорт, метрики ребячьи, пораспрашивал, как и что, покачал головой.

— Малаховский, значит, подвез?

— Ага.

— Сукин сын! Здесь поблизости и Малаховки сроду не бывало. А может, михайловский?

— Нет,— сказала Настя.— Да что уж там, все равно. Мне еще на станции его глаза не понравились, все юркает ими, юркает... Я бы и не поехала с ним, но как про Дедово он заговорил, тут и поверила...

— Дедово, Дедово...— повторил за ней Егор Фомич.— А не Дедовичи?..

— От нас в семнадцати верстах село Дедово.

— Не знаю, милая. Чего не знаю, того не знаю. Врать не стану. А михайловские, они известные прохвосты и жулики. Постой, постой, где он вас высадил?..

— На развилке, как из леса выехали,— ответила Настя.

— Это что ж получается, Петровна?..— обратился Егор Фомич к хозяйке.— В Михайловское со станции вовсе лесом и не надо ехать.

— Не надо,— закивала хозяйка.

— Вот прохвост попался! — сказал Егор Фомич.— Иди-ка найди его теперы! Все наврал... А до Новоскольников далеко отсюда, милая. Дойтить оно можно, почему, но далеко...

— Значит, нам лучше назад возвращаться?

— Как сказать! Может, и не лучше. Ты отдохни и детям дай отдых, а уж я разузнаю. Поживите денька два у Петровны...

— Удобно ли? — усомнилась Настя.

— И-иы! — сказала хозяйка.— Какие теперь удобства? Живи, раз так. Изба, слава тебе господи, просторная, а я одна. Мужик помер, сыновья в армии.

Настя согласилась переждать день-другой,— все равно не знала, куда, в какую сторону направляться. А ночью у нее неожиданно начались схватки. То ли в подсчетах ошиблась (собиралась рожать в конце июля или начале августа), то ли от волнений раньше времени роды наступили. На следующее утро она родила еще девочку и назвала Клавой — в честь жены товарища Фомичева.

Девочка родилась слабенькая, чуть живая, и целые сутки вокруг нее суетились хозяйка и бабка-повитуха. Выходили все-таки.

Опять пришел Егор Фомич, поздравил Настю и рассказал, что ему удалось вызнать у людей. А вызнать ему удалось, что на станции, где поезд задержали, немцы уже и что вообще хоть и далеко до Новоскольников, но все же вроде и ближе получается, если через Никольское идти. До Никольского, выходит, верст шестьдесят с гаком и там около того...

— Так что куда ж ты пешком? Вот отлежишься малость, сил наберешься — снаряжу я подводу, отвезут те-

бя в Никольское,— пообещал Егор Фомич.— Будь спокойна.

— Спасибо вам,— поблагодарила Настя.

— А ты, Петровна, зайдешь после в правление. Выпишем тебе кое-чего для них.

Еще Настя не встала с постели, как дошли до Ивантеевки слухи, что и Новосokolьники, и даже будто бы Никольское заняты немцами. Получалось, что некуда Насте с ребятишками вовсе податься. Про то же ей намекал в последний свой приход и Егор Фомич. А хозяйка прямо посоветовала никуда покуда не трогаться, оставаться здесь, в Ивантеевке. Бог даст, переждется-переживется, а там, дескать, будет видно. Не век же войне быть!.. Поняла Настя, что это единственный выход. Не добратся ей домой, куда там, раз кругом немцы все захватили.

— И ладненько,— сказал Егор Фомич, поднимаясь.— Прощевайте покудова, и дай вам бог здоровья. Живы будем — может, и свидимся.

— А вы... уходите куда-то? — спросила Настя.

— Про то никто не знает,— уклончиво ответил Егор Фомич.— А ты живи, живи, милая. Дочек выращивай, чтоб они потом мужиков рожали, когда вырастут. Петровна тебя не обидит, душевная она женщина.— И с этим он ушел, и никогда больше Настя не встречала его.

Вместе с ним ушли еще несколько оставшихся в деревне мужиков, которых на фронт не взяли. Настя ничего не понимала, но Петровна проговорила ей, что мужики подались в леса, в партизаны, значит, потому как со дня на день — похоже на это — и здесь объявятся немцы. Доселе не объявились из-за того только, что в стороне от больших дорог находится Ивантеевка.

Притихло село, насторожилось...

А раньше немцев появился в Ивантеевке Петр Монастырев, из бывших богатеев и кулаков, которого давным-давно сослали куда-то, и с тех самых пор никто его

не видал. Вел он себя нахально, пьян был с утра до вечера, а ночью отсыпался в своем доме, где было правление колхоза. С ним явились еще каких-то два мужика, молодые, здоровенные, а поскольку других мужиков в деревне не осталось, все их боялись.

Никакой власти не было, пожаловаться было некому.

Однажды Монастырев с дружками своими забрел и к Настинной хозяйке.

— Эй, Петровна! — заорал с порога.

— Чего тебе?

— Ты потише, потише, а не то!.. Видала моих телохранителей? Они на расправу со всякими сволочами скорые.

— Не болтай, а сказывай, что тебе от меня-то надо...

— Самогону давай,— потребовал Монастырев, проходя в избу и садясь у стола.

— Нету у меня самогону, откуда взять? — сказала хозяйка.— Да у тебя, поглядишь-ко в зеркало, и так глаза соловые, с самого утра нажрался.

— Поговори еще мне! — взбеленился Монастырев.— Научились митинговать при колхозе!.. А сыновья твои где?.. Да не вилай глазами, знаю, что воевать пошли за Советскую власть. А мы теперь эту самую вашу власть...— Он стукнул кулаком по столу и расхохотался.— Наведем порядочек.— И тут он увидел Настю, которая с маленькой на руках вышла из-за занавески посмотреть, что здесь происходит. Монастырев уставился на нее обалдело: — Кто такая, почему не знаю?

— Гостья это моя, Паша,— сказала хозяйка, заступая между ним и Настей.

— Отыдь, ведьма! — приказал Монастырев.

— Да что тебе баба с дитем малым!

— Ну!..— Он буквально вцепился глазами в Настю, припоминая что-то.— А личность,— растягивая в ухмылке рот, проговорил он,— мне твоя знакомая...

— Скажешь тоже,— опять вмешалась хозяйка.— Проходящая она просто, двое ребятишек у нее, девки, да вот приспело третьего ребятенка рожать, и остановилась у меня. Ох, времечко лихое!.. Ты выпей лучше, Паша, есть у меня капелька, на черный день берегла...

— Погоди ты,— отмахнулся Монастырев, встал, подошел к Насте и взял ее за подбородок. Дружки его стояли у двери как вкопанные.— Где же я тебя видел, красотка?.. Признавайся, кабы хуже не было.

— Что ж ей-то признаваться,— не унималась хозяйка,— ежели ты ее видел, а не она? Она-то, может, тебя и не заметила вовсе.

— Не таракти, старая.

А Настя не знала, как быть — признаваться или не признаваться. Если не признаться, а он узнает, тогда хорошего ждать нечего, а если признаться... Убийца же он, убийца!.. Хорошего человека сгубил, да и с Василием, вспоминала Настя, они не ладили. «Господи, подскажи, что делать! Ведь зверь этот все может, нет у него к людям ни любви, ни уважения, ни жалости. Хуже волка...»

— Едрена вошь! — вдруг воскликнул Монастырев обрадованно.— Мы же с тобой вместе на севере обрелись, неужто не помнишь, позабыла? Ты одна баба среди мужиков и была...

Настя поняла, что скрываться дальше нельзя, заподозрит, гад, что-нибудь, хуже будет. И, сделав вид, что узнает с трудом, она сказала:

— И правда! Вот память-то...

— А я гляжу вроде знакомая обличьем,— заговорил Монастырев.— Живая, значит. А я-то все жалел тебя, думал, не выживешь на этом севере проклятом. Петровна! — крикнул он, хотя хозяйка стояла рядом.— Вали на стол самогон и всякие прочие твои заначки! Можно сказать, родного человека встретил, обмыть положено такое дело. Кто вместе побывал на севере, тот

родней друг дружке, чем мать родная! Пстой, как тебя звать-то?..

— Настя.

— Точно, Настя! — Похоже было, что Монастырев мало что помнил. Узнать-то в лицо узнал, а все другое из пьяной головы вылетело. — А этого... Холера с ним! Шлепнул я его на прощанье. Искали меня?

— Искали, — уклончиво ответила Настя.

— Кукиш с маслом меня найдешь! А ты, значит, вернулась оттуда?

— Муж попал под обвал, так по болезни отпустили.

— Пстой, а кто твой мужик?..

— Василий, — не смогла соврать Настя и напрялась вся.

— Это который бригадиром был?.. — Монастырев нахмурился.

— Он учетчиком работал.

— Учетчиком?.. Не помню что-то. А теперь он где? Хозяйка делала какие-то знаки Насте.

— Не знаю. — Она вздохнула.

— На фронте, что ли?..

— На фронте, — сказала Настя. Она и сама не понимала, почему так ответила. Может, лучше было сказать, что в тюрьме, но язык не повернулся. И верила она, что Василия уже отпустили.

— Значит, и хворый большевичкам понадобился, чтобы власть ихнюю защищать?.. Аукнется им, Настя, все припомнится, поверь уж мне! А ты потерпи малость. Скоро и сюда нагрянут освободители, заживем мы лучше прежнего. Подпевал разных большевистских и жидов на деревьях развесим на просушку... — Он громко рассмеялся. — За все, за все рассчитаемся. — Говоря это, он подошел совсем близко к Насте и дышал в лицо самогонным перегаром. — А ты-то как в этих местах очутилась?

— В свою деревню шла.

— Говорено же тебе, что рожать бабе приспело,— сказала хозяйка.— Мужик ты или не мужик, чтоб про такое спрашивать? Срам. И не дыши на дите сивухой, отойди.

— Ладно, ладно, Петровна.— Монастырев махнул дружкам, и они тоже подошли к столу, который был накрыт.— И ты садись,— велел он Насте.— Отпразднуем с тобой. А то оставайся насовсем здесь, ко мне в дом перебирайся. Я тебя в обиду не дам, не бойсь. Захочешь — законно жить станем, я мужик холостой, вот и Петровна не даст соврать. А не захочешь — просто так живи.

Страшно было Насте слушать его, и некуда деться. А придут немцы, думала она, сила и вовсе на стороне Монастырева будет. Вспомнит рано или поздно он и Василия, и что дружили они с Петром Игнатьевичем. Что тогда? За себя она не боялась,— хуже смерти ничего не бывает на свете,— а вот за детей... Ведь он их не пожалеет.

Волк, он волк и есть.

— Ты из какой деревни-то?

— А чудновская она, чудновская,— быстро сказала хозяйка.

— Далековато, однако, ты забралась. Ну, давай выпьем.

— Нельзя же мне,— молвила Настя и с благодарностью посмотрела на хозяйку. Едва не призналась, что она из Ореховичей.

— Грудью кормишь? — спросил Монастырев.

Настя покраснела.

— Тогда за тебя и за всех нас! — Монастырев вылил в себя полный стакан мутного самогону.

А хозяйка все подливала и подливала ему и его дружкам, потчевала, словно гостей дорогих долгожданных. Сама тоже капельку выпила, чтоб не вызывать подозрений. Скоро на столе появилась вторая бутылка, по-

том и третья. Монастырев со своими дружками совсем запьянели, еле-еле языками ворочали, хотя и пытались песни петь, а когда опорожнили четвертую бутылку, свалились втроем под стол и захрапели.

Хозяйка вызвала Настю в сени.

— Не все вроде хорошо промеж вами было,— сказала она.

— Бандит он, убийца. Хорошего человека убил. Если мужа моего вспомнит, несдобровать нам.

— Я и замечаю. Уходить, получается, тебе надо. Они скоро не проспят. Но мешкать, однако, нельзя. Ты соберись быстро и выходи на двор, а я к деду Чугунову сбегая, он отвезет тебя куда подальше от деревни, лишь бы ему к утру возвратиться...

— Догонит этот гад,— сказала Настя.

— Я ж ему и придумала, что ты из чудновских, а Чудново-то совсем в другой стороне.

— Спасибо.— И вдруг догадалась: — А как же вы?

— Я дома, как-нибудь. Да он, покуда проспится, перезабудет все на свете.

— А если не забудет?

— Он меня сторожить тебя не нанимал,— сказала хозяйка.— А то, может, и сама в лес уйду.— Она вздохнула.— Тебя бы взяла, девоня, да куда ж ты с малыыми дочками...

Что Насте собирать? Завязала узел потуже, малую на руки схватила, а старших впереди себя вытолкала из избы. В дорогу Петровна дала картошки немного, кусок сала отрезала, хлеба тоже и половичок домотканый отжалела, чтобы малую укутывать. Потом пошла в хлев и приволокла легкие саночки.

— Хотя и не зима и снегу нету,— сказала Петровна,— а все легче тащить, чем на себе. Ты по обочинкам, по травке старайся.

— Спасибо вам за ласку и заботу,— поклонилась Настя,

— Чего уж там; ступайте с богом.

Тут и дед Чугунов подоспел на подводе, и Настя с дочками выехала из Ивантеевки. Он отвез их километров за пятнадцать и объяснил, в какую сторону идти дальше.

— На шоссейку-то не выходите,— напутствовал дед Чугунов,— долго ли до греха. Возле большака этого и держитесь, а люди подскажут.

* * *

От деревни к деревне, лесными проселками, пробиралась Настя с дочками в родные места. Больше шли пешком, а иногда удавалось подъехать чуть на попутной подводе. Первые дни немцев не видели, а потом встречались несколько раз, но все обходилось благополучно. Женщина с тремя девочками не вызвала подозрений. Саночки, подаренные Петровной, оченьгодились. Были они нетяжелые и потому не вдавливались в землю, а скользили по траве. Настя клала в них младшую, когда та спала, а на руках-то все время нести ее было бы трудно. К тому же уставала быстро Дуняша, хныкала и тоже просилась на руки. Вот Маня держалась молодцом, не жаловалась и безропотно тянула санки, когда Настя несла малую.

Все ближе и ближе были родные места, и Настя радовалась, что скоро они будут дома, однако и огорчало ее сильно, что девочки совсем измучились, только глазенки да носы у них и остались. Отоспаться бы им, отдохнуть как следует, молочка парного попить... Не раз приглашали Настю добрые люди остановиться, дать роздых себе и детям, но какая-то неодолимая сила толкала ее вперед, словно сердце чувствовало, что нужно как можно скорее добраться до Ореховичей.

— Потерпите еще маленько,— уговаривала она дочек.— Может, папка наш ждет не дождется нас или письмо от него...— Она рассуждала так: освободят Ва-

силля, приедет он в Ленинград, не найдет их и сунется, конечно, к Андрею, а брат подскажет, что они уехали в Ореховичи, и тогда Василий тоже поедет туда, а раз они пешком — да еще столько в Ивантеевке задержались, — а он-то на поезде, значит, и будет дома раньше их...

Она понимала, что, скорее всего, тешит себя несбыточным, но продолжала думать об этом, надеясь на лучшее.

А продвигались они очень медленно, потому что боялись выйти на шоссе и шли не самым близким путем. Случалось, и плутали по два-три дня, особенно вначале, когда места были чужие и люди не знали ни Ореховичей, ни дороги туда. Иной признается, что не знает, а иной пошлет бог весть куда, а после оказывается, что не в ту сторону свернули. Бежали дни за днями, складывались в недели, и уже близко были осень и холода, но еще ближе отчий дом, и крепла в Насте уверенность, что до холодов-то они успеют попасть в Ореховичи. Казалось ей, что местность пошла знакомая, отчего сильно и часто-часто колотилось сердце. Тревожило только Настю, что дочки не понимают, не чувствуют того же, что чувствует она. Им вроде и все равно, свои ли места вокруг или чужие. А и как понять им это, как почувствовать, если родились и Маня, и Дуня далеко отсюда, если родное для нее, Насти, для них и есть чужое.

«Ничего, привыкнут здесь и поймут», — успокаивала себя Настя. Сама-то она вглядывалась в каждое приметное деревцо, в каждый отдельный кусточек у дороги, точно в других местах растут не такие же деревья и кусты. И было Насте несказанно хорошо сознавать, что скоро придут они в Ореховичи, обнимутся с отцом ее и дедом детей, а может, и Василий окажется дома. Странное дело, чем ближе были Ореховичи, тем больше Настю волновали, беспокоили всякие мелочи: как они войдут в деревню, как встретятся с односельчанами, что станут говорить люди. И еще беспокоилась она о том,

что никак не возьмет в толк, откуда, с какой именно стороны они подойдут к Ореховичам. Хотелось ей, чтобы дорога их прошла мимо заброшенного хутора, тогда бы постояла она возле, вспоминая первые и самые счастливые денечки своей любви с Василием, и жалко было Насте, что нельзя этого рассказать дочкам. Не потому нельзя, что малые еще, не поймут, а потому что такое вообще не рассказывается...

Глава IX

А на месте Ореховичей было пепелище...

Настя, держа на руках младшенькую, стояла на краю бывшей деревни, боясь пойти дальше, туда, где прежде был их дом. Жутко было смотреть на это страшное разорение. Валялись большие головешки, свежие еще, не обмытые до гладкости дождями, а кое-где среди обуглившихся развалин сохранились целехонькие русские печи, и казалось, что в них хранится недавнее, мирное тепло. Это все, что осталось от Ореховичей. Хотелось выть, как бездомной, брошенной и всеми забытой собаке, как воеет одинокий престарелый волк, оставленный стаей в зимнем поле.

Но не было у Насти слез, она только до крови искусила губы. Были отчаяние и жалость к себе и детям за рухнувшие надежды. А о судьбе людей она в первые мгновения даже не подумала.

— Пойдем отсюда,— сказала Маня. И голос ее показался Насте совсем взрослым.

— Сейчас, погоди минутку...

— Ма-амочка, мне страшно,— захныкала Дуня.

— Помолчи! — прикрикнула на нее Маня.

— Не кричи на нее, доченька,— сказала Настя.

— А пусть не хныкает, всем страшно.

— А куда же мы пойдем-то, девоньки вы мои!.. Я так надеялась, так спешила, вас вовсе измучила...—

Слезы готовы были пролиться из Настинных глаз, а она сдерживала себя, понимая, что все сейчас зависит только от ее силы и выдержки. Нельзя ей раскисать и давать волю слезам. Надо думать, надо делать что-то, надо спасать детей.

Посреди пепелища, словно из-под земли, появилась грязная, тощая собака. Шерсть на ней свалаялась, висела клочьями. Настя отступила и вдруг увидела старика. Он приставил к глазам руку и пристально рассматривал Настю с детьми. Настя с трудом узнала в нем деда Ивана.

— Кто это? — спросил дед Иван.

— Я, Настя Трофимова, Настюха...

Дед Иван нагнулся и погладил собаку.

— Много разных людей по свету бродит, а свет велик, — проговорил он, подозрительно оглядывая Настю.

— Да Федора Тимофеича дочка я, Ванеевых помни-те, дедушка?

— Пришел супостат, что посеяно — не сжато, а гуси-лебеди, лебе-е-душки мои милые улетели далеко-далеко... — Дед Иван поднял вялую, иссохшую руку и помахал ею, как бы прощаясь. — Быть беде большой и смерти страшной, когда гуси-лебеди не гнездуются, а все, все там, царствие небесное людям, которые добрые были и которые злые. — Он ткнул в головешки пальцем и притопнул ногой. — И небо сделалось черное, и солнышко спряталось за тучу, супостат идет, огнем по земле-кормилице полыхает, а гуси-лебеди летят в этом небе... Слышь-ка, курлыкают!.. Прилетели, родимые!.. — На миг лицо деда Ивана озарилось улыбкой, но тотчас и погасла улыбка, и Настя вдруг поняла, что не в себе дед Иван и что не видит он ничего, а если видит — не понимает.

— Дедушка!.. — вскрикнула Настя в страхе. — Дедушка Иван!..

— Курлыкают, курлыкают, любезные мои, — пробор-

мотал он.— Знать, хлебушек пришла пора сеять.— И он побрел по пепелищу, останавливаясь время от времени и разгребая ногой головешки.

— Господи! — вырвалось у Насти. И тут она увидела, как из-под ноги деда Ивана выкатилось что-то круглое, а он нагнулся низко и, пошарив рукой, нащупал это «что-то», поднял и понес, прижимая к груди. Он шел прямо на Настю, и когда приблизился, она поняла, что это человеческий череп...

Вне себя схватила она за руку Дуняшу и побежала прочь от страшного пепелища, и Маня с саночками еле-еле поспевала за нею. Только на берегу Норовки она остановилась перевести дыхание.

— Ты что? — подбегая, спросила Маня.

— Ничего, ничего... Боязно стало...

— Мне тоже, — призналась Маня.

— Собачку жалко, — сказала Дуня. — Дедушка, наверно, скоро умрет, а собачка будет одна. Мамочка, возьмем ее!..

— Куда мы возьмем, дочушка ты моя. Пускай она с дедушкой, им вместе-то лучше.

Снова слезы подступили близко, и снова сдержалась Настя, не заплакала, хотя теперь-то все-все поняла она. Но словно окаменело ее сердце и охладела душа, даже земляцы, перемешанной с пеплом, не прихватила с собой Настя, а только поклонилась месту, где была деревня Ореховичи, и пошли они прочь. И думала Настя, уходя, что и самое большое горе — не все горе, потому что обязательно есть на свете еще большее, а вот живут же люди, раз надо жить. Не проживши положенное, не испытав до конца, что судьбой уготовано, не вырастив детей, тобою рожденных, нельзя умирать. Нельзя даже подумать об этом. А ей-то и тем более.

— Куда мы теперь? — спросила Маня.

— Свет не без добрых людей, — ответила Настя. — Бог даст, дочушка, кто-нибудь пожалеет нас, приютит,

Она сама удивлялась своему спокойствию, но что-то переменилось в ней после того, как побывали они на пепелище и встретили деда Ивана. Поняла Настя, пережив страшные минуты отчаяния, что за жизнь — и за свою, а главное, за жизнь ее детей — нужно бороться. А для этого надо много сил, которых никто не даст ей. Значит, она может надеяться только на себя. Она не имеет права быть слабой. Она обязана не просто выжить и уберечь детей, но сохранить в себе веру в доброту людей и научить доброте дочек.

В сущности, им было безразлично, куда, в какую сторону идти. Лишь бы поближе к людям и подальше от пепелища. С такой же настойчивостью, с таким же упорством, с каким Настя еще вчера спешила в Ореховичи, сегодня она уходила прочь. «Успеть бы до холодов найти приют где-нибудь, — обеспокоенно думала Настя. — А там будет видно, не век же быть войне...»

* * *

Километрах в двадцати от Ореховичей на скрещении двух проселков стоял еще довоенный столбик с указателем: «с. Горелово, 2,5 км». Прочитав название, Настя вспомнила, что это большое село, лежащее на пути в Идрицу. Точно она не знала, но будто бы в Горелове жила какая-то материна родня. Во всяком случае, мать часто в разговоре поминала Горелово.

Вот туда они и направились.

— Может, здесь и приютимся, — сказала Настя детям. Насчет возможной родни она, однако, умолчала.

— А молочка купим? — спрашивала Дуня.

— Купим, — пообещала Настя.

— А папка найдет нас?

— Найдет, найдет.

— А как он узнает, что мы здесь? — не унималась Дуня.

Настя волокла саночки, и вдруг ей показалось, что младшенькая забеспокоилась. Она остановилась посмотреть, склонилась над дочкой, и тут из придорожных кустов, точно призрак лесной, поднялся бородатый мужик.

— Куда прешься, мать твою между глаз?! — заорал он. — Не видишь, что перегорожено?..

Настя только теперь обратила внимание, что дорога перекрыта шлагбаумом.

— Не видела, — виновато сказала Настя.

— Кто такие? — спросил мужик, вылезая из кустов.

— Беженцы мы... — За то время, покуда они добирались в родные места, она узнала это слово.

— От кого ж беженцы-то?..

— Известно от кого — от войны.

— А вот мы посмотрим-поглядим, какие такие вы беженцы...

В санках заплакала младшенькая. Настя кинулась к ней, потянулась руками, чтобы взять ее, а мужик (был это полицай местный) то ли от неожиданности, то ли от испуга вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Пули ударились в санки у самого Настиного лица, она отпрянула, не понимая, что произошло, а полицай заорал остервенело:

— Стой, сучье вымя! Я тебе!.. — Он подбежал и схватил Настю за руку. — Что у тебя в санках, бомба?..

— Дите, — сказала. — Дите малое.

— Какое дите?.. — Он присел и запустил руку в половичок, которым была укутана дочка, и, брезгливо поморщившись, тотчас отдернул руку.

Настя со страхом подумала, что, наверно, младшенькая мокрая, раз полицай поморщился — мужик же, что с него возьмешь, — и что он будет ругаться, но, увидав на его пальцах кровь, все поняла...

— Мамочка! — закричала Дуняша, обнимая ее ноги. — Мамочка!..

— Ничего, ничего, молчи, дочушка...— пробормотала Настя и погладила ее по голове.

— Ходют-бродют где непопадя,— проговорил полицей, нагибаясь и вытирая о траву руки.

Вдруг Маня сорвалась с места, вспрыгнула полицаю на спину и вцепилась ему в шею. Он резко выпрямился и сбросил Маню со спины. Она упала и забилась в истерике.

— Убери свою сумасшедшую девку, а нето...— Полицей наставил на Маню автомат.

— Не смей, сволочь! — Настя протянула руку, схватилась за теплый ствол автомата и отвела его в сторону. Она смотрела полицаю в глаза, и он не выдержал её взгляда, отступил. Однако автомат не опускал. Настя, не обращая на него внимания, присела рядом с Маней.

— Успокойся, Манюша. Ну, успокойся... Ты же у меня большая, умная, ты моя помощница... А ему отольются наши слезы. Вставай, детка, пойдём отсюда...

И тут Настя услышала немецкую речь.

— Was ist los, wer hat geschossen? ¹

Она поднялась вместе с Маней, прижимая ее к себе. Совсем близко стояли два немецких солдата. Один долговязый, худой и в очках, а второй ростом пониже, белобрысый и совсем-совсем молоденький.

— Случайно получилось, господин немец...— быстро говорил полицей.— Чужие люди, неизвестно откуда взялись здесь, я подумал, что партизанка она.— Он показал на Настю.

— Партизанен?! — воскликнул долговязый немец и огляделся.

— Мы не партизаны,— сказала Настя.— Мы беженцы.

— Все вы беженцы, а посла бомбы бросаете! — По-

¹ — Что случилось, кто стрелял?.

лицай наконец отошел от стража и повесил автомат на грудь.

Подбежали еще немцы. Столпившись, они поговорили между собой, обсуждая что-то, потом долговязый подошел к санкам и отвернул половичок. Настя упрятала голову Мани, прикрыла подолом чтобы она ничего не видела. А Дуня отвернулась сама.

— Was ist da dort, Willi? ¹

— Ein Säugling und... tot... ²,— ответил долговязый. Он был бледен, и у него дрожали руки.

— Getötet? ³

— Ja, es scheint ⁴.

— Она лезла, мать ее в корень, прямо на шлагбаум,— заговорил полицай, размахивая руками.— Покуда я из кустов, из засады, стало быть, вылезал, она стала шарить в санках-то, а мне откуда знать, что у ней там! Может, бомба или что.— Он погрозил Насте кулаком.— Я кричал, чтобы не двигалась, а она... Запретная же зона.

Долговязый, вытерев носовым платком руки, заговорил тихо. Другие немцы внимательно слушали его. Потом он подошел к Насте.

— Ins Dorf ist es unmöglich. Schneller weg. Zurück, zurück! ⁵

Она ничего не понимала. А пожалуй, и не слышала ничего. В ушах все еще звучала короткая автоматная очередь.

— Schnell, schnell! ⁶— сказал долговязый, подталкивая Настю.

¹ — Ну, что там такое, Вилли?

² — Грудной ребенок и... мертвый...

³ — Он убит?

⁴ — Да. Кажется, убит.

⁵ — В деревню нельзя. Быстро уходите отсюда. Назад, назад!

⁶ — Быстро, быстро!

— Приказано быстро уходить отсюда,— выступая вперед, сказал полицейай.— Здесь запретная зона.

— Отойди, гад...

— Ну-ну!.. Сама небось виновата, нечего лезть, куда нельзя.

— Пойдемте, доченьки,— позвала Настя детей.— Пойдемте, пока и нас не убили.

— Ты поосторожнее! — Полицейай снова погрозил Насте кулаком.

Настя склонилась над саночками, поправила окровавленный половичок, чтобы не волочился по земле, подняла веревочку, развернула санки и, подталкивая Маню с Дуней впереди себя, пошла по дороге в обратную сторону. Все это она делала спокойно, подчеркнуто спокойно, как будто ничего страшного не произошло, а просто ее заворотили от деревни. Немцы удивленно переговаривались между собой, полицейай, размахивая руками, что-то пытался объяснить им.

Настя с детьми успели отойти шагов сто, не больше, когда их нагнал долговязый немец. Он молча положил в санки, на мертвую Клаву, саперную лопатку в чехле и пошел назад, к своим, так и не проронив ни слова.

Километрах в двух от шлагбаума, чуть не доходя до развилки с указателем, Настя решила передохнуть и похоронить дочку. Маня и Дуня, заметила она, боялись близко подходить к санкам. «Все боятся мертвых,— подумала Настя отрешенно,— даже взрослые, хотя бояться-то надо бы живых, которые не в земле лежат, а по земле ходят...»

— Побудьте здесь,— велела она им, а сама взяла мертвую младшенькую прямо в половичке, отошла чуть, лишь бы не у самой дороги хоронить, и положила у приметной кривой сосны. Потом вернулась к санкам за лопатой, оставленной долговязым немцем, и под самой сосной вырыла неглубокую могилку. Землица была легкая — песок, и Настя управилась быстро. Хотела хол-

мик сделать, как оно положено над мертвым, но, подумав, разровняла все вокруг, чтобы заметно не было. И присыпала еще сверху хвоей.

Вот теперь бы в самый раз ей броситься на землю, где успокоилась младшенькая, зареветь в голос, выплакать все-все слезы на могилку, однако Настя и тут сдержала себя, не заплакала, не поддалась горю и отчаянию. Перекрестилась молча и пошла к старшим, которые ждали ее у дороги, не решаясь подойти к могилке.

Девочки стояли, взявшись за руки, и столько было в их мокрых глазах страха, такими жалкими они казались, что у Насти защемило сердце и комок подкатился к горлу. Она сглотнула свои слезы и до крови прикусила губу. «Господи,— подумала она,— им-то, детям, за что, за какие грехи такое наказание!..»

— Ну что вы, дочушки?.. — сказала Настя, обнимая обеих.— Клавочку вам жалко? Царствие ей небесное, нашей Клавочке. А вы не плачьте, хорошие вы мои, не надо... Ей лучше от наших слез не будет.

Девочки молчали, и это более всего пугало ее.

— Подумайте, экое счастье, что и вас не убил этот гад. Вот нас трое теперь, да еще папка четвертый, а могло никого не быть... Вернулся бы наш папка и никого не нашел бы...— Она почувствовала, что сейчас заплачет, последние силы покидали ее.— Пойдемте, родненькие вы мои, сиротинушки...— сказала Настя, уже плохо сознавая, что говорит.

Ее шатало, слезы застилали глаза, и шла она наугад, не разбирая дороги. Ветки хлестали ее лицо, а она не чувствовала этого. Тогда Маня взяла Настю за руку и повела за собой. Так они вышли из лесу и здесь, возле самой развилки, увидели двух немцев. Один был давешний, долговязый, а другой незнакомый.

Тут Настя очнулась и прижала к себе девочек.

— Не трогайте, лучше меня!..— вскрикнула она.

— Не надо бояться,— сказал по-русски незнакомый немец.— Мы вас не обидим. Это было... несчастье, да. Документы есть?

— Есть.

— Дайте. И ближе ко мне, я сказал, не надо бояться.

Настя отвернулась, вынула из-под лифчика пакет с документами и остатками денег и, несмело приблизившись к немцу на расстояние вытянутой руки, подала ему паспорт. Он поморщился, взяв в руки советский паспорт. Полистал, покачал головой и спросил:

— В Ленинграде жила?

— Да.

— Как сюда попала?

— Мы шли на родину, в Ореховичи. Там написано.

— Что такое Ореховичи?

— Деревня так наша называется... В паспорте записано, что я там родилась.

Немец еще раз заглянул в паспорт и вдруг нахмурился. Он достал карту, поводит по ней пальцем и обратился к долговязому по-немецки:

— Die SS Burschen haben neulich einige Dörfer im Kreis Novossokolniki — Sebesh verbrannt. Wahrscheinlich, diese Orechowitschi auch. Es war dort völlig von Partisanen ¹.

— Diese ist keine Partisan ².

— Glaubst du? ³

— Gewiß ⁴.

— Wer kennt diese Russen... ⁵ — Убрал карту, немец

¹ — Парни из СС на днях сожгли несколько деревень в районе Новосokolьники — Себезж. Кажется, и эти Ореховичи тоже. Там были сплошные партизаны.

² — Она не партизанка.

³ — Ты уверен?

⁴ — Абсолютно.

⁵ — Кто знает этих русских...

внимательно взглянул на Настю, посмотрел на ее дочек и проговорил.— Деревни Ореховичи нет.

— Я знаю,— спокойно сказала Настя.

— Вот как?! Откуда ты знаешь?..

— Мы уже были там, видели.

— Куда вы идете теперь?

— Хотели в Горелово, сейчас не знаю.

— Почему в Горелово? — быстро спросил немец.

— Я думала, может, знакомых кого найдем или сродственников.

— Нашли?

— Нас же не пустили,— ответила Настя и опустила голову.

Долговязый что-то зашептал, второй кивал и одобрительно поддакивал. Выслушав долговязого, он заговорил:

— В Горелово нельзя, вы пойдете с нами...

— Куда?! — испуганно воскликнула Настя.

— Но вам все равно, верно? У вас нет дома, нет крыши...

— Мы пойдем в Латвию, наймемся там к хозяину на хуторе...

— Хорошо,— сказал немец.— Мы поможем вам.

— Мы сами, тут близко...

— Вам мало одного... несчастья? Это война, это не игра в солдатики,— сказал немец.

Вот теперь они попали в Горелово, под конвоем, и Настя поняла, почему их не пустили сюда: в деревне не было видно ни одного жителя, только солдаты. В комендатуре Настю допросили (немец, который был вместе с долговязым, переводил), а после допроса отвели в соседнюю избу. Там уже было несколько женщин с ребяташками. Здесь они переночевали, а наутро всех посадили в крытую машину и отвезли на станцию, где находился временный лагерь. Отсюда задержанных или

отправляли в Германию, или оставляли работать на хуторах у латышей.

* * *

В лагере Настя с дочками пробыли две недели.

Обычно с утра женщин и ребятишек — кто постарше (мужчин в лагере не было) — распределяли на работу. Кого посылали стирать солдатское белье, кого — прибираться в казармах, кого — на кухню чистить картошку и мыть посуду. Настя брала Маню с собой, а вот Дуняша оставалась в бараке вместе с другими ребятишками, которых брать с собой не разрешали, и это было самое страшное... Два раза в неделю после обеда в барак приходили какие-то люди, осматривали баб, точно живность на базаре, спорили с немцами-охранниками. Это хозяева хуторов выбирали себе работников.

Однажды пришел пожилой толстый латыш, он тяжело дышал и опирался на палку. Его сопровождал офицер, хотя вообще-то офицеры в барак почти не заходили.

Маня как раз выбегала на улицу по нужде, а когда вернулась, тут и попалась на глаза этому латышу. Он поймал ее за руку. Маня дернулась, но латыш держал крепко. Тогда Маня наклонилась и укусила его. Он выпустил ее руку и выругался. Но удрать Маня не успела, ее схватил офицер и замахнулся, чтобы ударить...

Латыш палкой отвел руку офицера.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил латыш на хорошем русском языке.

Маня насупилась и молчала.

— Я спрашиваю, — повторил латыш, — как тебя зовут?..

— Никак, — сказала Маня. — Отпустите меня, все равно я вас не боюсь!

— А я и не хотел бы, чтобы ты меня боялась. Где твоя мама?..

Настя подошла к латышу и сказала:

— Это моя дочка.

— Очень милая девочка, только больно кусается. Вы плохо ее воспитываете, у нее трудный характер.— Латыш улыбнулся и похлопал Маню по спине. Она перевернулась вся и презрительно фыркнула.— Видите? — сказал латыш Насте.— Ступай, девочка. У вас один ребенок?

— Двое,— ответила Настя, подталкивая Маню.— Иди, иди.

— А второй — сын?

— Тоже дочка, помладше.

— Ах так. А как вас зовут, мама невоспитанной девочки?

— Настя... Настасья...

— Русское имя. А по отчеству?

— Федоровна.

Офицер, стоявший поблизости, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ему наскучил этот спектакль, и болела голова от дурного, спертного воздуха.

— А что, Настасья Федоровна, вы не будете против, если я возьму вас к себе на хутор?

— А как же дочки? — воскликнула Настя. Ей и подумать-то было страшно, что ее могут разлучить с детьми. А такое случалось.

— Разумеется, вместе с вашими дочками.

— Тогда мне все равно. — Она вздохнула с облегчением, подумав, что это хорошо. Во всяком случае лучше, чем ехать в неметчину. К тому же старики деревенские рассказывали, что в прежние времена, когда бывало голодно, многие уходили в Латвию на заработки и там их не обижали.

— Собирайтесь,— сказал латыш. Он повернулся к офицеру.— *Ich nehme diese Frau mit, Otto*¹.

¹ — Я беру эту женщину, Отто.

— Wözu brauchst du ihre Kinder? ¹

— Die Bauernkinder sind gute Arbeiter und sehr gehorsam dazu. Sie machen sich Eltern den Wirt geneigt, weißt du... ²

Так Настя с дочками попала на хутор Зальш — Зеленый — к Янису Зариньшу.

Хутор стоял в лесу, в стороне от больших дорог и городов. Люди хорошо и много потрудились когда-то, отвоевав у леса несколько гектаров пахотной земли и сенокосных угодий. Зариньш привез Настю с дочками как раз в страдную пору, и Настя не могла не порадоваться, глядя на аккуратное любовно ухоженное поле. Жатва была в разгаре, так что уже на следующий день началась Настина работа.

Зариньш жил затворнически с больной женой, которая не вставала с кровати, и с двумя взрослыми дочками-близнецами. Их звали Инга и Айна, они были очень похожи друг на друга, и Настя первое время путала, кто из них кто. Хутор был небольшой, не из самых богатых: Зариньши держали двух дойных коров, двух же быков-подростков, трех свиней и борова, двух лошадей — одну рабочую, а вторую для выездов, — десятка два кур и индюка с индюшкой. Эти ходили по усадьбе важно, неторопливо, на людей смотрели вроде как свысока и никого не боялись. Зато их боялись Настя и Дуняша, а вот Маня — ничуть. В родной деревне никто не держал индюков, и Настя поинтересовалась у Зариньша — на мясо или для яиц держит он. Зариньш ответил, что держит просто так, для красоты. Этого Настя не понимала, однако расспрашивать не решалась. Хозяин знает, что делает. На то он и хозяин. Зариньш догадался, что именно смущает ее, и стал объяснять:

— Человек — большой эгоист, Настасья Федоровна,

¹ — Зачем тебе ее дети?

² — О, крестьянские дети — хорошие работники и послушные. Они привязывают родителей к хозяйну, понимаешь...

он все делает с выгодой для себя. А так жить нельзя, надо видеть вокруг красивое, потому что доброту в человеке воспитывает красота... Вот ваша старшая дочка очень сердитая и колючая, вы извините, что я говорю вам об этом. Я думаю, она потому такая, что в ней нет... чувства прекрасного. Она не виновата, не обижайтесь, но пока не поздно, нужно воспитывать в ней это чувство, иначе трудно девочке будет жить на свете. А она у вас умная и работающая.

Настя и сама тревожилась за старшую дочку, не понимая, что с ней происходит и в кого она такая удалась. На людей смотрит недоверчиво, с подозрением, на ласку и хорошие слова злится, почти совсем не смеется, ходит насуспенная, сосредоточенная, а спрашивать ее о чем-нибудь вовсе бесполезное занятие — или промолчит, или ответит, процеживая слова сквозь зубы. Странно и то, что она никогда не плачет и любое наказание принимает спокойно и равнодушно. Был случай, Настя поставила ее в угол утром и забыла. Так Маня простояла в углу до вечера, голодная, одна, и даже в уборную не отлучилась. С тех пор Настя боится ее наказывать. Зато Маня часто и не всегда справедливо, пользуясь правом старшей, наказывала Дуняшу. То поколотит за пустяк, то, по примеру взрослых, и в угол поставит. А однажды Настя увидела, как Маня била щенка, и ей страшно сделалось, потому что глаза у дочки были какие-то ошалелые и блестели лихорадочно от удовольствия. Рядом стояла хозяйская сука и горестно смотрела на эту дикую сцену. А заступиться за своего щенка не смела...

Настя после этого проплакала всю ночь, а утром, когда будила Маню, вдруг открыла для себя, что старшая дочка похожа на Дарью, сестру Василия. Ну прямо вылитая Дарья, только что лицо детское. А Дарья была крутого нрава, не зря все Трофимовы побаивались ее.

А вот Дуняша радовала Настю. Была она веселая, быстро забывала обиды и, несмотря ни на что, очень

любила старшую свою сестру. Она и к Зариньшу привязалась, и с его дочками подружилась.

Километрах в двух от хутора, за сосновым бором, было море. Ночью, в тишине, постоянно был слышен шум прибоя, и Настя долго не могла к этому привыкнуть. Шум мешал ей уснуть. Зато, привыкнув, сжившись с ним, она также не могла спать без этого монотонного шума, и всю зиму ждала, когда залив освободится ото льда. Шум убаюкивал, успокаивал, освобождая голову от всяких тревожных мыслей. Он был как колыбельная песня для взрослых, утомленных от работы и забот людей...

А уж чего-чего, но забот хватало, и Настя радовалась тому, что не приходилось сидеть без дела. В трудное время нет ничего страшнее праздности. За работой же меньше думается о несчастьях, не таким мрачным представляется недавнее прошлое, а хорошо мечтается о будущем, когда кончится эта война, вернется с фронта Василий (отчего-то Настя была уверена, что Василий на фронте) и заживут они мирной жизнью, тем более счастливой, что война всех людей научит ценить и самую крохотную, и самую пустячную радость, какую прежде, не испытав столько страданий, не замечали вовсе. Оттого, может быть, и не считали, что живут хорошо и счастливо, позабыв, что большая радость складывается из многих маленьких, неприметных.

Мечты о будущем были выстраданные, стократно оплаканные, за ними Настя как бы пряталась от сегодняшнего горя, и рядом с этими мечтами не оставалось места опасениям, что Василий-то может вернуться не солдатом-победителем, которого ожидает почет и уважение людей, или не вернуться вообще. Такого она просто не допускала, а если и являлись такие мысли, Настя гнала, гнала их прочь. Да разве мало они пережили, разве мало хлебнули горюшка, чтобы лишиться еще отца и мужа!.. Нет, это было бы слишком жестоко и

несправедливо, бог не допустит этого. Каждому живому человеку, рассуждала Настя, отмеряно судьбой сколько-то горя, как и радости, и не должно быть, чтобы одного было больше, чем другого. Все делится поровну, а иначе сломался бы заведенный жизненный порядок, зло взяло бы верх над добром, и люди перестали бы верить в справедливость, забыли бы о милосердии и жалости, и кто-то черпал бы себе сверх всякой меры счастье (а какое же это счастье, если дается оно без меры?..), а кто-то жил бы, не зная и дня радости. Так не бывает и не будет никогда на земле. Значит, убеждала себя Настя, отгоняя тревогу и сомнения, придет и для нее с дочками счастливое время. Отойдет, забудется постоянный страх, от которого можно отмахнуться, укрыться за работой, но изгнать насовсем нельзя. Страх — не за себя, но за Маню с Дуняшей, за Василия — обычно приходил ночью в кошмарных снах, и Настя тогда просыпалась и заставляла себя думать о чем-нибудь приятном, чтобы хоть на время позабыть о том, что нет больше ее младшенькой, которую не видел Василий, нет отца и других близких людей, нет родной деревни Ореховичи, что идет война и на войне гибнут люди, опустошается, сиротеет земля, как вдовья баба, а ей бы, землице этой, хлебушек родить...

Глава X

Жизнь на хуторе Зальш шла размеренно и спокойно, точно и не было никакой войны, хотя никто и не забывал о ней. Зариньш регулярно слушал радио, в том числе и передачи из Москвы, поэтому Настя в общих чертах знала о положении на фронте. Правда, Зариньш сообщал новости без комментариев и не делал никаких выводов, однако не скрывал удовлетворения, когда узнавал об успешном наступлении наших армий. По всему было видно, что он не симпатизировал немцам,

и это вселяло надежду, что они, Настя с дочками, благополучно доживут на хуторе до конца войны.

По утрам, как и положено быть, кричал петух, кудахтали куры, мычали, требуя поила, коровы и бычки, стучал копытами в стену конюшни застоявшийся выездной жеребец, визжали свиньи. Все привычно и совсем по-мирному. Настя поднималась раньше петуха, еще до света, и до позднего вечера хлопотала по хозяйству или работала в поле вместе с хозяином и его дочерьми. Много помогала и Маня, она вообще потихоньку оттаивала и уже не смотрела на Зариньша и его дочерей как на своих врагов. А Настя и вовсе была рада-радешенька, не знала, как угодить хозяину за его доброту, а главное за то, что он спас их от неметчины. Она даже забывала, что хоть и в сытости и тепле они живут, но все же работают на чужих людей.

Иногда Зариньшей навещали ближние соседи, а случалось, наезжали и немцы. Тогда Настя прислуживала гостям, и это было самое неприятное в ее жизни. Прислуживать соседям она не считала для себя обидным или унижительным, раз и взяли ее в работницы, а вот подавать угощение немцам... Правда, вели они себя вполне прилично, не грубили, чего боялась Настя, не командовали и не хватали, что плохо лежит, а брали только то, что давал хозяин. Иногда — на удивление Насти — расплачивались деньгами, сигаретами и шоколадом. Предлагали и разные вещи, однако Зариньш вообще вещи не брал, только разок взял в обмен на сало шерстяную шаль и хотел подарить ее Насте. А она отказалась, и Зариньш куда-то убрал шаль, больше Настя ее не видела. Она думала, что хозяин осерчает на нее за отказ, а он нет, нахмурился только...

Однажды после наезда гостей, немцев, Маня высказала матери свое неудовольствие.

— Как тебе не противно, — сказала она, — подавать им,

— Господи, доченька, еще как противно-то, наплева-ла бы в ихние рожи, а что делать-то?..

— Не прислуживай, и все.

— Хозяин же велит.

— Ты скажи ему, что не можешь и не хочешь.

— Глупая ты еще,— сказала Настя, вздыхая.— Ему, может, тоже не в радость принимать таких гостей, а вот же принимает. За ними куда сила, а против силы только сила и устоять может.

— Ты всегда так рассуждаешь.

— Уж какие тут рассуждения, доченька. Слава богу, живем-то мы не по времени хорошо, в тепле и сытости, все обуты-одеты; разве могу я вред сделать за это хозяйину?..

И правда: Настины дочки были ухожены, Зариньш и одежду им справил (кое-что отдал из того, что не доносили его дочери, а кое-что и покупал в городе), жили они отдельно, в домике-временке, не зная тревоги, а та тревога, которая преследовала Настю, дочкам была непонятна. Уж Дуняше-то во всяком случае. Вот плохо только, что Маня не ходила в школу, отстанет сильно, думала Настя, потом трудно догонять. Но и это не самое страшное; понимала она. Лишь бы дожить до конца войны, лишь бы уберечь Маню и Дуняшу, раз не смогла уберечь младшенькую. Не было в том Настиной вины, а все же она казнилась, все же чувствовала и себя виноватой. Необязательно же было идти в Горелово, можно было сразу податься в Латвию, и тогда было бы их сейчас не трое, а четверо. Словно подтолкнул кто-то, словно нащептал, чтобы она пошла в Горелово. Значит, такая судьба, а против судьбы люди бессильны. Она-то знает, что станется с человеком хоть завтра, хоть через год, а человек не ведает, что с ним случится сию минуту. А может, иногда думала Настя, пустое все насчет судьбы, ведь люди же начали войну, и никакая судьба тут ни при чем. Но если судьба есть и если она правит

жизнью, тогда лучше бы ее не было, потому что получается, что за сытую и спокойную теперешнюю жизнь Настя должна была заплатить жизнью младшенькой...

Зариньш был внимателен и к Насте, и к ее дочкам. Он никогда не повысил на них голоса, хотя Маня — чего уж там — нередко заслуживала этого, никогда не попрекнул, если что-нибудь не так сделано, а вот дочери Зариньша долгое время смотрели на Настю недобро, сторонились ее и почти не разговаривали с ней. Только по делу. Обидно было это, — ведь ничего худого им Настя не сделала, но не сердчала Настя на отчуждение и недружелюбие молодых хозяек хутора. Да и что они Насте, если разобраться?.. У них свои заботы, свои интересы, а у нее — свои...

А жену Зариньша она не видела несколько месяцев. Знала только про нее, что лежит хозяйка больная и совсем не поднимается с кровати. А почему так и чем она больна, Настя не интересовалась. А хоть бы и интересовалась, не станешь же спрашивать у хозяина или его дочерей.

И вот однажды, когда сам Зариньш уехал в город, Настю позвали к хозяйке.

— Вас мама зовет, — сказала Айна, отворачивая лицо в сторону.

— Господи, — всполошилась Настя, подумав, что Маня в чем-то провинилась.

Она помыла руки, сняла грязный фартук, поправила волосы и пошла в комнату хозяйки, где еще не была ни разу. В комнате было темно — окна всегда закрыты ставнями, потому что хозяйку беспокоил солнечный свет, — и глаза не сразу привыкли к этому полумраку. Но постепенно глаза освоились, и Настя разглядела хозяйку: она лежала на большой деревянной кровати с резными спинками, обложенная подушками. В изголовье стояла тумбочка, а на тумбочке тесно толпились

пузырьки с лекарствами, чашка с холодным чаем, настольная лампа, блюдец с моченой брусникой...

— Вас Настей зовут, верно? — тихо спросила хозяйка по-русски.

— Да.

— Садитесь, Настя. Возьмите стул и садитесь ко мне поближе.

— А что случилось?

— Ничего не случилось, просто мне захотелось познакомиться с вами, поговорить... Меня зовут Людмила Яковлевна, я ведь тоже русская, Настя. Мои родители жили в Латвии, и я родилась здесь. В Латвии всегда было много русских. Вы ведь знаете, что раньше Латвия входила в состав Российской империи?..

— Нет,— призналась Настя.— Перед войной так была советская — это знаю.

Хозяйка улыбнулась, протянула руку и включила настольную лампу. Теперь Настя смогла разглядеть ее как следует, и ей сделалось жутко. Лицо хозяйки было маленькое, сморщенное и желтое-желтое, а рука, лежавшая поверх подушек, казалась детской. На голове, прикрывая редкие волосы, был надет чепец.

— Скажите, Настя, вам очень плохо живется здесь? Только, пожалуйста, честно, я прошу вас об этом. Вас никто не обижает?..

— Ну что вы! — воскликнула Настя.— Нам здесь очень даже хорошо. Подумать страшно, как хорошо, дай вам бог здоровья! И вашему мужу, и вашим дочкам...— Она замолчала, догадавшись, что сказала лишнее. Какое там здоровье, когда краше кладут в гроб.

— Мне приятно это узнать,— сказала хозяйка.— Но отчего же вам страшно, если так хорошо?

— Ну... Другие-то горе мыкают, а мы в тепле и сытости...

— Вы, наверное, верующая? — спросила хозяйка.

— Верю,— призналась Настя.

— Верьте, если верится.— Хозяйка вздохнула.— Знаете, Янис не хотел никого брать, раньше мы управлялись сами, но разве они смогли бы без меня управиться?

— Конечно, хозяйство большое.

— Не очень большое,— возразила хозяйка.— Я сказала Янису: поезжай и привези женщину с детьми. Она нам поможет, а мы поможем ей и ее детям. Я очень рада, что Янис выбрал именно вас. Ведь это лучше, не правда ли, чем если бы угнали в Германию?..

— Какой разговор,— сказала Настя.— Спасибо вам.

— Не стоит благодарности, вы зарабатываете свой кусок хлеба. А люди должны помогать друг другу в беде.

— Это верно.

— А где ваш муж, Настя?

Настя вздрогнула, она не знала, что ответить на это хозяйке. Может быть, безопаснее было бы сказать, что Василий в тюрьме, однако даже теперь она не хотела говорить об этом, потому что была уверена: Василия отпустили и он воюет, как все другие мужчины.

— На фронте? — догадалась хозяйка.

Настя молча кивнула.

— Да вы не бойтесь меня, милая Настя. И Яниса не бойтесь, он всегда симпатизировал России и ненавидит фашистов. Они забрали нашего сына, он погиб... А это правда, что у вас убили одну девочку?

— Да.

— Вот видите. Но вы не отчаивайтесь, вы еще молодая. Муж-то жив?

— Не знаю.

— Теперь никто ничего не знает,— проговорила хозяйка.— У вас все будет хорошо... А я вот не доживу до конца войны...

— Что вы такое говорите, господи!

— Я знаю, Настя. Но это все равно...— Она пошевелила в подушках головой и поморщилась от боли.— Я хотела просить вас...— Она пристально посмотрела на Настю.— Когда умру, не обижайте, пожалуйста, моих девочек! Они хорошие, добрые, но бог не дал им счастья...

— Как же я могу их обидеть? — удивилась Настя, подумав, что они же хозяйки и, значит, сами могут обидеть ее.

— Мало ли... В жизни случается всякое, и порой самое неожиданное. Но я теперь не беспокоюсь. Познакомилась с вами и знаю теперь, что вы их не обидите. Вы ведь тоже мать... И ничего не рассказывайте Янису про наш разговор. А если он спросит... Нет, он не спросит...— Она закрыла глаза, и голова ее свалилась набок. Настя вскочила испуганная, не зная, что делать.— Идите, идите,— прошептала хозяйка.— Я немножко усну, устала очень...

Настя вышла в растерянности, так и не поняв, зачем хозяйка ее призывала и почему нельзя об их разговоре рассказывать Зариньшу. Да и насчет дочерей странная просьба, будто не они и есть хозяйки хутора, а она, Настя... Но ведь не зря же звала, имела же в голове какие-то мысли, раз завела разговор о смерти. Чувствует, значит, что скоро помрет. Сильно больные люди всегда очень чувствительные, потому что у них одно только и осталось — прислушиваться к своей болезни...

Насте понравилась хозяйка, и она жалела ее. И еще жалела, что не может ей ничем помочь. Вот разве посоветовать Зариньшу, чтобы отправил жену в город, в больницу?..

А Зариньш, оказывается, и ездил за доктором. Это был старенький человек, который с трудом поднимал ноги, отчего походка у него была шаркающая. Он долго пробыл в комнате хозяйки, потом тщательно мыл руки,

прежде чем сесть за стол. Хозяин тоже сел с ним, и Настя подавала им еду. Говорили они по-латышски, и она ничего не понимала, хотя к тому времени уже знала десятка два латышских слов. Но самое главное она все же поняла, когда доктор развел руками и с сожалением покачал головой. Это могло означать одно: вылечить хозяйку нельзя...

* * *

Так оно и случилось — хозяйка умерла спустя две недели. Ее похоронили на семейном кладбище, совсем близко от хутора, где было несколько могил. На похороны собрались соседи, из города приехали какие-то родственники. Всего набралось человек пятнадцать. Был и священник, православный.

Настя на кладбище не ходила, да ее никто и не звал. Она накрывала к поминкам столы. К ночи все разъехались, Настя прибрала в доме и легла спать очень поздно, боясь, что не поднимется утром. А не поднялся Зариньш. Вернее, не вышел, как обычно, из дому. Не вышел и на второй день, и на третий, и на пятый — так больше недели. Он запил. Сидел взаперти в комнате, где доживала свои дни его жена, и все пил и пил, выходя лишь по-нужде. Он даже спал сидя, не вылезая из-за стола. Уронит голову на столешницу, забудется на час-другой, а потом опять пьет. Страшные, мрачные это были дни. Инга с Айной затаились, тоже почти не показывались на глаза, а если встречались с Настей, отворачивались и спешили скрыться у себя в комнате. Всю работу пришлось делать Насте, и хорошо еще, что Маня много помогала и что была зима и не было работы в поле.

Однажды Зариньш вышел на крыльцо, огляделся по сторонам, словно не узнавая собственного двора, заметил Настю и окликнул. Был он совсем трезвый, побри-тый и причесанный, в праздничном костюме.

— Пожалуйста! — сказал, открывая Насте дверь.

Она прошла в дом.

— Вот, остались мы без хозяйки, — сказал Зариньш. — А без хозяйки... Как это?.. Дом — сирота! Да. Я не хочу, чтобы вы были в работницах. Моя супруга перед смертью тоже говорила... — Он помолчал, пожевал губами как бы подбирая нужные слова. — Она хотела, чтобы вы, Настя, были здесь хозяйкой.

— Я?..

— Вы.

— Но как же это?.. — Она смотрела на Зариньша с испугом, догадываясь теперь, что имела в виду Людмила Яковлевна, когда просила не обижать ее дочерей. — Нет, нет, я не хочу, у меня муж на войне...

— Вы меня не так поняли, — сказал Зариньш. — Я все знаю. Вы ждете мужа, и вы его дождетесь. Будем все вместе ждать, когда кончится война. Да. Но дом не может ждать свою хозяйку.

— У вас же взрослые дочери.

— Они нездоровы.

— Но это несколько не заметно.

— Все равно, — сказал Зариньш. — Дочь при отце не может быть в доме хозяйкой. Такая... традиция, да. Я прошу вас, Настя! Можно, я буду вас называть просто Настя?..

— Конечно, зачем вы спрашиваете?

— Мы договорились, да?

— Ой, не знаю! Хорошо ли это? Что люди подумают?..

— А все люди — мы с вами.

— А ваши дочери?..

— Их дело — слушать, — сказал Зариньш и, приоткрыв дверь, громко позвал: — Инга! Айна!..

Они тотчас явились, будто только и ждали, когда их позовут.

— Я буду говорить по-русски,— обратился к ним Зариньш.— Ваша мать была русская и любила свой язык больше, чем мой. Она хотела, чтобы после ее смерти хозяйкой в доме, пока не кончится война, была Настасья Федоровна. Да...

Инга с Айной обнялись и заплакали.

— Нечего плакать! — строго сказал Зариньш.— Настасья Федоровна ждет мужа с фронта, у нее дети. Кто ждет, тот дождется.— Он вздохнул.— Так хотела ваша мать, я выполняю ее волю.

Настя стояла растерянная, не смея поднять глаза.

Девушки перестали плакать и улыбнулись ей.

— Хорошо, отец,— сказали они в один голос.— Мы все поняли.

— А может, вы сами?..— пробормотала Настя, поднимая голову.

— Ступайте,— велел Зариньш дочерям.— А вы,— он повернулся к Насте,— перебирайтесь сюда. Зачем зря топить там и тут? — Он отворил дверь в комнату, бывшую комнатой его жены, и раскрыл ставни.— Здесь и будете жить, Настя. Надо только прибраться и проветрить. Ну, это вы сами, без меня. Мне нужно в город, приеду поздно.— И он пошел на конюшню запрягать жеребца.

Сначала Настя хотела положить Маню с Дуняшей на кровать — на такой-то кровати им было бы просторно,— а сама решила спать на диване, который стоял в этой же комнате, но когда стала укладывать дочерей, передумала — на диван постелила Мане. Побоялась спать одна — вдруг хозяину взбредет в голову приставать к ней, а при ребенке-то не посмеет. Зариньш обратил на это внимание и как-то при случае сказал Насте, что она напрасно плохо думает о нем: он ведь не животное, а человек. Ей было стыдно слушать это, и она не поверила ему. Или не захотела поверить. А может, она и боялась-то не столько Зариньша, сколько себя, своей

слабости. Что уж там, жила в тепле и сытости, работу делала хоть и нелегкую, но привычную, крестьянскую, лет ей было всего тридцать, так что надумай Зариньш прийти к ней ночью, вряд ли она оттолкнула бы его. Дуняша отгораживала ее от грешных мыслей, заслоняла собой. Просыпаясь среди ночи, Настя слушала тишину и, случалось частенько, слышала, как бродит Зариньш по своей комнате, вздыхает, закуривает, выходит в кухню попить воды.

Мало-помалу Настя подружилась с дочерью Зариньша. Они действительно оказались добрыми, ласковыми. Просто были всегда словно напуганные чем-то и оттого настороженные. У них была одинаковая болезнь — «падучая», и время от времени с ними бывали припадки. В такие дни Настя жалела их, точно они были ее родные дочери, и Зариньша тоже жалела — горело, горе какое! — забывая о собственных несчастьях, которые рядом с несчастьем других людей мельчали, потому что самое страшное было уже в прошлом. Впереди у них, думала Настя, есть надежды на радость, а у Зариньшей таких надежд нет. Не в том ведь дело, как прожито прожитое — лишь бы честно, по совести, — а в том, как проживется будущее. Главное всегда в будущем, только надо уметь терпеливо ждать и не роптать на судьбу. И вот тут у Насти было то, чего не было у Зариньшей, — будущее...

Все от жалости в конце концов и произошло.

Однажды, когда Инга с Айной хворали обе и лежали у себя в комнате, а Зариньш тихо буйствовал, хватаясь за самую тяжелую и необязательную работу, чтобы успокоиться, Настя подошла к нему. Просто подошла, улучив минутку, когда он сидел и курил.

— Не надо так изводиться, — сказала она. — Мало ли на свете больных людей, а живут, ничего.

— Да, да, это верно, — бормотал Зариньш. — Я не буду... изводиться, я постараюсь.

— Вот и хорошо,— сказала Настя, словно это был ребенок, протянула руку и погладила его редкие волосы.

Она вовсе не думала ничего худого. Она пожалела, и только, как всякая другая баба пожалела бы мужика, раз он в большом горе, а Зариньш схватил ее руку и стал целовать. Настя слышала, как по руке текут слезы, и эти слезы — мужик же плачет, господи! — до того разжалобили, растрогали ее, что она сама первая поцеловала Зариньша в лоб, а когда он притянул ее к себе и посадил на колени, она совсем вроде потеряла разум, точно затмение в голове образовалось, ничего не соображала, что делает. Обвила его шею руками и шептала, повторяя одно и то же:

— Бедный ты мой, хороший...

После Насте было стыдно подумать о случившемся, стыдно было смотреть в глаза своим дочкам и хозяйским. Она избегала встречаться с Зариньшем наедине и, каясь, думала, что вот какая она дрянь, изменила Василию, впала в грех, а он-то, Василий, кровь на фронте за них проливает...

Зариньш понимал ее состояние, тоже старался близко не подходить несколько дней и ничем — спасибо ему за это — не выдал их общей нехорошей тайны. Настя немного успокоилась и стала думать, что грех-то, может, не очень и велик, раз случился нечаянно. Она же не хотела этого, не думала об этом, само как-то получилось. Не могла она оттолкнуть Зариньша — вот в чем все дело. Он спас их от немечины, ее и дочек, от возможной разлуки, если не от смерти даже, а ей-то нечем отплатить за такое великое добро, которому и цены настоящей нет. Единственное, что у нее есть, — это она сама, ее бабьи нежности и ласки, а коли человеку захотелось этого, имела ли она право отказать?.. Неужто Василий не поймет и не простит, когда она расскажет ему всю-всю правду?.. Обязательно простит, не может не простить. Бог тоже, надеялась Настя, простит.

А спать вместе с Дуняшей она не стала. Что-то мешало этому, словно грех мог передаться ребенку. Не стала она и возражать, когда однажды Маня прибежала к ней и попросилась отпустить их — ее и Дуняшу — жить к дочерям Зариньша.

— Зачем же это?

— С ними веселее! — сказала Маня. — Айна много сказок разных знает, а Инга будет меня учить вязать и арифметикой будет со мной заниматься.

Пожалуй, она не разрешила бы этого, но тут пришли Инга с Айной, а с ними и Дуняша.

— Разрешите, Настасья Федоровна!

— Пожалуйста, мамочка! — поддержала их Дуняша.

Настя огляделась по сторонам и встретила глазами с Зариньшем, который стоял возле крыльца и смотрел на них.

— Уж и не знаю прямо... Мешать они будут вам, — сказала она.

— Что вы, нисколько! — уверила ее Инга и взяла Дуняшу на руки. — Мы научимся читать и писать, верно? — Она приласкала Дуняшу, и та доверчиво приласкалась к ней.

— Ну, если так... — Настя пожала плечами и краем глаза заметила, что Зариньш пошел в дом.

А ночью пришел к ней в комнату. Но это уже не было для Насти неожиданностью. Напротив, она ждала его, знала, что придет, хотя еще не подумала, что именно Зариньш подговорил своих дочерей, чтобы они упростили отпустить Маню и Дуняшу жить к ним, наверх.

Зариньш присел на край кровати, и Настя кинулась к нему вся в слезах.

— Что ты, что ты... — успокаивал ее Зариньш и гладил волосы.

— Стыд-то, стыд какой! Не простится мне это никогда...

— Умный простит и не осудит, а на дурака оглядываться не надо, да. Ты не думай, Настя.

— Как не думать-то, если оно само думается? Детей стыдно, себя стыдно. Бог, он все видит, все помнит. Всякий грех после зачтется.

— Тогда плохой твой бог, Настя. Да. Бухгалтер, а не бог.

— Ой, не говори так! — испуганно вскрикнула она.

— Не буду. Но разве правильно, что бог карает людей за то, что им хорошо?

Настя ничего не ответила на эти слова. И не потому, что не знала, как ответить, а потому, что более всего этого и боялась — от греха не бывает хорошего, не должно быть, а если ей хорошо, если она забывает и о детях, и о Василии, и даже о боге, если она забывает обо всем на свете, значит, придется платить вдвое дороже за эти радости. Не поборола в себе слабости, не устояла перед искушением. Теперь одно остается — ждать часа, когда за все спросится.

Зариньша она не корила. Всю вину принимала на себя. Только бы не покарал бог смертью Василия, а перед ним-то, перед Василием, она и на колени упадет, лишь бы понял и простил.

* * *

Иногда Зариньш уезжал в город по делам, и Настя тревожилась за него, боясь признаться, что тревожно-то ей еще больше за себя. Кто знает, чего он там в городе делает, к кому ездит! Может, с женщинами встречается, от которых ей с дочками нельзя ждать ничего хорошего. Ведь они чужие на хуторе, даром что она зовется хозяйкой, поэтому ее очень просто оттеснить, а что делать тогда, куда идти?.. Дочки привыкли к сытой и спокойной жизни, да и Настя чувствовала себя если и не вполне хозяйкой, то хотя бы независимой от

тысячи случайностей, которые — выйди за границы хутора только — ожидают повсюду.

Однако Зариньш всегда возвращался один, привозил всем подарки, и Настя замечала (этого нельзя не заметить), что он радуется возвращению, радуется встрече с нею.

А однажды он вернулся из города особенно возбужденный. Настя, не догадываясь о причине его возбуждения, насторожилась вся, скомкалась, словно приготовилась обороняться.

Раздав подарки, Зариньш отозвал Настю в сторонку и сообщил взволнованным голосом:

— Красная Армия наступает. Немцы эвакуируются, да. Я так думаю, что скоро войне конец.

— Скорей бы уже, господи!

— Теперь быстро.— Зариньш прятал глаза, чтобы не показать, не выдать своей тоски. А была эта тоска сильнее радости: он понимал, что как только кончится война, Настя немедленно уйдет. Он привык к ней и к ее дочкам. Он со страхом думал о том близком уже времени, когда их не станет на хуторе Зальш. И не будет больше слышно детского смеха, который радостью отзывается в сердце, пробуждает к жизни его больных дочерей. Давно они не были такие веселые, бойкие. И может быть, никогда не будут...

Этого дня, когда Настя со своими дочками покинут хутор, боялись и Инга с Айной. Они искренне привязались к Насте, полюбили Маню и Дуняшу. Баловали девочек, ласкали, учили всему, как могли и как умели. В хорошую погоду водили их к морю, купались там, собирали янтарные камушки, мастерили бусы, рассказывали латышские сказки и предания. Дуняша очень свободно болтала по-латышски и все уговаривала мать никогда не уезжать отсюда. Настя отмалчивалась, потому что лгать не хотела, а раньше времени огорчать дочку зачем же...

А по правде говоря, она и сама не знала, как они расстанутся с Зариньшами. И лезли в голову глупые и странные мысли о том, что вот хорошо бы, если бы можно было и после войны жить всем вместе. Мысли эти были настолько странные и, пожалуй, страшные, что Настя, едва подумав об этом, гнала их прочь и молилась втихомолку, выпрашивая у бога прощение за то, что было, и за то, чего не было...

Как-то она проснулась среди ночи от постороннего, незнакомого гула, который хоть и был тише, чем шум прибоя, но оттого, что был непривычен, мешал спать. Она лежала, прислушиваясь, и никак не могла понять, что это за гул и откуда он вдруг появился.

Скрипнула дверь, вошел Зариньш. Все-таки спали они в разных комнатах. На этом настояла Настя.

— Не спишь?

— Беспокойно чего-то,— сказала Настя шепотом, хотя говорить можно было и громко, никто бы их не услышал.— Гудит что-то. Или это в голове у меня?.. Не захворать бы.

— Это фронт,— проговорил Зариньш.

— Фронт?..

— Да, фронт. Красная Армия совсем близко.— Он сел на край кровати и закурил.— Кончается война, Настя.

— Неужто?!

— Так есть. Ну, ты спи, спи.— Он погладил ее волосы.— Каждый имеет свои радости и свое горе, да. Одну радость на двоих не разделишь. Зачем?..

Насте очень хотелось сказать какие-нибудь теплые, ласковые слова, такие слова, которые успокоили бы Зариньша, сделали бы его счастливым, но не знала она таких необыкновенных слов. А обычными словами разве выскажешь все, что нужно! А может, и нет вовсе слов, от которых человек становится счастливым. Счастье — оно в самой жизни. Оно или есть, или его нет...

— Пойду я,— сказал Зариньш, вздыхая.— Ты спи, не бойся.

С этой ночи их отношения переменялись. Зариньш больше не приходил к Насте и не звал ее к себе. Она была благодарна ему за это, потому что все равно не смогла бы ответить нежностью на его нежность, а притворяться она и вовсе никогда не умела.

По-прежнему она поднималась рано утром, до солнца, кормила скотину, доила коров, готовила завтрак, но делала все без охоты, лишь по привычке и необходимости. И прислушивалась: не стал ли сильнее, ближе знакомый гул. Но нет, гул был далеко, и днем его не было слышно вообще.

Немцы обычно наезжали на хутор по два-три, а однажды явились на мотоциклах сразу человек пятнадцать. Деловито и быстро обшарили дом, хозяйственные постройки, залезли на чердак, не поленились спуститься в погреб. Взять, правда, ничего не взяли, а согнали всех посреди двора, выстроили, словно солдат, и вперед вышел унтер-офицер. Настя стояла ни жива ни мертва, прижимая к себе Маню и Дуняшу. Инга с Айной вроде и улыбались, но были испуганы. Только Зариньш, кажется, был спокоен.

Унтер-офицер, прищурившись, разглядывал Настю. То ли заподозрил, что она не латышка, не хозяйка здесь, то ли она просто приглянулась ему. Зариньш вдруг наклонился и взял Дуняшу на руки. Унтер-офицер ухмыльнулся, шагнул было к Зариньшу, но в это время на двор вбежал солдат (мотоциклы были оставлены за воротами) и что-то сказал унтер-офицеру. Тот нахмурился, махнул рукой и заспешил к воротам. За ним побежали остальные. Взревели моторы, немцы уехали.

Зариньш поставил Дуняшу на землю и отер со лба пот.

— Это были эсэсовцы,— сказал он.— Ищут кого-то.

И тут Настя поняла, что они избежали большой беды. Зариныш, взяв на руки Дуняшу, помог этому. Немец явно заинтересовался Настей, не зря же так пристально смотрел на нее. Хотел, наверное, спросить, кто она такая, и спросил бы обязательно по-немецки, потому что латыши почти все знают немецкий язык, а она не смогла бы ответить, и он сразу догадался бы, что они русские. Зариныш — пусть на минутку — отвлек внимание унтер-офицера, показал, что Настя и ее дети не чужие ему.

— Вам надо прятаться, — сказал Зариныш. — Был приказ, чтобы все посторонние с хуторов явились в город, в комендатуру. Совсем звери стали, да...

— Где же спрячешься? — потерянно спросила Настя.

— Ничего, найдем место.

Сколько раз Настя лазала в погреб, а никогда не обращала внимания, что он слишком маленький. Оказывается, там была потайная дверь в стене, разделяющей погреб на две половины. В первой, доступной половине хранились картошка, овощи, а во второй, скрытой, — пиво, колбасы, копченый окорок. Вот здесь-то Зариныш оборудовал лежанку, сколотил стол и скамейку. Днем Настя с дочками не сидели здесь, а прятались, если на дороге появлялись немцы. Шум мотоциклов и автомашин был слышен далеко, и они вполне успевали схорониться. А по ночам спали в погребе постоянно. Насте было страшно, что их найдут здесь, уж тогда-то не миновать беды, но Зариныш все предусмотрел — даже пиво и окорок перенес в первую половину, а потайную дверь замаскировал еще мешками и всякой рухлядью.

И пиво, и окорок немцы быстро забрали. Потом сигналы со двора бычка и коров, обеих коней.

— Как же вы жить будете? — беспокоилась Настя, жалея Зариныша,

— Ерунда, проживем. Пусть берут. Пусть все берут. Только бы вас не нашли, да.

Нашли их не немцы, а свои. Вернее, Настя сама вылезла, когда услышала, что на дворе говорят по-русски.

В кухне у стола сидели старшина и трое красноармейцев.

— Отсиделась, бабонька? — спросил старшина и подмигнул.

А Настя стояла и не знала, что говорить. Язык отнялся, и слезы сами собой катились по щекам. Дети жались к ней, привыкшие за последние дни к постоянному страху, к ожиданию беды.

— Как здесь оказалась? — спросил старшина, и Настя поняла, что Зариньш успел что-то рассказать.

— В лагере мы были, — ответила она.

— Значит, в работницах здесь?

— От лиха они нас спасли, товарищ командир! Если бы не они, не знаю, что и было бы с нами.

— А прятались от кого?

— От немцев, от кого же еще.

— Да немцы знаешь где?!

— Два дня назад приезжали.

— За два дня ого сколько пробежать можно! — сказал, усмехаясь, старшина. — Документы есть?

— Есть, есть, товарищ командир! — Она поняла, какое же это счастье, что у нее не отняли паспорт и метрики детей и что она не выбросила документы от страха, а спрятала. Спрятаны они были в амбаре, зарыты в уголке, обернутые клеенкой. Когда Настя принесла паспорт и метрики, даже Зариньш удивился. Он ничего про это не знал.

— Выходит, до войны в Ленинграде жили? — поднимая глаза, спросил старшина.

— Около, — сказала Настя. — А как война началась, на родину решили податься, в деревню...

— Ну и?..

— Сожгли нашу деревню.— Настя всхлипнула.

— Ты это, ты нечего плакать. Родные были в деревне?

— Были. Отец... И мужнина вся родня...

— Муж на фронте? Жив?

— На фронте,— сказала Настя уверенно.— А жив ли, не знаю.

— Ясно,— сказал старшина.— Значит, двое детей у тебя...

— Было трое,— встрял в разговор Зариньш.— Убили третью дочку у нее... Им что. Звери они, не люди. Да.

— Слыхали? — обратился старшина к солдатам.— Это, может, в тыщу раз страшнее, чем воевать на фронте! Баба, женщина, а сколько вынесла всего...— Он повернулся к Насте.— Ты держись, мы отомстим гадам, за все отомстим! А сейчас поедете с нами. В городе собирают таких, как вы, домой отправляют. Рада?

Об этом-то старшина мог бы и не спрашивать. А все же радость Настина была как бы и не чистой, замутненной. Уж очень жаль было расставаться с Зариньшами. Да ведь и не приготовилась она к отъезду. Вроде и ждала этого часа, а все равно неожиданно получилось.

Настя пошла в свою комнату. Следом за ней пришел и Зариньш.

— Будь счастлива, Настя...

— Что мое счастье! — сказала она потухшим голосом.— Были бы дети счастливые, а я уж как-нибудь...

— Дети, да...— молвил Зариньш, пряча глаза.— На войне всякое бывает, Настя... Я не хочу этого, но если твой муж...

— Не надо,— попросила Настя.

— Ты знай, что мой дом — ваш дом. И вот, возьми.— Он достал из-за пазухи толстую пачку денег — советских — и протянул Насте.

— Зачем?

— Возьми,— повторил Зариньш.

— Вам самим пригодятся,— сказала Настя смущенно.— У вас же ничего почти не осталось.

— Не отказывайся, пожалуйста!

Настя посмотрела в его грустные, какие-то растерянные глаза и взяла деньги, поняв, что, если не возьмет, сильно его обидит.

— Спасибо.

— Ты напиши, когда доберетесь.

— Напишу.

Открылась дверь, в комнату просунул голову старшина:

— Простились? Ехать пора.

На дворе Инга с Айной прощались с Маней и Дуняшей. Увидав Настю, они кинулись к ней, стали целовать. Она тоже приласкала их. Шофер тем временем усадил детей в кабину, солдаты во главе со старшиной залезли в кузов. Зариньш молча стоял на крыльце.

— Я напишу вам, обязательно напишу!— сказала Настя Инге с Айной.

— Мы будем ждать...— Они отошли поближе к отцу.

Настя дотянулась руками до края борта, тут ее подхватили солдаты и втащили в кузов. Машина дернулась. Настя посмотрела на Зариньшей. Девушки махали ей, а Янис улыбнулся, кивнул и ушел в дом.

— А мужик-то вроде ничего,— сказал старшина. Он сидел рядом с Настей.

— Добрый человек.

— Правда, что жена у него была русская?

— Правда.— Настя опять повернула голову, но машина уже свернула на большак, к лесу, так что не было видно и ворот.

— Поди ж ты,— сказал старшина,— сколько на свете разных народов, и у всех есть хорошие люди.

На станции собралось много народу. В основном это были женщины с ребяташками и старики. Прежде всего прибывающих отправляли в санпропускник выпаривать вшей, потом кормили и размещали в теплушках, стоявших на запасном пути. Это было временное пристанище, пока шла проверка, а после проверки людей отправляли к месту жительства. Мало у кого сохранились довоенные документы, поэтому большинство наладились на долгое ожидание. Насте же ждать почти не пришлось. Ее документы не вызвали сомнений, ей сразу выдали справку, что она прошла проверку и «следует в город Ленинград с двумя детьми тринадцати и девяти лет к месту постоянного жительства...» Она-то собиралась сперва заехать на родину, побывать на пепелище и на могилке дочки — там, может, что-нибудь узналось бы о судьбе отца и родителей Василия, хоть и не было надежды, что они живы, но командир, который выдавал Насте справку, не посоветовал задерживаться. От людей же она услышала, что в лесах еще бродят фашисты, и решила ехать в Ленинград. А там, сказала себе Настя, будет видно.

Поезд подходил к станции, где они жили до войны, и она задолго почувствовала волнение. Ни дома ведь там своего, ни родных — чужое все, а волновалась, точно это была ее родина, точно бы их кто-то ждал... Километров за пятьдесят она подошла к приоткрытой двери теплушки и не отходила, надеясь, что разруха, какая была вокруг, пощадила поселок. Но не было поселка. И станции тоже. Поезд шел тут медленно — в обход по временному мосту, — и Настя хорошо все разглядела...

Казалось бы, что ей этот поселок, ведь немного, совсем немного хорошего они видели там, а словно бы ножом полоснуло по сердцу, когда открылось ее глазам страшное опустошение, словно бы отняли у нее часть

жизни. Она подозвала Маню, показала рукой на остатки поселка:

— Здесь мы жили до войны. Ты помнишь?

Маня равнодушно пожала плечами.

— Неужто забыла все? — удивилась Настя.

— Да нет, не забыла, — сказала Маня. — Мы теперь к дяде Андрею?

— Что ж еще нам делать... — Она вздохнула и вдруг подумала, что ведь и Андрея может не быть, — он-то наверняка был на фронте, молодой же и здоровый, — а если его нет, им вовсе уж некуда больше податься. И тут впервые она пожалела, что поспешила уехать от Зариньшей. Нужно было сначала списаться с братом, узнать, что и как, а после срываться с хорошего места...

Маня будто подслушала ее мысли, сказала укоризненно:

— Жили бы себе у Зариньша...

— А папка?

— Нашел бы. — Маня опять пожала плечами и отошла от двери.

В Ленинград поезд прибыл к вечеру. Настя быстро собралась, закинула за плечи мешок с едой (Зариньш много чего наложил в дорогу), в одну руку взяла чемодан (также подарок Зариньша), другой — Дуняшу, и они пошли прочь. Маня тоже шла не пустая, тащила большую корзину и все жаловалась, что ей тяжело.

— Ничего, доченька, теперь уже скоро. — А что скоро, этого Настя и сама не знала.

В конце перрона их остановил милиционер. Попросил предъявить документы и долго изучал Настин паспорт.

— А пропуск? — спросил наконец.

— Какой пропуск? — удивилась Настя.

— Разрешение на въезд в Ленинград у вас имеется?

— Так ведь посадили же в поезд, велели ехать.

— Пропуск, гражданочка, должен быть,— сказал милиционер внушительно, но, как показалось Насте, нестрого. Был он в годах уже, лицо доброе, приветливое.

— Пропуска нет,— растерянно пробормотала она.

— Тогда, извините, придется пройти со мной.— Он взял у Насти чемодан, у Мани корзину и велел идти за ним.

В дежурной комнате милиции было полно народу. Изнуренный бессонницей и постоянным шумом капитан слушал всех сразу, отвечал тоже всем сразу и при этом успевал что-то писать и разговаривать по телефону. Когда милиционер ввел Настю с дочками, он поднял голову и спросил:

— Что еще, Пучков?

— Без пропуска прибыли, товарищ капитан. Остальные документы в порядке, даже прописка довоенная, а пропуска нет.

Капитан посмотрел на Настю, на детей:

— Откуда приехали, гражданка?

— Из Латвии, товарищ начальник.

— А там что делали?

— Жили.— Настя пожала плечами.

— В оккупации были, что ли?

— В оккупации. Сначала в лагере, а после на хуторе.

Народ, столпившийся в дежурке, начал прислушиваться. Всем было интересно, что расскажет женщина, бывшая в оккупации.

— Понятно,— сказал капитан.— Ну, а в Ленинград как попали?

— На поезде.

— Ясно, что не пешком. Документы дорогой проверили?

— Часто,— сказала Настя.

— И не высадили из поезда?

— У нас же справка, товарищ начальник! Там все как есть написано.

Капитан укоризненно взглянул на милиционера Пучкова, протянул руку через барьер и попросил:

— Покажите, что еще за справка.

Настя отдала ему справку, выданную ей на сборном пункте, а Пучков положил на барьер паспорт и метрики. Он был явно сконфужен, но молчал.

— Что ж ты, Пучков! — сказал капитан и покачал головой. — Тут ясно указано, что гражданка прошла соответствующую проверку и следует к месту постоянного жительства. Пожалуйста. — Он вернул Насте документы. — Извините нас и можете быть свободны. — Он даже встал, когда отдавал документы.

— Ничего, — проговорила Настя, пряча документы подальше. — Я сама виноватая, что справку не показала. Не подумала, что она и есть главный документ.

— Это верно, что главный. Берегите ее. Она понадобится вам.

И опять Настя пристроила на спину мешок, подняла чемодан с полу и, подгоняя Маню с Дуняшей впереди себя, вышла на улицу. А на улице остановилась, не зная, куда теперь идти. Надо было, конечно расспросить в милиции, как добираться до брата Андрея, однако сразу Настя не догадалась, а теперь стыдно было возвращаться. Ну да это не большая беда, в конце концов можно спросить у любого человека, объяснят...

— Вы еще здесь? — раздался рядом знакомый голос.

Настя обернулась и увидала милиционера Пучкова.

— Уходим, уходим, — забеспокоилась она. — Пойдемте, ребята.

— Минутку, — сказал Пучков. — Вам куда нужно?

— К брату...

— А где он живет?

— Тут недалеко...

— Да вы не волнуйтесь. Я чего спрашиваю: у меня кончилось дежурство, если вы не против, я провожу вас.

— Мы сами! — Настя отступила, загоразживая собой дочек.

— А мне тяжело тащить эту корзину, — вдруг заявила Маня. — Все руки отвисли.

— Помолчи! — прикрикнула на нее Настя. — Мало ли, что тяжело, а раз надо.

— Напрасно вы так, Анастасия Федоровна, — сказал Пучков, и Настя вздрогнула от неожиданности, не подумав как-то, что имя и отчество ее записаны в паспорте и ничего нет удивительного, что милиционер запомнил. — Давайте ваш чемодан. И мешок тоже давайте.

— Не надо, мы как-нибудь сами...

— Давайте, давайте! — настойчиво повторил Пучков.

Настя не стала больше спорить. Ей уже не было страшно. Она поняла, что забирать их снова никто не собирается и что Пучков в самом деле хочет помочь. Видно, добрый человек.

— Мешок-то я сама понесу, — сказала она. — Куда ж вам — в форме и с мешком.

— Не велика беда! — весело сказал Пучков и подмигнул Мане: — Верно я говорю, Мария Васильевна?

Так они и вышли из вокзала на площадь: впереди милиционер Пучков с мешком за спиной, с чемоданом и корзиной в руках, а за ним Настя с Дуняшей, которую она боялась выпустить, Маня шла позади всех, глядя по сторонам.

На трамвайной остановке Пучков остановился:

— Куда ехать, Анастасия Федоровна?

— На проспект Газа, — ответила Настя.

— Ничего себе недалеко! А дом?

— Дом?.. Ну, такой дом... Не помню номера, — Она смутилась. — Это близко от ворот, как их?..

— У Нарвских ворот, что ли?

— Во, во, у Нарвских! — воскликнула Настя радостно.— Там-то я найду. Как под арку войдешь, тут и дверь, прямо под аркой. Они на первом этаже живут. Магазин еще рядом.

— Магазин — не ориентир,— сказал Пучков.— Может, теперь и нет там магазина...— Больше он не стал ничего говорить, а сам подумал, что, может, нет не только магазина, но и дома, где жил брат Анастасии Федоровны. А если есть дом и даже магазин если есть, может и не быть ни брата, ни его жены.

Однако дом стоял на прежнем месте (магазин, правда, был закрыт), более того — и сам Андрей, и Людмила были дома.

Дверь открыл Андрей. Он пристально взгляделся в Настино лицо и взмахнул руками:

— Сестра! Откуда, какими судьбами?!

— Кто там? — из-за его спины выглянула Людмила.

— Сестра Настя,— сказал Андрей.— Вот неожиданность...

Пучков сбросил мешок, составил вещи у порога и, козырнув, повернулся уходить.

Настя кинулась к нему:

— Куда же вы? Зашли бы, погостевали.

— Нет, нет. Домой нужно. Устал за сутки.

— Хоть на минутку!

Пучков, похоже, заколебался, задумался. Но тут вмешалась Людмила, выступая вперед из-за спины Андрея.

— Зачем настаивать, если человеку некогда? — сказала она.— До свиданья.— Она чуть наклонила голову.

— Спасибо вам...— пробормотала Настя, опуская глаза.

— Не за что. Всего хорошего.

— Заходите когда...

— Видно будет. Может, и найду.

Стол был накрыт. Бутылка самогону, которую Зариньш сунул Насте в корзину на всякий случай, аккуратно нарезанный окорок, домашняя колбаса — это все тоже от Зариньша. У стола сидели Настя, Андрей и Людмила. Дети спали, утомились в дороге.

Настя уже знала, что буквально на другой день после того, как она с дочками уехала, к Андрею приходил Василий. Его все-таки освободили и призвали в армию. Он даже два письма прислал, но Андрей, к сожалению, не сохранил их. Настя не стала корить брата за это, хотя один только бог знает, как бы ей хотелось прочесть письма, написанные рукой Василия! Что он интересовался ими, спрашивал, нет ли весточки, просил тотчас сообщить, если что будет, — это понятно. А все же совсем другое дело — подержать письма, прочесть самой, увидеть и понять то, чего не увидел и, конечно, не сумел понять Андрей.

Знала Настя также, что брат не был на фронте. Служил в пожарной части, а пожарников на фронт не брали, потому что и здесь, в Ленинграде, для них был самый настоящий фронт. А в общем, думала Настя, Андрею и Людмиле повезло: как-никак всю войну были вместе. Голод, бомбежки, обстрелы — страшно, не приведи бог как страшно, а все же вместе, вдвоем, и это большое счастье. Может быть, самое большое. Нет ничего хуже, чем не знать ничего друг о друге...

Андрей налил в стопки самогону:

— Выпьем, сестра, за все хорошее. За тебя и за твоих детей.

— За всех надо, — сказала Настя. — Только сперва за отца и за... Клавочку. — Сейчас бы ей самое время поплакать, — родного же брата отыскала, он поймет ее горе, посочувствует, — но почему-то не плакалось Насте. То ли выплакала уже все слезы, какие положено в жиз-

ни выплакать, то ли притупилось прошедшее горе и потери не казались столь страшными рядом с радостью, что вот живы же они, она, Маня, Дуняша, брат Андрей и Людмила, вернется, бог даст, с войны Василий...

— Помянем, — согласился Андрей.

Выпили.

— Хоросша закуска! — похвалил брат. — Видать, не очень плохо вам жилось у этих латышей?

— Грех жаловаться, — сказала Настя. — Хорошие попались люди, душевные. Звали оставаться у них.

— Надо было и остаться, — словно бы с укором проговорила Людмила. — В Ленинграде тяжелая жизнь, колбаски и окороков не поешь.

— Как же я могла? — удивилась Настя словам Людмилы. — Василий придет — где искать будет?..

— Написала бы нам, а мы ему сказали бы, где ты.

— Господи, да ведь я и адреса вашего толком не знала. И не надеялась, что отыщем вас. Что там! Кабы знать-то...

— Что теперь, — сказал Андрей, разливая еще самогон. — Как есть, так и будет.

— У тебя хоть адрес этих латышей есть? — спросила Людмила.

— Есть, а то как же.

— Андрюша, хорошо бы съездить тебе туда за продуктами.

— Как это?.. — удивленно воскликнула Настя.

— Очень даже просто, сестренка, — сказал Андрей. — Вот возьму и махну!.. Сколько ты на них работала, пусть потрясут мошну. Ты-то у нас добренькая, наверно, и платы не потребовала за работу.

— Что ты, брат! Нет у них ничего, все немцы отняли напоследок.

— А это? — Он кивнул, показывая на стол.

— От себя оторвали.

— Они оторвут! — Андрей усмехнулся. — Знаем мы этих латышей. Всю жизнь наши мужики к ним на заработки уходили. Ты не помнишь, конечно.

— Заплатил он, — потухшим голосом молвила Настя. — За все уплатил, ничего не пожалел.

— Сколько же? — спросила Людмила.

— Не знаю, не считала. Много.

— Покажи, — потребовал Андрей.

Настя встала, вышла на кухню и вынула из потайного места деньги, которые дал ей Зариньш. Они были завернуты в тряпицу и пришиты к внутренней стороне полотняной рубашки, как раз под грудями, чтобы не выпячивались. Вернулась в комнату и положила сверток на стол.

Андрей схватил деньги, размотал и стал считать. Настя смотрела на него, и было ей отчего-то неприятно, словно брат делал что-то очень нехорошее. Людмила же брала деньги, которые откладывал Андрей, и пересчитывала по второму разу.

— Так, — кончая считать, проговорил Андрей, откидываясь на спинку стула.

— Шесть тысяч, — сказала Людмила, аккуратно складывая деньги стопкой.

— Похоже, вы порядочно им наработали, раз такие деньги уплатил. — Андрей взял сотенную купюру и за чем-то посмотрел сквозь нее на свет.

— Ничего особенного, — поджимая губы, высказалась Людмила. — Подумаешь, шесть тысяч! Да что на них купишь?..

— Все же кое-что.

— А! — Она взмахнула рукой над столом. — Я спрячу, Настенька?

— Спрячь, — ответила Настя.

Пожалуй, вот здесь она во второй раз пожалела, что не остались они на хуторе. Нет, она еще не подумала плохо о брате и его жене, все так естественно, все так

жизненно — они приехали сюда жить, их приняли, а значит, и деньги должны быть общие, иначе и нельзя, — но какое-то смутное, необъяснимое беспокойство овладело Настей. Не понравились ей разговоры про Зариньшей, как будто можно не брать в расчет того, что именно Зариньши спасли ее и дочек от возможной гибели, не понравилось, как внимательно, торопливо и проверяя друг дружку, считали деньги Андрей и Людмила. Господи, неужто все счастье в этих проклятых деньгах?.. А без них никак, понимала Настя, и потому не хотела думать худого. Вообще хотелось думать только о хорошем...

— Что же ты, Андрюша? — возвращаясь к столу, сказала Людмила ласковым, нежным голосом. — Наливай! Настенька, наверное, проголодалась, а ты сидишь как пень. А ты что пригорюнилась? — обратилась она к Насте и, обойдя стол, обняла ее за плечи. — Не горюй! Вернется Василий, устройтесь...

— Спросить я хотела... Нам покуда можно пожить у вас?

— Да что спрашивать! — воскликнула Людмила и поцеловала Настю в самую маковку. — Где же вам и жить, если не у нас? Тесновато, конечно, но в тесноте, как говорится, не в обиде. Соседи наши эвакуировались, так что мы занимаем две комнаты. Вот и будете жить во второй.

— А как вернуться?

— Там видно будет. Может, они и не вернуться.

— И в одной, если что, проживем! — бодро сказал Андрей.

— Спасибо, — молвила Настя, чувствуя, как сердце наполняется нежностью к брату и к Людмиле. — Вы не думайте, я на работу пойду.

— Спешить некуда, — возразила Людмила. — Присмотришься сначала.

— Это мы обдумаем, — поддакнул Андрей. — Давайте

выпьем, правда, что соловья баснями не кормят. И прописаться еще надо.

— Я прописанная,— сказала Настя.

— Где?

— На прежнем месте, печать в паспорте стоит.

— Интересно! Только... Там же ничего не осталось.

Карточки где будете получать?

— Какие еще карточки? — спросила Настя.

— Ну даешь, сестренка! Ты что же, не знаешь, что карточная система у нас?

— Нет.

— В этом-то и штука. Все теперь по карточкам. И хлеб, и все остальное. А карточки положено получать по месту жительства. Ладно, об этом успеется.— Андрей поднял свою стопку.— За победу! — сказал он.

Многого Настя не знала. И главное — с чего начинать новую жизнь. Сидеть дома и присматриваться, как советовала Людмила, она не собиралась, поэтому на другой же день отправилась на поиски работы. Нашла рядом с домом: в ясли требовалась нянька. Такая работа ее устраивала, она зашла к заведующей.

— Взять-то я вас возьму, хоть сегодня приступайте,— сказала заведующая,— но как с пропиской? Правда, вы прописаны... Это область или город?

— Вроде говорили, что считается город.

— Тогда хорошо.

— Только там все порушено,— сказала Настя.— Карточки где мне получать?

— О, голубушка! А сейчас вы где проживаете?

— Рядышком здесь, у брата.

— Вот что. Вы приступайте к работе, пока ночью будете все время дежурить, у нас ясли круглосуточные, и прописывайтесь. Брат пропишет?

— Ясное дело.

— Значит, договорились. Сегодня можете выйти в ночь?

— Могу.

— Зарплата, сами знаете, у нас маленькая, зато питание бесплатное в дни дежурства. Устраивает?

Настю все устраивало. Ей бы укрепиться в жизни, к делу какому-нибудь пристать, а там видно будет. Может, когда вернется Василий, они еще на родину уедут. Не беда, что сожгли деревню. Земля-то осталась, а дом всегда можно новый поставить, были бы желание и руки. А руки у Василия золотые. Родина — она и есть родина. И родители там похоронены, а человек должен жить возле могил своих родителей. Так заведено, и это очень хорошо и правильно, потому что человек, оторванный от корней, уже как бы и не настоящий человек, повсюду чужой, пришлый...

Еще Настя отыскала военкомат и оставила там заявление со своим нынешним адресом. Она не догадалась бы это сделать — зачем, когда Василий знает, где живет брат Андрей? — но Андрей же и посоветовал. Мало ли, объяснил он. Может, Василий в госпитале раненый лежит. К тому же Насте на детей вроде бы деньги какие-то положены, раз муж на фронте. В военкомате списали что надо с Настинного паспорта и с метрик дочек и велели ждать. Вызовут, сказали.

Домой Настя вернулась радостная.

— На работу взяли! — сообщила она Людмиле, а Андрей был на службе. — В яслях буду работать нянечкой. Теперь прописаться бы поскорее.

— А карточка какая в яслях, спросила?

— Да нет... — растерялась Настя. Что карточки бывают разные, для нее также было новостью.

— Наивная ты, — сказала Людмила.

* * *

Все оказалось не так просто, как думалось Насте. Работать-то она работала, а с пропиской дело затягивалось. Идти в милицию нужно было с Андреем вместе,

раз он ответственный квартиросъемщик (так он сказал), а ему все некогда и некогда. То на дежурстве в пожарной части, то по каким-то другим делам бегают, а торопить его Настя не смела.

Спустя недели две ее вызвали в военкомат.

— Неувязочка получается,— подозрительно глядя на нее, сказал старший лейтенант, который, должно быть, разбирался с ее делом.— Свидетельство о браке у вас имеется?

— Свидетельство?..

— Именно. В метриках, конечно, указано, кто является отцом ваших детей, тем не менее положено предъявить свидетельство о браке.

— А зачем? — спросила Настя. Спросила, потому что теперь только, стоя перед старшим лейтенантом, со всею очевидностью поняла, что по закону она вроде и не жена Василию: они же не расписывались никогда. Ну да, из Ореховичей-то уехали без паспортов, со справками из сельсовета, а паспорта получали на севере, когда с Василием случилась беда, когда он попал под обвал и они уезжали оттуда. Там получили паспорта, там же и записали в ее паспорт, что она — Трофимова, никто не спросил свидетельство о браке, а им и в голову не пришло после уже идти в загс. Когда перед войной меняла паспорт, тоже никто ничего не спрашивал. Трофимова и Трофимова, а выходит, что она и не Трофимова вовсе, а Ванеева. Что же теперь будет, господи?.. Засудят еще, чего доброго...

— Потеряли свидетельство? — потревожил ее старший лейтенант.

— Нет... То есть да, потеряла...

— Надо восстановить, гражданка Трофимова. И не прописаны вы к тому же в нашем районе.

— Я пропишусь.

— Когда пропишетесь, получите копию свидетельст-

ва о браке, тогда снова приходите. И не волнуйтесь: за прошлое тоже пенсию получите.

— Я не волнуюсь,— пробормотала Настя.— Только... Поженились-то мы на севере.

— Напишите туда, вышлют копию.

— Ладно, я напишу. А насчет мужа ничего не знаете? — Она с надеждой и вместе с тем с отчаянием смотрела на старшего лейтенанта, который сейчас был для нее больше, чем сам господь бог.

— Не пишет?

— Нас же не было. А брату моему два письма прислал.

— Номер полевой почты знаете?

— Откуда же! — Настя пожала плечами.— Потерялись письма.

— Это хуже. И каким военкоматом он призывался, вы тоже не знаете?.. Будем наводить справки. Потерпите. А может, сам напишет или приедет даже.

— Дай-то бог,— сказала Настя.— Вы дадите знать, если?..

Тут зазвонил телефон, старший лейтенант снял трубку и коротко ответил:

— Слушаюсь! — Он встал.— Меня вызывают. А вам дадим, дадим знать, не беспокойтесь.

— А самой нельзя зайти справиться?

— Зачем же напрасно вам ходить? Как только появятся сведения, мы немедленно поставим в известность вас.

Расстроенная вышла Настя из военкомата. Само собой жалко, что пенсию дочкам не дадут, а главное, конечно, Василий. Уж если в военкомате ничего не сказали про него, значит, случилось что-нибудь. Не может быть такого, чтобы они не знали. Скрывают, наверное. Однако не хотелось, ой как не хотелось терять надежду, и Настя спешила домой, уверенная, что брат Андрей все растолкует, объяснит, успокоит. А как же иначе?..

На то он и брат — старший брат! — чтобы поддержать в тяжкую минуту. В нем Настя искала опору. По крайней мере, покуда не вернулся Василий.

Ни Андрея, ни Людмилы дома не было. Людмила-то, верно, работала в вечернюю смену, а он, должно быть, задержался в своей пожарной части. Служба, она и есть служба, когда хочешь — не уйдешь. «Ладно, — решила Настя, — уже завтра поговорю с ним».

Она редко по ночам бывала дома: нянечек не хватало, приходилось работать почти каждую ночь. Зато и уважение от заведующей имела, и почаще кой-какую еду приносила, сама не ела, что давали в яслях. Эта ночь выдалась свободная, и Настя рано легла, вместе с дочками. Жили они в соседской комнате, поэтому и не слыхала, когда вернулись Андрей и Людмила. Однако, привыкшая спать больше днем, а не ночью, Настя просыпалась часто. Проснувшись, она захотела пить и пошла на кухню. Пробиралась на цыпочках, чтобы не потревожить никого, а когда вышла в коридор, откуда был вход в комнату брата, увидела из-под двери свет. Еще хотела постучаться и спросить, чего это Андрей с Людмилой не спят до сих пор, два часа уже, но тут услышала их голоса и как-то невольно затаилась и стала прислушиваться...

— Продукты кончились, а деньги что! — говорила Людмила, и Настя ясно представила, как она презрительно складывает губы. — Да и денег осталось с гулькин нос.

— Куда ж они делись? — спросил брат.

— Ты же знаешь, что я купила боты себе, потом этот сервиз...

— Забыл, — сказал Андрей. — Что же делать? Не выставишь на улицу: сестра все-таки и племянницы.

Настя поняла, что разговор идет о них, и у нее заколотилось сердце. Да так сильно заколотилось, что каждый его удар во всем теле отдавался.

— А нечего было приезжать,— говорила Людмила.— Сидели бы на этом хуторе. Или ехали бы в свою деревню. Что им тут?.. Жилплощадь никто не даст, будут у нас на шее сидеть...

Страшно сделалось Насте, неудобно, и она попятилась назад, за поворот коридора, чтобы не слышать, что именно он скажет, поняла по его тону (да ведь и не посмеет он Людмиле перечить), а все же лучше не слушать, потому что тогда остается надежда... С Людмилы-то что возьмешь? Чужой человек и есть чужой. А он — брат, кровь родная.

Больше она не уснула.

Трудные мысли одолевали ее. Жаль было дочек, себя, но — странное дело — сильнее всего она жалела Андрея. Вот уж поистине: дай бог дать и не дай бог взять. Как же он жить-то собирается и как жил до сих пор?.. Разве можно, чтобы никого не любить, ни о ком не заботиться, ни за кого не болеть душой? (Заботы о себе и о жене своей, к тому же бездетной, не в счет.) Собака и та о хозяине беспокоится, переживает за него, хоть бы и попадало ей иногда зазря, а тут — люди... «Пойти и сказать: уходить тебе надо, брат, нельзя тебе здесь оставаться»,— думала Настя и сама понимала, что впустую было бы это. Нет, не Людмила виноватая, что Андрей стал такой. Оба они такие, вот в чем дело. Оба. Потому и живут, радуются даже, счастливыми, наверное, себя считают, и не понять им, что счастье-то настоящее и не заглядывало к ним. А если и заглянуло когда, они же и спровадили его прочь. Счастье, оно тоже заботы и внимания требует. Оттого ведь и не бывают счастливыми люди, которые только болячки свои видят, которым маленькое их горе заслоняет весь большой-большой мир...

Наутро, покормив и отправив дочек на двор, Настя стала собирать вещи. Она еще не решила, куда пойдет или поедет, но твердо решила, что из дома брата они

уйдут сегодня же. На шее сидеть не станут. Что она, хвораая, безрукая?.. Хотя бы в то же Горелово уедут, Село большое, поступит в колхоз. И родина тут, и могилка младшенькой. А может, и в Ореховичах жизнь восстановится. Земли там замечательные и луга заливные, неужто бросят такое богатство! Быть того не может и не должно.

Она не заметила, как в комнату вошла Людмила.

— Ты что это, Настенька? — спросила вроде как с удивлением.

— Собираюсь.

— Куда?

— Поедем мы, — просто сказала Настя, не чувствуя никакой обиды.

— Ты что придумала?! — воскликнула Людмила, и если бы Настя не слышала ночного разговора, она могла бы поверить, что испуг ее натуральный, без обмана.

— Нечего нам в городе сидеть. В деревню поедем. Василий если напишет или объявится, скажете ему.

— Почему же так, сразу?.. Выехать, наверно, трудно, надо узнать, выяснить. Придет Андрей, он все разумеет. И вообще... Может, мы не угодили чем, так ты скажи, Настенька, свои же люди!

— Всем угодили.

— Тогда я ничего не понимаю! — Людмила даже руками развела, точно и взаправду ничего не понимала. — Как хочешь, а я тебя не пушу. Не пушу, и все! Мне Андрей голову снимет.

— Не снимет, — сказала Настя и усмехнулась. — Вам друг дружкины головы нужны...

Позвонили в дверь. Настя кинулась было, чтобы пойти и открыть, но Людмила опередила ее. А вернулась она в сопровождении милиционера Пучкова, только был Пучков без формы, и потому Настя не сразу признала его.

— К тебе, Настенька, — сказала Людмила и ушла.

— Здравствуйте,— смущенно проговорил Пучков.— Был, понимаете, в этом районе, решил навестить...

— Спасибо.— Настя наконец-то узнала его.— Да вы садитесь, что же стоять? — Она показала на стул, Пучков сел.

— Устроились, все в порядке? — Он осмотрелся и увидел собранные вещи. Не совсем, правда, еще собранные, но догадаться можно, что их именно собирают.— Уезжаете?..— тревожно спросил Пучков.

Не призналась бы Настя, ни за что не призналась бы в другой раз, но уж очень ей нужно было с кем-то поделиться своим горем. Не разделить горе,— каждый несет свою ношу,— а только поделиться, найти понимание и, может быть, простое человеческое сочувствие.

Не всю правду рассказала она Пучкову (пожалела брата), однако и этого хватило, чтобы он понял то, что нужно понять.

— Дело обычное... Анастасия Федоровна, верно?

— Ага.

— А меня звать Павел Иванович. Пожалуй, я бы мог вам помочь. Не откажетесь от моей помощи?

— Не знаю, прямо, неловко как-то...

— Давайте договоримся: все неловкости оставим для лучших времен. У вас дети, Анастасия Федоровна, о них надо думать.

— Это верно,— согласилась Настя.

— В таком случае собирайте вещи, зовите детей, и поедем.

— Далеко?

— Вы, кажется, боитесь меня?

— Нет, зачем же мне вас бояться? Просто спрашиваю.

— Не спрашивайте. Потом все объясню.

— Ладно,— решила Настя.

Постучавшись, вошла Людмила.

— Настенька, тебя можно на минутку? — позвала она, а сама смотрела на Пучкова.

Настя вышла в коридор.

— Я вижу, — заговорила Людмила, — что ты давно все обдумала. Что ж, может, так и лучше. Может, ты и права. Андрею-то что передать?

— Передай, что уехали мы. Пусть не сердится.

— У тебя своя голова на плечах. — Людмила вздохнула. — Вот, ваши деньги остались... — Она протянула тошую пачку. — Тыща пятьсот. Дорого все, сама знаешь.

— Куда дороже! — сказала Настя. Она бы и вообще не взяла этих денег, но других у нее не было. Пришлось взять.

— А мы сразу сообщим, если что узнаем о Василии. Куда писать-то?

— Я сама еще не знаю. Устроюсь — напишу.

— Конечно, конечно. Мы будем ждать. А может, останетесь, Настенька?.. Всем вместе легче даже и веселее. И от Андрея попадет мне. Все так неожиданно...

— Нельзя нам оставаться. Павел Иванович билеты принес, — на ходу придумала Настя. — Поезд скоро.

— Почему ты молчала?

— А зачем брата лишний раз расстраивать? Он работает много, ему покой нужен.

— Какая ты!.. — сказала Людмила с искренним удивлением. — Позвони хоть Андрею с вокзала, я дам телефон.

— Позвоню, чего же не позвонить, — согласилась Настя.

Она еще нашла в себе силы попрощаться с Людмилой по-хорошему, сама поцеловалась с нею и дочек заставила, которые вовсе уж ничего не понимали. Да разве она понимала что-нибудь!.. Тоже нет. Все впопыхах сделалось, слишком быстро, так что не было времени разбираться, искать объяснений или оправданий тому, что случилось...

С улицы она все-таки позвонила Андрею, но его не было на месте, и она попросила передать только, что звонила сестра, подумав, что это даже к лучшему, что Андрея нет: врать не надо, придумывать. Пусть думает, что хочет...

Глава XII

Настя не спрашивала, куда они и зачем идут. Она даже не поинтересовалась, как это Павел Иванович надумал зайти к ним. Все делалось помимо ее воли, а она безропотно подчинялась. Он пришел. Позвал. И они поехали. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя, оглядеться, чтобы найти разумный выход из положения, и Павел Иванович дал это время, взяв на себя самые первые заботы. А вот почему он сделал это, что заставило его поехать к Насте — и не вчера, не завтра, а именно сегодня, — он и сам не знал.

— Может быть, все началось на работе?..

Встречая поезд, Павел Иванович заметил в толпе женщину с тремя ребятишками и помог поднести их вещи. Потом, когда он пришел в дежурную комнату и доложил капитану Рыжову, что никаких происшествий не случилось, капитан спросил, посмеиваясь:

— Что, старшина, понравилось?

— Вы о чем, товарищ капитан?

— Все о том же, о женщинах!

Павел Иванович понял, что капитан тоже был на перроне и видел, как он нес вещи.

— А разве нельзя помочь людям?

— Наоборот, нужно, старшина. Молодец! Милицию должны не бояться, а уважать. Кстати, эту... Ну, которую ты задержал с двумя девочками, помнишь?..

— Так точно, помню.

— Ты домой-то ее в целостности-сохранности доставил, а? — Капитан рассмеялся и погрозил пальцем.

Павел Иванович смутился и от растерянности не знал, что ответить. А капитан сказал с серьезным видом:

— Не спеши, старшина. Оглядишься, прицелься как следует. Вдовушек нынче много, а ты у нас один.

Конечно, капитан Рыжов шутил, такой уж у него веселый нрав, а человек-то он хороший, душевный и никому зла не пожелает. И все же его слова насчет вдовушек не понравились Павлу Ивановичу. Нельзя над этим смеяться. Горе, оно и есть горе. Это не предмет для шуточек.

Возвратясь после дежурства домой, в свою слишком большую и слишком тихую комнату, он почему-то вспомнил Настю. В общем-то, в этом не было ничего удивительного, он мог бы вспомнить, если бы захотел, почти каждого, кого ему приходилось задерживать,— память у него редкостная,— однако каждый не вспоминался, а вот Настя и ее девочки вспомнились. Может, потому, что не каждого он провожал (разве что до остановки трамвая, да и то было ли такое раньше?), а может, и по какой-то другой причине... За долгие годы работы в милиции Павел Иванович набрался опыта и умел замечать то, что обычно люди не замечают, мимо чего проходят равнодушно. Женщина эта, например, не заметила, что встретили ее без особенной радости. Какое там без радости! Скорее с испугом ее встретили, как встречают неожиданных, нежеланных гостей, которых и не принять вроде нельзя, а принимать и вовсе не хочется...

Ладно. В конце концов это не его дело. Мало ли, какие у людей, даже самых близких, складываются отношения. Жизнь не из одних радостей и праздников состоит. Будни тоже бывают.

В квартире тишина, никого нет. А Павел Иванович страшно не любит такую вот мертвую тишину. Тоску она нагоняет и пробуждает воспоминания, от которых

хочется бежать куда подальше. И комнату он свою не любит, большую и светлую, и приходит сюда только потому, что больше некуда. Каждая вещь, каждая мелочь постоянно напоминает о жене и дочери, и он давно уже собирается переставить мебель, выбросить ненужные, необязательные вещи, чтобы хоть как-то переменить обстановку, да все никак не соберется. А пожалуй, ему страшно трогать мебель, боится найти что-нибудь такое, что хранит еще тепло и запах жены. Однажды, подметая пол, он нашел под кроватью шпильку и после этой находки несколько дней не мог прийти в себя. Диким ему показалось это — жены нет, а ее шпилька сохранилась. Сколько разных мелочей окружает человека, куда он живет, и человек не замечает их, не считается с ними, потому что это — мелочи, которые не жалко потерять, сломать, испортить, но наступает время, и человек уходит из жизни, а эти самые мелочи продолжают свою жизнь...

Жена Павла Ивановича и дочка погибли на Ладого, когда их эвакуировали. Думали, что они спасаются от голода и опасности, а он остается рисковать жизнью. Вышло же все наоборот.

На работе полегче. Там люди, много людей, там толчея и некогда предаваться воспоминаниям. Там что ни человек — большое горе, и оттого собственное несчастье не кажется столь страшным и непоправимым. А дома одиночество, тишина и безделье.

Он думал о Насте, строил всякие предположения, и это было не так тревожно, как вспоминать собственное прошлое. Чужие проблемы, не требующие от него каких-то действий, поступков, отвлекали, позволяя вместе с тем рассуждать, анализировать и принимать ни к чему не обязывающие решения («Пожалуй, лучше сделать так... Или нет, наоборот будет совсем хорошо...»), и он продолжал думать, пока не додумался до того, что можно ведь воспользоваться приглашением,

можно зайти, словно затем, чтобы поинтересоваться, как люди устроились, и своими глазами посмотреть, ошибся или нет в предположениях. Но удобно ли это?.. Вот если бы она забыла тогда что-нибудь в милиции! А так... «Здравствуйте, я ваша тетя»?.. А тетю никто не ждал. У тети свои дела, а у людей — свои. Что она подумает, когда увидит его! Впрочем, вряд ли она дома. Скорее всего, никого нет дома. Это он пришел с дежурства, потому что у него такая работа, дежурствами, а в основном-то люди днем на работе. Вот именно... Он может ехать как бы по делу, как бы не принимая во внимание, что может никого не застать. Позвонит, ему никто не откроет, он посокрушается и спокойно уйдет. Вроде и навестил, удовлетворил интерес, однако и сам не попал в неловкое положение и других в это положение не поставил.

Павел Иванович снял форму и оделся в гражданское. Он нашел себе дело, по которому должен был выйти из дому, и очень торопился.

Но во дворе пришлось задержаться. Там дворничиха Раиса ругалась с начальником жилконторы. Вернее, ругалась-то она одна, а начальник только успевал оправдываться. Павел Иванович не собирался останавливаться, однако Раиса, увидав его, замахала руками.

— Товарищ старшина, рассудите нас! — Она всегда звала его «товарищ старшина», даже когда он был в гражданском.

— Тебя и Верховный Суд не рассудит, где мне! — сказал Павел Иванович, чтобы не ввязываться в разговор. Но как раз и ввязался.

— А в этом Верховном Суде знают, как одной за троих работать? — подхватила Раиса.

— Там всё знают,— устало проговорил начальник жилконторы.

— Да?.. — Она прищурилась.— Карточка одна, зарплата одна, а работай за троих! По какому закону?

Я не трактор, я женщина. Вот взял бы скребок и почистил этот асфальт, какой дурак его выдумал! Скажите ему, товарищ старшина.

— Понимаю я, все понимаю! — Начальник жилконторы приложил к груди единственную свою руку. — Нет у меня людей, где я их возьму? Родил бы, да не умею.

— Родил бы! — захохотала Раиса. — Рожать-то и без тебя есть кому, делать некому! Вот старшина бы мог, но уклоняется.

— Если бы ты метлой работала так же, как языком.

— Сравнил! Язык-то, он сам болтается, а метлой водить надо. И вообще с меня хватит. Доработаю до конца месяца — и привет с кисточкой. — Раиса закинула на плечо метлу и пошла прочь.

— Трудно тебе с бабами, — посочувствовал Павел Иванович.

— Куда труднее! На фронте было легче, честное слово. Там хоть знал, где твой противник. А тут... — Он махнул рукой.

— А Раиса большая любительница пошуметь.

— Права она! — неожиданно сказал начальник. — Действительно за троих вкалывает. А шумит не от возмущения, нет. Чтобы на себя внимание обратить, напомнить о себе. Не хочет жить в неизвестности. Ей нужно, чтобы каждый знал и помнил, что она есть и работает за троих. Артисткой бы ей быть.

— В дворники никто не идет? — спросил Павел Иванович.

— Как сказать. Не особенно, конечно, идут, а кто соглашается, так только ради жилплощади. Сам понимаешь, это не работники. У тебя нет никого на примете? Златые горы не обещаю, а комната или даже две будет.

— Сразу в голову не придет, — ответил Павел Иванович. — Если услышу, скажу, — пообещал он, не подозревая, что не просто выполнит это свое обещание, а выполнит очень скоро. Цепь случайностей замкнулась,

все дальнейшее было уже как бы predetermined, хотя Павел Иванович и не догадывался об этом.

* * *

Еще по дороге домой он решил, что пусть Анастасия Федоровна с дочками поживут в его комнате, а он уйдет в общежитие. Так ему даже удобнее: ближе к работе, ездить не надо, и все будет среди товарищей. Удивительно, как он раньше не сделал этого! По крайней мере, не приходилось бы после дежурств возвращаться в комнату, один вид которой угнетал его. Скажи он об этом не сразу, а немного спустя, когда Настя успокоилась бы, смирилась бы со случившимся, она, быть может, и согласилась бы принять такой подарок. А теперь не могла. Никакой помощи или жалости она не могла и не хотела принимать. Она сама, все сама! Это недоразумение, что она и сюда-то приехала. Растерялась, наверное. Еще неудобно бросать работу, ничего не сказавши заведующей. Отдежурит последнюю ночь, а с утра уволится, и прямо завтра они уедут на родину...

— А там что? — спросил Павел Иванович. — Говорили, что деревню немцы сожгли, что никого родных не осталось.

— Свет не без добрых людей, — сказала Настя. — Крыша над головой найдется, а больше мне ничего и не нужно.

— Вам не нужно, а детям?.. Им же учиться надо, жить.

— И будут учиться.

— Не знаю, — проговорил Павел Иванович. — Только, по-моему, вам лучше остаться здесь.

— Спасибо вам... Но как же мы можем остаться, если у нас ни карточек, ничегошеньки нету? Прописка-то довоенная, а на том месте, где мы жили, одни головешки.

— У меня пропишетесь!

— Нет.— Настя покачала головой.— Нам столько много люди помогали, что ввек не отблагодарить. Надо свою жизнь устраивать. Поедем мы. Если разрешите, дети переночуют сегодня — мне-то на дежурство,— а завтра и поедем.

Павел Иванович понял, что именно так она и сделает, что ее нельзя уговорить, а ему отчего-то очень не хотелось, чтобы она уезжала, и он вдруг вспомнил, как Раиса кричала на начальника жилконторы и что начальник спрашивал, нет ли кого-нибудь на примете...

— Пойдите, пойдите,— сказал он.— Дворником пошли бы работать? И прописка будет, и жилплощадь.

— Господи, да где ж такое место найдешь?..

— А если бы нашлось?

— И прописка, говорите, и жилплощадь?

— Комната,— сказал Павел Иванович.— А может, и две.

— Даже не знаю.— Настя пожала плечами.— Это же все равно как в сказке. А вы не шутите? — вдруг насторожилась она.

— Такими вещами не шутят, Анастасия Федоровна. Я человек взрослый.

— Простите меня, дуру. Не верится, что так бывает...

— Но работа тяжелая и грязная.

— Работы я никакой не боюсь, мне не привыкать.

— Значит, согласны?

Так устроилась Настина жизнь, и никогда она не пожалела об этом, никогда не забывала людей, которые не отмахнулись от ее забот, хотя у каждого своих выше головы, не прошли мимо, а помогли начать все сызнова. И прежде всего была она бесконечно благодарна Павлу Ивановичу и надеялась, что, бог даст, повезет и ей когда-нибудь отплатить добром за добро. А иногда подума-

ет, что могли не повстречаться с Павлом Ивановичем, могли разминуться,— страшно делается...

Им дали две комнаты по четырнадцать метров. Правда, комнаты находились в полуподвальной квартире, и потому окна были вровень с землей, однако это-то меньше всего беспокоило Настю. А скоро она поняла, что в этом есть и свои преимущества. Убирает она, к примеру, двор, захотела попить или надо что-нибудь сказать дочкам — никуда не нужно бежать, не нужно по лестницам подниматься, стукнула в окошко, и все тут! А соседкой попалась Раиса. Она понравилась Насте своим веселым нравом, общительностью. Одно плохо — пила Раиса. Никуда не годится, если мужик сильно пьет, если вся жизнь для него в вине, а уж пьющая баба — ничего нельзя страшнее придумать. Так думала Настя. Но думать-то думала, а осуждать строго Раису не могла, потому что сама приняла столько горя, что если бы собрать все вместе — свет бы застило, и все же ее горе несравнимо с тем, что досталось Раисе: муж-то у нее погиб на фронте, как у многих других женщин мужа погибли, а остальные — престарелая мать и двое детей — дома у себя погибли, от бомбы...

Давать о себе знать брату Андрею Настя пока не хотела. Решила, что пусть думает, будто бы они выехали из Ленинграда, пусть живет спокойно, не мучается. Может, почти и нет его вины в том, что случилось. От Людмилы все идет, ясное дело. Сумела подчинить брата и заставила на свой манер жить. Ну, бог им судья и совесть, а Настя ни за что вмешиваться не станет. Плохо только, что ясли рядом с их домом, можно было бы не увольняться, на двух работах работать (заведующая уж как уговаривала, как уговаривала!), если бы не риск встретить Андрея или Людмилу. Так-то в городе навряд ли встретишь, куда там! И еще одно дело было у Насти в том районе — военкомат. Раиса посоветовала сходить туда и оставить новый адрес.

Старший лейтенант, с которым Настя беседовала прошлый раз, сразу узнал ее.

— А, это вы,— сказал невесело.

— Здравствуйте,— сказала Настя.— Мы переехали, так я пришла, чтобы адрес оставить...

— А мы как раз готовим документы и хотели вас пригласить. Ваш муж призывался в другом военкомате, мы выяснили это. Вам туда нужно обратиться...

— Не нашелся? — спросила Настя без всякой надежды, потому что понимала: если бы Василий нашелся, старший лейтенант сказал бы, не тянул.

Он поднял голову, пристально посмотрел на Настю и ответил:

— Ваш муж пропал без вести.

— Это как — пропал? Потерялся, значит?..— Она была готова ко всему, даже к самому худшему, только не к этому.

— Варианты могут быть разные. Погиб, а его не добрали... Попал в плен... Мало ли что бывает на фронте! Главное, не отчаивайтесь. Если в плену, найдется.

— Да, да...— потерянно бормотала Настя.— Найдется, конечно, найдется...

— Вы обратитесь в тот военкомат, они в курсе. И напишите заявление на пенсию. К сожалению, в таких случаях пенсия не положена, но бывают исключения...

Все это Настя слышала словно сквозь сон, у нее не было больше сил сдерживать слезы, не было сил стоять — ноги сделались чужие, однако она не заплакала, не упала без чувств. Она поблагодарила старшего лейтенанта, вышла из военкомата, села в трамвай и довезла-таки свое горе домой. Хорошо, что Маня с Дуняшей гуляли, а то и дома нельзя было бы выплакаться: не надо детям знать, что их отец пропал без вести...

Зареванную, опухшую от слез, ее нашла Раиса...

— Да что с тобой?

Настя села на кровати, но все еще плохо соображала, что происходит, что с нею и где она, а голос Раисы был какой-то далекий, точно не живой, не настоящий.

— Очнись же, очнись! — тормошила ее Раиса. Потом догадалась принести воды. Настя, стуча зубами, выпила целую большую кружку. В голове прояснилось немного, она окончательно узнала Раису и свою комнату.

— Ребята не приходили?..— оглядываясь, спросила она.

— Нет. Рассказывай.

— Нечего рассказывать-то...

— Ты где была, в военкомате?

Настя кивнула.

— Значит, погиб...— проговорила Раиса тихо.

— Без вести пропал,— сказала Настя.

— А чего же ты? Радоваться нужно, а она, глядите-ка, ревет! Без вести — это же не совсем. Жив твой Василий.

— Когда бы был жив, написал бы.

— А если в плену?

— Из плена давно все вернулись,— сказала Настя.

— Я-то думала, что ты железная баба, а ты чуть что — и раскисла, и разнюнилась. Это мне можно распускаться, я одна. А тебе нельзя! Дети у тебя, растить их должна. Сейчас же возьми себя в руки! Умойся, причешись, чтобы как картинка была. Скоро старшина придет, а ты на кого похожа?!

— Какой старшина?

— Павел Иванович, из шестьдесят седьмой квартиры. Он без тебя заходил, обещался прийти попозже.

— Не знаешь, зачем я ему?

— Вот спросила! — Раиса засмеялась.

Настя едва успела привести себя в порядок, как пришел Павел Иванович. Он и раньше приходил, помогал Насте устроиться, отдал кое-что из мебели, сколо-

тил стол и сделал дочкам диван из старого пружинного матраца, который отыскал на чердаке, но сегодня он пришел вроде без дела, просто так, посидеть. Однако не забыл принести гостинцев девочкам — два больших куска сахара.

— Балуете вы их, Павел Иванович,— попеняла Настя.

— Ничего. А где они?

— Бегают, где им быть. Целыми днями на улице.

— Скоро в школу пойдут — гулять будет некогда. А я утром забежал, вас дома не было...

— Я убралась и по делам ходила,— сказала Настя. И вдруг сообразила спросить: — Если человек без вести пропал, что это такое?

— В плену мог быть,— ответил Павел Иванович.— А вообще-то многие погибали, хотя и считалось, что без вести пропали... Правда, один сержант у нас служит, он в госпитале лежал, контуженный. Долго без сознания был, а документы где-то потерялись. То ли в медсанбате, то ли еще где, кто их знает. Сообщили домой, что без вести пропал. Разное бывает. А что такое?

— Просто спросилось что-то. С Раисой мы тут беседовали.

— Ладите с ней?

— Ладим. Она человек-то хороший, пьет вот только.

— Да,— сказал Павел Иванович.— Заходили бы ко мне в гости, Анастасия Федоровна.

— Спасибо, зайдем как-нибудь. Вы повлияли бы на Раису, она сильно вас уважает.

— Не умею. Да вам и удобнее, живете вместе, женщины обе, скорее поймете друг друга...

* * *

Настя пробовала уговаривать Раису, чтобы та бросила пить. Только Раиса не очень-то слушала.

— Ну что тебе в винище в этом проклятом? — скажет Настя. И не с укором, чтобы не обидеть, а как бы жалеючи, ласково.— Плюнь ты на него, ей-богу. Ничего же хорошего от вина не получается, одно сплошное расстройство. И денег не напасешься.

— Что деньги! Не они нас делают, а мы их.

— А радость-то какая?

— Радость?.. Радости я не ищю и не жду. Ты радуйся, что дети у тебя, может, мужик еще вернется, а мне одно осталось! Из дому вышла — все живы были, а вернулась — никого и ничего...

— Горе твое большое,— соглашалась Настя. Про то, как полицаи на глазах убил ее младшенькую, она никогда не рассказывала.— Только все равно вином горю не поможешь. Обман это, Раиса! Выпьешь — покажется, что полегчало на душе, что горе отступило, а на самом-то деле смута...

— Умная ты. С твоим умом тебе бы не дворником работать.

— Это все равно, где работать,— возразила Настя.— Всем одинаково зачтется, а лишь бы жить честно.

— Кем зачтется, уж не боженькой ли твоим?

— И им тоже.

— Знаешь, что я тебе скажу?.. Не вино обман, Настька. Твой боженька — обман и опиум для народа!

— Лишнее говоришь.

— В самый раз! Много твой боженька тебе помог, а?

— Про то, сколько господь людям помогает, он сам знает,— отвечала Настя с достоинством.— Нам знать не дано.

— Врешь! Не боженька тебе помог, а люди.

— А он, может, через людей помогает...

— Дура ты, Настька. Ох какая же ты дура! Мало тебя жизнь поколотила, что ли?.. Сохнешь, изводишься,

меня воспитываешь, вместо того чтобы жить по-человечески, пока молодая.

— Ты это про что?

— Про что, про что! Старшина скоро прозрачный станет, а ты куда смотришь? Мужиков теперь днем с огнем ищут, бабы на любого, самого захудалого бросаются, лишь бы приголубил чуть-чуть, лишь бы приласкал, а за тобой такой мужик ходит, что и в мирное время позавидовать можно! Где твои глаза? Все на небо глядишь, все боженьку своего увидеть мечтаешь... Ну если и увидишь, какой тебе в этом прок?! У него же один дух, Настька, тела-то и нет! — Раиса, распляясь, смеялась громко, лезла целоваться, показывая этим свое расположение и нежелание ссориться, но от нее кисло пахло винищем, и Настя уклонялась.

— Глупости говоришь, сама же знаешь, что Василий у меня...

— И что Василий? Не убудет, не бойся, и ему хватит. А может, и нет уже его, Настька?..

— Не смей!

— Ладно, не буду, святая ты душа. Живи как знаешь.— Раиса тяжело вздыхала.— Но на боженьку не очень-то рассчитывай, подведет он тебя...

— Да что тебе бог сдался? —серчала Настя.— Есть он, нет ли его, а худого-то никому не сделал.

— Еще как сделал...

— Тебе, что ли?

— Мне-то нет, потому что я не верю в эти сказки. А другим сделал. Подумай, сколько людей отказываются от настоящей жизни, всё надеются, что потом им будет хорошо! Да не фырчи ты, не дуйся. Нравится верить — верь, мне все равно. У каждого своя вера... А вот насчет старшины...

— Отстань,— сказала Настя.

— Девки же у тебя растут! На двух работах долго не протянешь.— Настя все же устроилась по совмести-

тельству ночным сторожем.— Я-то сама себе и шея, и голова, а тебе девок одеть-обуть надо.

— Проживем как-нибудь. Другим и того хуже, а живут люди.

— Ты-то проживешь со своим смирением, а Мария твоя скоро невестой будет. Туфельки ей захочется модные, платьице, то да се... Смотри: не приберешь старшину к рукам — я приберу!

Нет, ничего не получается у Насти. Начнет говорить с Раисой, чтобы повлиять на нее, а та незаметно как-то повернет разговор совсем в другую сторону, словно не за нее надо беспокоиться, а как раз за Настю... И все складно у нее получается, как будто так и должно быть. После, когда они разойдутся, Настя в уме станет разбираться и найдет нужные слова, а заговорят снова — нет этих слов.

— Странная ты женщина,— однажды высказалась Раиса.— И зло умеешь представить как благо. Смотрю я на тебя и думаю иногда: есть ли на свете такое горе, которое сломало бы тебя?..

— Если от горя каждый раз ломаться, работать будет некогда и сил никаких не хватит,— ответила Настя.— Горе для того и дается людям, чтобы испытать их.

А работа у Насти была тяжелая. Задолго до света в окнах огромного бывшего доходного дома с тремя дворами-колодцами, разделенными арками, Настя была уже на ногах (через две ночи на третью она и вовсе не ложилась — охраняла магазин). В ее обязанности входила уборка всех трех дворов да еще большого куска тротуара перед фасадом. Летом она в общем-то быстро справлялась с уборкой, так что оставалось время и для домашних дел, а вот зимой, особенно когда выпал обильный снег или в гололед, работать приходилось с пяти утра и чуть ли не до самого вечера. Еще и ночи прихватывала, когда дежурила у магазина, благо что магазин в своем же доме. Очистить дворы от сне-

га — работа хотя и тяжелая, но зато видная, а тротуар чистить — мука. Снег мгновенно превращается в твердую, как асфальт, наледь, и наледь эту ничем, кроме лома, не возьмешь. Настя долбит, долбит, старается изо всех сил (каждый удар в голове отдается), а толку чуть — лед крохотными кусочками-осколками отстает от тротуара, и не видно конца работы. А еще надо скребком подчистить, песком посыпать тротуар, чтобы людям было не скользко и не опасно ходить.

Спасибо, Раиса научила, как надо наледь счищать.

— Ты бьешь ломом как попало, а нужно с подковыром. Видишь, трещинка?.. Вот сюда и бей, да лом-то держи не прямо, а с наклоном. — Она взяла лом у Насти, легонько стукнула в трещину и сразу отвалила порядочный кусок. Еще присмотрелась, еще раз клюнула несильно, и опять отвалился хороший кусок. — Сахар-то щипцами колешь не как попало, а?..

— Сказала тоже, про сахар давно и думать забыли.

— А у старшины паек, наверно, наркомовский...

— Господи, что он тебе сдался, этот старшина!

— А то не знаешь, для чего мужик нужен!

— Ну и возьми, раз тебе нужен.

— Взяла бы, не задумалась, да я ему не нужна... —

Раиса вздохнула с сожалением. — Слушай, айда сегодня ночью за солью, ты ведь не дежуришь?..

— Воровать, что ли? — напугалась Настя.

— Уж сразу и воровать! Там ее целые горы, кто поумнее — натаскали. А в выходной махнем с тобой во Мгу, соль-то знаешь почему?

Настя пожала плечами.

— А ну как поймают?..

— А, не поймают! — Раиса махнула рукой. — Продадим — купишь старшей своей что-нибудь на ноги, у нее же пальцы торчат наружу.

— Это верно... Только дело-то это нехорошее...

— Другие берут и не думают, а ты все хочешь лучше всех быть. Не получится все равно, сколько ни старайся. Всегда кто-нибудь лучше тебя найдется. Мешок приготовь и ляжки пришей.

— Не знаю, прямо, Раиса...

— Тут и знать нечего. Люди ходят и таскают, и никто не попался. Там и охраны-то, можно сказать, нет.

Глава XIII

Ехать собрались поздно, Настя сначала уложила спать детей. А когда выходила из комнаты, старшая проснулась от скрипа половиц.

— Ты куда? — встревоженно спросила она. В последнее время она как-то очень внимательно следила за матерью, за каждым ее шагом, однако Настя или не замечала этого, или не придавала значения.

Она растерялась даже, не зная, что ответить. Лгать не умела, а сказать правду не могла.

— Спи, я скоро...

Тут как раз заглянула Раиса, чтобы поторопить Настю, и Маня отвернулась к стенке, притворилась спящей.

А ехать нужно было на край города, к Володарскому мосту, и Настя всю дорогу уговаривала Раису вернуться.

— Молчи, дура. Деньги на берегу валяются, а ты заладила свое!.. И что ты за баба, честное слово.

Выйдя из трамвая, они спустились к Неве. Немного прошли самой кромкой берега, и Раиса остановилась, прислушиваясь. Все было тихо, ничего подозрительного.

— Вон какая гора! — Раиса показала в темноту. Настя не увидела никакой горы, а сердце билось часто-часто и во рту сделалось сухо. — Давай! — скомандовала Раиса и, пригнувшись, побежала вперед. Настя тоже

пригнулась, изготовилась, но страх сковал ее, и она осталась на месте.

— Где ты? — окликнула ее Раиса.

— Не пойду, — отозвалась она. — Не могу. Что хошь делай, а не могу, и все.

Вдруг заливисто заголосил свисток.

— Стой, стрелять буду!

Раздался топот. Мимо Насти метнулись две или три тени. Следом за ними из темноты вынырнула Раиса.

— Бежим! Бросай мешок, и бежим!

А Настя стояла как вкопанная. Стыд — не страх, а именно стыд — овладел ею.

— Что стоишь?! — уже в голос закричала Раиса, хватая Настю за руку.

Настя не шевелилась. Тяжелый топот был совсем близко. Уже видно было мужчину. Раиса отпустила Настину руку и юркнула в темноту. Свисток надрывался над самым ухом. Сверху, с набережной, ему отвечал другой свисток. Если бы Настя так и стояла, прислонившись спиной к гранитной стене, сторож наверняка пробежал бы мимо, не заметил ее, а на нее нашло какое-то странное спокойствие или она подумала, что сейчас поймают Раису, и Настя вышла прямо на сторожа.

— Стой! — заорал он. — Стой!.. — Кажется, он щелкнул затвором.

— А я и стою, — сказала Настя.

Подбежал милиционер, вспыхнул фонарик, ослепив Настю. Она зажмурилась.

— Одна? — спросил милиционер.

— Кто их считал, — ответил сторож. — Была-то не одна, да другие удрали.

— Ничего, скажет, кто с ней был.

— Со мной никого, — сказала Настя. — Я сама. Что вам от меня надо?..

— Это у тебя спросить нужно, что тебе здесь понадобилось! — сердито проговорил сторож.

— Соли купить хотела.— Она лгала и стыдила себя, что лжет, но иначе спасения не было. В общем-то она могла бы сказать, что оказалась здесь случайно, что до соли ей нет никакого дела, однако на такую ложь ее не хватило.

— Здесь что, магазин? — усмехнулся милиционер.

— Люди говорят, что можно купить.

— Кто говорит?

— Люди.

— Какие люди?

— Разные.

— Ишь, ловкачка какая! — сказал сторож, сплевывая.

Настю отвели сначала в сторожку, милиционер составил протокол и повез ее в отделение милиции. Дежурный прочитал протокол, отложил в сторону и оглядел Настю.

— Как же это, гражданка Трофимова? — укоризненно проговорил он.— Дети, наверно, есть...

— Двое.

— Ну вот, двое детей, а вы на преступление пошли! Теперь тюрьма, вы понимаете это?

— Я же не воровала! — воскликнула Настя.

— А пришли-то украсть?

Настя пожала плечами. Нечего ей было сказать в свое оправдание. Да и кто поверит, если она снова повторит, что воровать не собиралась? Никто не поверит. А если честно, если признаться, тогда, может быть, простят, поймут в виду, что украсть не успела. И не хотела ведь, не хотела, вот в чем дело! И не стала бы воровать. Дождалась бы, пока Раиса наберет соли, и вернулась бы домой.

— Отпустите, товарищ начальник!.. Не буду я больше, никогда не буду!

— Не могу, — сказал дежурный и развел руками.—

Факт задержания зарегистрирован, вот документ.— Он показал на протокол.— Завтра придет следователь...

— Дети же одни дома, страшно им.

— А не подумали, что им долго придется быть одним, если вас посадят? Муж где?

— Где все мужья.

— Погиб?

— Вроде как без вести пропал.

— Э-эх, гражданка! На легкую наживу потянуло вас. А муж не за это воевал. Он воевал, чтобы вы и ваши дети жили свободно и радостно, понятно?!

Настя стояла, опустив голову, не смея от стыда посмотреть на дежурного. За себя она не боялась — пусть хоть бы и тюрьма,— но страшно было подумать, что дочки останутся без нее. Расплакаться бы, кинуться в ноги дежурному... Господи, хорошо еще, что никого больше нет — только она и дежурный. Постовой, который доставил ее в отделение, ушел обратно на пост...

— Что же вас заставило на такое пойти? — спросил дежурный.

— Сама не знаю. Услыхала, что другие сюда за солью ездят, и сама позарилась. Нечистая попутала, товарищ начальник.

— Дети большие?

— Старшей скоро четырнадцать, а младшей одиннадцатый год.

— Работаете дворником?

— Дворником и сторожем в магазине.

— Видите! В одном месте сторожим, в другом ворует. Что же получается?..

— Никогда не было такого,— выдохнула Настя, решившись поднять голову. Ей показалось, что голос дежурного стал менее строгим. Он вроде и стыдил ее, а вроде и сочувствовал.

В это время за ее спиной открылась дверь — Настя ощутила сквозняк,— и знакомый голос спросил:

— Разрешите, товарищ капитан?

Настя обернулась на голос и увидела Павла Ивановича. Он был в милицейской форме.

— Входите, старшина,— разрешил дежурный.

Настя закусила губу и отвернулась, надеясь, что Павел Иванович не узнал ее. Он, не глядя на нее, прошел к барьеру, за которым сидел дежурный, и что-то сказал. Дежурный встал, вышел из-за барьера, открыл дверь — не на улицу, а которая вела в помещение — и велел Насте пройти туда:

— Обождите там.

Настя оказалась в тесном коридоре. Здесь горела тусклая лампочка и было сумрачно. Вдоль стены стояла скамейка. Настя села. «Узнал меня Павел Иванович или нет?..— думала она.— Должен бы узнать, а похоже, что и не узнал...» За дверью были слышны голоса, но слов разобрать было нельзя. Впрочем, Настя и не прислушивалась. Голова сделалась вдруг тяжелая, в ушах звенело, и она незаметно задремала. Напряжение было столь сильным, что сон сломил ее. Спала она каких-нибудь десять — пятнадцать минут, однако успела увидеть страшный сон: как будто ведут ее под ружьем по деревне Ореховичи и люди высовываются из окон, показывают пальцами, мальчишки бегут рядом, кричат что-то, а навстречу, держа за руку Маню и Дуняшу, идет Василий, и вид у него какой-то странный, вроде бы виноватый у него вид, а она хочет броситься к нему, объяснить все, чтобы простил, и не может, потому что охранник, который с ружьем, положил на плечо руку...

— Проснитесь! — Это дежурный толкал ее в плечо.

Она открыла глаза и в испуге отшатнулась, не понимая, где находится.

— Пойдемте,— позвал дежурный.

Они вышли из коридора. Павла Ивановича не было. Это обрадовало Настю. Значит, не узнал, не заметил, решила она.

— Я отпускаю вас, гражданка Трофимова,— сказал дежурный.— А вы как следует подумайте над тем, что случилось.

— Спасибо, товарищ начальник! Век не забуду!

— Да уж не забывайте, чтобы в следующий раз не потянуло,— улыбнулся дежурный.— Дорогу домой найдете?

— На трамвае...

— Трамваи давно не ходят. Пешком придется. До Московского вокзала все прямо по проспекту, а там...

— Там я знаю,— сказала Настя,— найду.

— Переулками и дворами не ходите,— предупредил дежурный.— А если дежурный трамвай пойдет, помашите — подвезут.

Не знала Настя, чем можно объяснить такую доброту дежурного, а связать с появлением Павла Ивановича ей и в голову не пришло. Напротив, радовалась она, что он не узнал ее.

Никаких трамваев не попадалось, и Настя шла пешком по безлюдному ночному городу. Раз или два ей почудилось, что кто-то идет за ней, незаметно оглянулась, чтобы не показать свой страх, но нет, никого не было. А потом и вовсе успокоилась, подумав, что бандитам она не нужна: нечего у нее взять. Вспомнила про мешок, который остался в милиции, пожалела. Если бы сразу вспомнила, как вышла, вернулась бы, а теперь слишком далеко было возвращаться.

Страх снова овладел ею, когда Настя подошла к кладбищу. Она старалась не смотреть налево, где — совсем же рядышком, шагов всего несколько! — было кладбище, держалась посреди проспекта, но глаза сами поворачивались влево, и казалось, кто-то шевелится там, двигается, приближаясь к ограде... Настя еле сдерживала себя, чтобы не побежать. Бежать-то как раз и нельзя, потому что сразу делается понятно, что она боится, а это и есть самое опасное...

Здесь снова ей почудилось, что кто-то идет за спиной. Она остановилась, прислушиваясь. Никого. Набралась храбрости, оглянулась. Вроде бы тень метнулась к кладбищенской ограде...

— Чего испугалась?

Настя вскрикнула от неожиданности и страха. К ней приблизился охранник от складов.

— Боязно, а ходишь одна по ночам,— сказал он.— Иди уже, я постою здесь покуда.

Настя на всякий случай припустила бегом и бежала до самой площади. Тут был уже город. Встречались дежурные дворники, кое-где постовые милиционеры, и страх постепенно отошел, Настя успокоилась окончательно и даже посмеялась над собой. В самом-то деле, чего же мертвых бояться? Бояться раньше надо было, когда поддалась на уговоры Раисы, а теперь что же, теперь бога надо молить, что все обошлось благополучно.

Домой она добралась в пятом часу утра.

* * *

Раиса не спала, сидела в кухне.

— Ну?..—с тревогой спросила она, едва Настя открыла дверь.

Нужно было, конечно, высказать все, чтобы Раиса поняла, в какую грязную историю втянула ее,— хорошо, что дежурный попался добрый, дай бог ему здоровья, а то быть бы Насте в тюрьме,—однако у Раисы был такой озабоченный, виноватый вид, что Настя пожалела ее. А после она вообще пришла к выводу, что нечего виноватить Раису, сама не маленькая, не захотела бы — не пошла, никто силком не тащил.

— Отпустил вот,—ответила Настя.

— А я тут всего передумала! И черт меня дернул... Ты извини, Настышка, что уговорила тебя. Заскок какой-то в голове. Мне-то все равно, а у тебя же дети...

— Ладно, чего уж там,— сказала Настя.— Обошлось и обошлось.

— А я стою на остановке, вижу, тебя повели в милицию. Ну, думаю, беда! Что делать? Прибежала к старшине...

— Что? — встрепенулась Настя.

— К старшине, говорю, прибежала, а его дома нет,— нашла Раиса. У них с Павлом Ивановичем была договоренность, чтобы Насте не рассказывать ничего, пусть не знает, кто ее выручил. А был он дома и тотчас, как только Раиса сообщила ему о несчастье, оделся и поехал в отделение. Уговорил капитана отпустить Настю, а потом всю дорогу до самого дома шел в отдалении за ней.

— Вот оно что...— сказала Настя.— А я-то думаю: чего это Павел Иванович явился и меня не узнает?.. Стыд-то какой, господи!

Раиса поняла, что далее скрывать правду бесполезно.

— А что было делать? Ведь посадить могли, им это запросто.

— Могли,— согласилась Настя.

— Видишь! — оживилась Раиса.

— Сколько тебе говорено: не пей вина, а ты все свое.

— Не буду. Вот возьму и не буду. А старшине не выдавай меня, что я проговорила...

— Не выдам,— пообещала Настя.

Она послала часок, убрала территорию, отправила Дуняшу в школу (Маня наотрез отказалась учиться в школе, ждала, когда ей исполнится четырнадцать лет, чтобы поступить в ремесленное, и Настя не очень настаивала, понимая, что стыдно ей идти во второй класс), собиралась постирать и помыть полы, но неожиданно дочка вернулась, и была она вся в слезах.

— Что с тобой, доченька? Обидел кто-нибудь? — Она мигом позабыла о ночных неприятностях, об уста-

лости, обо всем на свете, едва увидела на глазах Дуняши слезы.— Мальчишки со двора?.. Я им задам!

— Н-нет,— всхлипнула Дуняша, размазывая по лицу не столько слезы, сколько чернила с рук.— В школе д-дразнятся...

— Кто тебя дразнит, доченька?

— Все дразнятся. А учительница сказала: «Дуня ты Дуня и есть...»

— Что же здесь худого?

— А почему больше никого так не зовут?

Понимала Настя, что дело вовсе не в имени дочки, хотя для городских-то ребят оно, может, и непривычное. Дело в том, что она тоже переросток, самая старшая в классе и самая высокая. Этого Настя всегда боялась, особенно с тех пор, как отказалась идти в школу Маня. И вот случилось, и она не знала теперь, как быть, как успокоить дочку...

Вошла Раиса.

— Говорят, в коммерческом сахар дают, бежим скорее!— Тут она увидела Дуню.— Никак ты плачешь? А ну-ка рассказывай, кто тебя обидел!

Дуня молчала, насупившись. Тогда Настя рассказала сама обо всем.

— Значит, ребятам не нравится твое имя?— Раиса погладила Дуню, приласкала.— А ведь они от зависти, потому что у них непонятно какие имена, а у тебя очень красивое русское имя! Ты гордись своим именем и не обращай ни на кого внимания. Вот и перестанут дразниться.

— А учительница?..— Дуня подняла заплаканные глаза.

— И учительница тоже,— убежденно сказала Раиса.

— А вы не обманываете?

— Разве я когда-нибудь тебя обманывала?

Настя, слушая Раису, удивлялась, как она умеет объяснить все, успокоить. И тем более жалела ее. «Та-

кая умная, такая красивая, когда трезвая, — размышляла Настя. — И что только делает вино с человеком, подумать страшно. Вот нашелся бы хороший мужик, взял бы ее в руки...»

— Ладно, — сказала Раиса, — я побегу. Если достану, возьму и на вас. А ты не плачь, Евдокия! — Москва слезам не верит...

Никакого сахара она не принесла, вроде не хватило, а Настю на другой день вызвали в школу к завучу. Была там и учительница, у которой училась Дуня. Обе они строго допрашивали Настю, что за женщина накануне явилась в школу и устроила здесь неприличный скандал.

— Не знаю, — сказала Настя. Она не сразу догадалась, что это была Раиса. — А в чем дело-то?..

— Прийти в школу пьяной! Да это... Это хулиганство, и еще женщина! — Завуч была вне себя.

Вот тут только Настя поняла, что приходила Раиса. Но выдавать ее не хотела, решила, что поговорит с ней сама.

— Не может быть, — заговорила учительница, — чтобы вы не знали, кто она такая. Поймите, мы все равно разыщем ее.

— А зачем она вам?

— Нельзя же этого оставить так! Что, если все начнут являться в школу в пьяном виде и устраивать здесь скандалы?.. Это же школа, в которой учатся наши дети.

Все правильно говорила учительница, а все же что-то и смушало Настю.

— А что ей было нужно? — спросила она.

— Я так и не поняла, — смутившись, ответила учительница. — Прибежала, нагрубилась, наговорила...

— А ведь это неправда, — сказала Настя. — Нехорошо ребенка дразнить. Что бы ребят одернуть, так сами еще... Извините меня, но уж какое имя дали ребенку, с

таким и жить. А что дочка переросток, в том ее вины нет...

Учительница покраснела.

— Мы разберемся,— сказала завуч, укоризненно взглянув на нее.— А вы передайте этой женщине, чтобы такого больше не было...

Дома Настя хотела поговорить с Раисой, поругать ее за необдуманый поступок, но та была в запое, а куда у нее не кончится запой, говорить с ней совсем бесполезно.

А поговорить с кем-то было необходимо. Все чаще думала она о том, что не вернется Василий, напрасны ее ожидания. А жить-то как без мужика?.. Права, тыщу раз права Раиса, когда доказывает, что не поднять Насте самой детей. Где уж там! Обносились, смотреть на них больно и людей стыдно. В комнатах ничегошеньки нет, живут как на вокзале. А Маня большая, наряжаться ей хочется. И Дуняша подрастает, скоро за старшей потянется. Настя себе во всем отказывает, полуголодная ходит, а надолго ли ее хватит при такой тяжелой работе! Иной раз ноги не держат, в глазах помутнение делается и тошнота подступает. От голода это, понимает Настя. Но все равно экономит хлеб, чтобы, сэкономив буханку, продать. На зарплату-то вообще ничего не купишь, а в коммерческих магазинах стали появляться хорошие продукты...

Иногда Павел Иванович приносил что-нибудь вкусненькое. Настя стыдилась этих гостинцев, но не принять тоже не могла. И человека обижать не хочется, и видит же, какими глазами на гостинцы смотрят дочери.

Они беседовали про жизнь, и Насте было легко и просто с Павлом Ивановичем, так легко и просто, точно бы они всю жизнь знают друг друга. Он все понимал, обо всем имел свое мнение и разговаривать умел на любые темы. Настя незаметно привыкала к нему и, если он долго не приходил, скучала, ждала его. Нравилась

ей сдержанность Павла Ивановича, достоинство, с каким он держался с людьми, и ровность характера. Мужчина он видный, и Настя нисколько не сомневалась, что за такого-то мужчину каждая баба пойдет без оглядки. Тем более и нестарый — всего пятьдесят два годочка...

Нет, Настя пока не думала о том, чтобы выйти за Павла Ивановича, мыслей подобных не допускала в голову, но, похоже, была близка к этому. Убывали ее надежды на возвращение Василия, убывали с каждым прожитым днем, и на смену этим надеждам приходило ясное понимание, что нельзя жить одними ожиданиями, надо как-то устраниваться, прочно устраниваться, чтобы навсегда, чтобы у них было не хуже, чем у других людей.

Спустя два или три дня после того, как ее вызывали в школу, они повстречались с Павлом Ивановичем во дворе. Он шел со службы, а Настя заканчивала уборку.

— Анастасия Федоровна, я вчера в вещах разбирался, игрушек много нашел, даже кукла с закрывающимися глазами есть, — сказал он. — Надо бы Дуне вашей отдать.

— Необязательно.

— Пусть играет, все равно теперь... Вы пришлите ее.

— Ладно, — согласилась Настя. — Вот придет из школы...

— Пойдите! Сделаем ей сюрприз, а?.. Вы сейчас заберите игрушки, Дуня придет — сколько ей радости будет!

— Неудобно, — сказала Настя неуверенно.

— Глупости! Пойдемте, пойдемте.

Игрушек и правда было много. Настя хотела взять их и уйти сразу, однако Павел Иванович задержал ее.

— Посидите, Анастасия Федоровна, — попросил он. — Я чайку поставлю. Насчет мужа нового ничего нет? Она покачала головой.

— Надеетесь?

— Сама уже не знаю,— призналась Настя.— Второй год как война кончилась...— Она быстро взглянула на Павла Ивановича и добавила:— Старики говорили, что, покуда могилу человека не увидишь, нельзя его принимать за мертвого.

— А если...

— Все равно,— вздохнула Настя.— Уж что на роду написано, того не миновать, видно. Нельзя мне облегчения искать в жизни, Павел Иванович, много я виновата перед Василием...

— Глупости, Анастасия Федоровна!

— Не знаю, не знаю. Может, и глупости. Хотите, я буду к вам приходить?— вдруг сказала она.— Когда позовете, тогда и приду. Обед приготовлю, постираю, мне нетяжело. Я ж все-все понимаю, не думайте, и мне нисколечко не стыдно...

— Обижаете вы меня, Анастасия Федоровна,— хмуро сказал Павел Иванович.

— Простите, если что не так.

* * *

Он перестал приходить в гости. Теперь они виделись совсем редко, и то на улице, случайно. Настя избегала его, стыдилась. Правда, Павел Иванович нет-нет и передавал через Раису гостинцы дочкам и этим вовсе уж вгонял Настю в смущение.

А раз как-то Раиса прямо спросила:

— Ты собираешься или нет замуж за старшину?

— С чего это ты?— удивилась Настя, а сама подумала: уж не говорил ли что-нибудь Павел Иванович?

— Чем больше живу на свете, тем больше и убеждаюсь, что правы мужики, когда нас, баб, за глупых считают.

— Скажешь тоже!

— А ты подумай, подумай. Вот признайся: ведь хотела бы выйти замуж за старшину?

— Перестань,— попросила Настя.— Как я могу хотеть, если неизвестно, где мужик мой?

— Брось, Настыка. Все тебе известно, только комедию разыгрываешь. О детях подумала бы, да и о себе не грех.

— О них-то и думаю. Большие они уже, хорошо ли мне о мужиках думать?

— А если это счастье твое? Если это последний твой шанс?..

— Это верно,— согласилась Настя.— Павел Иванович очень хороший человек...

— И не раздумывай тогда!

— А Василий? Вернется он — как я погляжу в его глаза?..

— Что тебе сказать, Настыка... Сама же прекрасно знаешь, что не вернется. Бабье это в тебе, бабье. Раз положено нам, бабам, кого-то ждать, за кого-то беспокоиться, вот и придумываем себе пустые надежды... Зато и жить нам некогда по-человечески. Брось, Настыка, бери, пока в руки идет счастье.

Не понравились эти слова Насте. Было в них что-то нехорошее, недозволенное, однако и спорить с Рансой, и осуждать ее она не могла и не хотела. Мало видела Ранса в жизни хорошего, радостного, больше — горя, откуда же в ней возьмется понимание, что по-настоящему счастливый не тот, который берет или которому дают, а тот, который дает другим...

— Ты посмотри, посмотри на себя,— продолжала Ранса.— Да если тебя как следует приодеть, ты же у нас красавица, честное слово! Старшина — мужчина умный, самостоятельный, он видит. Да и другие мужики заморят первый-то голод по бабам и станут разбираться, кто какая есть на самом деле. Поймут еще, что красивая не та, которая размалеванная, как в кино. Только нам с тобой толку будет мало,— состаримся...

— Говоришь ты, Раиса, складно, а слушать — страшно. Легко у тебя получается все.

— А тебе трудности нужны, мало нахлебалась го-рюшка?!

— Сколько нахлебалась — все мое. У каждого своя жизнь, каждый свой крест несет, — сказала Настя. — Вот я и хотела бы, может, твой поцести, да нельзя.

— Неужели никто не сделал тебе плохого в жизни? — воскликнула Раиса.

Настя молчала. Она могла бы, ничуть не утруждая, не насилуя память, назвать тех, кто когда-то причинил ей зло. Она помнила этих людей. Да и как забудешь, даже если захочешь забыть, лицо и глаза того полиция, который убил Клавочку?.. Как забыть бандита Монастырева, который хоть и не успел ничего плохого сделать ей лично, а все равно — бандит, убийца?!

— Молчишь, — сказала Раиса. — Правда-то глаза колет.

— Делали и мне плохое, — призналась Настя. — Только судить я никого не могу, не мое это дело — судить.

— Знаешь, Настька, а ведь твоя доброта опаснее любого зла. И не смотри на меня такими глазами!.. Зло видно, с ним бороться можно, а ты своей неумеренной добротой удобряешь для него почву. Живешь, как в кино, честное слово! Тебя толкают, а ты извиняешься. Жаль мне тебя.

— Себя бы пожалела. Погубит тебя вино проклятое.

— Наверно, погубит, — легко согласилась Раиса. — Скучно мне. Если бы ты знала, как скучно жить!.. Вот проснусь ночью, лежу и думаю: зачем я живу на свете?..

— Это так-то не ты думаешь, а вино.

— Отстань со своим вином. Кому радостно от того, что я есть?.. Ни-ко-му. Плевать бы на это, да ведь и самой по утрам тошно просыпаться. И умирать страшно. Отравилась бы давно или повесилась, если бы не боялась...

— Дуришь ты, Раиса.

— Тебе не понять этого. Ты не одна...

В этом Настя была согласна с Раисой. Как бы ни было человеку трудно, сколько бы горя и несчастий ни свалилось на него, понимала Настя, все это можно пережить, если не думать, что твое горе самое большое и самое страшное. А как пережить одиночество?.. Ведь не с кем словом обмолвиться, не с кем поделиться печалью и своими мыслями, которые может понять только близкий, родной человек. В этом-то Раиса права, как права и в том, что человек не бывает счастливым, если живет для себя одного, если не о ком ему позаботиться и не с кем разделить свою нежность...

Что и говорить, Насте куда легче, чем Раисе,— у нее растут дочери, и забота о них делает ее жизнь непустой. Она и вовсе считала бы себя счастливой, когда бы не тревожила ее старшая дочь. Маня с возрастом становилась все более замкнутой, резкой, часто дерзила Насте и обижала младшую. У нее не спросишь даже, куда она идет и когда вернется домой,— в ответ Маня передернет плечами и презрительно сложит губы. А все оттого, понимала Настя, что в доме нет мужчины, хозяина...

Глава XIV

Бежали себе дни и недели, проходил месяц за месяцем, менялись времена года, но почти ничего не менялось в Настинной жизни. По-прежнему она долбила ломом и сдирала скребком наледь с тротуаров, мела дворы, сторожила по ночам магазин, изматываясь до того, что порой ноги отказывались ее держать. Да и это бы ничего,— ведь и хуже бывало в жизни, а работы Настя никогда не боялась и совсем не чувствовала себя обиженной или оскорбленной тем, что вот кто-то с портфелем на службу ходит, кто-то на работе и рук не запачкает, а у нее с ладоней кровавые мозоли не сходят,—

беда в том, что сколько бы Настя ни билась, сколько бы ни уродовалась на работе, им все равно не хватало денег на прожитье. Пока дочки были поменьше, а продукты выдавали по карточкам, жилось хоть и не сытно — как всем, зато о деньгах особенной заботы не было. На рынок или коммерческий магазин не напасешься, чтобы там покупать, нужны большие тыщи, а выкупить то, что положено на карточки, много денег не надо. А вот когда карточки отменили (радость-то, радость какая, господи!..), Насте неожиданно прибавилось забот, о каких недавно и не думалось. В магазинах любые продукты появились — приходи, покупай сколько душе угодно, а покупать-то и не на что: зарплата копеечная, хоть и на двух работах, пенсии никакой, откуда же деньгам взяться?.. Значит, ходи мимо витрин с колбасами и сырами и облизывайся. Опять же дело не в Насте, — она этих колбас и сыров и до войны почти не видала, — а девочки просят: им хочется. Купи им — и все тут. Дескать, раз в магазинах есть, раз другие люди едят, почему же им не покупают!.. Не могут понять, что и другие не все покупают, а только те, у кого хватает на это достатка. Дуня еще ничего, похвывает-похвывает и успокоится, да ее и винить нельзя — маленькая, а старшая должна бы понимать, что неоткуда у них взяться деньгам. Однажды Настя не выдержала.

— Большая ведь ты уже, постыдилась бы, — сказала она. — Где нам взять?..

— А откуда люди берут?

— Не знаю, доченька... Не голодная же ты, в училище тебя кормят, а Дуняша и того не видит.

— Прямо закормили в этом училище! — фыркнула Маня. — По три раза в день ячневую кашу дают, тошнит от нее.

— Что же делать, — вздохнула Настя. — Другой у меня нет. Вот кончишь учиться, пойдешь работать, станешь зарабатывать, тогда полегче нам будет, а покуда

терпеть надо.— Она говорила, убеждая дочку, а сама понимала, что вряд ли им будет легче. Сейчас-то как-никак, а кормят Маню три раза, обед на нее готовить не нужно. А много ли она по первости заработает!.. Зато одеваться красиво захочет. Невеста ведь уж, считай. Шестнадцатый годок пошел. Для таких, как она, и женихов хватает. Тут, глядишь, и младшая подрастет-подтянется, успевай только поворачиваться...

И сколько бы ни думала Настя, какие бы планы и надежды ни строила, а выходило, что в будущем — по крайней мере в близком — ничего хорошего ждать не приходится. Значит, придумывать что-то надо, выход из положения искать... А что придумаешь?.. В деревню разве податься, там хоть и разруха, но все же прокормиться легче. Как-то заговорила об этом с Маней, чтобы настроение ее вызнать, но та и слышать про деревню не захотела. А и понять ее можно: в деревне-то она не жила, можно сказать. Правда, и в городе не своя, но ведь молодых всегда тянет туда, где повеселее, где народу побольше...

Нет, не видела Настя никакого выхода, металась мысли ее от одной надежды к другой, однако все реже и реже надежды эти связывались с возвращением Василия, зато являлись сомнения: не пойти ли в самом деле за Павла Ивановича?.. Не для себя, — она-то и без мужика может жить, привыкла, — а ради дочек. Он все еще ждет, не торопит, но надолго ли у него хватит терпения?.. Не свет клином сошелся на Насте, вдовых баб сколько угодно, любая не откажется сойтись и жить с таким хорошим человеком. Вон новая паспортистка из кожи прямо лезет, чтобы приглянуться ему, чтобы обратить на себя его внимание. Даже на работу ходит по-праздничному одетая и в маникюрах. Павел Иванович заметил уж ее, спрашивал у Рапсы, кто такая...

Подстрекаемая этими сомнениями и пробудившейся вдруг ревностью, Настя завела осторожный разговор со

старшей дочери. Прямо сказать, что склоняется выйти замуж, не посмела, а начала о том, что трудно им без хозяйна в доме...

Мария — так она теперь велела называть себя — сначала слушала без интереса, равнодушно, но когда поняла, что мать говорит о себе, удивилась.

— Ты что, мать, с ума сошла?! — Вот уже и мамой перестала звать, зовет матерью. — Никак замуж собралась?..

— А если б собралась?

— Не смейся.

— Что же тут такого смешного?

— Ты же старуха! Разве такие замуж выходят?

— Бог с тобой, доченька, — сказала Настя спокойно и улыбнулась даже, хотя было ей до слез обидно слышать эти слова, да еще от дочери. — Ну какая же я старуха, подумай. Мне и всего-то тридцать пять лет...

— И это, по-твоему, мало?

— По жизни выходит много, а так-то...

— Даешь ты, мать! Жила, жила, и вдруг замуж ей захотелось.

— Да ведь не то что захотелось... — проговорила Настя. — Хозяин в доме нужен, мужчина. Сама же видишь, как трудно нам...

— И за кого же ты собралась?

— Нельзя сказать, что собралась, — уклонилась Настя от прямого ответа. — Сомневаюсь еще — вдруг отец вернется.

— Отец-то уже не вернется, — сказала Мария.

— Всякое бывает.

— Ты в Пучкова, что ли, влюбилась?

— Таких слов не надо говорить. Влюбилась я в твоего отца на всю жизнь. А Павел Иванович — что ж, он человек хороший, добрый...

— А что, подумать можно. Если тебя, мать, приодеть как следует, ты еще и правда ничего... Работа

у тебя, конечно... Да и Пучков этот не министр! А жить к нему переедем или как?

— Опять ты за свое! — укорила ее Настя. — Не все ли равно, где жить?

— Ну, не скажи. Жилплощадь — первое дело.

Неприятно и больно было слышать Насте все это, не ожидала она, что дочь все на жилплощадь повернет, однако и возразить было нечего, если по совести, потому что ведь и сама искала в замужестве выгоды и облегчения жизни. И не кому-нибудь, а себе: кормить, одевать и обувать детей — родительская святая обязанность, дети не виноваты, что их родили, а вырастут, станут матерями и тоже будут заботиться о своих детях. Так от веку заведено, и так правильно.

Настя-то ждала все-таки, что Мария про отца заговорит. Может, и ругаться будет, что забыла. И не знала она, хорошо или плохо, что дочка не упрекнула ее. А она себе простить не могла, что перестала ждать Василия, смирившись с тем, что он не вернется. Третий год пошел, как кончилась война, какие уж могут быть надежды... Некоторые женщины и трех недель не ждали. Но это оправдание разве что для нее, а вот дочерям забывать отца никогда нельзя. У нее-то может быть новый муж, и такой же законный, как Василий, а у детей второго отца не бывает. Сказать от этом Марии, пристыдить ее?.. А вдруг она нарочно молчит, чтобы ее же не смущать?..

Трудно было принять решение, и посоветоваться как следует не с кем. То есть дать совет каждый готов, только спроси — дело это нехитрое и безответственное, — а кто выкинет, кто разберется в ее сомнениях, кто правильно подскажет, как поступить, чтобы и жизнь устроить, и совесть сохранить в чистоте?.. Всяк по-своему живет, и всяк же считает, что именно он живет правильно. А чужим умом не проживешь, в чужой одежде и то неудобно.

И рассказала она о своем разговоре с дочкой Раисе. Та хоть поймет ее и не станет смеяться.

— Решайся, дуреха! — безо всяких околичностей сказала Раиса. — И меньше в голову забирай, плюнь на сомнения. Счастье это твое, Настюха моя милая!.. Старшина не обидит, жить будешь и радоваться жизни. Такой мужик!.. И не пьет...

— Это правда, — согласилась Настя и подумала, что вот понимает же Раиса, что пить — плохо, даже мужику плохо, а сама никак не бросит. Отчего же люди поступают против своего понимания?..

— Дай я тебя поцелую! — Раиса обняла Настю и расцеловала. — Рада я за тебя, ты не представляешь, как рада!.. Хоть тебе-то счастье достанется, а ты уж за всех нас, горемычных, напейся его!.. — Она отвернулась.

— Да я бы с удовольствием его на всех вдовых баб разделала, чтобы поровну всем, пусть помаленьку, а поровну.

— Дуреха. — Раиса покачала головой и улыбнулась, однако глаза ее были печальные, тоскливые, и Настя как никогда сейчас жалела ее. И было ей чуточку стыдно, что вот она все-таки устроивает свою жизнь, за хорошего человека идет, а значит, все горести и печали теперь позади, их можно хоть и насовсем вычеркнуть из жизни — была бы охота не вспоминать о прошлом, — а Раисе до конца дней куковать со своим горем в обнимку, от которого несколько не убудет со временем, и даже наоборот — чем дальше, тем оно делается огромнее и страшнее, прибавляя к себе и маленькие, повседневные неприятности. И ничем-ничем не сможешь Раисе, не примешь на себя часть ее горя и тоски..

* * *

Может быть, и были еще у Насти какие-то сомнения — уж слишком все хорошо, удачно складывается, а это тоже пугало ее, — однако Раиса взялась сама за де-

ло, переговорила с Павлом Ивановичем, который очень обрадовался Настиному решению, вмиг разнесла по конторе, да и по дому тоже, что Настя выходит за старшину замуж, и получилось так, что деваться ей уже было вроде и некуда...

Нет, она не сердилась на Раису, даже рада была, что все как бы само собою устроилось, без ее участия, а все же и совестно как-то, когда совсем посторонние люди подходят и поздравляют.

— И вечно ты куда-то спешишь-торопишься, вечно твой язык впереди тебя,— попеняла она Раисе.— Я вот еще подумать хотела, мало ли как оно в жизни повернется...

— Нечего думать, надумалась,— сказала на это Раиса.— Пока ты думаешь, паспортистка глазки строит. Она-то зря время не теряет.

— Ну и что ж,— молвила Настя, а самой тревожно сделалось.— Насильно мил не будешь. Это не мне решать.

— Да брось ты выламываться, честное слово! Вон какая счастливая, даже помолодела. Невеста, и все тут.

Что правда, то правда: Настя была счастлива, почти так же счастлива, как в далекой молодости. Пока колебалась, пока жила в сомнениях, не было у нее и уверенности, что с Павлом Ивановичем найдет она свое новое счастье и что даст ему счастье, а когда решилась — поняла, что ей-то лучшего и желать нельзя. Уж такой человек, такой человек, что и сказать нечего... «А что,— думала Настя, представляя будущую жизнь,— ведь я и не старая еще, если разобраться. В такие-то годы многие бабы детей рожают...»

Однако беспокойна была ее совесть. Им-то, конечно, хорошо — ей и дочкам,— а Павлу Ивановичу... Не одна же идет за него, с двумя дочками. Сейчас он сам себе голова, что хочет, то и делает, и зарплата и паек тоже на одного, а если все на четверых поделить... Ну, прав-

да, и Настя не иждивенец какой, тоже работает, да только что ее заработки, едва-едва концы с концами сводятся. Опять же малограмотная она, деревенская, даром что живет в городе...

Оглядываясь вокруг, Настя хорошо понимала, что Павел Иванович мог бы выбрать женщину и покрасивее ее, и помоложе, и образованную. Вдовых нынче сколько угодно, иных, в том числе и образованных, только пальцем пусть поманит мужик, куда угодно пойдут за ним. Взять ту же паспортистку. Бездетная, тридцати годов нету и обеспеченная — платья чуть не каждый день меняет, кольца золотые на пальцах, живет одна в двух комнатах. Говорят, муж у нее был большой начальник, тоже погиб на фронте.

Приятно, ясное дело, что такой-то человек из всех выбрал именно ее, Настю, а и тревожно немного, боязно: твое ли это счастье?..

Не могла Настя не поделиться этими своими сомнениями с Павлом Ивановичем, решила последний разок переговорить с ним, чтобы после обид не было и перед людьми чтобы зря не срамиться.

— Оставьте, Анастасия Федоровна, — сказал Павел Иванович, хмурясь. — Я очень, очень прошу вас никогда больше не говорить на эту тему. Если вы не согласны, тогда другое дело.

— Бог с вами, Павел Иванович! Как же мне быть не согласной...

— Тогда разговор этот ни к чему.

— Двое же у меня, — сказала Настя. — Получается, что мы к вам на иждивение идем. Что люди скажут?..

— А вы не думайте об этом, Анастасия Федоровна. Если и скажут, так не умные. Ну а насчет ваших детей... Они давно мне стали как родные...

— Спасибо на добром слове. А я уж постараюсь, чтобы вы никогда не пожалели.

— Вам спасибо, — сказал Павел Иванович, — Вам.

Мне что... Мне домой после дежурства не хочется приходить. Иду, как в камеру. Все один и один...

— Это-то так, хуже нет быть одному.

Большая радость, что и говорить, пришла к Насте. Большая и заслуженная. Много чего она пережила и теперь, думая об этом, понимала, что обязана беречь счастье, которое ей как подарок от судьбы. Но и стеснялась она своего счастья, потому что вокруг было столько женщин, не меньше ее переживших, а может, и побольше, которые не смели и мечтать хоть о малой толике такого счастья...

Настя говорила себе, точно давала клятву, что как бы ни было ей хорошо с Павлом Ивановичем, сколько бы они ни прожили с ним, она никогда-никогда не выкинет из памяти и сердца Василия, который дал ей первое и потому самое дорогое счастье. Спасибо Павлу Ивановичу за то, что он выбрал ее, и за то, что он есть, а все-таки дочка растёт его, Василия. Именно они наполняют Настину жизнь смыслом... Оставалась еще одна забота, которая беспокоила Настю: приглашать или не приглашать на свадьбу Андрея с Людмилой? (Она-то и вообще была против того, чтобы устраивать свадьбу, Павел Иванович настоял.) Третий год, как она не виделась с братом, — Андрей не знает даже, что живет Настя с дочками в Ленинграде, — давно прошла, притупилась обида... Она и без свадьбы собиралась уже навестить родных, — кто-то должен поступиться гордыней, — а теперь вот не знала, как ей и быть. Свою-то обиду простила, однако Андрей с Людмилой — главным образом Людмила — обидели ведь и Павла Ивановича, не впустив тогда его в дом...

Настины сомнения разрешил Павел Иванович, сказав, что и думать нечего, что конечно же надо обязательно пригласить брата с женой.

— Вместе и поедем к ним, — предложил он.

Настя была благодарна ему за это.

Свадьбу назначили на 1 мая, чтобы можно было спокойно погулять два дня, а 29 апреля пришло письмо от Яниса Зариньша. Настя с Зариньшами переписывалась нечасто, от случая к случаю, однако к праздникам они всегда поздравляли друг друга, а летом Мария собиралась даже поехать к ним в гости.

Письмо было невеселое: Зариньш лежал в больнице, у него, оказывается, был инфаркт. Инга вышла замуж, и на хуторе, сообщал Янис, хозяйничает зять. (Тут Настя порадовалась за Ингу и мысленно пожелала, чтобы бог дал мужа и Айне.) Еще Зариньш поздравлял всех с праздником 1 Мая и заодно с Днем Победы, а в конце была приписка: «Дорогая Настя! Прочитал в нашей газете «Циня» заметку и посылаю ее Вам. Переводил на русский язык сам, так что она получилась корявая».

К заметке, вырезанной из газеты, был приколот скрепкой листок, и Настя прочла:

«При боях за город Ригу сильно ранили и контузили одного советского солдата. Был нарушен позвоночник, потому стылились обе ноги. А когда солдата доставили в военный госпиталь, у него не было сознания. Доктора думали, что солдат умрет, но солдат мужественно не умер. Теперь до сих пор он лежит в госпитале в городе... Он никак не может двигаться, только все время лежит, но уже научился говорить и все понимать, когда говорят другие. Только вот память не вернулась, и поэтому солдат не умеет ничего вспомнить, что было раньше и кто он такой есть. Но совсем на днях он назвал, как его зовут — Василий...»

— Господи!..— вскрикнула Настя, роняя из рук письмо.— Господи, неужто нашелся?..

Она сидела у стола и смотрела в окошко, за которым было видно немного асфальта, часть арки, ведущей из второго в третий двор, и чахлый кустик, неизвестно кем и когда посаженный среди камней. Иногда мимо окна мелькали чьи-то ноги. Но Настя видела совсем-совсем

другое... Она видела родную деревню Ореховичи, взбегающую избами на бугор, окрестные леса, тесно обступившие их деревню, речку Норовку, которая прыгала с камня на камень, и Василия, который несет ее на руках в дальние поля, к заброшенному хутору, где поднимается, клубясь, точно живой, прозрачный голубой туман, видела себя в глазах Василия и слышала:

«А вот не пушу, а вот уроню!..» — дразнил Василий, приседая низко, и Настина коса окунулась в холодную воду, вытягиваясь следом за быстрым течением, а не тонула, хотя была тяжелая.

«Ой!» — притворно вскрикивала Настя, крепче обхватывая шею Василия, тесно-тесно прижимаясь к нему.

«Да нешто я взаправду?.. Да я тебя, Настюха... Да я тебе что хошь сделаю, на руках всю жизнь носить стану, только скажи...»

«Поцелуй». — Она закрывала глаза и вся трепетала в его руках.

«Точно птица», — шептал Василий.

* * *

На автобусной остановке возле вокзала было мало народу, человек семь или восемь, и все — женщины. Настя поставила чемодан и прислонилась к столбу, на котором, раскачиваясь на сильном ветру, висела дощечка с надписью «ВОКЗАЛ — ГОСПИТАЛЬ». Под ногами в решетчатый люк с веселым шумом сбегала вешняя вода. Женщины молчали. Им всем было лет по тридцать пять. И все они были с чемоданами. Высоко-высоко в ясном небе летели не то лебеди, не то гуси. А может быть, журавли. Люди, переходившие площадь, останавливались и смотрели вверх. Настя тоже посмотрела в небо. На мгновение ее лицо осветилось улыбкой, а губы прошептали:

— Гуси-лебеди прилетели...

Ф ПРОЗЕ ЕВГЕНИЯ КУТУЗОВА

Перед нами две повести Евгения Кутузова. Наверно, нет в его творчестве двух других произведений, которые бы так резко отличались друг от друга материалом, стиливой фактурой, а может быть, и степенью художественной убедительности. И тем не менее они связаны единой проблематикой. В первой повести мы видим молодого интеллектуала, бойко рассуждающего о нравственности. Во втором случае нравственность открывается нам как мудрость души, а не как сумма заученных истин. Мы читаем повесть о женщине, выросшей в довоенной деревне, не вкусившей плодов учености, но наделенной опытом трудной жизни. Обе вещи исследуют вопрос о надежности душевного компаса человека, прокладывающего свой путь.

Художественный мир прозы Евгения Кутузова не ограничен определенной социально-бытовой средой. Он населен рабочими и командирами крупных производств, чудаковатыми интеллигентами из старых ленинградских коммуналок, людьми, неразлучными с землей и деревней, и обитателями глухих полустанков. От рассказа к рассказу, от повести к повести меняется атмосфера бытового уклада, в которой живут герои, наши современники. Все без исключения книги Кутузова обращены к современности или недавнему, удержанному живой памятью прошлому. И в самой разнохарактерности жизненного материала и в ощущении подвижности сегодняшних бытовых границ отражается динамика действительных социальных процессов.

Он родился в 1932 году в потомственной рабочей семье ижорцев. Отец его был военным летчиком, носил звание комбрига, а позднее по призыву партии занимался организацией сельского

хозяйства. Ленинградское детство было оборвано войной. В 1941 году семья эвакуировалась на Урал. Здесь, в небольших городах, вставших на круглосуточную вахту оборонного производства, Евгений Кутузов начал проходить тот ускоренный курс жизни, который выпал на долю большинства его сверстников. Люди, характеры, судьбы, жизнь на пределе человеческих возможностей, чувство долга перед вступившей в смертельную схватку страной — все это, понятное и не понятное детским рассудком, сложилось в особые пласты памяти и много лет спустя было заново осмыслено на страницах романов «Одна любовь» и «Вечные хлопоты». Там же, на Урале, десятилетний мальчик был принят воспитанником в отдельный аэродромный батальон, где около двух лет служил в качестве писаря.

Вернувшись в послевоенный Ленинград и оказавшись перед необходимостью самому решать собственную судьбу — отец погиб, мать осталась на Урале, — Евгений Кутузов поступает в ремесленное училище. В пятнадцать лет он работает у двухтонного молота. В своих будущих книгах он расскажет и о секретах кузнечного ремесла и о жизни цехов Ижорского завода. Но до литературных занятий было еще далеко. Им предшествовала служба в армии, познание новых профессий и робкие опыты стихотворства.

Первая публикация, о которой автор сейчас вспоминает без особого воодушевления, появилась на страницах рижского альманаха «Парус». Это был рассказ, едва ли замеченный читателем. Но постепенно росло мастерство, яснее обозначались черты индивидуальности: легкость и точность языка, способность к такому «раскрою» материала, при котором авторская мысль принимает наибольшую выразительность. На первых порах лучше всего удавались очерки. Помогали и знание жизни, и журналистская расторопность, и легкое, живое перо. Одно время Евгений Кутузов был безотказным поставщиком очеркового материала в ленинградские газеты — от многотиражки «Лесоруб» до «Вечернего Ленинграда». В начале 60-х годов работал собственным корреспондентом «Литературной газеты» в Ленинграде. Практика газетной работы не только развивала талант публициста (кстати, Кутузов до сей поры активно

выступает в прессе), но и давала материал для художественной прозы.

Повесть «Не стой на пороге», опубликованная в 1967 году, отчасти построена на автобиографическом материале. Ее герой Сергей Болдырев — журналист. Думается, что выбор профессии героя продиктован не только личной симпатией автора к этому роду деятельности. Есть и более серьезные резоны интереса писателя к жизни газетчика — возможность острой постановки этнических проблем: профессия часто обязывает журналиста заниматься конфликтными делами. Повесть Кутузова и вырастает из истории одного конфликта, который существует и как реальный инцидент и как нравственная проблема, поставленная перед героем.

Повесть «Не стой на пороге» не миновала некоторого влияния так называемой молодой прозы конца 50-х — начала 60-х годов. Эта литература связана с определенным кругом писательских имен, но дело не в конкретных именах и даже не в чьих-то просчетах и удачах, а в стереотипе молодого героя, в котором многим хотелось видеть эпохальные черты. Создавался четкий канон образцового парня. Ему вменялось в обязанность не упускать ни одного атрибута «модерна» (от Ремарка до модного галстука), быть круглолицым остроумным, пугать «предков» опасными парадоксами, но в экстремальных обстоятельствах совершать что-нибудь благородное.

Повесть Кутузова хотя в общем-то не ложится в эту схему, но в ней все же дают себя знать модные приметы времени: ироничные (иногда по всяким причинам) герои, споры о смысле жизни с позитивной «физиков и лириков», ревностное соблюдение границ между поколениями. Но главный герой не столько судит и рядит, сколько сам судим той моральной инстанцией, которая исподволь создается автором, включает его собственную оценку, логику сюжета, позиции окружающих Сергея персонажей.

«Не стой на пороге» — повесть с напряженным драматизированным сюжетом, подчиненным развитию единого социально-нравственного конфликта. В процессе развития этого конфликта и выявляются существенные черты характеров персонажей, особенности их взаимоотношений с главным героем повести, оказавшимся перед судом собственной совести.

Однако остроту конфликта снижают несколько сумбурные и растянутые рассуждения Сергея о собственных идеалах и смысле жизни. Автор знакомит нас с ними уже в первом эпизоде — разговоре с матерью. Как и в дальнейшем, диалог превращается в проблемную дискуссию. Мы узнаем, что Сергей — отличный сын и человек с блестящей будущностью. Он считает, что мать растрчивает силы в бессмысленном альтруизме. А Сергея, по мнению матери, портит высокомерное пренебрежение простым человеческим счастьем. Кроме того, он страстно ненавидит мешанство, связывая его почему-то с лотерейной удачей. Надо сказать, что Сергей кое-чем действительно доказывает свое безразличие к быту. Он бескорыстно предоставляет свой кров молодой незнакомой чете — Зое и Игорю — и при этом едко вышучивает все их попытки заплатить деньги за квартиру.

Таким образом, у читателя может сложиться впечатление о каких-то необычайно высоких душевных качествах Сергея, через призму которых он видит ничтожество обыденных человеческих интересов. Но автор рассеивает это предположение, рассказав о пуги Сергея в журналистику. Это путь одаренного юноши, уверенно поднимающегося по ступеням карьеры. Возможно, Сергею нужен официальный статус для осуществления какой-то великой, все искупающей миссии? Тем более что любимой девушке он говорит про какую-то цель, которая должна оправдать средства. Но ход повествования никак не указывает нам на эту цель. Профессиональная деятельность Болдырева сводится к услужению главному редактору, который сам озабочен карьерой, а не истиной.

Может быть, Сергей — плохой человек от природы? И это не совсем так. Подчиняясь безотчетным порывам, он поступает смело и благородно: бросается спасать мальчика от ледяной купели, защищает незнакомую девушку от нападения хулиганов. Следовательно, все малосимпатичные свойства Сергея суть свойства благоприобретенные. Только процесс этого благоприобретения, психологические звенья эволюции героя остаются за пределами повести. Мы вынуждены принимать Сергея как «вещь в себе». И в этом главный недостаток книги. Автор искушает своего героя жесткой нравственной альтернативой. И драматургическая форма этого искушения создана прекрасно: Виктор и Наташа — с одной стороны и редак-

тор — с другой вызывают его на решительные действия. Но — странное дело. Нам как-то и не очень интересно, решится он на отъезд или нет. Мы слишком плохо знаем натуру, чтобы увлечься борьбой, которая в ней происходит. Правда, тлеет огонек чисто житейского любопытства, так сказать, сюжетного интереса: сойдется он с Наташей или нет, повысят его в должности или уволят.

Дальнейший обзор прозы Кутузова убеждает нас в том, что ее основная тематическая линия берет начало не в повести «Не стой на пороге», а в первых рассказах. В них мы видим человека с судьбой, а не персонажа собственной биографии, — жизнь, на которой время оставило отметины многотрудного исторического бытия. Правда, в ранних рассказах внимание сфокусировано на моменте жизни, на витке судьбы, но не на самой судьбе, укрытой от нас дымкой нарочитой недосказанности. Но в событиях из жизни более чем скромных людей отчетливо слышен отзвук больших эпохальных процессов.

Рассказ «Сапожник», увидевший свет в 1966 году на страницах журнала «Урал», настойчиво призывает нас додумать и дорисовать поведанную автором историю. Он ведет нас в маленький городок, трудно отвыкающий от монотонного захолустного быта. Знакомит с загадочным человеком, который отличается от других людей своеобразным аскетизмом, неустроенностью быта, но тем не менее очень естественно входит в жизнь глухого уголка. А появился он здесь в годы войны, вернувшись с фронта инвалидом. Сначала его можно принять за человека из породы платоновских мастеров — поэта ремесла, философа, обожествляющего самую возможность жить на земле. Но суть рассказа не в духе и не в красках мирозерцания, а в тайне судьбы сапожника. Рассказчик с первых же строк возбуждает интерес к тайне, заставляет размышлять об истоках стоицизма и хмурой доброты этого человека. Мы догадываемся о недюжинном прошлом, о глубокой выстраданности всех его странных привычек, всего жизненного опыта. Однако прошедшая жизнь его остается за рамками рассказа, автор лишь намекает о ней несколькими скупыми деталями. Они помогают нам пролить свет на психологические мотивы, приведшие его когда-то в незнакомый, малоприметный городок. Проходит время. В город приезжает работать

молоденькая докторша. Увидев ее лицо, старик содрогается от душевной боли. Он навсегда покидает это место. По репликам провожающего его соседа можно предположить, что он возвращается к той прежней жизни, которую перечеркнула война. Попробуем теперь по скудным деталям прочитать всю историю героя. Вероятно, она такова: человек, получивший на войне увечье, устыдился предстать перед молодой женой, не пожелал стать обузой и уехал в незнакомый город начинать жизнь с чистого места (кстати, этот мотив мы встретим в романе Кутузова «Вечные хлопоты»). Лицо девушки напомнило ему черты любимого человека, вызвало бурю чувств, заставило сделать шаг, на который он не решался долгие годы.

Впрочем, такое выпрямление сюжета снимает эффект деликатной недоговоренности, снижает его эмоциональную силу. В начале 60-х годов много писалось об «айсбергах» психологического письма, не последнюю роль здесь сыграл широкий интерес к прозе Хемингуэя. В рассказе «Сапожник» мы видим блестящее владение искусством подтекста. Но при всех достоинствах рассказа автору можно пожелать насыщения своих сюжетов более осязаемым фактическим материалом, той плотью реальной жизни, которую хочется видеть, а не угадывать. Многие годы писательской работы посвящены именно этим целям и одновременно — поискам путей к большим эпическим формам. Но это были и годы заметных удач в области новеллистики.

К жанру новеллы Кутузов обращается постоянно, но особое значение первых рассказов состоит в том, что они послужили подступами к масштабному изображению народной жизни.

Новелла «Старик и старуха» (1967), написанная по классическим законам жанра, вскрывающая «ударной» концовкой последнюю оболочку авторской мысли, будит сильный душевный отзыв на проблемы современного села. Один день из жизни деревенских стариков с привычным кругом нехитрых забот, с вечным незлобивым ворчаньем и вздохами, в которых слышится тоска по канувшим в городскую гущу детям, казалось, не обещает никаких особых событий. Но событие назревает в душе старика. Он отправляется на почту, чтобы потом, пользуясь услугами знакомой школьницы, сочинить старухе письмо от имени дочери Валентины, «Святая ложь»;

продлевающая дни старой женщины, копится в коробке из-под печенья. «В этой коробке старуха хранила все письма и, не умея читать, время от времени просто перебирала их, вспоминая, в котором что написано».

Рассказ «Аэропорт Тальянка» (1969) интересен как опыт характерологический. В этом смысле он заслуживает особого разговора. Рисуя героя, автор сознательно строит некую схему характера, чтобы постепенно разрушить эту схему изнутри. Улавливая комическую окраску интонации, поддаваясь соблазну вволю посмеяться над маленьким, навязчивым бюрократом, мы вдруг прозреваем в нем человека совести и долга, не отступившего в решительный час от своих внутренних убеждений. Товарищ Весеславов — вообще личность незаурядная. Он не только озабочен тем, чтобы нарисовать буквы «М» и «Ж» на домике, входящем в хозяйство сельского аэродрома, он живет и в идеальном мире, воображая себя начальником аэропорта международного класса. Он даже помаленьку изучает немецкий язык и посвящает в свои мечтания жену, от которой целомудренно скрывается лишь одна деталь блистательного будущего — молодая, длинноногая секретарша. Однако перед нами не персонаж фельетона. Автор тонко избегает резких, осудительных акцентов, усмиряя юмористическую стихию рассказа теплыми тонами симпатии к герою. И наконец, показывает нам нравственное мужество Весеславова, дерзнувшего пренебречь капризом шефа и тем самым, вероятно, разрушившего воздушный аэропорт своей мечты.

Отметим попутно стилистическое мастерство рассказчика, прекрасно владеющего так называемой несобственно-прямой речью. Это ценный урок письма, который, безусловно, пригодился при работе над повестью «Гуси-лебеди».

В начале 70-х годов Евгений Кутузов предлагает вниманию читателя два самых фундаментальных своих произведения — романы «Одна любовь» (1971) и «Вечные хлопоты» (1976). Их фундаментальность заключается не столько в объеме («Одна любовь» по размеру неважного превышает повесть «Не стой на пороге»), сколько в укрупнении предмета авторской мысли. Сюжеты романов соизмеримы с историческими деяниями народа. Замыслы не помещаются в рамки фрагмента единичной судьбы, их воплощение требует эпи-

ческой протяженности, а главное — полноты реального содержания. Пришлось не только углубиться в истоки личного опыта, но и посвятить целые годы целенаправленному освоению довольно большого исторического материала. В это время наряду с работой над художественной прозой Кутузов изучает историю Ижорского завода, становится одним из авторов исторического труда, посвященного старейшему в стране предприятию. Писатель — сам ижорец и по трудовой биографии и по родословной: его пращур с петровских времен ковали металл в кузницах завода. Однако материал, положенный в основу романов, приходил различными путями. В бытность журналистом Кутузов открыл немало недюжинных характеров и поучительных судеб, вплотную соприкасаясь с жизнью промышленного Ленинграда и всего Северо-Запада.

Фактографическая основа романа «Одна любовь» связана с предприятием меньшего ранга, чем Ижорский завод. Но в небольшой книге отражены эпохальные моменты истории страны, целые эпизоды народной жизни. Отсюда — необычайная стремительность, порой — репортажный темп сюжетного движения, предпочтение крупных планов детализированным описаниям. Это не от поверхностной «вспашки» материала. Жизнь, которую мы видим в романе, уплотнена до самых важных, поворотных мгновений, она заполнена кипением человеческой энергии, имеющей одну цель — приблизить победу, ускорить ход исторического времени.

Любимов — главный герой романа — немыслим в состоянии покоя, он действует во всю мощь своего организаторского таланта, создает вокруг себя своего рода деловой вихрь. Мы встречаемся с ним в уральском городке Выгодске, где почти на голом месте возводятся стены эвакуированного из Ленинграда завода, и прощаемся в родном городе, вновь у пульта управления производством. И на протяжении всего пути проникаемся логикой его государственного ума, обаянием его сильного характера. Любимов — в полном смысле полководец, он ведет людей через перевалы лихолетья, поднимает на борьбу, отвечает за их жизни. Его раны — инфаркты, нанесенные в беспощадных схватках со шкурниками и бюрократами. Невозможно себе представить, чтобы этот человек с такой же яростью воевал бы за собственную дачу или машину. Лю-

бимов — коммунист не только по убеждению, но и по психологии, по всему душевному складу. Им движет одна-единственная любовь. И при всем этом — приступы мальчишеского легкомыслия и множество других слабючек, которые никак не позволяют составить его парадный портрет. Мы видим человека по-живому противоречивого, но принимаем его сущность как духовный монолит. Менее прорисованы другие персонажи, да и как индивидуальности они слабоваты против Любимова. И может быть, оттого, что внимание писателя больше всего сосредоточено на одном герое, а сюжет стремится к одностороннему развитию, перед нами скорее повесть, чем роман.

«Венные хлопоты» — обширное двухтомное повествование, но не только поэтому его романная природа несомненна. Здесь в единой эпической перспективе сливаются история страны с историей семейства, а вернее сказать, рода рабочих — ижорцев. Своеобразный зачин, чуть стилизованное предание об основателе династии Антиповых, настраивает на волну широкого, обстоятельного сказания о человеческих судьбах.

Род Антиповых растет на наших глазах, выдерживает удары войны, теряет целые поколения, продолжается в новых. История семьи движется по оси событий летописного масштаба. Однако роман отнюдь не сводится к семейной хронике. Главное достоинство книги в том, что ее герои ни на мгновение не выпадают из народного целого, и достигается это не просто многонаселенностью художественного мира романа, а внутренней, коренной связью Антиповых с родной почвой — жизнью завода. Какая-то теплая теснота, многолетняя притертость друг к другу людей огромного коллектива вселяет в них веру, что во всех испытаниях будут рядом с ними родные души. С наибольшей силой это «дружинное» чувство проявляется в предвоенные годы, в рядах ополченцев, в цехах и бараках эвакуированных ижорцев, в освобожденном от блокады Ленинграде. Историзм совершающихся событий укрупняет, возвышает мысль героев до таких категорий, какими они прежде, наверно, и не решались думать. В эстетическую систему повести входит, так сказать, народно-философская точка зрения. Захар Антипов все больше размышляет о вещах всеобщего значения: «Земля предков,

обильно и многократно омытая их кровью, земля эта и в малом кусочке остается огромной и прекрасной, несмотря ни на что, ни на какую скверну и слезы людские».

Авторская мысль, ее нравственный пафос, реализуется прежде всего через сознание и жизнеповедение старого рабочего Захара Антипова, но эпический голос автора шире и многозначнее позиции героя. Захар при всей выстраданности и глубине своего взгляда на мир не может быть непогрешимым пророком. Жизнь новых поколений складывается не совсем так, как представлял себе глава семьи. Она сложнее, диалектичнее, неожиданнее. Ценностный смысл развернутых перед нами событий выявляется через объектив всей художественной системы повествования. Можно было бы завершить его апофеозом подвижнической жизни потомственного пролетариата, но жизнь эта знает и хлопотные будни иной, несравненно более благополучной поры. Трудно сказать, входило ли в задачу писателя дидактическое соизмерение нравственной активности человека на войне и человека в стабильных условиях мирной повседневности. Но дела жизни сегодняшней, несмотря на всю новизну проблем, так или иначе не минуют весов этического опыта, рожденного в годы испытаний.

«Вечные хлопоты», возможно, дают повод для критических размышлений. Где-то досаждают упрощенность психологического письма, где-то — беглый пунктир самого повествования, однако автору удалась задача в целом. Воздвигнуто здание, где каждый камень несет груз большой романной идеи.

Произведения, о которых шла речь, интересны прежде всего как путь к созданию крупных народных характеров. Бесспорная удача на этом пути — повесть «Гуси-лебеди», завершающая прозу Кутузова 70-х годов. Слово «удача» привносит оттенок случайности. Однако опыт автора в построении больших эпических структур, основательное знание материала, воспитанная годами избирательность в работе над словом — все это как предпосылки будущей повести уже появилось в 70-е годы. Счастливым обстоятельством можно считать открытие характера героини. Его покоряющая естественность становится камертоном художественной правды всей повести, где мы не найдем ни одной фальшивой ноты. Сама челове-

ческая натура Насти, несмотря на кажущуюся элементарность, заключает в себе загадку и разгадку вековечной мудрости, заставляет вдруг стукнуться лбом о простую и сильную истину. Истина в том, что существует особый, не осознающий себя талант — талант быть человеком, нравственная интуиция народного сознания, безошибочно различающего в клубке жизни нити добра и зла. Если бы это был только дар природы, проблема приняла бы угрюмый фаталистический смысл. Каждым своим шагом, каждым поворотом судьбы Настя укрепляет веру в правое дело своей души. Деревенская девушка, для которой населенный мир ограничивался околицей, она идет с любимым человеком в неведомую, не сулящую скорых благ жизнь. И жизнь на далеком севере вознаграждает ее новой, не знаемой раньше родственной близостью чужих людей.

Сколько раз гибель подстерегала Настю с детьми, но всегда находились добрые руки, которые не давали погибнуть или отчаяться. Благородная ясность души, пронесенная через все беды, вербует ей бесчисленных помощников и союзников. Образ Насти во многом и создается отношением к ней людей, с которыми она встречается в жизни. Всюду ее окружает атмосфера какого-то чистого поклонения. Ее женственная, стеснительная твердость и органическое трудолюбие покоряют кремневого Фомичева, будят в нем деятельное участие в ее судьбе. Эта твердость и безальтернативная верность одному человеку вызывают почтительную любовь Зариньша и Павла Ивановича. Любопытно, что эволюция Насти и состоит в сохранении неизменного нравственного состава характера, оттолкнувшего все соблазны более удобной жизни, которые не раз возникали на ее пути. Малограмотная женщина, большую часть жизни отдавшая черной работе, она никому не дала повода ни для пренебрежения, ни для грубой ласки. Наоборот, все угадывают в ней существо духовное.

Повесть о Насте исполнена с истинным художественным тактом. Слишком естественно течет ход событий, чтобы принять форму испытанной модели или оставить какие-то следы строительных конструкций. Повесть заставляет глубоко сострадать, дает ощутить, что такое катарсис, но нет в ней ни гиперболических фраз, ни восклицательных знаков. Единственный пафос — пафос подлинности.

Иногда хочется поставить Настю на котурны героического образа. Но ей это не очень идет. Где-то она уж больно неуклюжа, а в одном эпизоде чуть не согрешила воровством. И хоть не согрешила, не побежала от сторожей с мешком драгоценной соли («Стыд — не страх, а именно стыд овладел ею»), для плаката Настя все-таки не годится. Она слишком жива, чтобы быть олицетворением.

И тем не менее есть на житейской поверхности повествования отблеск поэтической идеи, знаки его сокровенного смысла. Это связано с мотивом, давшим название повести. И тут писателю, действительно, удастся осветить подтекстом поведанную нам историю, поднять ее на иной уровень обобщения. Мы оставляем Настю в тот момент, когда судьба на третий послевоенный год дает ей хрупкую надежду найти живым своего мужа. Она уже подходила к госпиталю, когда увидела:

«Высоко-высоко в ясном небе летели не то лебеди, не то гуси. А может быть, журавли. Люди, переходившие площадь, останавливались и смотрели вверх. Настя тоже посмотрела в небо. На мгновение ее лицо осветилось улыбкой, а губы прошептали:

— Гуси-лебеди прилетели...»

С предчувствием встречи и радости вновь переключаются гуси-лебеди, как когда-то в деревенском детстве, как в самые счастливые дни, когда в теплой туманности первых жизненных впечатлений проступали черты родного берега и родного лица. И только после этого нам становится окончательно ясно, что красота и правда давным-давно открылись Насте и стали ее внутренним зрением, находящим один путь из множества.

Повесть «Гуси-лебеди», пожалуй, как ни одно из произведений Кутузова, передает облик самого автора, опыт его сердца, черты мастерства. Мы вправе говорить о некоем предварительном итоге. Предварительном — потому что писатель вступил в прекрасный творческий возраст, который для прозаика обычно совпадает с началом самой плодотворной поры.

В. ФАДЕЕВ

Содержание

Не стой на пороге

3

Гуси-лебеди

221

В. Фадеев
О прозе Евгения Кутузова

482

Евгений Васильевич
КУТУЗОВ



**НЕ СТОЙ НА ПОРОГЕ
ГУСИ-ЛЕБЕДИ**

Редактор А. А. Девель
Оформление серии художника О. И. Маслаковой
Рисунки художника Б. А. Анкина
Художественный редактор Б. Г. Смирнов
Технический редактор А. И. Сергеева
Корректор Л. М. Ван-Заам

ИБ № 2172

Сдано в набор 13.10.81. Подписано к печати 2.03.82. М-17478.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать
высокая. Усл. печ. л. 21,7+вкл. Усл. кр.-отт. 21,92. Уч.-изд. л.
22,79+0,04=22,83. Тираж 100 000 экз. Заказ № 311. Цена
1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленин-
град, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени ти-
пография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград,
Фонтанка, 57

Кутузов Е. В.

К95 Не стой на пороге; Гуси-лебеди. — Л.: Лениздат, 1982. — 494 с., портр. — («Повести ленинградских писателей»).

В книгу вошли две повести Е. Кутузова: «Не стой на пороге» и «Гуси-лебеди». Статья «О прозе Евгения Кутузова» написана В. Фадеевым.

К $\frac{4702010200-216}{\text{Л171(03)-82}}$ 199—82

84.3(2)7